

Последний вариант

**МИХАИЛ
ЛЮБИМОВ**

ВАРИАНТ ШЕДЕВРА

антимемуары

2017

– Наплавался на корабле дураков, сынок? Теперь иди к папе.

Откажешься – увидимся через миллион лет.

Курт Воннегут

Здесь я покоюсь, извергнув свою злосчастную душу,

Кто я такой – не скажу. Пропадите вы пропадом, дурни!

Тимон Афинский, «Эпитафия самому себе»

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| ИНТРОДУКЦИЯ | 3 |
| ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТАК ДИТЯ ПОЯВИЛОСЬ НА СВЕТ И РОСЛО... | 5 |
| ГЛАВА ВТОРАЯ. ДУНЬКУ НАКОНЕЦ-ТО ПУСТИЛИ В ЕВРОПУ. ПЕРВЫЕ АНГЛИЧАНЕ. | 19 |
| ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ. ЛОРД БЕССБОРО, РОСТРОПОВИЧ, ЛИВАНОВ, МИХАЛКОВ, ТРИФОНОВ | 33 |
| ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЛОНДОНСКИЕ БАСТИОНЫ. КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ. | 65 |
| ГЛАВА ПЯТАЯ. ВСЕ ШПИОНСКИЕ ПРЕМУДРОСТИ | 92 |
| ГЛАВА ШЕСТАЯ. И ЗАТОПАЛ ГЛУПЫЙ ОСЛИК | 165 |
| ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ БЛУЖДАНИЙ... | 184 |
| ГЛАВА ВОСЬМАЯ. РУТИНА ГЕРОИЧЕСКИХ БУДНЕЙ | 198 |
| ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОДА БАХУСУ | 208 |
| ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ПРОЗА ЖИЗНИ | 234 |
| ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. НЕИСПОВЕДИМАЯ СУДЬБА | 264 |
| ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ГРОМОКИПАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ | 297 |
| ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ... | 305 |
| ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ПРИРАБОТКИ БЕДНОГО ОТСТАВНИКА НА ВОДЕ | 321 |
| ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. КАК МЕНЯЮТСЯ МОЗГИ | 333 |
| ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ | 345 |
| ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ЗАРИСОВКИ ИЗ ДРУГОЙ ЖИЗНИ | 358 |
| ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. ТОНЧАЙШИЙ ПИСАТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ПОПОВ ВГРЫЗАЕТСЯ В ДУШУ ПОЛКОВНИКА | 383 |
| ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. ОПЕРАЦИЯ "ГОЛГОФА" | 399 |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КРЕЩЕНДО О ЖИЗНИ И СМЕРТИ | 432 |

ИНТРОДУКЦИЯ

О, когда бы на «Блэрио» поместилась кушетка!

Интродукция – Гауптман, а финал – Поль де-Кок.

Игорь Северянин

Я написал свои первые мемуары достаточно рано (лет в шестьдесят, исходя из возраста ухода на тот свет Ивана Тургенева, он казался древним старцем), опасаясь, что Жестокая Дева поразит меня косой преждевременно, и мир не узнает ничего о столь светлой личности. Текст вышел в приличном издании, обществу стало ясно, кого оно может потерять, и я беззаботно продолжал жить, балуя свое тщеславие шедеврами и шашлыками. Надувной шарик становился все округлее и импозантнее, озаряемый теплом телеэкранов, по душе, словно шматок сала по пищеводу, прокатывалось неистребимое желанье славы, и вот однажды я взял изящный томик своих мемуаров в твердом переплете с собственной физиономией в дыму легендарной трубки и начал перечитывать...

О, Боже!

Что это?

Беспощадное время сместило те живописные мазки и трогательные акценты, которые казались мне бесспорными, тогдашние колоритные

фигуры превратились в серых привидений, и наоборот, пунктирные личности стали великанами.

Совсем недавно я посетил Alma Mater и даже поучаствовал в сборнике мемуаров сокурсников, тиснув туда свой капустник, рожденный в 1957 году и имевший если не фураж, то успех (полковничья шутка). С болью ощупывая тусклым взглядом когда-то почти родные лица сокурсников, я мог узнать лишь некоторых – мираж, Фата Моргана, раздутые тела, потухшие взоры, пародонтозные челюсти, венозные руки, нелепые бородавки на самых неподходящих местах, гейзеры самовлюбленности, увы и ах, это были совсем другие образы, иных уж нет, а те далече.

Я был не лучше, если не хуже.

Мемуары нужно писать и переписывать каждый день, каждый час, каждый миг, и они все равно ни на каплю не приблизятся к реальности, она ускользает от нас, и «поймать ты не тщись, и ловить не берись,- ведь изменчивы луч и волна», как писал Михаил Лермонтов.

И я беру дрожащей рукой перо, и я морщу задумчиво лоб, и кривлю рот, чтобы получалось острее, я ухожу в себя, я выхожу из себя, и что я могу сказать? Что, кроме знаменитого шекспировского “Life’s but a walking shadow, a poor player That struts and frets his hour upon the stage, And then is heard no more: it is a tale Told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing”¹.

Звук и ярость.

¹ Жизнь – лишь бродячая тень, плохой актер,

Что мечется туда - сюда по сцене и молкнет.

Это притча, поведенная идиотом,

Полная звука и ярости,

Не имеющая никакого смысла.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

**ТАК ДИТЯ ПОЯВИЛОСЬ НА СВЕТ, И РОСЛО, НЕПРЕРЫВНО УМНЕЯ.
БЛЕСТКИ БИОГРАФИИ: ВОЙНА И ЭВАКУАЦИЯ, СМЕРТЬ МАМЫ, ЛЬВОВ И
КУЙБЫШЕВ.**

**– Смотри, Пьетро, какие блистающие
глаза у малютки, какой ум написан у него на
лобике! Наверное, он будет если не
кардиналом, то, во всяком случае,
полковником!**

Михаил Кузмин

**Будущий полковник родился в роковой 1934 год (убийство Кирова) в
семье чекиста с 1918 года, женатого на красавице из Днепропетровска. В
доме у дедушки, мамино папы и профессора медицины, я и появился на
свет, свершилось это на улице Карла Маркса² (странно, что дитяню не**

² Изучая географию своих перемещений, я отметил, что Судьба готовила меня на роль
пламенного революционера. В Киеве перед войной я жил на улице 25-го октября, в Куйбышеве –
на Чапаевской, в Москве на улице Литвина-Седого (революционер 1905 года), а потом на
Ленинском проспекте, на ул. Готвальда (лидер коммунистов Чехословакии) и в переулке,
примыкавшем к Безбожному(!), ныне Протопоповскому – в смене названий вся трагедия России.
Впрочем, большевики перенасытили страну своими бессмертными именами, посему вовсе не

нарекли Карлом или, на худой конец, Владленом). Правда, через три месяца мы благополучно возвратились на место постоянной прописки в Даев переулок, что на Сретенке.

Заполним анкету: отец Петр Федорович Любимов, с 1918 г. сотрудник ЧК-ОГПУ-НКВД-СМЕРШ, родом из города Кадома (тогда Тамбовская губерния), семья мещанско-крестьянская, сам папа слесарничал, его мать я не застал, а отца Федора помню в полуподвале на ул. Жуковского, ему стукнуло девяносто лет, он почти ослеп и ласково ощупывал меня руками. Семья была трудовая, папа помог перебраться в Москву и устроил жену брата, слесаря Васи, буфетчицей в чекистский клуб на Лубянке.

Людмила Вениаминовна Любимова (в девичестве Иоффе), Милочка, моя любимая, самая любимая мама, умница и красавица, прожила лишь 38 лет. Помню ее смутно, как некую вечную нежность и заботу.

Захватывающая генеалогия с обеих сторон дальше дедушек и бабушек не вытягивается, никто ничего не записывал, дневников не вел и старался не высовываться.

Взглянем на героя с высоты низколетящего самолета, что избавляет от разгребания завалов души.

Перед вами мужичок с головой длиной в 10,83 дюйма и шириною в 6,36 дюйма (со щеками гораздо больше). В детстве за удлинённый затылок дразнили Геббельсом, нос, к сожалению, не длинный, и не крюком, как хотелось бы, дабы возбуждать внимание дам, а весьма ординарный, небольшой, с заметными кровеносными сосудами (с детства), с годами превратившимися по загадочной причине в склеротические жилки. Выступ надбровных дуг убого мал и не отдает талантом, зато высота лба внушает уважение, лоб растет с каждым годом все выше и выше, превращаясь в позорную пустыню. Уши: мочки нормальные, прекрасный верхний бордюрок, выверта наружу нет, объем противокозелка нормальный, отопыривание отсутствует (*nota bene!*), общая форма – овальная, по периметру ползут одуванчики светлых волос, они вздымаются и вдруг напарываются на

жалею о переименовании родного Днепропетровска в Днепр, хотя украинских нациков терпеть не могу.

черный, неясно, зачем и откуда выросший куст. Владелец головы впивается в эту смоль двумя обгрызенными пальцами, с наслаждением вырывает куст и подносит к глазам, дивясь, что такое может вырасти на человеческом ухе. Пробует добычу на язык, дует в нее изо всех сил, щекочет волосинками нос, чихает и, сдерживая искушение все это проглотить, горько хохочет и с сожалением кидает на пол.

Бесцветны и жидки брови, они нарисованы, словно для подтверждения, что головка сыра суть лицо; узко и безрадостно пространство между зенками, что свидетельствует об остроте ума, а возможно, о тупости; контур фаса – лошадиный, но размытый в ширину все из-за тех же необъятных щек. Глаза серые и невыразительные, шпионско-дипломатические. Рот правильный, почему-то не чувственный, без заячьей губы, он, правда, становится варежкоподобным после стакана кородряги³, зубы все с пломбами, стянуты бюглями, с некоторых слезла эмаль, но все вместе образует великолепную улыбку, по многим свидетельствам, почти единственное достоинство полковника. (Smiling Mike, как потом писали английские журналисты, но писатель Джон Ле Карре меня позже поправил: Smiley Mike, в честь героя его романов, профессионала высокого класса, это льстит). Подбородок не выпирает несокрушимой волей, как у настоящих рыцарей, хотя герой скромно относит к себе строчки Вяземского, посвященные scandalному графу Федору Толстому–Американцу: «Под бурей рока – твердый камень, в волненье страсти – легкий лист».

Сейчас это любопытное соединение щек и задницы начнет ползти и по жизни, и по деятельности.

Итак, антимемуары.

Анти – значит ничто, все вкривь и вкось, все беспорядочно набросано в мешок, как у квартирного вора, никакой хронологии, мозаика, удары кисти.

Исповедь? Разве можно этого ожидать от Will-o'-the-wisp?

Will-o'-the-wisp – это блуждающий огонек, это вылитый я. Они мерцают вдали, милые огоньки, и заманивают путников в болотные топи.

³ Не спеши, мой друг, со временем узнаешь эту тайну.

Серебряных дел мастер и авантюрист Бенвенуто Челлини учил вволю послужить государю, а потом обязательно описать свою жизнь, но сделать это не раньше сорока. Челлини был не писатель, не литератор, а просто человек пишущий. Это намек.

Великий Чосер перевел у Джованни Боккаччо: «Шутник с кинжалом под плащом». У нашего шутника с его избыточным юмором на лбу не написано, что он из КГБ, об этом не знали даже близкие друзья. И это намек.

Льюис Кэрролл играл в куролесы и писал повесть в виде хвоста.

Хвост и антимемуар имеют общее: они оба сзади.

Жизнь проступает пятнами. Она уже вымахала в океан, ее можно окинуть взором и ничего не увидеть, поэтому лучше смотреть в одну точку: пятно – человек, пятно – событие, пятно – дымка, которую сейчас уже не разгадать.

Самое раннее пятно, пророческое: младенец стоит с выпученными глазками в кровати, разминая, размазывая (и поедая) собственное говно, он орет от возмущения, дозываясь мамы.

Пятно кощунственное: Таганрог, 1941, мост у Азовского моря, герой в коротких штанишках, крестом перепоясанных на груди и на спине, указывает грязным пальчиком на священника: «Мама, почему дядя в юбке?». Священник хмуро делает маме выговор за плохое воспитание ребенка, мама тушует и извиняется, мальчик недоумекает.

Пятно фрейдистское: шесть лет, Киев, 1940, улица 25-го Октября; автор играет в «папу и маму» с девочкой Леной. Дети готовят обед в игрушечной кастрюльке, мама баюкает детей-кукол, рассказывает папе о приключениях Карика и Вали (популярная книга). Папа же с интересом смотрит на трусики мамы, он уже знает, чем женщины отличаются от мужчин, но помалкивает.

Совсем фрейдистское пятно: уже семь лет, женская баня в Ташкенте, где загадочно мелькают темные треугольники, бабы ругают маму почему зря: «Мальчик-то уже взрослый! Все видит! Что вы его с собою водите?» Мама утверждает, что мальчик еще маленький, один в мужскую баню ходить не может, а папа на фронте. Дитя опускает глазки с манящих волосатых

треугольников на мокрый пол. Невеликое прегрешение по сравнению с Жан-Жаком Руссо, который не только занимался страшным делом – онанизмом, но и в содомию чуть не влез.

Вот и все самые яркие пятна до семи лет, какая обида что так мало! В отличие от Льва Толстого детство мутновато и несчастливо – сказалась война. Да и ребеночек был замедленного развития. Поэтому мое детство так тяжело и вспоминается – ведь счастье навсегда впечатывается в сердце, а несчастье все же постепенно забывается. Война.

22 июня 1941г. ровно в четыре утра Киев бомбили (жили мы, как и подобало будущему юному ленинцу, на улице 25-го октября), и нам объявили. Отец ушел на фронт, мы остались вдвоем с мамой. Паника, вой сирен, набитые бомбоубежища (нравилось выходить и смотреть на прожекторы, бегущие по небу), в переполненном эшелоне под бомбами добрались до родителей мамы в Днепропетровске. Дедушка Вениамин Борисович Иоффе (недавно узнал, что бывший меньшевик – о, Боже!), медицинское светило, хрупкий интеллигент в очках, бабушка Любовь Борисовна, не работала, писала стихи и тяжело болела диабетом. Рванули переждать войну к тете Ане в Таганрог (все ожидали нашей ранней победы), но немцы наступали. Наш драг нах остен. И какой драг! Додрангались аж до Ташкента. С пересадками, со страхом не попасть в вагон. Переполненный вокзал в Сталинграде: давка, вонь, мешки, люди даже на крышах. Изможденная мама, кое-как устраивает родичей, с рыданиями тычет меня в окно, в руки симпатичных командиров, умоляет проводника впустить ее, но страж – как кремень (страх, что я уеду без мамы, проедает насквозь!), наконец, мама в купе и смеется, и я счастлив, хотя и задыхаюсь от дыма папирос.

Длинный коридор коммуналки в Ташкенте, все завалено саксаулом, сказочные арыки, куда запускал бумажные кораблики, чтение писем от папы с фронта, патриотические ответы в стихах: «Вот лоб суровый, взгляд бесстрашный, револьвер держишь ты в руке, в атаку ходишь ты бесстрашно, и все же думаешь О мне!». Ох уж это "о"! С годами патриотизм крепчал, социальная направленность определяла творчество, и единственным аполитичным стихом (его стыдился и любил) были

несколько строчек о коте Барсике (котов обожал всю жизнь). В школе я проникся ленинским лозунгом «учиться, учиться и учиться!», у соседа по коммуналке попросил Маркса, важно прочитал страницы три «Капитала» (ничего не понял, впрочем, не понимаю и сейчас), но возгордился и ликовал, когда слышал беседы мамы с подругами: «Мишенька осваивает Маркса». Квартира кишела скорпионами, и один злодей меня ночью тяпнул. Визжал я ужасно, ибо его раздавил и еще больше перепугался. Сбежались все соседи, уверили, что сейчас не сезон, и укус не опасен, мертвого скорпиона сунули в банку и залили спиртом – теперь будет противоядие (пить? делать инъекцию? – этого никто не знал). Прегрешения: у добряка-соседа, приобщившего к Марксу, слямзил из шкафа пистолет, но был засечен мамой. Известный эстражник и наш знакомый Илья Набатов посвятил мне стих прямо во время застолья со свиной тушенкой: «Он на вид смиренной барашка, но на деле он герой, у него за ширмой шашка, куча камней за стеной». В нашем ташкентском дворе процветала шпана, нас, мальцов, подкармливали жмыхом и использовали на побегушках, впрочем, мальцы (1-2 классы) живо интересовались тайнами зачатия, оттачивали мат и даже пощупывали девочек, визжавших от счастья. Апофеозом любви было тайное созерцание того заветного, что таилось под юбкой у толстой бабы, торговавшей на высоком крыльце чем-то сладким, ноги она разбрасывала в стороны, обнажая ляжки, и под юбкой синели соблазнительные панталоны. Мы подползали и снизу вождеденно разглядывали.

В начале 1944 году мы с мамой с помощью отца (он прислал ординарца с фронта) перебралась в Москву: аэростаты, немецкие пленные, бредущие по улицам под конвоем. Жизнь у маминой приятельницы Зои Кирилюк в комнатухе на Серпуховке, любил я покопаться в ее шкафу, разглядывая и вождеденно нюхая лифчики, юбки и презервативы, запрятанные в шкатулку, запах был притягивающий, умопомрачительный, словно первый секс. В школе я был чужаком, за это иногда доставалось, особенно запомнилось, как лупцевали ранцами, набитыми учебниками. Телефон - автоматы у метро «Серпуховская», дребезжащий трамвай, погоня за ним, хват за поручни, прыжок на ступеньку, шикарнейший соскок на полном ходу, аттракцион того времени...

Настало время всерьез готовить себя к мировой славе, голоса у вундеркинда не было, пианино шло туго, шахматные таланты не прорезались, рекордов в спорте не ставил. Пришлось последовать примеру русских классиков, входивших в историю с молодых ногтей (правда, я считал, что Пушкин начал писать слишком поздно). Так появился роман из морской жизни, созданный под влиянием литературного мариниста Новикова-Прибоя, страниц десять, написанных кровью сердца («Прекрасный роман, сынок, одно лишь замечание: у тебя адмирал ест мороженое в метро, но разве наш советский адмирал станет это делать?»). Но романы пишутся долго, они ведь должны быть толстыми, а славы хотелось сразу же, одним махом: пришлось наполнить тетрадку стихами, нарисовать иллюстрации (тут помогал дружок) и отправить в «Пионерскую правду», регулярно открывавшую geniев. Ответ – как кулак в нос: «Мишенька! Печатать стихи в газете тебе еще рано. Учись писать правильно. Слова «светИт» нет. Присылай стихи на консультацию...». А как же у Лермонтова: «тихой радости так мимолетный призраК нас манит под хладною тьмой»? Вместе с мамой делали бусы: залезали в прозрачные стекляшки кисточками с краской, мазали сумбурней, чем Кандинский, потом нанизывали стекляшки на толстую нитку, – артель была довольна, бусы, как ни странно, шли нарасхват. Тогда потянуло к девочкам: помнится, сидел на коленях у толстушки (на два года меня старше), пили что-то мерзкое и пели тогда популярное в юношеских низах: «Денег у Джона хватит, Джон Грей за все заплатит, Джон Грей всегда таков!»

Отец в то время по линии вселявшей ужас организации «Смерть шпионам» (СМЕРШ) ловил диверсантов на разных фронтах, один раз приехал в Москву в белом коротком полушубке, на фронте забурел, сморкался прямо на тротуар, зажав пальцем одну ноздрю (до сих пор помню ту желтую соплю, гордо застывшую рядом с парком культуры им. Горького). Я гордился отцом и просил взять меня на фронт хотя бы рядовым.

Страшные дни в пионерлагере под Голицыно: первые в жизни драматические соприкосновения с деревянной уборной, утопавшей в грязи, унижительное сидение над вонючей черной дырой, куда старшеклассники грозили сбросить, нелегкое привыкание городского мальчика к странной

орлиной позе – зачатки ненависти к пионерлагерям, общественным клозетам и прочим формам коллективизма и корпоративности .

В 1944 году после освобождения Львова отца поставили заместителем начальника Управления «СМЕРШ» Прикарпатского военного округа (военная контрразведка, наблюдавшая за армией), в конце года мы переселились из Москвы в типично западный и очень уютный город, где стояли добротные дома и особняки с палисадниками. Город утопал в зелени, весной цвели белые гроздья каштанов на улице Гвардейской (бывшей Кадетской), там недалеко от Стрыйского парка мы и обустроились. Школа с простоватыми, но милыми учителями, день Победы и радостные мужики, палившие в небо из автоматов и пистолетов.

Внезапная смерть мамы (март 1946) в возрасте тридцати восьми лет, завывавшая собачонка Ролька (ее потом загрыз огромный дог), запах свечей в часовне Лычаковского кладбища, первый удар судьбы, я представить себе не мог, как буду жить без мамы. Случилось это в разгар приема гостей, до сих пор помню ее длинное черное платье с кружевами на груди. Диагноз: паралич сердца. И это в 38 лет. Как рано она ушла! Измучилась, издергалась во время войны,- чего стоит наше бегство с родителями из Киева в Ташкент!- похоронила папу с мамой в Ташкенте, сама заболела астмой и курила специальные папиросы. Как жить без мамы? Но отец это хорошо осозновал и старался меня баловать: в отпуск регулярно брал с собой на курорты в Крым и на Кавказ, обустроил в комнатухе для меня фотолабораторию, водил в оперу и оперетту, которые обожал, ибо сам из певчих. Но в сущности, я рос один. В то время, по расписанию Вождя Народов, чекисты и прочие слуги народа работали с 11 до 16, затем обед, а дальше до 3-4 утра... Но папа доставал мне книги, наверное, они меня и формировали. Полные собрания: В. Шишков, А.Толстой, все классики и даже «Совершенно секретно» Р. Ингерсолла и иностранные книги о секретных службах, рассылаемые подчиненным по указанию главы всего СМЕРШа Виктора Абакумова. (Особенно я любил «Тайная война против Советской России» просталинских американцев Сейерса и Кана, там достаточно подробно излагались процессы 30-х годов.). Отец с 1918 г. служил в Тамбовском и Гомельском ЧК, потом перешел в

секретно-политический отдел ведомства в Москве. Гомельское ЧК считалось престижным, ибо инициировало операцию по выводу в СССР Бориса Савинкова. Отец мало рассказывал о своей работе. Ему запомнилось участие в подавлении антоновского восстания на Тамбовщине, там он кого-то по приказу расстрелял, но после подавления мятежа наступили иные времена, и его временно отстранили от работы. Участвовал он в деле Промпартии профессора Рамзина (позже выпущен, создал новый паровой котел и получил Сталинскую премию), присутствовал на обыске жены Троцкого («Вы обыскиваете вождя революции! – кричала она.»). После развенчания Сталина и хрущевских чисток органов отца-пенсионера вызывали по поводу дела какой-то бандеровки (он ударил ее по лицу), но последствий вызов не имел. Впрочем, даже если вдруг обнаружится, что папа лично расстреливал людей, я не перестану его любить – уж такая кровавая была эпоха, порожденная революцией и гражданской войной. Вообще человек должен нести с собой и свои подвиги, и свои грехи, это относится и к стране – негоже сносить или возносить памятники ради сиюминутных политических интересов, народ должен постоянно помнить, видеть и светлое, и темное в своей истории, памятники Николаю II, Пушкину и Сталину должны сосуществовать. Конечно, могут быть исключения временного характера.

Папа утверждал, что именно он с приятелем, будучи в 30-е годы на отдыхе в Симеизе, заметили в своем ведомственном санатории Виктора Абакумова, красавца и бабника, игравшего а теннис, и перетянули его из ГУЛАГа к себе в секретно-политический отдел. Но потом Абакумова пошел в гору, а папу в 1937 году посадили за троцкизм (в котором он не петрил), да и какой троцкист из парня из Кадома (Тамбовская область), с церковно-приходской школой за плечами, потом рабфаком? Отец рассказывал, что во внутренней тюрьме его посадили к редактору «Нового Мира» Воронскому (обычный приемчик Лубянки), через день старый подпольщик и интеллигент Воронский направил записку начальнику тюрьмы: «Уберите от меня этого дурака!». Отец рассказывал и хохотал, ну, куда мне разрабатывать такую глыбу! Просидел папа несколько месяцев, согласно документам, его выпустили 9 июля 1937 года, между прочим,

реабилитировали аж в 1991 году, как жертву политических репрессий (вот бы он хохотал!). После тюрьмы его уволили из органов, но сохранили в запасе и направили в Киев уполномоченным по весам и меро-измерительным приборам (звучит как «Рога и копыта»), однако, в 60-е появился целый Комитет по стандартам, там отец работал уже на пенсии. Но до отставки с Абакумовым связь он не терял. Помню, мама в 1944 г. пошла о чем-то просить Абакумова, он ее принял (я ожидал в приемной на Кузнецком), она вышла сияющая: «Витя совсем не изменился!». Тем не менее, Витя, по словам отца, прямо сказал ему, что никто не понесет его дело в ЦК на повышение до генерала и начальника управления, поскольку он сидел в тюрьме.

Какое счастье!

Иначе папа, уцелев в сталинской резне, наверняка бы попал под каток репрессий в хрущевский период. Как прекрасно, что он, чекист с 1918 года, ушел на пенсию в 1951 году (ему был 51 год!), словно предчувствовал новые времена. Впрочем, он был мелкой сошкой. В интернете я нашел приказ о том, что в 1935 году отец занимал должность пом.начальника 12 отделения в 4 (секретно-политическом) отделе ГУГБ НКВД и являлся старшим лейтенантом госбезопасности (в переводе- майором). Отделение это занималось милицией, разными незначительными организациями. После ареста приказом НКВД СССР № 577 от 23.04. 1937 уволен совсем, но в 1939 переведен в запас. С началом войны сначала направлен в Приволжский военный округ (до 08.07.1942 нач. 2 отделения ОО (Особого Отдела), это военная контрразведка. Затем начальник особого отдела НКВД 2-й истребительной авиационной армии, затем соответственно 1 штурмового авиакорпуса (это Степной фронт), войну закончил подполковником, зам. нач. управления контрразведки СМЕРШ Прикарпатского военного округа с местожительством в гор. Львове, куда мы с мамой и прибыли из столицы осенью 1944 года. У папы имелись два боевых Красного Знамени, один Ленина (за выслугу лет), Красная Звезда, Отечественной войны 1 и 2-й степени, польский орден Вертути Милитари и множество медалей.

Итак, переезд в грациозный особняк в 1946 году, часовой с винтовкой у входа (свирепствовали бандеровцы), недостижимая блондинка Оля в бантиках, с которой все же однажды прошел под руку по улице Академической, обсаженной тополями. За толстушкой Инной ухаживал а-ля маркиз де Сад: стрелял в нее солью из духового ружья, целясь чуть пониже спины. Однажды попал и убил назревающий роман.

Уроки музыки, потные руки, становившиеся еще горячее и мокрее, если об этом думать, проклятый Черни-мучитель, как я ненавидел его этюды! Единственная отрада: пение под пианино «Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка и шарлатанка!»

Пятно животного хохота: школьный карнавал, когда в танце краковяк лопнула бечевка в огромных шароварах запорожского казака, и бедный мальчик, путаясь и потая, с трудом добрался до сортира и там часа два продевал булавкой новую веревку. Среди шумного бала...

Пятно политического негодования: убийство бандеровцами униатского священника Костельника прямо у рынка, а затем и писателя Ярослава Галана, борца с ОУН, его зарубили топором рядом со зданием СМЕРШа. Я знал, что бандеровцы засели в деревнях, однажды они прислали во Львов головы молочниц в бидонах, они поставляли в город молоко. Партийцы выезжали в деревню с оружием, одному знакомому подрезали сидение в деревянном сортире, и он рухнул прямо в дерьмо, еле вылез. Считалось, что с подключением армейских войск с танками и проведением спецоперации под началом генерала Леонида Райхмана с бандитским подпольем покончено уже к 50-м. Сейчас выясняется, что гораздо позже, и вообще вся картина иная.

Грубое пятнище: школа во Львове, бритый наголо, горько пьющий географ в галифе, сопровождавший уроки сочным матом. Наш класс его обожал.

Пятно занудства: преподавательница украинского в оспинках, научившая декламировать стих о Сталине знаменитого Павла Тычины: «Людина стоїть в зореноснім Кремлі, людина у сірій військовій шинелі», – выступал на всех концертах самодеятельности, огромный успех.

В 1949 году отца перебросили в Куйбышев. На такую же должность зам начальника управления контрразведки по Приволжскому военному округу, в общем, близко к отцам города. Там он с огромной выслугой и ушел в отставку в 1951 году, будучи здоровым как бык. Предчувствовал, видно, предстоящие гонения на старых чекистов и расстрел Абакумова.

Школьный драмкружок: там уж я поактерствовал на всю жизнь, репертуар от Сатина и Протасова, через Астрова к современным американским полковникам – исчадиям ада, платонический роман с девушкой Руфой из соседней школы, работа над собой с выписками афоризмов в толстые тетради (на случай выступлений с трибуны ООН). Неудачное обучение плаванию в Волге одноклассника и гения шахмат Льва Полугаевского, который чуть не утонул, и после этого очень на меня разозлился.⁴ А еще я ловил под Куйбышевым карасей бреднем, запер случайно в квартире опаздывавшего на поезд друга отца, за что получил от папы по морде (в первый раз, второй – уже в Москве, когда затанцевал его партнершу, а потом затащил ее в ванную...), собирал на квартире компании, пел с придыханием «Очи черные» под собственноручный аккомпанемент на фортепиано, очень старался. А еще выиграли мы первенство города по волейболу среди школ. Одноклассник Игорь Теплов, потом ракетчик и вообще потрясающе мужественный человек; недавно почивший Осик Ковалевский, сын полка с нелегкой судьбой. А еще был выпускной вечер с вручением золотой медали, вроде бы дававшей право распахивать ногою двери во все вузы без экзаменов, а еще – ночные гуляния у Волги, тогда еще нормально-широкой, а не огромной лужи, изуродованной набережной и водохранилищами, а еще, а еще...

Московский государственный институт международных отношений, все ново, все загадочно, и греют сердце обращения «вам, будущим дипломатам». Впереди – вся жизнь, впереди успех, а пока поездки в подшефный колхоз с питанием одной картошкой – это веселило, и ночью

⁴ Приехал в Самару на презентацию своей книги в 2013 году, школа процветала, ученики смотрели на меня, как на динозавра, город, конечно, сильно изменился, но только не дороги.

соревновались, кто громче пукнет⁵. Подслеповатый, похожий на постаревшего Добролюбова, профессор Дурденевский, ходивший в мидовской форме и пару раз по ошибке отдавший мне честь (я носил старую отцовскую бекешу и сапоги, ноги при этом обматывал портянками, чем гордился). Другой профессор – Сергей Борисович Крылов очень выразительно читал лекции («Во время русско-турецкой войны, когда я был ранен чуть ниже спины...») и, когда одна студентка подбежала к его машине и попросила поставить ей «Зачет», он молвил: «Мадмуазель, я вышел из того возраста, когда принимают зачеты в машине». И, конечно, превосходные преподаватели английского – Людмила Алмазова, Сергей Толстой и другие.

Как ни странно, студенческие годы оставили хлипкие воспоминания: постоянный долбеж огромного числа учебных предметов, работа над собой в библиотеках, невыразительные пьянки, отсутствие пленительных красоток и некрасоток (мешала «проблема хаты»), правда, к концу учебы жизнь озарили капустники, которые я организовывал, появились новые друзья. Неуютная, но счастливая жизнь на Твербуле в крохотной комнатухе, снятой у Дмитрия Александровича Сумарокова, актера театра имени Пушкина – бывшего Камерного (там узнал о режиссере Таирове, великой актрисе Коонен, о пьесах Юджина О'Нила и безыдейном «Багровом острове» Булгакова). Первая любовь, болезненная и долгая, блуждания в районе Патриарших, недалеко от дома Берии (однажды видел, как он прогуливался, незаметно отмахивая ладонью от себя охрану). Семья Сумароковых – Мягких: милая и откровенная Татьяна Вениаминовна, ее нежная дочь Таня, не менее нежная внучка Елена имели на меня огромное влияние. Боготворю эту семью истинных интеллигентов, склоняю голову перед памятью почивших!

⁵ Неприлично мало написал я об Альма Матер. Все мне кажется, что недоучили, недодали драгоценных знаний. Действительно, вместе с религией вынули из головы и часть искусства, и крупных философов (где Бердяев? Ильин? Флоренский? И другие, гордость наша?), забили башку Великой Теорией, которую жевал почти всю жизнь. До сих пор не усекаю разницы между абсолютной и относительной истиной, а в обнищаниях пролетариата совсем запутался. Но разве Институт виноват? Все определяла Системка, bloody system, с нее и спрос!

Смерть Сталина (на похороны не пошел из-за лени и нелюбви к толпе и очередям), признаюсь, что не рыдал от горя, ибо никогда не верил в правдивость процессов 30-х годов. В ноябре 1952 года удалось увидеть живого вождя, вяло спускавшегося с мавзолея, я шел в колонне ликующей молодежи, завершавшей демонстрацию.

Разброд и шатания после разоблачения Хрущевым «культы личности», ожесточенные споры по поводу Сталина, и вновь обретенная, уже по Ленину, вера в коммунизм – счастье человечества. Боже, как я верил в Теорию! Даже видя, что народ вокруг слишком далек от коммунизма, все убеждал себя: правы Маркс и Ленин, все будет хорошо! Неисправимый оптимист. Или дурак.

Попытка личного счастья, поиск Идеала – спутницы жизни а-ля Жорж Санд («когда сей женственный талант бросал перо и фолиант, часы любви бывали сладки – французы так на это падки» – это из институтской стенгазеты), но только покрасивее, искал целеустремленно и чисто, при этом очень уважал отца Сергия за железную волю (пальцы стал рубить в более зрелом возрасте). Записка от сокурсницы: «Я не знаю, Христос ли ты, но единственное, в чем я уверена: я не Магдалина и мне не нужны святые объятия пастора ни в коем случае, будь то пастор из монахов Боккаччо или фанатик, уничтожающий свою плоть. Аминь!» За что? Даже не целовались. Теперь понимаю, что именно за это.

Прощальная выставка Дрезденской галереи, взволновавшая Москву, там спустя многие годы появились полузапрещенные импрессионисты, да и Мадонна с младенцем ослепляла. Встреча с первой женой, красавицей Катей Вишневской, жившей в домике на ул. Огарева (деревянный ангел висел в коммунальной комнате), тогда студенткой Щепкинского театрального училища. Познакомила нас Ада, жена известного художника Владимира Милашевского, он учился у Добужинского, в графике считался непревзойденным. Наши отношения развивались медленно, Катя жила со своим гражданским мужем-актером, а я, холостяк, уже был призван на работу в Финляндию по линии МИДа.

Тусклая практика в отделе печати МИДа, мои статьи в советской печати под псевдонимом с критикой американских корреспондентов, отдел возглавлял Леонид Ильичев, мне он запомнился своим непочтительным отношением к западным корреспондентам. Человек неординарный, бывший моряк, ставший затем грозным секретарем ЦК по идеологическим делам, с его подачи Хрущев громил выставку художников в Манеже. Любил он после заграничной поездки собрать отдел и показывать фокусы, натягивая на руки с вытравленной татуировкой какие-то замысловатые ниточки. В отделе печати я сошелся с Сашей Бессмертных, тогда атташе, вымахавшем при Горбачеве в министра иностранных дел СССР. Саша отличался пытливым умом и эрудицией, мы оба искали будущих жен, ходили по гостям, выпивали, но потом пути разошлись. В то время я впервые узрел бывшего министра иностранных дел Вячеслава Молотова, ближайшего соратника Сталина: однажды он по ошибке заглянул в наш кабинет, а в другой раз я, как истинный филер, пошел у него в хвосте от здания МИДа, довел аж до магазина политической книги, что был на нынешнем Камергерском, там Вячеслав Михайлович поинтересовался, имеется ли в продаже советская конституция. Увы, оной не оказалось, он очень вежливо поблагодарил и ретировался. Зачем ему понадобилась конституция? Искал нарушения законности, которую никогда не соблюдал? Но я был поражен скромной фигурой великого человека, идущего запросто по московским улицам, без всякой охраны, словно он простой трудяга, многие его узнавали и, оторопев, изумленно оглядывались, не веря глазам своим.

Но вот распределение в Финляндию, прощай предыстория, ты оказалась такой короткой, здравствуй, зрелая жизнь, переполненная подвигами на ниве заграничного фронта. Вперед под звуки марша, под музыку Судьбы, сверкните неповторимой улыбкой, сэр, но не застывайте в ней, помня об отскочившей эмали на зубах, вдохните и выдохните воздух!

Я просил своего близкого друга, доктора геологии Игоря Крылова, гения и очень близкого друга еще со времен Куйбышева, посвятить мне венок сонетов, он и написал:

«Мой друг, спешу тебе ответить,

Творец, мыслитель и поэт,
Зачем тебе венок сонетов?
Я напишу тебе букет.
Ведь согласишься со мной, мой милый,
Что в буче нашей боевой
Венки мы ставим у могилы,
А ты еще – вполне живой.
А коль взглянуть на дело трезво
(Светоний это описал),
Венок придумал Юлий Цезарь:
Он плешь венками прикрывал.
Зачем тебе такие вещи?
Ведь череп твой ничем не блещет!»

Череп, действительно, не блещет, но зато какой хвост!

И я исчезаю из предыстории, как Чеширский кот: первым – кончик хвоста, последней – улыбка. До этого она долго парила в воздухе, удивляя Алису: ведь она видела котов без улыбки, но никогда не подозревала, что улыбка может быть без кота.

Улыбка тем временем опускается вниз на грешную землю, прямо между разведкой и литературной жизнью.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ДУНЬКУ, НАКОНЕЦ-ТО, ПУСТИЛИ В ЕВРОПУ, И ВОТ ОНА САМОЗАБВЕННО ПОЖИРАЕТ ГОРОХОВЫЙ СУП СО ШКВАРКАМИ И ЧИТАЕТ ЗАПРЕТНЫЕ СВИТКИ. ПЕРЕХОД В КГБ, РАЗВЕДШКОЛА И ПЕРВЫЕ АНГЛИЧАНЕ.

Король. Так приготовься. Корабль уж снаряжен, благоприятен ветер, отплыть в Англию ждут спутники, и все готово.

Гамлет. В Англию?

Король. Да, Гамлет.

Гамлет. Хорошо.

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.

Привет, неуловимый, загадочный Альбион! Предрассветный Пэл-Мэл, по нему гнал я безбожно кар, мчался на первое свидание с сыном в Майл Энд, бывшие трущобы Ист-Энда, воспетые в свое время Джеком Лондоном и другими обличителями капитализма. Именно там и находился роддом, где трудились акушеры-коммунисты и потому риск погибнуть во время родов был гораздо меньше, чем в буржуазных больницах, где все, как известно, подвластно звону злата.

Привет, универмаг «Маркс и Спенсер», не бивший ценами по голове, как помпезный «Хэрродс», а дешевый магазин, не зря ведь носил святое имя Основателя! (Кстати, философ Спенсер похоронен недалеко от Маркса на Хайгейте, и это укрепляло репутацию магазина среди совколонии.) Там, стыдно признаться, меня, великого дипломата и шпиона, иногда покупатели принимали за сирого продавца и просили показать то терку для овощей, а то и жилет – наверное, на физиономии моей лежала печать предупредительной услужливости, недаром возвращен я был во времена Первого Машиниста Истории.

Привет, викторианский «Беркли(Бакли)-отель»⁶, грузноватое украшение Пикадилли, – «Прощай, Пикадилли, прощай, Лестер-сквер, далеко до Типперери, но сердце мое здесь!». И олени, гулявшие по лужайкам и газонам Ричмонд-парка, вечная загадка для русской души, ибо голову сломишь, но не поймешь, почему, несмотря на бродячие и лежащие толпы, трава в Англии дышит свежестью, а в родных пенатах, где ходить по ней строго запрещено, все вытерто и серо.

И коттеджи Челси в георгианском стиле с цветами на подоконниках и кожаными чиппендейлскими диванами, под которые тянуло заглянуть – вдруг там пресловутые скелеты в шкафу.

Looking at things and trying new drinks⁷.

Шел я к великолепному Альбиону извилистыми тропами: в модном, но еще демократическом МГИМО растили из меня американиста, вырастили полускандинава с ужасным шведским, но, как повелось в нашей плановой державе, загремел я на работу в посольство в Финляндии, хотя по-фински не знал ни слова. Там я тихо тосковал, штемпелюя визы в консульстве, пристрастился к гороховому супу со шкварками и разогретому клюквенному соку, которым торговали прямо рядом с лыжной в Лахти, пытался понять «сухой закон» и увязать его с пьяными в дым на улицах. И, конечно же, разинув рот, глазел на витрины (после дефицита в СССР они казались неслыханной роскошью), бегал в кино и до такой степени наслаждался свободой, что даже купил «Доктора Живаго» на английском, правда, не рискнул приобрести лежавший на другом прилавке русский оригинал, ибо его окружали Бердяев, «Грани», «Посев» и прочий антисоветский ужас, и я подозревал, что с покупателей этой секции не спускает глаз Большой Брат. Этот страх в разных видах преследовал меня всю жизнь. Я надеялся избавиться от него, поступив в разведку и получив свободу чтения чего угодно. Так и получилось. Но в Москве эта свобода исчезала, как дым: следовало избегать любых несанкционированных контактов с

⁶ Не дай Бог, «Беркли»! Помню, как в лондонском метро презрительно смотрели на янки, говоривших «Лесестер-сквер», а не «Лестер-сквер» !

⁷ Смотреть на мир вокруг и пробовать новые напитки. Короче, ни дня без строчки.

иностранцами, и задница покрывалась потом, когда на скамейку рядом вдруг садился по заграничному одетый человек. Более того, нам, разведчикам, опоре державы, категорически запрещалось давать домашние адреса. Только в перестройку, после бессонной ночи и тяжких мучений я впервые решился пригласить к себе на квартиру англичанина.

До сих пор с ужасом вспоминаю, как накануне поступления в институт международных отношений в 1952 году, прямо у Большого театра, куда я пришел считать колонны (на собеседовании интеллектуальная профессура обожала подкидывать подобные вопросы, еще мучили фамилиями генсеков всех стран мира), ко мне подошел низкорослый субъект в усиках и берете, взял под руку и залопотал: «Какой красивый мальчик! Какие у него губки! Мальчик, ты не хочешь пойти со мною в кафе-мороженое?» Боже! кто этот тип? – о сексуальных меньшинствах я тогда и не подозревал, зато, будучи воспитанным в духе чекистской бдительности, видел везде козни американской разведки. Неужели они узнали о моем желании поступить в элитный МГИМО? Попытка вербовки, тонкий подход? Поражало, что щупальца империализма проникли столь глубоко в советскую почву. Откуда они узнали обо мне? неужели мои друзья – это вражеские агенты? или американцы внедрились в приемную комиссию? Происшествие выглядело совершеннейшим ЧП, и, поскольку от родины и от партии у меня в то время не было секретов (а вы говорите, что не дурак!), я собрался вывалить всю эту детективную историю на собеседовании. Уж не знаю, какие трансцендентальные силы удержали меня от чистосердечного признания, правда, долго из-за этого я чувствовал себя неуютно – ведь не доложил! ведь предательство начинается с малого!

...В посольстве многое выглядело чертовщиной, окутанной пеленой важности и секретности: кто-то делал вырезки из газет, кто-то делал запись беседы с принятым в МИДе комическим заголовком «Из дневника N.N.». Кто-то ничего не делал, но делал вид, что сворачивает горы, на приемах все дружно напивались, а на следующий день говорили, что прием прошел хорошо, и на нем отлично поработали. А я страдал в своем консульском отделе и думал: неужели я родился для виз и справок о невыносимом

положении финских трудящихся? Горьковский монолог Сатина в «На дне» о Человеке, рожденном для лучшего, крепко сидел в моих мозгах.

И в этом занудстве будней временами появлялись таинственные люди, снисходительно взиравшие на нас, тихих мышек – сотрудников МИДа, они вылезали из шикарных заграничных лимузинов, по лицам их блуждала озабоченность, словно в предвесье войны. Они негромко переговаривались на своем профессиональном сленге и спешили в Кабинет – иной буквы, кроме заглавной, и не поставить! – где сидел резидент КГБ, человек всесильный, паривший где-то высоко над послом в невидимых облаках и вершивший настоящие дела, явно не имевшие ничего общего с бумажной суетой.

О, секретная служба, как жаждал я приобщиться к твоему рыцарскому ордену, к основе основ нашего непобедимого государства, как мечтал я войти в когорту отважных и посвященных, у которых были холодная голова, горячее сердце и чистые руки!

И вошел.

Очень скоро я начал помогать разведке, и был нацелен на прыщавую долговязую девку-курьера из очень враждебного американского посольства, которую я должен был изучать и обрабатывать, постепенно завлекая в лоно. Горд я был ужасно – наконец почувствовал себя Человеком, а не клерком, наконец, обрел долгожданную свободу и отныне меня не отторгали от иностранцев, наоборот, дали зеленый свет и бросили в гущу финляндской жизни. Ощущение свободы особенно волновало, моя влюбленность в фирму была посильнее страсти Ромео. Девка-курьер почему-то не спешила передавать секретные пакеты с сургучными печатями, хотя я всячески намекал ей на розовое будущее. Мой покровитель – консул Григорий Ефимович Голуб (потом Катя свела его с подругой по театру актрисой Людой, они поженились, их дочь талантливая Марина Голуб известна всей стране) был строг, как Берия, и предупредил, чтобы я не вздумал заводить с курьершей шуры-муры («КГБ знает все! Каждый твой шаг, каждый вздох! Даже у нее на квартире!») и работал на сугубо идейной (!) основе. Я и работал идейно, больше всего боясь, что она вдруг прильнет ко

мне всеми своими прыщами (консул Григорий вконец запугал меня провокациями, направленными на подрыв страны). Курьершу мой платонизм, по-видимому, не устраивал, службой она дорожила, и вскоре дала мне от ворот поворот.

Впрочем, моя ретивость, очевидно, произвела впечатление, и мне предложили перейти в кадры разведки (несколько ночей я не спал от счастья, фантазировал, видел себя в «Подвиге разведчика», когда невозмутимый красавец Кадочников бросал в лицо врагу: «Вы болван, Штюбинг!»).

Разведшкола КГБ №101. После интенсивных занятий в МГИМО годовичные курсы в разведывательной школе под Москвой показались семечками. Там снова навалились разного вида истории любимой партии, партсъезды и партконференции, «Материализм и эмпириокритицизм»⁸, от которого, наверное, не раз переворачивался в гробу епископ Беркли, снова пришлось жевать отчеты генсеков и прочие партийные шедевры. Отраду душе давала превосходная английская библиотека, рисовавшая гораздо более яркую картину советского шпионажа, чем перегруженные трюизмами, до неимоверности законспирированные учебники ветеранов, перековавших мечи на орала. Лекции и школьных оракулов, и приглашенных генералов давали мало пищи уму не только из-за зашоренности выступавших, но и вследствие жуткой конспиративности, иногда напрочь лишавшей смысла почти любое выступление. Только иногда вспыхивали светлые пятна.

Если бы не два иностранных языка (кто изучал, кто совершенствовал), мы, уже оперившиеся слушатели, наверное, умерли бы от безделья. Развлекали спорт, дерзкие рейды в соседние селения, где иногда удавалось прикоснуться к гетевскому «вечно-женственному», американские боевики и сладостные уик-энды в Москве. Юноша в то время я был предельно серьезный, преданный идее самоусовершенствования, потому навалился на французский язык, осилил четыре семестра и гордо читал на выпускном

⁸- Говорите по-человечески, - сказал Орленок Эд. – Я и половины этих слов не знаю! Да и сами вы, по-моему, их не понимаете. Льюис Кэрролл

вечере стихи Превера о возлюбленной Барбаре, шедшей под проливным дождем где-то около Бреста.

Любимым нашим приветствием по-французски было: *Quest qi l ya de nouveau dans la vie sexuelle?* (Что нового в сексуальной жизни?). Уж не такими мы были тупыми монстрами, сморкавшимися в салфетку, нам, как и Марксу, ничто человеческое не было чуждо.

Наиболее яркими и полезными оказались практические занятия в городе: встречи с «агентурой» (как правило, подрабатывающие отставники), проверка под настоящей наружкой (они тоже учились), подбор и закладка тайников. Помнится, в пивном баре в парке имени Горького я встретился с «агентом» (это был, как потом я узнал, прославленный ветеран Федичкин), который вдруг сделал испуганное лицо и зашептал, что мы окружены вражеской наружкой. Проявив потрясающую находчивость, я его успокаивал, видимо, преуспел и в итоге прошел проверку на вшивость.

На нашем подготовительном курсе учились ребята, уже побывавшие за границей по линии других ведомств, многие сделали большую карьеру: Радомир Богданов украсил грудь орденами, работая резидентом в Индии, Владимир Казаков ухватил генерала и трудился резидентом в США, Эдуард Иванян рано ушел в отставку и возглавил российский центр по изучению США.

Сначала меня планировали возвратить в Финляндию, причем в качестве корреспондента «Труда», но вскоре планы поменялись. Не знаю почему, но острый глаз шефа отдела, блестящего Евгения Анатольевича Тарабрина, распознал во мне кадр, место которому не в нейтральной затхлой Финляндии или провинциальных Норвегии и Дании, а в бывшей мастерской мира и владычице морей, – видимо, уже тогда было что-то во мне, напоминавшее о сэре Уинстоне.

Об Англии я кое-что знал с давних пор и даже читал в оригинале Шекспира. Гордясь собственной ученостью, зазубривал такие диковинные идиомы, которые не могли понять даже образованные англичане (не говоря о примитивах-американцах) и, уж конечно, наелся вдоволь британской классики, особенно медлительного и очень светского Голсуорси. От

современных писателей нас деликатно ограждали, боясь отравить сознание, за исключением прогрессивных Джеймса Олдриджа и Джека Линдсея. Первый в «Дипломате» талантливо интриговал имиджем прозревшего английского дипломата, протянувшего руку социализму, второй бередил сердце невыносимыми страданиями английского пролетариата. Еще был южноафриканский Питер Абрахамс – борец против апартеида. Лед, правда, постепенно таял, и уже появились Моэм, Грин, Уэйн и Брейн.

Диккенс и Теккерей вроде бы жили и в наши дни – ведь ничто не изменилось в старой доброй Англии: в частных школах орудовали розгами жестокие педагоги, бедные Джейн Эйр безнадежно влюблялись в самодовольных пэров, и страсть их разбивалась о рифы сословного неравенства. Вокруг бродило мерзкое жулье вроде Урии Гипа, ростовщики бросали несчастных нищих в долговые ямы, а лицемерка леди Шарп из «Ярмарки тщеславия» дерзко пробивалась из грязи в истеблишмент, торгуя совестью и телом. И над всеми этими причудливыми английскими судьбами, словно божественное ослепительное солнце, высился бородатый гигант Карл Маркс, сумевший проверить на Англии свои универсальные законы, – ведь там началась первая промышленная революция, там, наконец, незрелые луддиты дали толчок пролетарскому движению.

Англия – Антанта, Англия – интервент, нота Керзона, игры с Гитлером и Мюнхен, затяжка «второго фронта», речь Черчилля в Фултоне, Англия – заклятый враг, тонкий и хитрый в отличие от прямолинейного дядюшки Сэма. Удивляло, что мудрый Сталин разрешил английским коммунистам (и только им!) переходить от капитализма к социализму мирным парламентским способом, а не проверенным способом: революционным уничтожением граждан, обожавших буржуазный строй. Меня эта ересь вождя даже смущала: теория должна быть четкой, и нет иного перехода к социализму кроме Октябрьской революции. (Явный троцкизм, суливший мне в тридцатые годы вышку.) Британский лев отличался коварством. Достаточно вспомнить капитана Крэбба, английского разведчика-водолаза, поднырнувшего под советский крейсер с Булганиным и Хрущевым во время

стоянки в Портсмуте, дабы изучить секретные механизмы. Газеты писали, что его пришибли в воде, – поделом ему, думал я, застиг бы его за этим грязным делом, двинул бы самолично кирпичом по голове.

Так я готовился к своей битве за Англию, корпел над разномастными фолиантами, включая даже стилизованный роман Голдсмита о похождениях китайца в Лондоне (возможно, самое удачное пособие для русского разведчика). Мечтал о дерзких акциях, о кражах самых страшных секретов, жаждал циркулировать в правительственных кругах, кого-то похлопывать по плечу, кому-то жать руку, кого-то ласково обнимать и – вербовать! вербовать! вербовать!

Впрочем, с живым Джоном Булем я встречался не только в теории, судьбе угодно было столкнуть меня с Альбионом в институтские годы, когда еще студентом я подрабатывал в «Интуристе» в середине 50-х годов.

Организация тогда только начала оперяться и принимать первых туристов, расстилая перед ними скатерти-самобранки самого-самого в мире социалистического общества. Иностранцам демонстрировали лучший в мире университет, лучшее в мире метро, успехи колхозного строя на Сельскохозяйственной выставке, и не дай Бог туристу отойти в сторону от проспектов и сфотографировать нетипичную лачугу, белье, сушившееся на веревках, или помойку во дворике. Вначале в СССР приезжали единицы, отчаянные смельчаки, но как их принимали, как кормили, как упайвали до положения риз под флагом знаменитого русского хлебосольства! О, монбланы зернистой и паюсной икры, о, нежные, как дыхание весны, ломтики осетрины, лососины и белуги! Как тоскую я по вереницам бутылок с живительным грузинским вином, тогда еще не разбавленным водой... Ошеломленный турист бродил меж всех этих яств, расплачиваясь талонами (намек на отмену денег при коммунизме), и незрелыми своими мозгами переваривал все преимущества социалистической системы.

Мой первый англичанин оказался заядлым путешественником и кинолюбителем, он громко хохотал, раздувая розовые щеки и разрушая все мои представления о приличиях. Он жестикулировал у моего носа, быстро ходил, почти бежал, мгновенно возбуждался и возмущался (просто какой-то

итальянец или грузин!) особенно, когда во время его незапланированных бесед с некоторыми чересчур прозападными советскими гражданами, я переводил лишь те части их высказываний, которые совпадали с общей политической линией. Как я намучился с его кинокамерой! – ведь он пытался снять даже такой секретный объект, как здание КГБ на Лубянке, он нацеливался даже на такое важное стратегическое место, как Крымский мост. Да и с пропагандой все шло вкривь и вкось: он все время сбивался с проверенных маршрутов у Красной площади, уходил с улицы Горького в грязные боковые переулки, неожиданно спускался в подвалы, вереща своей чертовой кинокамерой, заговаривал со стилистами, позорившими облик советского человека узкими брюками, длинными пиджаками, туфлями на каучуковой подошве и любовью к джазу.

Перед вылетом в Ташкент, где мой англичанин планировал заснять восточный вариант советского счастья, у нас произошло ЧП, при воспоминании о котором и сейчас меня бросает в дрожь: оказался на ремонте туалет и мы заметались по аэропорту в поисках радости. Наши бега настолько затянулись, что мой быстроногий спутник уже напоминал большую взъерошенную курицу с остекленевшими глазами, спасавшуюся то ли от злого волка, то ли от ревущего сзади самосвала. Но вот, наконец, заветная дверь кабины, он рванул ее на себя со всей силой великого путешественника и метателя молота... В то время я немного стыдился грязи в отечественных клозетах, хотя потом, в Лондоне, обнаружил почти полное сходство, разве что наши матерные граффити на стенах явно уступали басурманским по изощренности. Но дело было не в загаженности: как известно, в наших туалетах обычно по загадочной причине сломаны внутренние запоры (то ли у клиентов слишком много времени и они попутно отрывают щеколды, то ли ожидающие взламывают кабины и выбрасывают оттуда тех, кто имел несчастье задержаться, то ли хитроумные власти специально ломают замки в целях предупреждения гомосексуализма) – «воистину, есть много вещей в этом мире, Горацио, что недоступны нашим мудрецам!». Итак, он рванул дверь на себя, и оттуда... выпал прямо на кафельный пол седой человек в усах, сидевший на корточках прямо на пожелтевшем унитазах, упал не рядовой гражданин, а самый настоящий

полковник в погонах, он держался за ручку двери без крючка, охраняя свой покой, и теперь барахтался на грязном кафеле, путаясь в подтяжках. Скандал разразился превеликий, и не помогли мои заклинания о дружбе между советским и английским народами. Мат стоял крепкий, полковник схватил моего англичанина за лацканы пиджака, и если бы не мои вопли об ответственности перед королевой и Министерством иностранных дел, то случилось бы страшное. Этот эпизод, как ложка дегтя, испортил все мои старания, пропагандистские достижения мигом пошли насмарку, и я дрожал, что он уедет врагом нашей гостеприимной державы, да еще станет антикоммунистом, да еще статью тиснет и меня упомянет, - о, как хрупка жизнь будущего дипломата!

О втором англичанине профессоре Лондонской школы экономики Ральфе Милибанде я не хотел писать, но его сын (или внук?) стал министром иностранных дел Англии, а потом лидером лейбористской партии – повод посветиться и мне. Ральф был настоящим правоверным марксистом (КПСС не признавал), отличался корректностью и всегда говорил "Извините", когда я пропускал его вперед, открывая дверь. Его я тоже старался уберечь от негатива. Но однажды мы полетели в Бухару, осмотрели все тамошние красоты, но вдруг погода испортилась, и, к несчастью, пришлось возвращаться поездом (поездом иностранцев обычно не возили, слишком много они бы узнали!). В нашем купе лежала толстая узбечка в халате и с грязными, потрескавшимися ступнями (видимо, прямо с хлопковых плантаций), а с верхней полке немного подванивало от вдрызг пьяного субъекта в кальсонах. Весь состав был переполнен офицерами в кителях с орденами на груди и, как ни смешно, в пижамных штанах, тогда, кстати, пижамы иногда надевали на курортах как крик моды. Конечно, Ральф был шокирован, но невозмутим. Когда узбекская дама начала переодеваться перед сном, как истинный джентльмен, он вышел из купе. В общем, мужественно перенес это столкновение с советской действительностью, с марксистских позиций не сошел и благополучно вернулся в Англию, так и не возлюбив Страну Советов.

Перед поездкой в Лондон меня вызвал шеф английского отдела и сообщил, что столицу осчастливили визитом лорд Бессборо и писатель

Норман Коллинз. Мне рекомендовалось познакомиться с высокими гостями как представителю МИДа, закрепить свою дипломатическую «легенду» и по приезде в Лондон использовать этих англичан. Не было сомнений, что аристократы не рискнут притронуться к устрицам в своих клубах без приглашения меня в сотрапезники. Вскоре я официально предстал перед англичанами как третий секретарь второго Европейского отдела МИДа, и мне поручили переводить некоторые беседы в различных культурных учреждениях вроде ВОКСа и Минобразования, дело ответственное, без этого, наверное, англо-советские отношения скрутили бы полярные морозы.

С лордом Бессборо возникла проблема: как правильно к нему обращаться, не называть же его «милорд», словно при дворе короля Артура, сняв шляпу и склонив голову? Называть «сэр», словно он – плантатор, а я – дядя Том? Может, «масса Бессборо»? Никогда коммунары не будут рабами, никогда! В панике я выбрал самое, как оказалось, оскорбительное: обратиться к рыцарю Ее Величества как к мистеру Бессборо (говорят же «мистер президент» в Америке!). Позже мне объяснили, что это равносильно именованию генерального секретаря «дядькой» или «бородой». Услышав «мистер», лорд окаменел, скрипнул челюстями, словно Наполеон на Бородино, завидевший конницу Багратиона, – после этого я для него умер, исчез, как сон, как утренний туман.

Норман Коллинз, истинный представитель высоколбой богемы, оказался компанейским человеком и настолько проникся ко мне симпатиями, что прямо из британского посольства послал с курьером свою книгу «Лондон принадлежит мне» с прочувствованной дарственной надписью (название книги очень соответствовало моим настроениям). Впрочем, писателя ждало разочарование: вскоре ему позвонили из экспедиции МИДа и ласково сообщили, что адресат в означенном учреждении не числится, возможно, книгу нужно послать в Министерство культуры? Удивленный писатель тогда позвонил в справочное бюро МИДа, где получил аналогичный ответ. Итак, вся моя легенда третьего секретаря в один миг треснула и запылала ярким пламенем.

«Они только мешают нам, эти идиоты! Чем они вообще занимаются? Их давно нужно разогнать!» – кабинет шефа набух от животворного мата, все возмущались и говорили о предательстве государственных интересов. Шеф полыхал и обзванивал и своих генералов, и деятелей ЦК, разнося вероломное внешнеполитическое ведомство в пух и прах. Затем позвонил прямо в МИД, правда, беседу вел в дипломатических тонах. Дипломаты каялись, но оправдывались, и вполне резонно: в штаты министерства меня официально не ввели, кто в экспедиции, получавшей почту, мог знать, что я – молодой дипломат? – ведь МИД далеко от КГБ⁹. Впрочем, МИД на бой не пошел, МИД боялся КГБ, как огня, зная, что здравые аргументы в советской внутренней кухне никакой роли не играют. Но что делать? Неужели загубить на корню старшего лейтенанта – надежду лондонской резидентуры? В кабинет были немедленно призваны лучшие головы отдела, и на свет появился спектакль а-ля встреча Остапа Бендера и Шуры Балаганова, двух детей лейтенанта Шмидта, в кабинете председателя исполкома («Вася! Родной братик! Узнаешь брата Колю?»). На следующее утро я уже фланировал по величественным коридорам, ожидая прибытия злосчастной пары на очередные переговоры.

Джентльмены уже засели у шефа «второй Европы», меня тут же забросили в кабинет на том же этаже, – ощущения спринтера на стартовой черте, застывшего в ожидании выстрела спортивного пистолета. «Вышли!» – прошипел, наконец, перепуганный голос по телефону, и я вылетел к лифтам, сжав для убедительности в руках папку с тиснением «На подпись» (явно на подпись тов. Громыко А.А.). Сцена воссоединения была настолько трогательной, что взбудоражила всех сотрудников, толпившихся на площадке: «Ба! Кого я вижу! Какими судьбами? Какая встреча!» – я чуть не падал в объятия потрясенных от счастья джентльменов, причем, объятия честнее отнести к области воображения. – «Очень рад вас видеть! – спокойно заметил Коллинз (лорд смотрел на меня, как солдат на вошь). – «Я как раз послал вам...книгу». – «Да, да, – перебил я его, изнемогая от благодарности, – да, да! Спасибо! Мне уже передали! Огромное спасибо! А

⁹ - Ах, что такое далеко? – ответила Треска. – Где далеко от Англии, там Франция близка.

ведь сначала, представьте себе! решили, что я тут не работаю». И я, как конь, заржал, поливая презрением и мидовский бюрократизм, и неосведомленность справочного бюро, и неразбериху в экспедиции, и прочие безобразия, вызвавшие роковую ошибку. Сцена у фонтана удалась на славу (так казалось простаку), распрощались мы мило, доволен я был беспредельно, шеф тут же доложил наверх, как мы ловко исправили преступные промахи вечно беспечного МИДа, правда, в Англии любимцем джентльменов я почему-то не стал, хотя однажды любезный Коллинз пригласил меня в свой коттедж на обед. Как я ни старался покорить его своей любовью к культуре, в литературные друзья он меня не взял, творений мне своих не посвятил и по диккенсовским местам не водил. Милорда же я как-то встретил на ежегодной конференции консерваторов, он был сдержанно вежлив, подняв бровь, выслушал мое сообщение о результатах скачек в Дерби (тогда мне казалось, что разговор о лошадях – это *must* в английском свете), и мы, поклявшись увидеться в ближайшее время, нежно расстались навеки.

...Но вот уже 1961 год, еще не списанный дореволюционный мягкий вагон, купе с ручкойником, отделанным бронзой, и мы с женою, молодые и красивые, среди коробок и тюков, набитых кастрюлями, бельем и прочими бытовыми предметами (очень не хотелось тратить драгоценные фунты из зарплаты меньше, чем у английского дворника, но в наших глазах равной кладу капитана Флинта). Хук-Ван-Холланд, паром через Ла-Манш на Харич, тогда скромненький порт, да и наш паром мало напоминал приличествовавший событию фрегат под парусами. Я надвинул шляпу на глаза а-ля капитан Немо (ещё бы черный плащ и бинокль – тут уже ни у кого не осталось бы сомнения, что прибыла важная птица). Берег приближался, грудь распирала гордость от возложенной на меня шпионской миссии, охватывало предвкушение опасного труда – так, наверное, чувствовала себя великая шпионка-танцовщица Мата Хари в своем парижском салоне перед тем, как прыгнуть в кровать к французским офицерам. Правда, снедало и беспокойство, но не столько из-за боязни безжалостных капканов контрразведки МИ-5, сколько из-за смогов, которым посылал в свое время проклятия Карамзин: «Я не хотел бы провести жизнь мою в Англии для

климата сырого, мрачного, печального». Подобного климата я так и не ощутил, но тогда страшился грязных туманов, – ведь мы ожидали ребенка и не хотели, чтобы малыш глотал проклятую сажу¹⁰. Однажды смог все же навалиться на город, закутал его в такое грязно-молочное облако, что замерли автомобили, лишь некоторые смельчаки ползли, словно черепахи, с включенными фарами, и даже по улицам приходилось идти медленно и осторожно, вытянув руку вперед, как слепому, оставшемуся без поводыря.

И вот посольство на «улице миллионеров», в Кенсингтоне, с обеих сторон – чугунные ворота, вход охраняли верзилы в черных цилиндрах, по совместительству агента МИ-5, каждый въезд и выезд, вход и выход отражаются в эфире, который мы слушаем в резидентуре и делаем выводы.

Высочайшей волей резидента мне было повелено штурмовать бастион истеблишмента – консервативную партию Англии, партию тех самых упрямых, твердолобых тори, основанную преумнейшим Бенджаменом Дизраэли, который был не только искусным политиком, но и жизнелюбом, прижившим пятерых детей от жены своего приятеля, лорда Купера. Вот они, сытые буржуа, твердящие о морали, не зря их клеймил Ильич: «Везде и всюду они лицемерны, но едва ли где доходит лицемерие до таких размеров и до такой утонченности, как в Англии».

Своей миссией я был польщен, ведь гораздо сложнее работать не в тех кругах, которые еще держали в святых Маркса или, по крайней мере, основателя социал-демократии ревизиониста Бернштейна, и не бежали от советских дипломатов, как черт от ладана, а там, где закаленные, убежденные слуги золотого мешка. Значит, начальство меня ценило, если нацелило на цитадель, именно мне суждено было стать хитроумным змием-разрушителем, который вползет в набитую секретными нору и разворотит все консервативные ульи. Не лейбористскую партию мне поручили, – кому нужны эти работяги? – не продажные тред-юнионы, а тех, кто засел в Форин Офисе и самых горячих министерствах...

¹⁰ Тогда я еще не прочитал у Оскара Уайльда, что в Лондоне не бывает туманов, и их придумал Тёрнер.

Мне виделся подтянутый молодой человек в безукоризненном, сугубо английском костюме в полоску, с тщательно подобранным галстуком (нравились галстуки выпускников аристократической школы в Итоне – темный фон, перечерченный ярко-голубыми полосами, страсть к полосам не покидает меня и по сей день), молодой человек, небрежно беседовавший на балу в Букингемском дворце с английским министром обороны. Министр крутился, как уж на сковороде, увиливая от прямых ответов, и сам думал: «Боже мой, неужели у русских есть такие умные ребята? С ним ухо нужно держать востро! Да он, пожалуй, осведомлен о состоянии нашей обороны лучше, чем я. И как молод! как элегантен!»

Но до Букингемского было еще далеко – для начала нас с женой поселили в сыроватом полуподвале дома на Эрлс-Террас (Кенсингтон), окнами выходявшем на по-хорошему русскую помойку: так складывался обычный путь эволюции новоприбывших – от низшего к высшему, – большинство дипломатов жили скученно в коммуналках (посольство в те годы не оплачивало квартиры, а нам они были не по карману) и улучшали свои жилищные условия по мере отбытия своих коллег в родные пенаты. В этой трущобе мы счастливо провели первые полтора года вместе с родившимся сыном, и совсем не чувствовали себя в положении пауперов. Жизнь на родине была беднее, главное, беднее кислородом, а тут бушевали свободные спикеры в Гайд-парке, в галерее Тейт выставлялись запрещенные у нас Ларионов и Гончарова (я уж не говорю о Френсисе Бэконе и Генри Муре), газеты и телевидение шокировали своими суждениями о Стране Советов, – и сладки были эти запретные плоды.

Лондон ослепил меня разноликой суровой красотой, Лондон очень умен, Лондон – это интеллект, я до сих пор привязан к нему и с ужасом слушаю рассказы о том, что там скоро почти не останется англичан – все заполонят иммигранты. Облазал я и центр, и окрестности – это барин Карамзин разъезжал по нему на кебах, а нам, чернорабочим разведки, приходилось стаптывать много каблуков, ходить по самым хитрым переулкам, проверяться и проверять. И даже бегать, как случилось однажды, когда, пугая прохожих, я мчался с раскрытым атласом в руках,

обливаясь потом, на встречу с агентом, бежал, как на стометровке, ибо запутался на улицах, опаздывал и боялся, что агент уйдет.

Но самое главное, что в Лондоне на каждом шагу встречались англичане, и, Боже, как много было вокруг незавербованных англичан!¹¹

Наглые тори, носители сверхсекретов, от которых зависели судьбы супердержавы (тогда все было super), рядами бродили по Оксфорд-стрит, попыхивая бриаровыми трубками, прогуливали отмытых и причесанных собак, один вид которых унижал тех, кто на первое место ставил борьбу за счастье человечества. До одурения курили в кинотеатрах (к счастью, сейчас запретили, а тогда – за дымом исчезал экран, особенно на последнем сеансе, после которого англичане, особенно отставные колониальные полковники, вскакивали с кресел и торжественно пели «Правь, Британия»), орали во всю глотку на собачьих бегах и на рынке Портабелло, толкались, галдели, спорили...

С Англией у меня складывалась странная любовь: чем больше она мне нравилась, тем нервнее я себя чувствовал, словно совершал нечто постыдное, и тогда скрипело перо и летели иронические плевки в адрес Альбиона:

«Зевает зябко под окном румяный полисмен.

Мне снится нынче странный сон: почтенный джентльмен.

Он вежлив, выдержан и строг, он в юмор с детства врос.

В одной руке – любимый кот, в другой – любимый пес».

О, этот жуткий джентльмен, этот призрак печальный!

То он раскрывал красочный веер пороков и искушал меня, как святого Антония, то втягивал в свои грязные аферы, то, сокрушаясь по поводу своей дряблости, умолял: «Ты рифмой (!) помоги зажечь потухший мой очаг!» – а я, истинный коммунист-бессребреник, бросал ему презрительно в

¹¹ Это напоминает трюизм, что в Англии даже извозчики говорят по-английски, но если серьезно, то просто мучительно искать контактов с англичанами в Копенгагене, где сплошные датчане. Впрочем, в 2013 году видел датчанина, который безуспешно что-то спрашивал у прохожих, а потом завопил: "Тут кто-нибудь говорит по-датски?"

ответ: «Зачем, мой дорогой милорд, тебе камин топить? Ведь жить во злате и тепле – еще не значит жить!»

И долдонил дальше: «Заборных стен твоих кирпич глаза мне красным жжет. К тому же пушки из бойниц уперлись прямо в лоб!»¹²

И писано было это искренне и с душой, вот ужас-то! и не рассчитано на публику, хотя... кто знает? Может, где-то в закоулках подсознания и таилась мечта увидеть эти вирши в самой правдивой на свете газете «Правда»...

Но прекрасны были и регата в Хенли, и набережная Чейни-Уок у домов, где жили и Габриель Россетти, и мой фаворит Чарльз Алджернон Суинберн (именно его любил Мартин Иден у Джека Лондона), и люди попадались совсем не чопорные (впрочем, были и снобы), а милые и приветливые (один лорд оказался совершенно нищим, почти родным пролетарием). От запретной страсти к Альбиону становилось не по себе, и весь этот флирт пахивал чуть ли не предательством. И тогда в сторону Альбиона летели уже не плевки, а рифмованные свинцовые пули. Я высмеивал пижонство в Mayfair, погрязшие в разврате кабаки Сохо, жадных клерков Сити в дурацких котелках и с неизменными зонтами. Да и монархию сохранили, чтобы дуриль головы, и тешили публику Вестминстерским аббатством, игрушечной гвардией и роскошным рестораном «Риц», в который, как известно, одинаково открыты двери и для богатых, и для бедных. Ха-ха.

Бесили меня и няни- гувернантки, толкавшие в Гайд-парке коляски с холеными, в красных бантиках детишками, эти сытые бэби тоже раздражали (вспоминались голодающие в Африке). Хотелось разъяснить гувернанткам, что напрасно они смотрят так гордо – они лишь жалкая обслуга у ликующих, праздно болтающих, которым не до своих детей и не до труда на благо, им бы «Вдову Клико» в ночных кабаках... Какое

¹² Признаюсь, что пережив все прелести перестройки, я думаю, что не полностью заблуждался. СССР, мягко говоря, профукали, бывшие республики рисуют нас оккупантами, и этому активно способствует западный мир.

счастье, что такого позорища не могло быть в нашей стране, где обилие детских садов с их равенством и братством, и нет никаких бонн!

Взор мой метался в поисках честных и эксплуатируемых, они, естественно, встречались, пару раз я разговаривал с бомжами-кокни, от них воняло, да и понять сленг было невозможно, люмпены-бомжи явно не вписывались в революционную массу, на которую делала ставку компартия. Я бывал в бедных кварталах с серыми, обшарпанными домами – это поддерживало огонь Веры, – беседовал с рабочими, но общего языка не находил, что приводило меня в смятение: неужели я оторвался от гегемона, который соль земли? Увы, среди английских трудящихся я чувствовал себя дискомфортно, приходилось изображать простого парня, у которого папа работал слесарем (о ЧК я, естественно, помалкивал), что тоже не воспринималось «на ура». Дипломатов рабочие на жаловали, даже советских, видели в них чужой класс, впрочем, а кто их любит у нас в стране?

Боже, неужели старший лейтенант был догматиком или еще хуже – дураком? (Это вечный рефрен.) Раскроем его личное дело, что на вечном хранении в отделе кадров: фотография в штатском, фотография с погонами, анкеты разные, расписки, автобиография, партийная и пр. характеристики, составленный собственноручно список близких друзей (так полагалось), читаем доносы друзей, знакомых, подруг, а также дворников и управдомов¹³.

Неужели дурак?

А пуркуа па?

А может, просто время было другое? Неужели весь народ...тоже... тс! не трогай святое! Неужели дурак?

А почему бы нет?

¹³ Из «Руководства для агентов Чрезвычайных Комиссий»: «Всегда надо иметь в виду, что многие хозяева меблированных комнат и весьма значительный процент дворников могут оказывать услуги бюро разведки Чрезвычайной Комиссии, в особенности это практикуется в университетских городах».

Горжусь, что в двадцать семь лет, будучи всего лишь старлеем, работал в среде английской элиты, и небезуспешно.

И до сих пор терпеть не могу морганов, ротшильдов, особенно русских жуликов-предпринимателей, не выношу бонн и стриженных собак, ненавижу...

Не надо мучить старлея, ему еще надо успеть в полковники, ему еще надо вовремя соскочить с поезда.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ, БЕЗ КОТОРОГО РАЗВЕДКА ЧАХНЕТ, ВЕДЬ ВСЕ МЫ, ШПИОНЫ, В ДУШЕ КЛОУНЫ И ТРАГИКИ.

Силы такой не найти, которая б вытрясла
из нас, россиян, губительную склонность
к искусствам: ни тифозная вошь, ни
уездные кисельные грязи по щиколотку,
ни бессортирье, ни война, ни революция,
ни пустое брюхо.

Ан. Мариенгоф

Начать бы так: жили мы в Куйбышеве напротив оперного театра, и сей художественный факт мажорным отпечатком лег на мое нежное, еще не испорченное подрывной деятельностью сердце.

И поставить точку.

Или, на худой конец, добавить, что оперный театр располагался на просторной, как вся страна, площади, недалеко от памятника большому любителю искусства Василию Ивановичу Чапаеву, в театре иногда проводились и молодежные вечера с танцами, где фигуранту однажды из-за девушки чуть не начистили физиономию, и только резвые ноги уберегли от позорных синяков.

Уже в детстве неугомонные родители, жаждавшие вырастить вундеркинда, напустили на меня полчища изящных муз. Особенно старался отец, всю жизнь из своего СМЕРШа с завистью поглядывавший на недостижимый Парнас. До революции он получил неплохую закваску в церковно-приходской школе, пел в церковном хоре, любил исполнять в кругу друзей оперные арии, обладая превосходных тенором, а иногда после рюмки брал гитару и ударялся в мещанские и цыганские романсы. Естественно, папа плотно дружил с актерами, особенно с хорошенькими и певучими актрисами.

Первое мое серьезное приобщение к трем грациям состоялось в дни эвакуации в Ташкенте, когда мама приставила ко мне, первокласснику, учительницу немецкого, заставившую выучить наизусть «Лесного царя» Гете. Немецкий язык я возненавидел сразу и учил лишь в надежде оказаться за линией фронта у партизан. Несколько лет подряд я читал этот шедевр ошеломленным моей эрудицией взрослым, декламировал, торжественно встав на стул, – они до слез умилялись и пачкали мои гордые щеки поцелуями. После войны, уже в Львове, желание вылепить из меня маленького лорда Фаунтлероя не потухло: не успел я с помощью изощренных трюков выжить учительницу немецкого, как в семье возникло трофейное пианино, и я попал в лапы худосочной и педантичной музыкантши, замучившей меня упражнениями Черни. Коряво бухали в клавиши робкие пальцы, и охватывала муть. Наконец, от Черни мы доползли до знаменитого вальса из «Фауста» – это был апогей. Однако я был настойчив, и ненавистную пианистку тоже удалось выжить, после чего моя душа успокоилась и основательно застряла на брэнчании душераздирающих романсов типа: «Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка и шарлатанка!»

Отец с меня не слезал, страсть как хотел привить мне любовь к прекрасному. Водил в обожаемую им оперу, для страховки приобщил и к оперетте. Обливаясь слезами и кровью, я прошел по всем гвоздям мирового репертуара от Кальмана до «Великой дружбы» Мурадели, осужденной товарищем Ждановым, ходили мы в оперу почти еженедельно, что закрепило во мне устойчивое отвращение к жанру¹⁴. Образовавшийся вакуум уже в Куйбышеве, куда перевели отца (там я пошел в восьмой класс), заполнила в моем сердце лукавая Мельпомена, ею увлекся я самозабвенно. Особенно блистал в образе дряхлого старца Крутицкого из «Мудреца» Островского: шаркал, хватался за бока, хромал, ронял челюсть, трясся, хрипел, шамкал, а школьный зал захлебывался от хохота, смотря на кривлявшегося идиота шестнадцати лет от роду. Но себя я обрел в ролях

¹⁴ Поразительно, но к семидесяти годам у меня вдруг появилась страсть к опере. С чего бы это? Движение к младенчеству? Особенно полюбил я Вагнера и мечтаю с цветами приехать на фестиваль в его имении Байрат.

фашистов, когда нужно было допрашивать, брызжа от злобы слюной. Как известно, на это простые советские люди отвечали ледяным молчанием, доводя гадов до истерики, либо смело плевали в харю оккупантам, причем копили слюну, старались плюнуть огромной порцией и попасть непременно в глаза (один раз я на несколько секунд ослеп). В таком же ключе я играл и американских полковников, правда, они не пытали, а больше рассуждали о судьбах мира и торговали нижним бельем, популярным у малосознательного населения.

Не удивительно, что спустя тридцать лет мой приятель режиссер Алексей Салтыков попробовал меня на роль немецкого коменданта новгородского Кремля в фильме «Господин Великий Новгород». Ликом моим режиссер остался доволен: физиономия излучала презрение к трудовому народу, прусские сытость, тупость и природную агрессивность. Олег Стриженов, игравший нашего секретаря обкома, долго и задумчиво разглядывал меня в немецкой форме и грустно бросил: «неплохо!». Дмитрий Балашов, крупный русский писатель, игравший художника, которого я допрашивал, как оказалось, когда-то закончил театральный вуз и блистал своим актерским талантом.

Съемки происходили в сложных условиях: камера не брала стоявший слишком низко письменный стол, который пришлось поставить на кирпичи. Салтыков предупредил, что мы должны думать о том, чтобы не задеть случайно стол и не сбить его на пол. Неудивительно, что когда настала пора раскрыть рот, я думал о столе (а тут еще юпитеры и масса любопытных!) и никак не мог вспомнить элементарный текст: «Здравствуйте. Садитесь. Будете говорить или нет?». Провал был полный. К счастью, утешила какая-то кудрявая седая дама с горящими глазами, попросив у меня автограф в свой паспорт (другой бумажки у нее не нашлось). Она заверила, что никогда в жизни не видела таких добрых и симпатичных эсэсовцев, это, по ее мнению, доводило роль до невиданных глубин.

Музы играли мною, как любимой куклой: поселили в одном доме с актерами на Тверском бульваре, научили писать лирические стишки девушкам и даже приобщили к делам живописным: институтский друг затащил меня в тогдашний «Гранд-отель» и таинственно отвел за угол ресторанного зала,

там в толстой золоченой раме призывно развалилась обнаженная дама, нечто в стиле Буше. Я вспыхнул от смущения, почувствовав себя как мальчик, которого опытный сутенер затащил в публичный дом. Нравы тогда были чистые, и вид голого тела общественная мораль редко допускала.

Гораздо серьезнее искусство вторглось в мою жизнь, когда, поступив в разведку, я решил жениться на актрисе Театра транспорта Кате Вишневской, более того, на дочке актрисы и художника – печальная весть для отдела кадров, где богема доверием никогда не пользовалась из-за ненадежности и непредсказуемости. Размотка биографии моей жены вскрыла жуткую историю захвата тещи немцами во время гастролей фронтовой бригады театра Красной Армии и отсылки ее на работы в Германию. На этом прегрешения тещи не закончились, и вместо того, чтобы убить Гитлера или, по крайней мере, взорвать Унтер-ден-Линден, она влюбилась в пленного француза и вместе с ним дерзко бежала во Францию, в город Нант. У кадровика КГБ от ужаса шевелились уши, когда он уточнял у меня нюансы романа (француз, к несчастью, был женат, так что к политической неблагонадежности примешивалась аморалка). Впрочем, теща сразу же после войны вырвалась из полюбившейся Франции на родину, воссоединилась с мамой и дочкой, прошла через фильтры бдительных органов, однако из театра Советской Армии была изгнана в русский драматический театр в Лиэпае, затем в Вильнюсе, где долго работала и даже получила «заслуженную Литовской ССР»¹⁵.

Не говорю уже о том, что родом дворяне Вишневские от сербского авантюриста Теодора, близкого к сподвижнику Петра Великого Савве Рагузинскому. Теодор вступил в русскую армию и снабжал армию и Петра превосходным токаем, до которого тот был горазд, на этом весьма и весьма разбогател. Полковник Вишневский пользовался расположением будущей государыни Елизаветы Петровны (даже вместе коллективно мылись в бане(!), это доказано письмами), именно он представил ей провинциального церковного певчего Лешку Розума, ставшего фаворитом будущей

¹⁵ Уже в годы свободы печати я составил толстый фолиант, где бриллиантом сияли интереснейшие мемуары Елены Вишневской, поскромнее зарисовки Николая Лескова о некоторых экстравагантных представителях этой династии, ну и мой скромный опус.

императрицы, графом Разумовским. Добавим, что любовница и потом морганатическая жена императора Александра II Екатерина Долгорукая, светлейшая княгиня Юрьевская, родилась в браке богатой помещицы Вишневецкой и обедневшего князя Долгорукого (из рода Рюриковичей!), у них в полтавском имении иногда гостил сам император, там он и влюбился в дочку. Взял под свое покровительство и ее, и других детей, в Петербурге проходили тайные страстные свидания, от царя она родила двоих детей и шел разговор даже о ее коронации. Однако Александра зверски убили в 1881 году, и Катрин эмигрировала с детьми во Францию, до революции предводитель киевского дворянства Гавриил Вишневецкий наезжал к ней в Ниццу с подарками в виде банок с домашним вареньем.

Просто счастье, что мой отдел кадров не докопался до этих компрометирующих деталей!

Чтобы потом не утопить себя в омуте с родственниками, покончу с ними сейчас.

Саша у меня образцовый сын, я его нежно люблю и горжусь его местом в российской жизни. Его жена Наташа – умна, экзотична и обязательна. Опытная переводчица с японского, на боевом счету труды Мураками. Легендарный дед Наташи – Цезарь Куников, Герой Советского Союза, погибший во время высадки на Малой Земле. Вдова Куникова, бабушка Наташи, вышла замуж за его друга и соратника адмирала Георгия Холостякова, его имя значится на стеле в центре Вены (командующий Дунайской флотилией во время штурма), мундир адмирала не умещал всех орденов, из-за этих регалий они оба и погибли, зарубленные прямо на квартире гнусными ворами.

О внуках пока помалкиваю, но осмелюсь перечислить: Екатерина, уже актриса, Кирилл, Константин, Олег. Все они учатся и деда принципиально не читают.

И правильно! Плохие читатели становятся великими писателями.

Все перипетии тещиной жизни подмочили мою незапятнанную биографию и несколько затемнили перспективы грядущей карьеры. Это меня изрядно огорчало, однако любовь, пути которой, как известно мне было уже

тогда, усыпаны цветами и политы кровью, оказалась сильнее желания возглавить всю разведку лет в тридцать пять (сорокалетние тогда казались глубокими стариками). В течение многих лет, заполняя в очередной раз анкеты, я с глухой тоской писал о грехопадениях тещи Елены Ивановны, она всегда радостно хохотала, услышав об этом, и обещала черкнуть письмецо своему другу в Нант. От этой шутки меня бросало в дрожь, ибо вся заграничная почта перлюстрировалась, на тещу, по моей прикидке, держали толстое дело, и не было никакой гарантии, что КГБ не решит, что она – связная в моих тайных сношениях с французской разведкой.

Но звезды благоприятствовали мне, подвиги чекиста-папы namного (не знаю, на сколько) перевесили смертные грехи тещи.

Уже в Москве мне следовало выдумать «легенду», не упал же я в МИД СССР с ясного неба? Жизнь учила, что легенду всегда нужно ковать самому, не полагаясь ни на МИД, ни на КГБ, ни на черта, самому писать свой автопортрет, самому окружать его значительными и мелкими фигурами, самому придумывать эпизоды из якобы взаправдашной жизни. Жизнь текла сама по себе, мы частенько бывали с Катей в ресторане ВТО на Горького, позже сгоревшим, там за знаменитыми биточками по-климовски забывалась принадлежность к Бдящему Оку. Об этом, правда, помнил швейцар, который поэтому и пускал: ведь давать рубли было жалко, приходилось делать государственно-озабоченную физиономию и многозначительно показывать краешек красного удостоверения, действовавшего как «Сезам, откройся». Детские игры по сравнению с великими маневрами моего друга, потом генерала Александра Иванова, который входил в азербайджанский ресторан «Баку» с вопросом, не звонил ли ему еще первый секретарь азербайджанского обкома Гейдар Алиев (тут же в набитом битком ресторане предоставляли лучший столик), и легко мог сесть в ожидавшую кого-то правительственную «Чайку» со словами: «Хозяин просил передать, чтобы ты нас подкинул!»... Вот это разведка, *commedia dell'arte*, куда мне до таких высот!

Но озарения бывали и у меня, так, в 1965 году уже опытный ас и лондонский денди вместе с близким другом из МИДа Володей Васильевым карабкался, словно на Эверест, на последний этаж гостиницы «Москва», где

пировали искомые звезды международного кинофестиваля, в частности, Наташа Фатеева, которая вскружила мою несчастную голову. Первые три кордона прошли по Володиному удостоверению («Нас там ждет венгерский пресс-атташе...»), но на последнем этаже были категорически отвергнуты стражем: «Никуда я вас не пущу без специального пропуска! Тут же сам Аверелл Гарриман, бывший посол США!». Тут и проявилась находчивость: я взял служивого под локоть, отвел в сторону и чуть зловеще, приглушенным шепотом (не дай Бог, услышит Гарриман) прошептал: «Кстати, о господине Гарримане...» – и поднес к его глазам сафьяновую книжицу. У цербера опустилась челюсть, будто по поручению председателя КГБ я передавал яд для американского посла: «Так бы вы сразу и сказали...» – и мы, очастливленные, проследовали в райские кущи, завертелись меж белоснежных улыбок в дыму редких тогда американских сигарет, там сидела она, о, Она! «я на тебя гляжу в упор, на взгляд твой, синий и осенний, так крокодилы разговор ведут в искусственном бассейне».

Пою тебя, магическое кагэбэвское удостоверение, ты не раз выручало меня и в искусстве, и в суровых буднях, выхватывало прямо из лап ГАИ и несло по жизни как птица-тройка, оберегая и лелея. Мягкое и нежное на ощупь, словно верный пес, с фотографией в военной форме, которую никогда в жизни не носил. Съёмки производились в клубе Железного Феликса на улице его же имени, там фотограф давал напрокат пахнущий прокисшими подмышками, заношенный мундир, накладывал на плечи соответствующие погоны, щелкал... получалась перепуганная белуга с остекленевшими глазами. Слава тебе, книженция, ты спасала в пикантнейших ситуациях, ты вгоняла в дрожь, когда терялась, ты впрыскивала радость, когда вдруг находилась, ты делала вежливыми директоров станций ТО и начальников ЖЭКов, ты превращала в самую любезность суровых партайгеноссе, и даже обои в страшные дни капремонта клеили тщательно и аккуратно именно благодаря твоему обаянию...

Разве это не жизнь в искусстве?

Галерея Тейт. Великолепные Стэнли Спенсер и Генри Мур. У Спенсера толстая золоченая рама, за которую можно сунуть маленький контейнер.

Пожалуй, опасно, охрана смотрит, а вот на скульптуры Генри Мура внимания не обращают – такие махины не увести – интересно, это бронза или какой-то особый сплав и прилипнет ли к заднице этого бронтозавра магнитный контейнер? Потрясающий Гейнсборо в Кенвуд-Хаусе прямо на лаунах Хемстед-Хита, народу мало, недалеко ресторанчик, этот зеленый массив превосходен для тайников и разного рода сигналов. Правда, с агентами встречаться рискованно: совсем недалеко советское торгпредство, не обделенное, естественно, вниманием контрразведки, можно легко напороться и на наружника, и на сослуживца, выкатившего дитя в коляске на прогулку.

В пабе «Чеширский сыр» на Стрэнде (не путать с любимым Чеширским Котом) работать можно только с официальными связями, ибо он забит журналистами с Флит-стрит, но, если припрет любовь к искусству, можно пройти в соседний дворик, где жил великий остроумец доктор Джонсон, там, между прочим, легко найти место для бросового тайника, контейнер, скажем, коробок из-под спичек. Лондонские театры старомодны, сидеть всегда тяжело, ряды узки, немеют ноги, для разведки театры малопригодны, разве что вонючие сортиры, куда стоит в очереди такая же ср.... интеллигенция? Моментальная передача в сортире. Возможно, но только во время спектакля, когда сортиры пустуют.

Лучший Лондон создан Кристофером Реном, в соборе Святого Павла можно установить визуальный контакт с агентом, а потом пройти в ресторанчик на набережной, Бромтонская орастория с разными скульптурными ансамблями идеальна для тайников. Библиотека Лондонского музея весьма подходит для встречи с агентами, в двухэтажном книжном магазинчике на Беркли-сквер приятно обменяться информацией, роясь в антикварных фолиантах на полках. Проверяться от слежки можно и в Национальной галерее, и даже в переполненном народом шикарном магазине «Хэрродс», для этого нужно знать расположение боковых лестниц, и наружнику, если он не хочет потерять вождеденный объект, придется переть, задыхаясь, следом (в магазине масса выходов, которые трудно заблокировать).

Лондонские магазины ослепляют выбором, особенным вкусом отличаются витрины, они блестят и отражают идущих сзади и даже на другой стороне улицы, еще хороши лестницы с неожиданным тупиком – тут уж при развороте легко упереться в наружника, делающего вид, что зашнуровывает ботинок (не зашнуровывай ботинки на бахче!). Проверка, проверка и еще раз проверка. Из галереи Куртод видна улица, ergo: реально вести наблюдение за агентом, засечь машины, идущие за ним, переписать их номера, а потом, пока агент крутит по городу, забраться в паб в районе Пимлико и там из окошка снова взглянуть на «хвост» за агентом, и сверить номера – это называется контрнаблюдением, труднейшее, между прочим, искусство в отличие от антимемуаров.

«Руководство для агентов Чрезвычайных Комиссий», изданное в 1919 г. Волынской губчека, гласит: «Выходя из дому, надо всегда иметь в виду возможность внезапного ареста по улицам, потому не держать при себе без специальной надобности ничего компрометирующего. Всегда иметь в виду шпионов, однако проверять себя умело: не бросать беспокойных взглядов, не оборачиваться грубо и демонстративно и удостоверяться другими способами: направляясь проходными дворами, пустынными переулками, вскакивая на ходу в конки и проч. Тактика шпионов разработана и разнообразна. Очень часто, например, они передают свою «дичь», за которой охотятся, из рук в руки, от квартала к кварталу, идут параллельными улицами, забегают вперед. Шпионами очень часто служат извозчики, лавочники, продавцы сельтерской воды, семечек и т.п.» (Подумать только: обыкновенных филеров отождествляют с нами, голубой крови разведчиками!).

Лондон начинал принадлежать мне.

Вскоре выдали автомобиль, дабы любовь к искусству я мог удовлетворять более современными методами. Московский опыт вождения ограничивался автокурсами в разведшколе, к тому же чертовое левостороннее движение требовало полной перестройки, голова крутилась, как на шарнирах, и часто приходилось вздрагивать на переходах. Час роковой настал, я выбрал воскресенье, когда Лондон пустеет, погрузил в машину Катю, всучил ей карту города и дал старт! Такое бывает, наверное,

только в аду: мы рвались вперед, тряслись. Въезжали в ямы, останавливались, мы вскоре заблудились, и жена горько плакала, роняя слезы на карту (я же, раздувшись как вепрь, изничтожал ее за неумение ориентироваться). В конце концов, мы решили развестись!

Через три мучительных часа я почувствовал себя чемпионом мира по автогонкам и вскоре, запоздало нажав на тормоза, въехал в машину, идущую впереди. Обменявшись визитными карточками с пострадавшим (вина была моя, имелась страховка), мы бодро помчались дальше и чуть не сбили на «зебре» (святое место для англичан) старушенцию, ступившую на переход так нагло, словно она была в собственной квартире. Наконец мы вылетели на автостраду, набрали скорость, были оштрафованы полицией, затем вернулись и покрутили по Челси, вышли у Чейни-Уок, выпили по полпинты темного «гинесса» в пабе, и я сказал, что Катя изумительно ориентировалась по карте и вообще умница и красавица, и мы помирились и расцеловались и поехали в Баттерси-парк посмотреть на современные скульптуры (особенно хороша Хепверт), которые удивительны среди деревьев и кустов. На пути домой мотор неожиданно замолк, и ничто не могло его оживить; напрасно я поднял капот и вывинчивал свечи под уничтожающие реплики Кати, напрасно я бился, – машина не сдвинулась с места, и, снова разругавшись, мы взяли такси, что равнялось стоимости пары среднего класса ботинок (к счастью, не Churhes'). Утром с помощью коллег машину запустили, я снова почувствовал себя Великим Шофером, изящно проехал по Кен-Хай, правой рукой придерживая руль, чуть замедлил ход на повороте в «улицу миллионеров», где стоял газетчик, и левой рукой протянул ему два боба, не глядя, естественно, вперед, – руль пошел влево и машина врезалась в ворота (говорили, что в истории ворот такого не случалось).

Но старлеи разведки живут не только автомобильными страстями, они не только вращаются в свете, и с утра, как Евгений Онегин, прикидывают, в чьем доме отведать джин с тоником, на кого вечером навести лорнет и как возбуждать улыбки дам огнем нежданных эпиграмм, они просто живут, дышат и наслаждаются жизнью. Тяжело преодолевая скопидомство, мы ринулись в Королевский Шекспировский, где узрели не только «Сон в

летнюю ночь» с Ванессой Редгрейв, но и знаменитый спектакль по пьесе П. Вайса «Убийство Марата в исполнении сумасшедших Шарентонского монастыря под управлением маркиза де Сада». Ставил великий Питер Брук, и режиссер (тоже псих) де Сад на репетиции этой пьесы в пьесе кричал Шарлотте Корде, зарезавшей лежавшего в ванне Марата: «Шарлотта, вы убили не так, пожалуйста, повторите еще один раз!». И она повторяла, и, безумная, рыдала, а в финале, когда гремели аплодисменты и сыпались цветы, сумасшедший бросал в зал какую-то веревочку, выдернутую из его одеяния: мол, еще неизвестно, кто из нас псих, господа!

В те годы в моду вошло политическое кабаре, где правительство крыли в хвост и гриву (это наводило на крамольные мысли: а почему наше правительство...), и Бертольт Брехт. Его баллады исполнялись Лоттой Ленъей и Гизеллой Мей, в «Ковент-Гарден» шла опера Курта Вайля «Взлет и падение города из махогани» по Брехту, над тупостью и сытостью буржуазии издевались остро и тонко, вольные бродяги презирали частную собственность, и все это хорошо ложилось на возвращенную на Марксе-Ленине душу. Лондон словно был проникнут духом революции!

Катю вскоре пригласили в Пушкинский дом (место, где собирались эмигранты, сносно относившиеся к осчастливленной революцией России), там она несколько раз прочитала доклады о расцвете могучего советского театра, порадовала публику Блоком, познакомилась с массой симпатичных старичков и старушек, тосковавших по родной земле. Меня этот контингент интересовал мало: русские всегда под надзором властей, да и что реального они могли сделать для службы? Вскоре на Катю кто-то что-то накапал, и резидент посоветовал мне отгородить жену от Пушкинского дома, якобы забитого английской агентурой. Ведь контрразведка, как известно, коварна и вероломна, потому не стоит играть с огнем в этой змеиной норе, а имеет смысл направить пыл души на богемные круги, куда заплывали жирные караси из правящего класса. Так мы начали циркулировать в салоне добродушного и улыбчивого Чарльза Перси Сноу и жены его, тоже писателя, Памелы Джонсон, попали в дом публицистки Эллы Уинтер, соединенной когда-то узами с самим Джоном Ридом, прославленным американским революционером и автором «Десяти дней, которые потрясли

мир», там я впервые увидел коллекцию Джакометти. Побывали на банкетах у нашего соседа по улице писателя и пагуошского деятеля Вейланда Янга (лорда Кеннета), там сразили меня свобода общения и непринужденность гостей, особенно сидевший на полу с другими гостями аристократ и лейбористское светило Энтони Веджвуд Бенн в пуловере и без галстука. Я же, наслушавшись лекций о необыкновенной чопорности англичан, облачен был в смокинг, взятый напрокат. Общались мы с Эланом Силлитоу, милым парнем из Ноттингема, в то время модным «рабочим» писателем, который вскоре отошел от социальных тем и погрузился в анализ *condition humaine*, были и у Арнольда Уэскера, очень левого драматурга, мечтавшего приобщить народ к культуре (его «Кухня» была у всех на устах), дружили с известным фотографом Идой Карр, увековечившей нашего сына.

Появление на свет отпрыска вынудило Катю отключиться от светской жизни, что вызвало скрытую радость начальства, особенно после того, как Катя встретила случайно в Гайд-парке всемирно знаменитого режиссера Питера Брука, двоюродного брата нашего режиссера Плучека, и целый час проговорила с ним на скамейке(!). Случилось и еще одно, не менее драматическое ЧП: на домашнем приеме¹⁶ Катя сказала одному сотруднику Форин Офиса: «Мы вас сейчас украдем!» (он собирался уходить домой), но шутку, как известно, понимают лишь мистеры Пиквики со своим клубом, а некоторые коллеги имеют длинные уши, и если слышат, что иностранца собираются украсть, то непременно думают о провокации или даже о депортации народов. Вскоре Катю вызвали к резиденту, и состоялась «профилактическая беседа» (термин КГБ), из которой, впрочем, она ничего не вынесла, кроме безумной невнятности, которой закруглял углы ее собеседник. Долго она выпрашивала потом у меня, за что же все-таки ее вызывали на ковер и чего, собственно, от нее хотели – все это мистически

¹⁶ Начальство высоко оценило мой оперативный пыл, и вскоре из коммуналки на Эрлс-Террас нас переселили в особняк на Почестер-Террас, дабы мы могли принимать и охмурять англичан. Из настольной книги «Необходимое руководство для агентов Чрезвычайных Комиссий»: "При найме квартиры хотя бы для простого жительства надо всегда обращать внимание: насколько изолирована она от соседей, толсты ли стены, нет ли внутренних дверей, куда выходят окна. У одного товарища окна квартиры выходили напротив высокого холма, и шпионы забирались на скат вечером и сквозь окно с большим удобством наблюдали за тем, что делалось в комнате".

именовалось «работой с женами». Так что жизнь в искусстве давала сбои. И тут неожиданный удар нанесла живопись в лице дегенеративного авангардизма: однажды я купил кофейный столик с черно-абстрактными, словно кляксы, пятнами. Несчастная эта покупка, наложившись на скандал в Манеже, где рассвирепевший Хрущев громил Неизвестного, Белютина и Ко, возмутила кое-кого из навеки влюбленных в реалиста Шишкина, на меня настучали в Центр друзья-доброжелатели, и казус сей всплыл на партийном собрании в Москве («И у нас есть товарищи, попадающие под влияние буржуазной культуры!»). Однако, репрессивных мер не приняли, на родину вместе с декадентским столиком не выставили, и этот жуткий стол стал лишь предметом незлобивых шуток а-ля «Правда» по поводу картин, намалеванных хвостом осла.

А тут еще одна сенсация: появился в Лондоне крамольный Евтушенко с симпатичной женой Галей, упоенно читавший у нас в подвале свои стихи и «Змею» Дэвида Лоуренса из антологии английской поэзии, взятой мною в посольской библиотеке (книгу ему пришлось подарить, компенсировав библиотеку Бабаевским и Панферовым). Хотя «оттепель» Хрущев еще не прикрыл, многие в посольстве воспринимали Евтушенко почти как врага народа. Контрразведчики в лондонской резидентуре особенно возмущались тем, что он угощал на свои гонорары англичан, а не сдавал их в кассу посольства, как положено честному советскому гражданину...

А вообще жизнь была прекрасна, работа нравилась и вдохновляла, хотелось авантюр, чтобы, как Бомарше, переплыть Ла-Манш, дабы предотвратить публикацию памфлетов против любовницы короля Людовика XV. Чтобы вороной жеребец высекал искры из серых булыжников, чтобы болтался кинжал у самого живота и позванивали в такт копытам золотые луидоры в кожаном мешочке. Коня прекрасно заменяла зеленоватая «газель», и я летал на ней по Лондону, ходил на выставки, в светские салоны, на собрания, культурные и абсолютно бескультурные, бегал даже в городские дансинги (это о музыке и балете – sic!), надеясь, на вальс-бостон с наивной шифровальщицей или хотя бы с секретаршей

военного министра¹⁷ – ведь чем черт не шутит! разве не Великий Случай играет нашими судьбами?

Но к несчастью, лондонские дансинги кардинально отличались от танцплощадок в южных санаториях, где каждая вторая дама либо из ЦК, либо из Совета Министров, либо из КГБ – сущие клад и крем-брюле для разведчика, – а тут одни продавщицы, одни нежные девы и юные жены, любившие нас, одни официантки и прачки, ну хоть бы одна из школы подготовки машинисток для государственных служб! Выдавал я себя за заезжего шведа, танцевал, выбиваясь из сил, словно в фильме «Загнанных лошадей убивают, не правда ли?».

Шли месяцы горьких разочарований. И в моем отчаянном мозгу заработал калькулятор: население Лондона составляет восемь миллионов, считал я, четыре миллиона женщин минус дети и старушки – два миллиона в остатке, минус миллион не выносивших городские дансинги, полмиллиона больных, итак, с полумиллионом дам мне предстояло перетанцевать, дабы найти и просеять сквозь решето будущих агентесс советской разведки. При всей энергии и юном темпераменте на всю эту операцию при ежевечерней, без выходных и отпуска, нагрузке в десять партнерш требовалось почти двести лет, срок порядочный при условии большого износа на работе в органах...

Жизнь на площадках Терпсихоры рушилась. Не выгорало ничего и в ночных клубах, где шныряли худосочные проститутки, говорившие на кокни (только Пигмалион – профессор Хиггинс решил бы превратить их в агентов). Англичане вздрагивали, когда в галерее я пытался обсудить достоинства Гольбейна, благо на концертах хватало такта не узнавать у соседа фамилию композитора в момент крещендо.

Яркой молнией сверкнула надежда на «Черной лисице», где читала текст Марлен Дитрих, истинная блонд, обладавшая хрипловатым нежным голосом, маленькая Марлен, которую Хемингуэй называл «капусткой». В

¹⁷ А ну, на дно со мной спеши – там так омары хороши, и спляшут с нами от души, треска, моя голубка!

крошечном зале на Пикадилли гардероб был забит до отказа, и пришлось оставить плащ (и кинжал) в соседней комнате на стуле. И тут монетка выпала орлом: рядом в кресле оказался милый функционер из центрального офиса консервативной партии, на удивление словоохотливый, с внешностью еще не прирезанного барана. Перед самым началом в громе оваций влетела совсем не маленькая Дитрих собственной персоной, небрежно сбросила на пол перед первым рядом шикарную норку и уселась на нее, отмахнувшись от джентльменов, предложивших ей место. Спертую духоту тут же разбавили ароматы французских духов. Но не до них было – я впился в функционера, как утопленник в протянутую руку, тут же договорился выпить с ним по пинте пива в соседнем пабе, фильм смотрел рассеянно, в глазах рябило от счастья: наконец я прорвусь в бастион консерваторов! И грезились вороха секретных документов, которые выволочет симпатичнейший функционер в дальний парк, где мы встретимся за игрой в крикет (не забыть купить бриджи с подтяжками). Фильм и грезы продолжались недолго, мы радостно встали, я ринулся за плащом (и кинжалом), но фортуна дала подножку: рыцарскую форму стибрили, – о, Англия, приют воров еще со времен Оливера Твиста! туда бы нашу ЧК, живо бы навели порядок! А пока я метался в поисках утраченной собственности, функционер испарился, даже не попрощавшись...

Иногда я грустно подходил к лакомому зданию Форин Офиса и увязывался за каким-нибудь клерком с измученной физиономией паупера, жаждавшего заполучить хотя бы тысячу фунтов, одного такого довел однажды до бара, сел рядом за стойку, слушая как хрустят его голодные зубы, разрывавшие сэндвич, и обратился с гениальным по простоте вопросом «который час?» (так в юности я знакомился на куйбышевской набережной с девушками). Клерк проворчал что-то сквозь забитые едой зубы, но, когда я любопытствовал о чем-то заново, пересел на другое место.

Где же искать сокровища? – я лишь читал, о блестящих салонах у бывшего разведчика и автора Бонда Яна Флеминга, о светских сборищах у леди Памелы Бэрри, жены редактора «Дейли телеграф», о литературных

чтениях у леди Антонии Фрейзер, жены заместителя военного министра, – слюнки текли от зависти, но как попасть в этот рай? Впрочем, иногда удавалось, но чаще почти как у Оскара Уайльда: «Сэра Майкла приглашают во все лучшие дома Лондона – один раз!» Удалось, правда, закрепиться в апартаментах двух студентов-музыковедов (sic), которые каждую первую среду месяца устраивали у себя открытый вечер, wine and cheese party – захватывай бутылку, бери знакомых, милости просим! Хозяева обеспечивали гостей сыром (тут остановилось сердце и хочется пропеть оду сырам: о сыры! нежные мои сыры! мягкий, тянущийся бри, в голубую крапинку датский, благородный стилтон, твердоватый пармезан!) – и все радостно гуляли, знакомились, общались и были счастливы этому обстоятельству. Прибыв в Москву, мы с женой пробовали скопировать такой журфикс с заходами на огонек элегантных и остроумных соплеменников (разок побывали пародист Александр Иванов и младой, еще не великий Марк Захаров) – увы, но у нас в России, видимо, любой здоровой идее суждено вылиться в безобразия: в первый же вечер нашу маленькую квартиру заполнила толпа знакомых и незнакомых субъектов, все затоптали, закурили, заблевали и изгадили, кто-то напился, кому-то набили морду, кто-то заснул на кухне, – битая посуда, расколотые пластинки, бесконечные стуки по батарее возмущенных соседей.

Так заколотили в гроб Мечту.

Но все-таки удалось мне попасть в настоящий салон, где бывали политики. Как ни странно (а может быть, совсем не странно), его хозяйкой была эстрадная певица (sic!), броская блондинка, к тому же австралийка Шерли Абикер, жившая в модном районе Найтсбридж и разъезжавшая в «ягуаре» цвета ее собственных волос... Дивным казался салон, просто как у Анны Шерер в «Войне и мире»: и члены парламента, и даже личный секретарь Черчилля, служивший в Форин Офисе. Салон процветал, пока однажды хоромы чуть не сгорели из-за неосторожного обращения хозяйки с электрическим одеялом, вершиной НТР с вмонтированными электроспиральями, – клянусь, что к поджогу я не имел отношения, а за английскую контрразведку не ручаюсь.

И снова внутренний фронт искусств – посольская самодеятельность. Катя, гордо подняв голову, читала со сцены любимого Блока и какой-то революционный стих Игоря Волгина(!), я же, еще не остыв от студенческих экзерсисов, включился однажды в новогодний капустник. Сварганили мы его в духе уже остывающей «оттепели»: перешерстили и дипломатов, и техработников, и бухгалтерию, и даже (очень легко!) посла, – зал лежал от хохота, посол с женою смеялись и били в ладоши, словно приветствовали на съезде генсека, резидент аплодировал сдержанно, как подобало КГБ, никогда не выносившему вердикт сразу, а склонному к глубокому анализу и всестороннему изучению. Полный триумф, радость победителей, водопады коньяка «Двин», продававшегося в посольском магазине по пять шиллингов за бутылку, почти бесплатно, что объяснялось фиаско нашей внешней торговли, вывезшей волшебный напиток на экспорт с этикеткой «коньяк» – грубое нарушение французской монополии. «Двин» пришлось сплавить по дешевке в магазин посольства (силами совколлектива партию распотрошили за один месяц, слабосильным англичанам на это потребовались бы годы), но проблема внезапно приобрела политическую окраску: на собрании секретарь партбюро Василий Софрончук (позже наша главная шишка в ООН) пожаловался, что наткнулся на пустые бутылки из-под «Двина» даже в кустах пригородного Буши-парка. Пейте, товарищи, умолял он, но только, прошу вас, не оставляйте бутылки на месте пикников, не позорьте родину! Мы пили и пили «Двин» за наш триумф, и, когда утром меня вызвал к себе резидент, я приготовился к поздравлениям.

Резидент слыл человеком серьезным, с большим опытом работы во внутренних органах (кстати, он тоже имел отношение к искусству, ибо однажды организовал на периферии подслушивание и просматривание гастролировавшего выдающегося певца Александра Вертинского – местное управление со сладострастием бдительных кастратов фиксировало личную жизнь знаменитого артиста.

– Зачем вы сюда приехали? – строго спросил он.

– Работать, – ответил я с простотою Жанны д'Арк, всходящей на костер.

– Работать? – удивился он. – А как понять ваше участие... в этом самом... – Он брезгливо шевелил пальцами, будто в них застряла мокрица или кусочек (маленький) фекалий.

– В капустнике, – услужливо помог я ему.

– В капустнике, – сморщился он кислейшим образом, словно это слово было напрямую связано с контрреволюцией, саботажем и антисоветской агитацией.

– Но ведь всем понравилось, – убеждал я тупо. Все смеялись... и посол, и вы сами...

– Вы так думаете? После всего этого посол пригласил меня к себе и имел серьезную беседу. Разве вы не понимаете, что налицо был подрыв авторитета руководства?!

Finita la comedia. Закончилась жизнь в искусстве, не мечтать отныне о взрывах аплодисментов и даже в качестве остроумца-конферансье не выступать! все кончено, неужели финал? Держись, товарищ, жизнь продолжается, только не в этом маленьком зале, а на подмостках всего Соединенного Королевства, держи ушки на макушке, разве ты не слышал, что скоро Эдинбургский фестиваль? Фестиваль? Ну и что? А то, дурачок, что на него прибывает внушительный букет: Дмитрий Шостакович с сыном Максимом и Мстислав Ростропович с Галиной Вишневской. Ну и что? А то, умник, что фестивалем заведует лорд Харвуд, человек светский и влиятельный, – вот уж в чьих кругах вертятся меломаны-составители секретных документов, твердокаменные тори, млеющие и теряющие бдительность от фуг Баха и симфоний Бенджамена Бриттена...

Правда, к тому времени я уже достаточно наспотыкался на ниве искусств, чтобы строить воздушные замки: деятели культуры страдали непредсказуемостью и слабо понимали, что от них требовалось честному чекисту. Совсем недавно в Лондоне с триумфом гастролировал МХАТ, особенно восхищал Антон Чехов, который тогда только входил в моду. Выбрав свободный день у МХАТа, я рванул в гостиницу на Рассел-сквер, у которого была посылка для Кати. Однако оказалось, что труппа отбыла на ужин к командору Кортни, члену парламента от консервативной партии,

которого у нас не переваривали из-за острых антисоветских выступлений и впоследствии, когда он посетил Москву, подбросили «ласточку», сфотографировали в постели и попытались на этом деле завербовать. Шантаж, однако, не прошел, Кортни отверг сотрудничество, и тогда пикантные фотографии живо зацелировались по Англии, вызвав скандал в прессе, в избирательном округе консерватора и даже его развод с женой.

Уже возвращаясь к машине, я вдруг наткнулся на Бориса Ливанова, мрачно бродившего вокруг гостиницы в компании добродушно-улыбчивой Зуевой.

– Сволочи! – пророкотал Ливанов своим неповторимым басом. – Уехали на гулянку к Кортни, а меня с Настей не взяли...

– Может, показать вам достопримечательности? – предложил я, преисполненный вечной любовью к артистам.

Ливанов и Зуева уселись в машину – Пэлл-Мэлл, колонна Нельсона, Букингемский дворец с цветными гвардейцами в меховых муфтоподобных шапках, Вестминстерское аббатство, – путешествие продолжалось минут пятнадцать, Борис Николаевич даже по сторонам не глядел, все ворчал, что его предали.

– Послушайте, Миша, – спросил он вдруг подкупающе просто, – а у вас дома водка есть?

– Конечно! – я даже оскорбился. – Не только водка, но и джин, и виски!

– Поехали! – скомандовал Ливанов, правда, Зуева как-то странно на меня взглянула.

– А стоит ли, Боря? Может, дождемся своих? – спросила она осторожно, но он только зарычал в ответ.

Катя в тот вечер тренировала посольские таланты перед очередным торжественным вечером, поручив коляску с сыном соседке, я залез в холодильник и, к ужасу своему, увидел там только бутылки и яйца (и выдающимся разведчикам сжимают горло когти нищеты). Я поставил на стол непечатую (как ни странно) бутылку джина и стаканы, а сам отправился на кухню, дабы зажарить лучшую в мире яичницу. Когда я внес сковородку в

гостиную, бутылка джина уменьшилась ровно наполовину, Борис Николаевич был приятно возбужден и словоохотлив.

– Какие негодяи! – гремел он, сотрясая коттедж басом, – особенно эта бл... Алка! (народная актриса Алла Тарасова, тогда директор театра). Подумать только: уехать, а меня не взять! И вот сейчас сидит великий артист в этой халупе и с дипломатом Мишкой яичницу жрет! (Фразу эту я проглотил вместе с яичницей, хотя ранило, конечно, такое пренебрежение к коттеджу и неповторимой личности хозяина.) Зуева утешала и успокаивала, джин быстро растаял, в ход пошла вторая бутылка, загремели живописные воспоминания о жизни МХАТа, гул нарастал, стены дрожали, пока не вернулись от Кортни актеры и не забрали моих знаменитых гостей.

Утром на следующий день меня вызвали на высочайший ковер.

– Вы совсем потеряли голову, – начал резидент жестко. – Вы же разрушили всю комбинацию! Вы же срываете гастроли театра! (Дальше что-то об ущербе Державе.) Влип я страшно: лидеры МХАТа порешили «сохранить» Бориса Николаевича для спектакля и отсечь его от искушений зеленым змием у Кортни. Посему разработали хитроумный план с участием Зуевой, провели целую акцию дезинформации и тайно от него (так им казалось) уехали в логово командора. Операция координировалась с КГБ через сотрудника, включенного в администрацию МХАТа. А я... каков я? Сорвал... Сильно меня отхлестал резидент за потерю чекистского нюха и бдительности, правда, спектакль Ливанов провел с блеском.

Но прошлые фиаско легко забывались, тем более когда хотелось походить по земле Роберта Бернса и посмотреть своими глазами, как бьют из-под земли родниковые ключи шотландского виски на речке Спей, – и я предложил резиденту послать меня в Эдинбург вместе с музыкальной делегацией (Шостакович с сыном, Ростропович и Вишневская) тем паче, что близ залива Холи-Лох в Шотландии ощерилась ракетами американская база подводных лодок¹⁸.

– Не уверен, что англичане подпустят вас к базе, – сказал шеф.

¹⁸ Недалеко в озере жило и небезызвестное чудовище Нэсси, его очень хотелось потрогать за хвост.

– Если нет, то я покручусь в обществе лорда Харвуда - одного из спонсоров фестиваля! Заведу связи!

Вскоре прибыли и великие соотечественники в сопровождении переводчицы и молчаливого, но величественного полковника КГБ, удобно осевшего в министерстве культуры в качестве зам.заведующего отделом и не упускавшего шанс лишний раз вдохнуть (и быстренько выдохнуть) угарные дымы капитализма.

Ростропович оказался демократичным и непосредственным человеком, тут же попросил называть его на «ты» и не иначе как Славой, легко пил водку, шутил и рассказывал разные байки, в том числе и о своем виолончельном выступлении на подшефном заводе, где после концерта какой-то честный пролетарий проникся к нему, похлопал по плечу и сказал: «Хороший ты парень, Славка, бросай свою гитару и валяй к нам на производство!» Галина Павловна была сдержанна и величественна, как царица, и до бесед с молодым дипломатом не снисходила, видимо, не без оснований полагая, что в посольстве служат одни стукачи. Максим Шостакович бродил по городу, закупая шмотки, а Дмитрий Дмитриевич, наоборот, никуда не выходил и сидел у себя в номере. Однажды утром, когда, погруженный в себя, он вышел к завтраку, гостиничные оркестранты решили его осчастливить и грянули что-то на скрипках, потрясшее даже меня, путавшего сюиту с походным маршем. Лицо Шостаковича исказилось мукой, вилка выпала из рук, он нервно вскочил и удалился в номер. Максим сказал, что большего ужаса он не слышал, и ушел к отцу, оркестранты расстроились, но доиграли до конца, полкаш сидел угрюмо, смотрел на меня, как на чужеродное тело, заброшенное в его черноземы, и строго перехватывал стыдливые взоры, которые я бросал на хорошенькую переводчицу. Но Вишневская в «Мессе» Бетховена в Эдинбургском соборе проняла даже старлея, в тот же вечер он записал в блокнот бессмертные вирши:

«Подожди. Это «Месса» Бетховена. Мы летим на лодочке по волнам, купола зеленые заливают солнце, а под нами мечется ураган.

Запевает¹⁹ женщина, оставляя все хоры органные за собой..."

Большевицкой революционности явно не хватало, и я поддал жару: «Сыплется вереск на белые головы. Где же вы, кромвели? где же вы, моры? Чтоб острый кинжал решал право на трон и споры!» Но душа, отравленная «оттепелью» и мятущаяся в потемках, не давала перерезать всех жителей Шотландии, и я закончил в духе идеологов будущей перестройки:

«А может быть, обойтись без кинжала?

Неужели не хватает музыки и солнца?»

Эдинбург был прекрасен, чист и благополучен, в витринах висели клетчатые пледы и юбки, замок, отделенный рвом, дышал шекспировскими страстями, застывшими в прошлом... Но лорда Харвуда я так и не оседлал, не повезли меня к лорду домой на кебе, даже полкаша оставили за бортом – артисты хитры, как черти, вечно вырываются они из-под Бдящего Ока, вечно у них свои дурацкие делишки, воспаленные разговоры об искусстве, разных там бемолях и диезах («городская фисгармония» – Бендер), чуть не передерутся из-за какой-то ерунды, вроде даты написания симфонии. Так они и становятся легкой добычей вражеских спецслужб, изменниками Родины и врагами самой передовой в мире Системы. Ужасно, просто невозможно жить в искусстве!

И доказал это опять Ростропович, но уже в конце семидесятых, когда я предводительствовал в датской резидентуре. Гастролировал тогда в Копенгагене Сергей Образцов, давал концерты в это время и Мстислав Леопольдович с репутацией тогда еще не заядло антисоветской (еще не успели его с женой отлучить от гражданства, но изрядно ворчали, что «делают, черт возьми, все, что захотят!», вплоть до выезда из родной страны – приюта муз). После концерта Образцова на сцену, как положено, взошел наш посол в Дании Николай Егорычев, поприветствовал первого в мире кукольника, и они нежно, по-русски расцеловались. В этот

¹⁹ Сказывалось обучение в разведшколе, где взвод маршировал под команду «Запевай!».

сентиментальный момент на сцену из зала вышел Ростропович и тоже расцеловал Образцова, а заодно и посла, с которым соседствовал в Жуковке, – вот ужас! На концерте я не был, но уже через пятнадцать минут мне донесли об этом иудином поцелуе, сделанном – подумать только! – публично и нарочито, на глазах у многочисленных сограждан, заполнивших зал. Гонец, со скоростью света принесший эту трагическую весть, подавал ее не иначе как демарш Егорычева, сознательно не уклонившегося от поцелуя, даже подставившего щеку и таким образом связавшего себя навеки с диссидентом-виолончелистом.

С Николаем Григорьевичем отношения у меня сложились теплые, я уважал его и как жертву придворных интриг, и как солдата, прошедшего войну. Совершенно откровенно я изложил ему эту страшную историю и заверил, что ее через мою голову непременно донесут до всемогущей Москвы. В результате посол направил реляцию о визите Ростроповича в Москву: нельзя, мол, его с женой отталкивать во вражеский стан, надо тонко с ними работать, перетягивать обратно, и все во имя святы́х интересов партии...

Побывал в Копене писатель Юрий Трифонов, и я от его имени (не спросил согласия, да и не мог спросить из-за внезапности визита) организовал дома приемчик, пригласив туда парламентариев, дипломатов и прочих антисоветчиков, короче, нужные мне контакты. Но Трифонов не упал мне на грудь со слезами благодарности за любезность, наоборот, надулся, окаменел, и даже книги своей не подарил.

Когда в Копенгаген нагрянул Никита Михалков, я затащил к себе домой с такой же хитроумной мыслью насчет приема, но все же решил его немного подготовить. Но виски почему-то оказался настолько вкусным, и так вдохновенно заструилась беседа, что вскоре унесло нас ветром в зланный «Зеленый попугай», изумруд распутной Скандинавии. Туда я водил иногда лишь высоких партийцев (даже самого кандидата в члены политбюро Михаила Соломенцева) и своих командированных начальников, естественно с целью полюбоваться «язвами капитализма»). Роскошный бар, где юные и ненавязчивые, белые и черные, красные и синие, туалеты от Диора и самые утонченные духи, там можно даже бесплатно станцевать

(один раз!), а можно просто посматривать краем глаза, как торгуются на пальцах ящерицеобразный японец и недавняя школьница. Никита Сергеевич улыбался в усы, впитывая пленэр для своих будущих киношедевров, мы тихо блаженствовали, пока не покинули этот Олимп красоты. Правда, по странной причине, Михалкова в своих оперативных целях я не использовал, да не странной – просто мы изрядно накачались, я даже забыл, куда поставил свой «мерседес» – бывало и такое, прости меня, любимая служба! – и мы мучительно искали его полночи, потерялись, потом искали друг друга, но не нашли, потом нашел я машину где-то в тупике у вокзала, но уже не было сил искать Михалкова.

Так, словно Атлант, нес я на спине своей небо культуры, подгибались ноги, шатало меня и кривило, так она и катилась, моя жизнь в искусстве, мой цирк, моя любовь, так и бултыхалась на ухабах моя колымага под музыку Вивальди, под скрипок переливы до самой отставки. Загадочный мир искусств в КГБ, там интеллеktуал и душитель живой мысли Андропов, писавший на досуге лирические стишки, там его правая рука Семен Цвигун, сценарист и писатель, путивший себе пулю в лоб, там левая рука Георгий Цинев, певший арии Брежневу (неплохой, говорили, голос) и тоже доросший до консультанта фильмов. Там трудолюбивый Владимир Крючков, друг театра, заботливо копивший программки, попутно с компроматами на сомнительные спектакли, попавший в тюрьму после ГКЧП в 1991, да и я сам, уже растворенный в прошлом, одной рукой строчивший поэмки «в стол», другой – шифровки в Центр, всю жизнь лишь промечтавший выйти на Сенатскую площадь, тоже вариант борца за правду...

«Так кто же однажды посмеет
прорвать заколдованный круг
и, пальцы распялив на стенах,
чертог почерневший качнуть?».

Главный противник – США, ныне "партнер", музы, грезы, перспективные планы, слезы, всесоюзные совещания, розы, явки, конспиративные квартиры, операции, агенты и агентессы, таланты и поклонники.

Жизнью ли было все это или странным сном? Или подвигом?

Но и этот ушедший нелепый мир вызывает во мне сейчас только ностальгию.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЛОНДОНСКИЕ БАСТИОНЫ ПРОДОЛЖАЮТ СОТРЯСАТЬСЯ ОТ АТАК СТАРЛЕЯ

Ой ты, участь корабля,
скажешь «пли!» –
ответят «бля».

Иосиф Бродский

О, шестидесятые, воистину горячие годы! В этот безумный огонь я влетел сразу же по прибытию в Лондон в 1961 году. Наша агентурная сеть загорелась ярким пламенем, провал следовал за провалом, это отравляло наш дух, ожесточало суровых бриттов, испепеляло в них остатки симпатий к России. На профессиональном сленге это называлось ухудшением агентурно-оперативной обстановки и подразумевало шпиноманию, нежелание даже доброжелательных англичан идти на контакт, нервозность агентов, активность контрразведки. Шпиномания иногда доходила до гротеска: мальчишки, завидев на окраинах столицы дипломатический автомобиль, спешили сообщить об этом в полицию.

Аресты нелегала разведки КГБ Гордона Лонсдейла (он же Конон Молодой), его радистов Крогеров (потом их обменяли и наградили звездами Героя), Хаутона и Джи, работавших на секретнейшей военно-морской базе в Портленде. Арест Джорджа Блейка, видного функционера английской разведки, дело клерка адмиралтейства Джона Вассала, завербованного в свое время в Москве с помощью гомосексуалистов, и скандал вокруг военного министра Профьюмо, связанного с проституткой Килер, якобы действовавшей по наущению своего пылкого любовника, помощника военно-морского атташе нашего посольства Евгения Иванова. Эту кость находчивые англичане грызли с восторгом многие годы, создавая образ русского шпиона, завсегдадая загородных имений аристократов, первого

парня у королевы, автогонщика, на ходу стрелявшего из пистолета по пролетающим вальдшнепам. Ребята, это ведь наша история!

С завистью взирал старлей на калибр сгоревшей агентуры, о которой можно было лишь мечтать, – что говорить! поколение его командиров было народом избалованным еще с тридцатых годов и не испытывало необходимости шнырять по Лондону в поисках связей, имея под рукой такие богатства. С тех пор времена кардинально изменились: коммунизм уже не будоражил английские сердца, все тусклее выглядели свершения советского социализма и зловеще смотрелся гигант с неразличимым лицом, вооруженный до зубов. Разведчики моего поколения, отвыкшие от крупной агентуры и секретных документов, научились составлять шифровки из разрозненных бесед на ленчах, из шепотов в парламенте и пересудов прессы – раньше все это считалось пошлой официальной, недостойной чекистов, а иногда даже злонамеренным обманом, за который при Иосифе Виссарионовиче сажали на кол.

Активные мероприятия, с целью «оказать влияние» на политику, пуритане старшего поколения проводили крайне редко, но зато мощно и, как правило, на основе фальсифицированных документов. В 60-е годы мы робко и честно начали развертывать эту деятельность в Англии: дружили с главными редакторами и парламентариями, доводили до них разработанные в Москве идеи-тезисы, однако эта работа считалась дипломатической и второстепенной, она превратилась в «конька» разведки лишь в 70-е годы.

Мой дебют в резидентуре пал на смутное время слабых и временных царствований, наступивших после властного генерала Родина (Коровина), наводившего в резидентуре порядок железной метлой. Я прибыл уже после его отъезда в Москву, но тень генерала, словно призрак отца Гамлета, бродила по коридорчикам резидентуры, некоторые с гордостью вспоминали, как их в обмороке выносили из кабинета хозяина после очередного разноса, резидент-владыка не гнушался черновой работы и держал на личной связи ценных агентов.

Я был нацелен на консервативную партию и вцепился мертвой хваткой в молодых консерваторов, у которых по приглашениям часто бывал в ассоциациях с лекциями об СССР и его миролюбивой политике. Знался со мною их лидер, потом министр Николас Скотт, обаятельный, открытый и добрый человек, встречались на ланчах и в ассоциациях, на консервативных конференциях, где за мною зорко присматривал шеф безопасности в партии Тони Гарнер. Общался я и с Джоном Макгрегором (тоже потом министром), вдумчивым и хватким парнем. Однажды в Брайтоне член кабинета очень влиятельный и помпезный Ян Маклеод безжалостно отхлестал меня в присутствии Скотта и группы молодых тори: «Стоит вам только коснуться свободы, и весь ваш режим рассыплется в прах!» (тогда я не подозревал, как он прав)²⁰. Вообще для молодых тори я был нечто вроде нового блюда вместо опостылевшего йоркширского пудинга, посему приглашали меня широко, частенько после лекций мы продолжали дискуссии в пабе. (По свидетельству Скотта и Ле Карре, служившего тогда в разведке, ко мне приклеилась кличка “Smiley Mike” в честь главного героя Джона Ле Карре Джорджа Смайли, перекликавшаяся с неповторимой улыбкой вашего покорного слуги).

Но общность с консерваторами получалась трудно²¹, и ручеек невольно устремлялся туда, где легче. Кружась среди прессы, много набрал я контактов в «Дейли Экспресс», «Санди таймс», «Гардиан», «Экономист», «Трибюн», информация от журналистов, даже скудная, всегда была полезной, ибо, как правило, содержала изюминки и сенсации, которые всегда котировались в разведке. Из журналистов впечатляли такие акулы пера, как Пол Джонсон и Тони Ховард, тогда связанные с «Нью стейтсмен»,

²⁰ - Ах, если б знать! – заплакал Морж. – Проблема так сложна.

Льюис Кэрролл

²¹ Ничего не помогало, несмотря на завет из «Руководства для агентов Чрезвычайных Комиссий»: «Для таких бесед должен быть человек всесторонне развитый, который умело бы вел разговор. Можно даже прикидываться перед контрреволюционерами консерватором, указывать, что свободу еще население не совсем правильно понимает, но все-таки и т.п.»

родственник премьер-министра Чарльз Дуглас-Хьюм из «Таймс», Ян Эйткен и Артур Батлер из «Экспресс» и, конечно же, редактор «Санди телеграф»²² Перегрин Уорстхорн, фигура влиятельная, жутко антисоветская, поражавшая светским лоском и истинным англицизмом (о британский дух в клубе «Будлс» на Сент-Джеймс!). Именно Перегрин у себя на приеме открыл мне коктейль «драй мартини», покоровший своей легкостью, однако после седьмой порции я вдруг почувствовал колебания пола и завихрения мысли, каким-то чудом я очутился с какой-то банкетной дамой (ее звали Пэт Гейл) в своей машине, мы бешено целовались, и она звала меня в Париж, где все цветет, а я ее – в Москву, где социальная справедливость и березки. (Впоследствии она написала, что я шокировал ее своим языком, втиснутым в ее рот, но это уже явно заказной материал.) Уже в 90-е Уорстхорн ласково принял меня у себя в загородном доме, однако, мы пили тонкое французское вино, заедая его жареной курицей. Я часто встречался с влиятельным членом парламента, бизнесменом и миллионером Питером Уокером, с ним в ресторане «Монсиньор» на Джермин-стрит я развил порочную привязанность к омаровому супу со светло-коричневой лужицей коньяка посередине, которую с шиком зажигал официант. Питер был твердокаменным тори, холодный ум, сухой юмор, природная сдержанность.

Однако консерваторы очень трудно шли на контакт, поэтому неизбежно приходилось разбавлять их лейбористами. Тут у меня имелся богатый опыт еще в России, когда перед командировкой в Англию меня приставили переводчиком к леволейбористской делегации во главе с председателем «Группы за победу социализма» Сиднеем Сильверменом, низкорослым толстяком с клинообразной седой бородкой, там еще были члены парламента веселые ребята Хью Дженкинс, Боб Эдвардс и другие. Приезд организовал несильный ЦК КПСС, однако все проходило под соусом, кажется, общества по культурным связям. Признаюсь как на духу, что смутно помню лишь хохочущие морды, жующие шашлыки (правда, на политических переговорах я не присутствовал), водка лилась рекой и я

²² И это при том, что старлей был закален, как сталь, и выпить мог ведро, особенно под голову кабана, опаленную на огне, с выдернутой шейной костью и вырванным языком. Поцелуи были настолько жаркими, что через тридцать лет попали в мемуары Уорстхорна, о чем ниже.

мучился от собственной трезвости переводчика и невнятных, даже мычания присутствовавших, произносивших пылкие тосты. Все-таки Дженкинс меня упоил, и я перевел тост «До дна!» (Bottom's up), как «выпьем за дно», (Up to the bottom), то есть за задницу.

Я знал, конечно, что русские пьют, и пьют много, но тут я убедился, что и англичане не отстают и так же жадно хлещут водку (особенно, за чужой счет). Больше всего, лейбористам понравилось, что их тщательно обследовали в поликлинике («как всех простых советских людей»), для некоторых такое было в новинку, однако, принципиальные разногласия с советскими коммунистами преодолеть не удалось. После Москвы все мы полетели в Сочи, потом в Тбилиси, там уж гостеприимство хозяев достигло апогея, я до сих пор удивляюсь, что все выжили.

В Лондоне я часто визитировал палату общин и слушал речи депутатов, особенно меня поражал Дик Кроссман, во время второй мировой войны шеф антигерманской пропагандистской службы, знаток греческой философии и тонкий интеллект. Однажды я случайно натолкнулся на него в коридоре Вестминстера и, повинувшись инстинкту, поздоровался и даже протянул руку. Здравствуйте, мистер Кроссман, помните мы встречались в греческом посольстве? (там я никогда не бывал, но все депутаты ходили в иностранные посольства, и разве запомнить всех шибздигов на приемах?). Он любезно принял все на веру, я протянул свою карточку, через пару дней позвонил и мы встретились по его предложению в клубе Атенеум на Пэл-Мэл. В тридцатые годы Кроссман сочувствовал, как многие, коммунистам, после войны вместе с автором «Слепящей мглы» Артуром Кестлером, Бертраном Расселом и другими видными либералами выпустил памфлет «Бог, который рухнул», громивший коммунизм. Человек, вкусивший от того же древа, уверовавший, а потом резко все отвергший, всегда убедительнее, чем консерваторы – с молодых ногтей ярые сторонники капитализма и враги рабочего класса, не читавшие ни Маркса, ни Ленина.

Кроссман относился ко мне добродушно и терпимо, он снисходительно улыбался, когда я защищал свою партию, иногда приглашал меня на ленчи в парламент. Однажды мы даже легко закусывали у него дома в библиотеке – можно представить себе, как притягателен был

такой демократизм для юноши со взором горящим, уже понюхавшего советского равенства в образе валенкоподобного секретаря ЦК КПСС, гулявшего по барвихинскому санаторию под эскортом раболепной охраны.

Однажды великолепный Кроссман пригласил меня в свой загородный дом в деревушке, расположенной за 25-мильной зоной (это требовало уведомления властей), пригласил на ужин часам к пяти в субботу. По простоте душевной мне и в голову не пришло, что приезд в уик-энд подразумевал и ночевку. Впрочем, неудивительно, ибо в нашей гостеприимной стране, вечно страдающей от жилищного кризиса, это вообще почти невероятно, я по крайней мере за всю жизнь ночевал на высокопоставленных дачах лишь два раза: однажды на Новый год на даче дочери бывшего члена политбюро Николая Булганина (звезды на серебряной елке и в небе, нежный пар изо рта, нелепая снежная баба во дворе, сказочный сон на кровати Булганина, репродукции на стенах, вырезанные из журнала "Огонек" - тонкий вкус Сталина, знавшего толк не только в языкознании). Второй раз подобное случилось на утиной охоте в Завидове, заповеднике партийной верхушки, там я полдня просидел в бочке, пропитанной ароматами начальственной мочи, иногда стрелял оттуда в редких уток, прилетавших на приманку, а затем все мы вместе с егерями погрузились в сквозную охотничью пьянку в деревянном домике.

Кроссман встретил меня радушно прямо на платформе в Банберри, повез в свой коттедж, где все мы, включая его жену и детей, сели ужинать на кухне, а потом коллективно мыли посуду(!). Это потрясло меня больше всего, это говорило о том, что еще не умерли принципы равенства, это создавало некую солидарность, напоминавшую все прелести будущего социалистического общества. Затем перешли пить порт²³ в гостиную, я больше слушал – Кроссман был прекрасным рассказчиком. Последний поезд отправлялся около одиннадцати вечера, я краем глаза (с чеховским тактом) взглянул на часы и заметил, что мне пора. Брови у Кроссмана полезли вверх от удивления: «Я же пригласил Вас на уик-энд! Куда вы? – он

²³ Слово «портвейн» уже давно неблагозвучно в интеллектуальной России, сразу ассоциируется с «солнцедаром», циррозом, вырезвительем, кородрягой, алкоголизмом и прочими ужасами – посему рука не поднимается назвать великолепный португальский «порт» - портвейном.

уже разрывался от хохота. – Это называется уик-энд по-русски: несколько часов! Мы для вас отвели прекрасную комнату...» Смущаясь, я промямлил, что должен ехать, ибо в уведомлении моя ночевка не предусмотрена. Вытирая слезы от смеха, Кроссман снял телефонную трубку: «Форин Офис? Дежурный клерк? Говорит Дик Кроссман, член парламента. Тут вышла забавная история...». Далее он талантливо живописал весь инцидент и попросил пролонгировать мое пребывание. На том конце провода тоже ржали: ох уж эти крестьяне-русские! Придя в спальню, я залег под пуховое одеяло, смутно ожидая провокаций в стиле родного КГБ (подруга хозяйки, горничная, трубочист, "случайно" оказавшиеся в соседней комнате). Но никто внезапно не прильнул к моему дрожавшему телу, и я мирно заснул, прикидывая, как объяснить ночевку резиденту, не обладавшему чувством юмора, как в Форин Офисе. Следующий день мы посвятили осмотру фермы, которой хозяин очень гордился, попутно Кроссман рассказывал веселые истории, например, об одной «левой» даме, убеждавшей его в 1937 году порвать с капитализмом и уехать в Москву: «Чуть не убедила, а сама, представьте себе, все же уехала, и ее расстреляли!» Отбыл я к вечеру, на перроне провожала меня вся семья, на прощание Кроссман подарил мне для сына четыре томика знаменитой детской писательницы Беатрисы Поттер, это сердечный дар до сих пор у меня в библиотеке.

Лейбористов я встречал достаточно много, но, увы, истинно секретно информацией они не владели, а о положении внутри партии мы и так знали достаточно. Удалось мне наладить встречи с глыбой партии Денисом Хили, тогда еще не министром обороны, ланчевали мы обычно в ресторане Беркли, пили белое вино и ели запеченного *coquille st. Jacque* (морепродукты имени святого Жака). Хили, наверное, являлся самым информированным человеком в Англии, он досконально знал НАТО, но был сдержанным и любезным дипломатом. Впоследствии я познакомил его с Толей Громыко, сыном министра, тогда советником нашего посольства.

В посольстве я числился сотрудником пресс-отдела, хотя по линии «крыши» почти не работал (тогда это было не принято) и целиком отдавался любимому делу. Правда, однажды посол попросил меня выполнить

функции толмача у Валентины Терешковой, прибывшей в Лондон с первым визитом, принимали мы ее бережно, как драгоценный подарок, ибо Терешкова была беременна, старались оградить от излишнего ажиотажа. Пресса старательно освещала визит, я любовался своим изображением в газетах рядом с Чайкой, однако Центр, как мне донесли, прореагировал ворчливо: «Ну вот, показал свою рожу всей Англии! Как он теперь будет работать с агентами? Его легко узнает каждая собака».

Еще больше паблисити получил я в таинственной Ирландии, куда был приглашен на дискуссию с экзотическим названием «Куда идет человечество?» (неизбежный путь я хорошо знал). Дублин поразил меня обилием не боевиков Ирландской Освободительной (ИРА), которых мы жутко боялись и отвергали любое сотрудничество, а пьяных забулдыг, небрежно, как в родных палестинах, пересекавших улицы, низкой стоимостью виски (один шиллинг за порцию в пабе) и дешевыми зажигалками. Я обнаружил даже некую схожесть ирландцев с русскими, правда, исследовать эту проблему не успел, ибо лондонский резидент испортил мне всю обедню, приказав подобрать парочку тайников для нелегалов (с Ирландией тогда дипотношений не было), что я и сделал, побродив вместе с сопровождающим коллегой по будоражащим душу кладбищам.

Человек привыкает ко всему: и к хорошему, и к плохому, и к опасности, и к тюрьме, и к беде, и к войне, и даже к неизбежности смерти (так и видно согбенную спину, морщинистый рот и нечто зеленое в ноздре). Вначале разведка закручивает, как карусель, ошеломляет и удивляет, но проходят годы, и уже не бьется сердце, когда видны в зеркальце маскирующиеся за вереницей машин наружники, только улыбаешься и не гонишь, и боишься оставить их перед светофором, дабы не вызвать справедливый гнев. И в нору-тайник суешь равнодушно длань, не допуская мысли, что из-за кустов выскочат люди с пистолетами и сфотографируют с кирпичом с микроточками внутри, и на вербовочной беседе не заплетается язык. Разведчик в резидентуре привыкает к монотонной рутине: утренний обмен гранд-идеями с начальством, подготовка к операции, сама операция, обработка результатов, то бишь, неизбежные отчеты и информация;

официальные банкеты, кинопросмотры, симпозиумы, пресс-конференции – жизнь тянется, как тесто. Абстрактно все мы понимали, что шла холодная война и мир мог полететь в тартарары, но каждодневно никто этого не ощущал: так думают о смерти, но она всегда неожиданна, потому и существует радость жизни (тут высморкался, вытер зелень и почесал нос).

Совсем недавно, уже на пенсии, я правил рукопись на застекленной террасе в Испании, сидел, развалившись на диване напротив раскрытой двери, за которой возвышался зеленый куст жасмина, осыпанный, словно хлопьями снега, белыми цветами. Дачная идиллия, блаженные мысли о предстоящем кризисе, сытая удовлетворенность написанным, приятное тепло в животе после чашки куриного бульона (даже тошно от запаха курицы). Вдруг что-то стремительно, как снаряд, влетело в дверь, просвистело мимо уха и шумно врезалось в окно у самой головы. На подоконнике бился перепуганный юный дятел с оранжевым пятном на лобике. Я ухватил его за лапки, еще не успев перепугаться, он заорал, как оглашенный, как будто замыкал, широко раскрывая клюв. Я вынес его на крыльцо, разжал ладонь – и он почти винтом взмыл вверх...

Однако.

Умилительный острый клювик с ниточками гениального мозга героя.

Пуркуа па?

Нам не дано предугадать.

Смерть от клюва дятла в момент, когда поставлена точка в конце мемуар-романа.

В виде хвоста.

Самое время выпить кородряги.

Точно так удивились и мы в Лондоне, когда грянул кубинский кризис. Москва повелела «молнией»: собирать лю-бу-ю информацию! – и мы разбежались по Лондону, как муравьи, хватая на ходу любые былинки, любые крошки, любые отрывки... Настроены все были патриотично: влечем американцам! хотя страшновато стало, когда наши и вражеские корабли начали медленно, как два дуэлянта, сходитьсь. Нападут ли они на

нас, или это блеф? – таков был центральный вопрос, который мы пытались раскрутить у контактов, причем у любых, времени было в обрез. Днем мне удалось вытянуть на дринок двух американских дипломатов Арчи Рузвельта (вроде бы он работал в ЦРУ) и Джона Вуда, они, в свою очередь, интересовались, всерьез ли наши корабли двинутся к Кубе. Указанием свыше предписывалось проявлять твердость и не отступить от официальной линии, видимо, американцы имели такое же предписание. И мы расстались, мысленно покрутив кулаком перед соответствующим носом.

Из дома – к телефонным будкам (из посольства, естественно, старались не звонить – вечная прослушка МИ5). Поиск знакомых, приглашение на дринок, на ленч, на ужин, на встречу в ночном баре, что делать, если мир катился в пропасть? К вечеру я попал на журфикс в Найтбридж, к актрисе Шерли Абикэр, гости запаздывали, и мы грустно проговорили с полчаса с известным ирландским писателем Джеймсом Данливи – что мы могли сказать друг другу, кроме того, что мир безумен и все мы безумцы?

"Закрутилось все. Водородный зной.

Век. Другой. Осел танцует чарльстон с луной".

Как несчастно, как выглядело все в те фатальные минуты, сколько отсебятины мы тогда накатали, стараясь писать округло, дабы не сесть в лужу, если события развернутся иначе. Тогда я впервые подумал, что разведке в такие моменты нельзя верить. Утешало, правда, что там, на высочайшем вершине, аккумулируются золотые песчинки... Боюсь, любая разведка бессильна именно в те роковые моменты истории, когда необходим ее вклад? Ведь ЦРУ тоже не смогло спрогнозировать ни Вьетнам, ни революцию в Иране, не говоря уже о перестройке в СССР (этого сами отцы перестройки не могли предсказать, видимо, предвидение – это удел лишь гениев и безумцев).

Как назло, меня пригласили в Кембридж с лекцией перед студенческим либеральным клубом (Trinity Club). Масса вопросов о Кубе, брызги летели изо рта, когда доказывал, что на Кубе нет ракет дальнего действия. Какой-то

залетный янки с возмущением заорал: «Выходит, что Кеннеди врун?»

Студенты трепали меня лихо не только по Кубе, но и по всем параметрам, особенно по перебежчикам из Восточного в Западный Берлин. Золотые слова лились из моих уст: «Многие выступают против Германской Демократической Республики потому, что они или их родственники имеют собственность. Полиция стреляет потому, что существуют законы и границы, а их нельзя игнорировать. Если вы не останавливаетесь по приказу, в вас стреляют». Железная логика, и все верно. В конце концов, даже честный католик Грэм Грин в то время писал, что в бегстве на Запад нет ничего высокоморального: люди лишь хотели больше денег, чтобы хорошо жить. Подумаешь, хорошо жить захотели, филистеры и обыватели, а кто будет строить лучший безденежный мир, где из золота делают унитазаы? После моего спича благодарные кембриджцы показали окрестности и устроили небольшой банкет. К вечеру, впрочем, стало известно, что Хрущев признал официально присутствие ракет на Кубе. Пассаж, конечно, но тактичные англичане надо мною не измывались. Как когда-то сказал посол сэра Генри Уоттон, все дипломаты – это честные люди, которые лгут ради своей родины. Около полуночи, когда я выехал из Кембриджа, вдруг хлынул беспросветный ливень, дорога была узкой и не освещалась, а тут еще сломались «дворники», приходилось постоянно останавливаться, выходить из машины и тряпкой протирать лобовое стекло. Видимо, это была легкая месть Судьбы, что, впрочем, не отучило от вранья старлея, верившего в торжество коммунизма.

Крепок был камень, медленно точила его вода. И не сдвинули его с места ни британская пресса, безжалостно шерстившая коммунистов, ни Бертран Рассел, ни ядовитые публицисты Маггеридж и Фишер, ни блестящий Артур Кестлер со «Слепящей мглой», поразившей прямо в верноподданническое сердце, ни гениальные Джордж Оруэлл и Евгений Замятин, ни бесстрашный Солженицын... Камень покачивался, но снова прочно заползал в мох, боялся оторваться от благополучной земли, и тут же придумывал аргументы, трусливо, но искренне оправдывавшие и Теорию, и Политику, как историческую необходимость. Прав Питт-младший: «Необходимость – это отговорка тиранов и религия рабов».

А может, я неправ?

Но работе все это только помогало, укрепляя уверенность в превосходстве Системы, и я мечтал о славе Лоуренса из Аравии, естественно, в варианте Михаила из Московии, хотя очень хотелось добавить к этим триумфам лавры лорда Байрона. Иногда я представлял, как, издав под псевдонимом (очень нравилось Безлюбов) книжечку блестящих стихов, я врываюсь в Центральный Дом литераторов, средоточие изысканной кухни и ослепительных талантов, – чего стоит лишь одна надпись, сделанная забежавшим гением на стене: «Запомни истину одну: коль в клуб идешь – бери жену. Не подражай буржую: свою, а не чужую!». К тому времени я уже молодой генерал, а не полковник, как несчастный Лоуренс Аравийский, на шитый золотом мундир, увешанный орденами за подвиги в битвах с английскими консерваторами, наброшено кожаное пальто (кажется, так любил ходить Кальтенбруннер из гестапо), вид мой суров, но приятен. Друзья-литераторы, знавшие меня как задрипанного дипломата из МИДа, протиравшего кресла в посольствах, бросаются навстречу, помогают снять пальто. О, Боже! Сверкнули эполеты, кто-то разглядел лампасы, загремели ордена, все поражены, объятия, поцелуи («Миша, это ты?!»), все сияют и торжественно ведут меня в зал, там в шоке уже официантки, особенно одна, как-то упорно не принимавшая у меня заказ на дефицитных речных раков...

Но работа шла туго, поиск консерваторов напоминал ловлю бабочек неводом, коварные тори по странной причине не желали идти на контакт и тем более служить КГБ, видимо, они не представляли, какие горы фунтов стерлингов свалились бы на них, пожелай они войти в тайный комплот со мною²⁴. Я пытался глубже проникнуть в тайны английского характера, но все

²⁴ Если бы я знал, как иронична история: в октябре 1992 года в ресторане «Каретный ряд», бывшей столовой Свердловского райкома, я вышел в тесный ватерклозет – факт, достойный мемуаров. (Так и вспоминается дореволюционный анекдот об армянине в гостинице, не спавшем ночь из-за шума за стеной. Утром он прочитал на табличке «Water Closet» и воскликнул: «Я так и знал, что это – иностранец!») Там я разговорился в унылой очереди с иностранцем, оказавшимся членом парламента от консервативной партии, он тоже слегка поддал и лишь поднял бровь, узнав, что говорит с бывшим экспертом КГБ по Англии. Достойный конец спектакля – кукольного поединка между Панчем и Джуди, поставленного в духе Беккета под названием «холодная война».

больше запутывался. Стереотипы разрушались на глазах: рантье, банкиры и трутни оказывались добрыми и симпатичными людьми, а выходцы из трудовых масс, профсоюзники и шахтеры слишком часто были выжигами и амбициозными дураками, а совсем не прогрессивным человечеством.

Я подружился с лордом, который совсем не походил на колониального людоеда в пробковом шлеме, избивавшего стеклом несчастных китайских кули или индийских сипаев, и носил он не смокинг, а пуловер с продранными, но аккуратно зашитыми локтями, жил, подобно мне, в полуподвале (это успокаивало), интересовался книгами и театром, любую политику считал подлой и лживой, а ядерное состязание приравнивал к самоубийству. Дико все это было слышать от представителя правящего класса, сначала я даже подозревал, что им манипулирует английская контрразведка, дабы взять меня на крючок...

Привыкнув к бесцеремонности московской милиции, я замирал перед «бобби», когда случалось нарушать правила левостороннего движения (по правой стороне я, правда, ездил лишь по праздникам), и первое время заискивающе заглядывал им в глаза, даже не врезавшись в столб газового фонаря и не сбив маму с коляской. До сих пор в глазах стоит до безумия вежливый полисмен, остановивший меня ночью и молвивший: «Извините, сэр, но как бы вы отнеслись к идее включить фары?» (отметим конъюнктив).

Еще труднее воспринималась знаменитая английская недоговоренность или преуменьшение (*understatement*); однажды Перри Уорстхорн заметил, что недавно видел нашего посла и очень интересно с ним поговорил, очень интересно, повторил он, и при этом как-то слишком тонко улыбнулся. Конечно же, я не преминул сообщить послу о столь лестном отзыве, на что его превосходительство молвил: «Интересно? Я просто сказал, что его газета – говно!» Вот она, тонкая улыбка и дрожащие искорки в глазах... Трудно нам, русским, с этими недоговоренностями и подтекстами, все мы рвемся к «да» или «нет», «любишь – не любишь», «патриот» – «демократ», принимаем блеф за чистую монету, рубим правду-матку там, где стоило бы поиграть бровями или поскрипеть костяшками пальцев. Один мой коллега обрабатывал англичанина, и тот все кивал головой и вежливо улыбался, а вдохновленный коллега решил, что его

собеседник уже готов, как Гай Фокс, поджечь парламент во имя мира во всем мире, и начал его вербовать. В результате разразился скандал – так что, если англичанин качает головой, как Будда, это отнюдь не значит, что он жаждет влиться в когорты тайных агентов.

Меня учили, что неприступные политические клубы от простого «Реформ» до элитарного «Бифстейк» суть святая святых истеблишмента и великолепное пастбище для разведки. Там, и только там расслаблялись члены правительства и шефы спецслужб, выпускавшие изо рта секреты вместе с сигарным дымом, там за стаканчиком скотча решались судьбы страны и мира. Иногда меня приглашали туда, и я жадно оглядывал столы, за которыми уплетали протертые супы²⁵ мрачноватые типы, напоминавшие отставников в кагэбэвском клубе на Лубянке. Как подойти к ним? как заговорить? – и я пил грустно порт²⁶ в отделанной деревом библиотеке клуба. Я с тоской смотрел на ланчующего министра торговли, сэра Реджинальда Модлинга и думал, что делать. Не мог же я подбежать к сэру Реджинальду, вырвать у него омара изо рта и молвить жалобно: «Господин министр, я очень хочу с вами познакомиться... вы мне так нужны!» Как бы он реагировал?²⁷

Клубы оказались крепостями, в отличие от домов англичан, которые, как известно, являлись символами крепости и надежности. Даже на родине не бегал я так часто по гостям, как в Англии: и на тихие семейные ужины, и на домашние коктейли, где все весело верещали и легко общались друг с другом, и на незатейливые вечера, когда каждый гость притаскивал что мог.

Пожалуй, чопорность и снобизм, по Гейне, черты «вероломных и коварных карфагения Северного моря», гораздо явственнее просматривались в нашем посольстве. Одевались все наши дипломаты и

²⁵ Между прочим, жуткая кухня, повеситься хотелось от йоркширского пудинга с почками и внушительного хаггиса (кишка, набитая хрен знает чем).

²⁶ Естественно, мечтая об отечественной кородряге.

²⁷ - Закуси язык, мать, - огрызнулась юная Рачиха. – С тобой и устрица из себя выйдет.

недипломаты словно на аудиенцию у королевы: всегда темные костюмы, белые рубашки и мрачные галстуки. Не дай Бог, явиться даже на полуофициальный прием без галстука – обеспечены выговоры начальства, лавры разгильдяя и даже диссидента. По особо торжественным случаям на приемы в наше посольство приглашали толстого дворецкого во фраке (из числа тех, кто охранял врата на «улицу миллионеров» и заодно помогал службе слежки МИ-5), который занимал место у входа и зычным голосом объявлял о прибытии знатных гостей, – посмотрели бы на все это матросы, герои октябрьской революции, Железняк и Маркин!

До приезда в Альбион много, конечно, наслышался я об английских политических нравах – вершине надувательства буржуазией народных масс, но, попав в парламент («собрание старых баб» – отец Карл), сразу был покорен свободой дискуссий, остротой критики, искрами остроумия и тем, что после сессии яростные противники мирно пили пиво в парламентском пабе, а не продолжали лупцевать друг другу по мордасам.

Правда, ослепление мое вскоре увяло. В конце концов, политика грязна в любой стране, пресса любит все раздувать, вот и превратили в нелепый скандал дело военного министра Джона Профьюмо – сомнительно, что Иванов мог использовать проститутку Кристин Киллер в целях шпионажа! С Женей Ивановым я играл в волейбольной команде, общительный парень, он совсем не походил на утонченного интеллектуала, как его рисовала пресса. Мы-то хорошо знали нравы в нашей и военной разведках, нам и на милю к проституткам подходить запрещалось, но вдруг? Операция ГРУ? Что они замышляли? Веселая фантазия: очаровательная Кристин, опершись нежным локотком на подушку, спрашивает у голого Профьюмо: « Дорогой Джон, а какого вида ракеты завезли в Англию из ФРГ?»²⁸

Сначала весьма раздражала меня английская «нелюбовь к теории» (Ильич регулярно поддавал им за это), к тому же я никак не мог понять, почему так уверенно звучат марксистские аргументы на родине и так

²⁸ В конце концов, и тут я оказался неправ: в анналах одной тайной библиотек лежит книга шефа уже покойного Жени, где вся операция показана, как успех разведки.

беспомощно в Англии. Однажды на коктейле я пытался посадить в лужу одного философа-идеалиста мировой величины, профессора Альфреда Айера (как легко было биться с идеалистами дома, оглушив, словно дубинкой, «Учение Маркса всеильно, потому что оно верно» – и точка), и проблеял шибко ленинское по поводу солипсизма и поповского идеализма. К счастью, философ оказался человеком деликатным, и перевел разговор на преимущества виски перед джином.

Даже твердолобые тори не имели ни законченной теории, ни путеводной звезды, ни пленительного рисунка светлого будущего, даже лейбористы выбросили из своей программы Маркса и «пункт 4» (о национализации) и свели все к налоговой системе, благосостоянию и социальной защите.

Удивительно, как глубоко я проникся марксизмом, точнее, его подобием! Даже упоминание о частной собственности вызывало только усмешку – разве можно было этот анахронизм принимать всерьез? что есть собственность в сравнении с выходом из мира грязного чистогана в царство свободы, где все мы будем лишь совершенствовать души и извилины, отрешившись от бранных материальных забот? Интеллектуальные бродяги, безумные поэты и философы, отдававшие последние гроши ближним, пламенные революционеры, отрекшиеся от дворянства и состояния, прочно заняли в моей душе места героев...

И все же мой революционный романтизм хирел, и как-то незаметно я начал подражать буржуа: купил модный костюм за двадцать фунтов (приличная сумма по тем временам), начал баловаться сигарами и трубкой. Обзавелся зонтом с бамбуковой ручкой, которым стучал по асфальту, как тростью, во время динамичных променадов по Пикадилли, и, если бы не риск разборки на партийном собрании, приобрел бы, наверное, и котелок. По уик-эндам, подражая англичанам, я натягивал на себя старый свитер и протертые фланелевые брюки, не брился и, прогуливаясь по Гайд-парку, чувствовал себя чистопородным лордом.

Мой Альбион!

Несется кеб прошлого по булыжникам, скрипят колеса, газетчики заглядывают в окошко и кричат на корявом кокни: «Анк ю, саа», что

означает «Спасибо, сэр»; вот Стратфорд-на-Эйвоне, я внимательно рассматриваю скульптуру Гамлета (и нахожу поразительное сходство со старлеем); вот озеро Серпантин в Гайд-парке, где утонула жена Шелли («Чья жена? – спросил меня коллега. – Не того кривоногого мужика, который вчера на банкете сожрал целую банку черной икры?»); я пробегаю рано утром по парку в трусах, – физкультпривет! – толкаю вместе с Катей коляску с сыном, вот он неуверенно ступает по траве, с удивлением осматриваясь вокруг; вот ресторан «Этуаль» в Сохо, я и американский профессор истории (он закладывал в верхний карман пиджака пышный цветной платок, торчавший небрежно и изящно, я, видимо, с таким вожделением глядел на этот букет, что однажды он вынул его из кармана и подарил мне: бери, Майк, на здоровье! – ношу по праздникам до сих пор) выковыриваем из раковин улиток, вбегает человек, кричит на весь зал: «Убит президент Кеннеди!»

Все замирают, перестают пить и жевать, немая сцена.

Вот мы обедаем с Диком Кроссманом в кафе «У Исаака», и вдруг официант приносит записку: «Ваш столик подслушивается!» (Your table is bugged!, я сохранил ее в своем архиве). Содрогнувшись, передаю ее своему визави, он невозмутимо читает ее, подняв брови, возвращает мне. Мы быстро сворачиваем трапезу, хотя ничего преступного не совершали, мы идем к выходу, кто-то хлопает меня по спине и гогочет: ба! да это старый хохмач, давний приятель кинорежиссер Джек Ливейн, это он решил разыграть, спасибо, дорогой, за черный юмор, посмотри, как побледнели мы оба...

Катя рисует меня цветными мелками то у Биг Бена, то на Трафальгурской, голуби садятся ей на плечи и на голову, она хохочет, отряхивается, словно от брызг, Катя рисует карикатуры, где я то зарылся в газеты, то в костюме Адама брожу по комнате, то в клетчатом твиде спешу на работу, не успев надеть ботинки, то замер в машине у «зебры» и вожделенно тарашусь на мисс с оттопыренным задком. Катя рисует себя то уродиной в конусоподобном, «беременном» платье перед родами, то долгоносой птицей с унылой коляской, из которой торчит дитя, то сногшибательной красавицей на семинаре жен дипсостава, Катя рисует нашу жизнь, Катя – это Лондон, который уже не принадлежит мне.

Катя рисует.

"Чертила томно и ленно,
губу оттопырив вниз,
левой рукой – поэму,
правой рукой – эскиз".

Катя рисует.

Летит мой кеб...

Занятие шпионством необыкновенно расширяет знание человеческой души, но губит нас, бедняг, превращая в циников. Разве порядочный человек станет заглядывать в замочную скважину и собирать по зернышку информацию, о которой сосед предпочитает умалчивать?

Профессиональный шпионаж губит личность, и самое ужасное, что человек, созданный Богом, прекрасный и ничтожный человек со своими радостями и горестями, в глазах разведчика предстает как «фигурант дела агентурной разработки». Так торжественно именуется досье, куда толстой иглой и суровой ниткой важный от сознания собственного достоинства опер подшивает бумаги со времен царя Гороха. Homo sapiens, царь природы превращается в объект, который необходимо рассматривать со всех сторон, обнюхивать, облизывать, опутывать, охмурять, соблазнять, вербовать.

И все же...

И все же они всегда со мной, мои агенты, состоявшиеся и несостоявшиеся, преданные и отвернувшиеся! Все вы со мной, мои сорванные вербовки! Все они идут вереницей, взявшись за руки, по кромке горизонта – это моя жизнь, я и в ней и над нею, любопытный зритель, давно знающий, чем закончился спектакль, но вновь и вновь проигрывающий и переигрывающий все ходы. Они ковыляют, подпрыгивают, хохочут, хмурятся, грозят мне кулаками, тянут приветственно руки, отворачивают лицо, плачут. Вон среди них очень гибкий дипломат, обещавший золотые горы и дуривший голову, а вон опытный волк, которому палец в рот не клади, он научил меня жизни больше, чем все университеты, а потом слинял

неизвестно почему. Вон он машет моему сумасшедшему кебу, растопырив пальцы, делает мне «нос» и кричит: «Что старина, обдурил я тебя? Правда, ловко?» Вот и худенькая леди, долго решавшая, передать ли секретные документы или жить бедно, но счастливо, очень она боялась встреч со мной, зато потом раскрыла свои объятия одному западному корреспонденту—нашему агенту, и уж его совершенно не боялась и снабжала ценной информацией. Она смотрит на меня с горькой усмешкой: «Как живешь, победитель? Как тебе удалось подставить мне этого прощельгу? А знаешь, если бы у тебя хватило выдержки, я, в конце концов, передала бы и тебе эти проклятые документы!» Если бы знать, милая леди, если бы знать! Если бы всё мы могли просчитать заранее... Вот интеллеktуал и мастер пера, гордость нации, милейший и скромный человек, он отворачивает от меня лицо и ворчит: «Какой я, к черту, агент? Что вы меня зачислили в гнусную компанию?! Я и денег у вас не брал!» Конечно, не брали, сэр, вы, как большинство англичан, неподкупны, вы не брали, а я не осмеливался давать, я просто опускал конверт в карман вашего пиджака, когда мы выходили в туалет, конечно, вы не шпион, сэр, вы и не могли видеть этот конверт... вы даже не благодарили... В окошко кеба на манер «Рот фронт» влезает кулак, это сильный мужик, он работал как вол, никогда ни в чем не сомневался и всегда шел до конца. Рукопожатие его твердо, на губах смешок: «Майк, к чертовой матери эту мерзкую работу, давай сядем и напьемся, давай поговорим по душам, мне не с кем говорить в этой фарисейской стране! Как мне обидно, что я не родился русским!»

Они бредут вереницей и исчезают за горизонтом, я постепенно забываю их лица, но тогда вспоминаю места наших встреч: лондонские парки, улочки с газовыми фонарями, лавками и кинотеатрами, пабы и кафе. И вдруг берег Женевского озера – почему его нет? не арестовали ли? ищу черную шляпу «борсалино» Вене – опознавательный признак на всякий случай, если не я, а другой выйдет на место встречи у собора святого Стефана. И вдруг рыбный базар в Остенде, там на берегу торгуют свежешвыловленной селедкой (матиас), которую, слегка посолив, можно тут же отправить в рот, и вдруг пригород Брюсселя и ресторанчик у ветряной мельницы, вокруг которой я кружил вместе с помогавшим мне Сашей

Ивановым, как князь из «Русалки», ожидая, что вот-вот мелькнет вдали котелок, прикрывающий облезлый череп, и симпатичный мужчина со вставной челюстью явится пред светлы очи мои, откроет портфель из крокодиловой кожи, в котором...

Но в чем я ошибся жестоко, так это в знаменитых спецслужбах, чье изощренное коварство, как учили меня, великолепно сочеталось с благопристойным фасадом джентльменства. Целая галерея рафинированных английских шпионов жила в моей памяти, начиная от основателя секретной службы сэра Фрэнсиса Уолсингема, раскрывшего серию заговоров против королевы Елизаветы и заранее узнавшего о приближении испанской Армады. Там были и гении литературы Марло и Дефо (говорят, и Шекспир), там блистал мастер политической интриги сэр Роберт Локкарт²⁹, беспрерывно менявший свои псевдонимы, паспорта, явки, консквартиры и любовниц, и полковник Лоуренс в арабском одеянии, пивший из пиалы чай со своим агентом и другом шейхом Фейсалом, и всех их воспел Киплинг в «Марше шпионов»: «Смерть – наш Генерал, наш гордый флаг вознесен, каждый на пост свой встал, на месте своем шпион!»

Я рассматривал портреты шпионов-джентльменов с безупречными манерами, я восторгался их чеканными профилями, ухоженными усами, неправдоподобной смелостью. Об интеллекте британских спецслужб я судил по таким глыбам, как Сомерсет Моэм, – не кадровый разведчик, но талантливый агент, совершивший даже поездку в Россию, дабы «предотвратить большевистскую революцию», по такому сатирику, как военно-морской разведчик Комптон Маккензи, – я хохотал до колик, читая его «Вода в мозгу», в которой он больно отшлепал спецслужбы. И, конечно

²⁹ Локкарт просто сразил меня: «Книги, прочитанные мною за три недели в кремлевской тюрьме: Фукидид, «Воспоминания о детстве и юности» Ренана, «История папства» Ранке, «Валленштейн» Шиллера, «История Семилетней войны» Арченгольца, «История войны в России 1812 г.» Белицке, Маколей, «Путешествие с ослом» Стивенсона, «Жизнь Наполеона» Розе, Уэллс, «Против течения» Ленина и Зиновьева. В те годы я был серьезным молодым человеком». А какая прелесть его книга о виски! Хочется упиться вдрызг!

же, Грэм Грин с «Нашим человеком в Гаване»³⁰, а потом Джон ле Карре с "Портным из Панамы". Блестящие перья двадцатого века, какие донесения они писали, как зачитывались ими министры и премьер-министры! Тут было чему поучиться Михаилу из Московии, мечтавшему о славе лорда Байрона в Доме литераторов на улице Герцена.

Живых агентов английской разведки в то время я еще не встречал, хотя подозревал многих, особенно тех, кто был по-военному строен и импозантен, кончал частную школу и Оксфордский университет, одевался неярко, но со вкусом и небрежно сорил суховатыми остротами. Во время поездок по стране сталкивался я иногда с сыщиками МИ-5, которые обычно шли в хвосте, – это были милые люди, часто выручавшие во время блужданий по незнакомым дорогам, они не особенно скрывали свою миссию, останавливались обычно в одной гостинице со мною, приветливо здоровались, иногда принимали угощения и заверения в том, что ночью я не ускользну на явку с агентом на ближайшее сельское кладбище.

Иногда я фантазировал (это было сладко), как когда-нибудь над тайником мне неожиданно закрутят руки, и щелкнут наручники, и бросят в машину, и повезут в кабинет, где умнейший полковник в штатском (именно полковник, не меньше) заведет вербовочную беседу. Уж я держался бы твердо, как подобает взятому в плен солдату, уж я ни в чем бы не признался и с дерзкой усмешкой на губах отмел бы все домогательства. И наверняка, если бы он дотронулся до меня, плюнул бы ему в гнусную харю. Впрочем, почему один полковник, а не три-четыре опытейших профессионала в костюмах мышинового цвета (возможно, кто-то и с моноклем), чисто выбритых, пахнувших горьковатым, истинно мужским лосьоном, и трубочным табаком «Клан»? И, конечно, не начинают грубо и плоско: «Будете работать на нас или нет?» – а ведут все издалека, возможно, от времен Ивана Грозного,

³⁰ С Грэмом Грином в начале 60-х я встречался в Лондоне. Уже в 80-е, когда он жил в Ницце, я попросил своего друга, консула Сашу Иванова получить у него автограф на книге «Почетный консул». «Помню, помню, я этого Майкла! – пробормотал Грин, надписывая книгу. – Он едва не прищемил мне нос дверцей машины, когда я чуть нагнулся, чтобы помахать ему на прощанье рукой!»

развивавшего торговлю с английскими купцами, затем пару слов о благотворном влиянии Шекспира на Пушкина и Евтушенко, и уж только после этого прямо к вербовочной сути, приправленной соусом англо-советской дружбы. В глазах стояла советская картина «Допрос коммуниста» Иогансона, где гордо держался на ногах несгибаемый герой, держался под гогот холеных полупьяных врагов в золотых погонах.

Однако капризная фортуна уготовила мне совсем другой сценарий. Однажды я получил приглашение от общества квакеров, которое по странной случайности у меня сохранилось, оно гласило, что 27 октября 1964 года в 7 часов вечера я приглашен на лекцию профессора Макса Белоффа. Мадам Стелла Александер, секретарь этого общества, очень просила, чтобы я подтвердил свой приход или неприход в день мероприятия, причем, очень настоятельно. Обычно народу собиралось не более 30 человек, затем стоя пили чай (о,квакеры!), зачем тут столь настойчивая просьба. Разве буду я или нет –вопрос принца Гамлета? Сейчас через пятьдесят лет, когда моя бдительность проснулась, очень хочется написать, что я подумал: к чему такая предупредительность и даже суетливость? Это же не обед у королевы, где на счету каждый гость и каждый прибор! Ан нет! Сыроватый осенний вечер, скромное чаепитие после лекции, все передвигались и общались, я переходил от одного гостя к другому с чашкой чая в руке (хочется дописать: и с красной гвоздикой в петлице), пока не оказался близ своего знакомого Айвора Винсента, человека весьма скромного и несколько рассеянного, похожего на замученного библиотекаря и потому симпатичного библиофилу из Московии. Винсент занимал пост главы отдела связи английского МИДа (Communications Department), то есть опекал шифровальную службу в Челтенхеме, – вождеденный кусок для разведки, при таком агенте можно закрыть всю резидентуру и снимать пенки только с его шифровок, попутно раскалывая шифры других натовских стран. Человеком он был благопристойным и семейным, довольно часто мы с Катей встречали его с выводком детей во время прогулок по Гайд-парку. Ни у резидента, ни у меня не было никаких сомнений, что Винсент, если не в кадрах контрразведки МИ-5, то тесно связан с этой бдящей организацией. Однако он пошел на контакт, даже пригласил к себе домой, познакомил с

женой и подарил монографию философа Альфреда Уайтхеда (это было особенно лестно – не кулинарную же книгу!). К тому же, жена – ирландка, вдруг ненавистница Англии, тайный член Ирландской освободительной армии? Чем черт не шутит? – вдруг поселилась в нем идея фикс продать нам шифровальную службу Англии со всеми потрохами за несколько миллионов фунтов стерлингов? Так мы иногда и общались: он наслаждался беседой со мною, я же тешил себя сумасшедшими фантазиями. Резидентура после всех разгромов и провалов сидела на мели, в таких печальных случаях полезно демонстрировать хотя бы рвение: мы бодро доложили о Винсенте, нарисовали голубое небо и горевшую звезду, и с тех пор вся информация о Винсенте шла на самый верх КГБ, дело гремело, как танец с саблями – в центре старлей с кинжалом в потрясных зубах. Как приятно всем выдавать желаемое за действительное, и резидентуре, и Москве, спускавшей сверху ценные указания буквально по каждому поводу, – еще бы! если бы мы его завербовали, можно было бы просто закрыть всю резидентуру и распустить всех агентов, оставив его одного. Дело развивалось сравнительно спокойно, я неторопливо изучал Винсента (а он – меня), мирно беседовал с ним о высоких материях, ожидая, что он вдруг подмигнет и жарко прошепчет: «Завтра жду вас в музее мадам Тюссо, около восковой фигуры Хрущева, это очень важно!» И вдруг, словно обухом по голове: Центр решил проявить здоровую инициативу, придать делу, как модно было говорить, наступательный характер. Тем самым подчеркнуть, естественно, инертность резидентуры, забитой недотепами, и предложить мне пригласить Айвора на уик-энд в курортный Гастингс (о выезде туда уведомлений в Форин Офис не требовалось, ибо рядом располагалась посольская дача – небольшой замок, подаренный Советам каким-то спятившим от идейности богачом-коммунистом). Захватить с собою присланные из Москвы бутылку водки и пилюли, остановиться с ним в отеле и раздавить совместно бутылку, предварительно проглотив спасительное лекарство, далее, по мысли организаторов, из уст Икс под действием психотропной водки полились бы все секреты кабинета министров...

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Даже шевалье д'Эон де Бомон, переодетый в девушку и засланный французским королем в русский императорский двор, и то чувствовал себя, наверное, безопаснее, хотя в подошвах его ботинок и в корсете хранились секретные письма и шифры. Где гарантии, что попивая водочку и думая о ней, мы не будем под контролем британской контрразведки? Интересно, с какой стати приглашать Винсента в Гастингс? Согласится ли он? Как это будет выглядеть? Два дружка, два мужичка мчатся в Гастингс... Ха-ха, может быть, еще и остановиться в одном номере? Очень актуально, особенно после громкого провала клерка адмиралтейства, гомосексуалиста Джона Вассала. Бред сивой кобылы. И я представил храброго старлея, еле стоявшего на ногах (пилюли частенько действовали не на тех, кого надо), но упрямо тянувшего трезвого Винсента из отеля на поле брани близ Гастингса, где 14 октября 1066 года норманы Вильгельма Завоевателя разбили наголову саксов и заложили основы славной Великобритании... Резидент, вкусив от этой грандиозной идеи, был зол и мрачен, он метким глазом различил змеиную интригу Москвы, вынуждавшую его становиться на канат. Однако отреагировали мы мягко, стараясь не обозлить Центр: отметили все трудности организации дружеской вечеринки в Гастингсе, обязались принимать меры, искать возможности и трудиться над Винсентом по способностям.

Вскоре начались парламентские выборы, резидентура крутилась, «приводя к власти» лейбористов, которые тогда считались потенциально слабым звеном в НАТО, я не особенно высовывался с Айвором, хотя и поддерживал с ним контакт, о Гастингсе речь не заводил – короче, мы начали медленно спускать все это дело на тормозах...

Итак, после раута на Балком-стрит мы с Винсентом преспокойно проследовали в уютный паб близ Кен-Хай, заказали по скотчу и начали обмен мыслей и чувств. Мы уже окунулись в этот парадиз и выпили по два скотча, когда мой приятель извинился, встал и, деликатно промолвив, что намерен вымыть руки, удалился в боковую дверь, что меня несколько не удивило. Настроен я был вальяжно, в голове неторопливо струились некие патриархальные мысли, связанные с недавним возвращением семьи из

Москвы. В зубах дымилась сигарилла (Кастро и Че Гевара давно убедили меня, что любовь к сигарам не равносильна предательскому переходу в буржуазный стан), из-за стойки приветливо улыбался дородный хозяин, вокруг неторопливо гудели стайки посетителей.

– Ваша карьера закончилась, сэр... – услышал я, и только тогда скорее почувствовал, чем увидел, что по бокам у меня сидели два джентльмена, о нет! не джентльмены, нет! – У Вас нет альтернативы, сэр. Вы провалились...мы знаем ваши тайные контакты... (посыпались имена)... у нас есть снимки... у вас нет выхода, сэр, кроме...³¹

Я не слушал. Я был потрясен их непрезентабельным видом: рядом сидели не Сомерсет Моэм и Грэм Грин, а какие-то странные хари из Гоголя, один был небрит и походил на бродягу, постоянно вещавшего с самодельной трибуны в Гайд-парке, другой лоснился румяными ланитами, но сидел мешком, и пахло от него жареной картошкой. Больше я ничего не смог узреть, ибо в тот момент был явно не расположен к литературным зарисовкам. Меня вербовали! – я понял это не сразу, а когда осознал, то не заиграл в груди «Интернационал», и не прозвучала язвительная Цицеронова отповедь, а я лишь, как полагалось по инструкции, вскричал (если честно, пискнул): «Это провокация!» – и, загремев стулом, бросился к выходу.

– Куда вы, сэр? – слышалось вослед, но я даже не обернулся (потом очень жалел, ведь это был последний шанс сразить врагов наповал гордым видом и сжигавшей, как огнемет, остротой, а еще лучше – бросить в лицо лайковую перчатку³². Я мчался в шоке к машине, но почему-то никто не гнался за мною, звеня наручниками и размахивая «смит-и-вессоном». Около машины засады тоже не оказалось, бомбу в салон не заложили, и я

³¹ Оглянувшись в последний раз, Алиса увидела, что они засовывали его в чайник. Льюис Кэрролл.

Теперь становится понятно, почему меня настойчиво просили подтвердить приглашение, да еще в тот же день: дабы знать наверняка, ибо английская контрразведка готовила операцию, и все пошло бы насмарку, если бы я не явился..

³² Была у меня, правда, лыжная варежка, но я оставил ее в Москве.

полетел доложить о ЧП в резидентуру, переживая, что ко мне подкатились не как к асу разведки, а как к мелкому воришке.

В те великолепные времена КГБ еще не растерял зубы, и, хотя криминальная деятельность старлея не вызывала сомнений, КГБ решил не давать спуску «этим англичашкам» (иначе они совсем обнаглеют!), надавил на МИД. Вскоре наш посол торжественно пересек кабинет министра иностранных дел Патрика Гордон-Уокера с намерением зачитать меморандум о варварской провокации против ни в чем не повинного советского дипломата.

– Одну секундочку, сэр, – перебил его министр и быстренько извлек из папки свой меморандум. Оный гласил, что главный герой вел деятельность, несовместимую со статусом дипломата, и должен покинуть гостеприимный Альбион.

Деликатные англичане не указывали сроки и обещали не предавать мое дело огласке (лейбористы только пришли к власти, зачем шумиха и порча отношений с Россией?). Однако английскую мягкость восприняли в Москве по-боевому: нечего им, гадам, уступать, пусть уезжает через полгода! Свернуть всю оперативную работу, не уезжать! Это я проделал довольно быстро и бездельничал, наслаждаясь прогулками по улочкам Пимлико и Челси и созерцаниями картин в галереях, – со стороны можно было подумать, что КГБ командировал меня в Лондон для изучения живописи.

Однако уже через пару недель на приеме в посольстве шеф русского департамента Смит подошел к послу Александру Солдатову и деликатно поинтересовался, не изменяет ли ему зрение и не похож ли тот симпатичный молодой человек, вон тот, уминающий индейку, на того самого... который...о котором в меморандуме? разве он не уехал? Намек был понят, пенни упало, завертелось по-советски быстрое в таких случаях колесо, и мы мигом снялись с якоря, еле успев упаковать вещи. Никто из коллег от меня не отвернулся, никто не смотрел как на изгоя. Особенно помогал Виталий Бояров, в будущем один из руководителей советской контрразведки,

Второго Главного управления КГБ, выведенный впоследствии в фильме «ТАСС уполномочен заявить» под фамилией генерала Константинова.

(В июле 2017 года англичане традиционно рассекретили документы, связанные с моей высылкой, их версия в целом совпадает с моей. Правда, они опровергают, что ко мне было применено насилие, ибо в нашей ноте для острастки указывалось, что меня принуждали к сотрудничеству).

Ла-Манш явно злобствовал, корабль качало, я придерживал на вожжах строптивного сына, рвущегося к борту. Катя, гордо подняв голову, молча прощалась с коварным островом, радуясь, что лондонское затворничество завершилось, и впереди огни рампы. Персона же нон грата страдал не от морской болезни, а от полной неясности в будущем. Но дух был тверд: пейте «гиннес», господа, а мы – на Жигули! Так я стал персоной нон грата. Англия умерла для меня (возродилась после перестройки), но не умерла во мне, наоборот, с годами она становилась все ярче и притягательнее, она выплывала в новых деталях и приобретала новые краски. Я все больше любил ее и люблю сейчас как память о молодых годах, прекрасных иллюзиях и серьезных прозрениях. Мой Альбион всегда со мной, я населил его своими английскими друзьями, заполнил его любимыми парками, коттеджами, скульптурами, это Альбион, который нельзя у меня отнять. Иногда мне кажется неприличным, что я занимался в этой прекрасной стране шпионажем, а порой я этим горжусь и тогда, словно в дурном сне, выскакивают из прошлого двое – Небритый и Мешок, – они грозят мне кулаками и орут: «Ату его, ату!». И тогда я думаю: не зря! не зря я шпионил, не зря!

В 1965 году Англию постигли две грандиозные катастрофы: умер сэр Уинстон Черчилль и выслали мужественного старлея.

"И шелестит в руках газета «Гардиан»,

И хочется взять зонтик продырявленный

И в клуб брести как прогоревший лорд..."

ГЛАВА ПЯТАЯ

**ТУТ НА ОСНОВЕ ПРАВДИВЫХ РАССКАЗОВ ИЗ ЖУТКОЙ ЖИЗНИ АВТОРА
СОБРАНО ВСЕ О РАЗВЕДКЕ – ЧИТАЙ И ШПИОНСТВУЙ!**

Глостер. Дай руку поцелую я тебе.

Лир. Вытру сначала. У нее трупный запах.

У. Шекспир

Наденьте кальсоны, присядьте у раскрытого окна, послушайте, как хрюкают свинки в хлеве. Со двора веет чем-то очень-очень человеческим, мужик в тапочках запускает турманов, на них, высунув языки, смотрят собаки, грустно и сладко на душе, и хочется поговорить не о сургучных печатях, королях и капусте, а о верных тайных агентах, которых, возможно, и не было. Но как не попасть в тюрьгу за разглашение страшных тайн? Берем мясорубку и засовываем в нее пятнадцать агентов, непременно одного агента влияния, три доверительные связи, добавляем перца, лука, пару стаканов вина (плюс пару в глотку), все перемалываем, лепим котлетки, заливаем кипятком, бросаем туда крыло летучей мыши, глаз орла, кусок хвоста барана, бормочем заклинания... .

Приятного аппетита!

КУКУШКА

И будем мы судимы – знай –
Одною мерою.
И будет нам обоим – рай,
В который – верую!

Марина Цветаева

Ровно в шесть тридцать вечера товарищ Микки любящими руками молодого отца вынул из кровати сына, хорошо завернул дитя в одеяло, снес в коляску, стоявшую внутри подъезда, и выкатил ее на ярко освещенную Кенсингтон Хай-стрит. Гордо выпятив грудь и обзрев все вокруг, Микки покатил коляску по «зебре», не достаивая взглядом застывшие машины (мелькнула жуткая мысль, что на родине уже валялся бы под колесами), въехал в Холланд-парк и начал кружить по нему вместе с безучастным сыном, еще не обретшим боевой дух после сна. Около Холланд-Хауса, особняка в тюдоровом стиле – граф Холланд сочувствовал Наполеону и даже построил казармы для французских солдат на случай захвата Лондона (предусмотрительность патриота?) – на Earl's Terrace ныне жили советские дипломаты. Старлей могущественной советской разведки Микки присел на скамью, нежно посмотрел на сына и поправил одеяльце, тайком взглянув на часы. Минута в минуту из-за старых лип вынырнула взволнованная жена разведчика, красавица, верный друг и помощник, и твердой походкой богини Дианы на охоте направилась к мужу по усеянной листьями аллее.

Английской наружки не хватало не только на жен, но и на самих разведчиков, и потому жен частенько использовали для прикрытия операций. Движение с коляской несуетливо и невинно: можно поставить или

снять сигнал, начертанный мелом на завезенном из Азии кипарисе, или поднять контейнер – смятую пачку «Ротмэна», пролетевшую мимо урны, еще удобнее тянуть несколько колясок с целым выводком соседских детей.

Но на этот раз коляска призвана была убаюкать наружку — какой же идиот потянется за отцом семейства с коляской? Хитроумный Микки поцеловал жену («Буду поздно, ложись спать», – сказано было тем самым голосом, который заставляет женщину трепетать и представлять мужа у вражеского дота с гранатой в руке), вышел через парк к метро, проехал до Оксфорд-Серкус, сделал несколько пересадок и вскоре очутился недалеко от Кариендарс-парк, где в машине его ожидал другой ас – товарищ Павел (увы, еще не апостол!). Далее начинались кульбиты, сальто мортале и прочие коленца, дабы выявить вездесущий и столь часто видимый «хвост», затем оставили машину на тихой стоянке около уже опустевшего супермаркета, погрузились в автобус, поменяли его на другой, уже не двухэтажный, а «зеленой линии», пешком пересекли железную дорогу (переезда для машин там не было, что делать сыщикам?) и вскоре, счастливые, вышли в Богом забытом районе, куда даже гангстеры не залетали – одни психи и шпионы.

– Тебе крупно повезло, – говорил возвращавшийся вскоре на родину Павел. – Взять на связь Кукушку – это великая честь. Ты знаешь, что во время войны, когда ее муж работал в госдепе, Сталин не начинал рабочего дня без ее донесений?

– Это было так давно, старик...

– Чудак, они оба получили по ордену Ленина, с нею работали только резиденты! (Значит, буду на особом контроле, каррамба!)

– Что-то ты ничего не получил. (Павла передернуло.)

– Если бы муж был жив... если бы она была помоложе. (И ты был бы поживее.)

– Тогда наверняка ее взял бы у тебя на связь сам резидент, у него нет ордена Ленина. (Ядовит был Микки, не любил вылезать из постели рано и гулять с сыном).

Жидко светили газовые фонари, вокруг было пустынно и безмолвно, только звуки шагов, только невзрачные дома с задернутыми шторами – не хватало собаки Баскервилей и профессора Мориарти. Из-за угла выползла тощая фигура, закутанная в плащ, она подходила все ближе и ближе.

–Познакомьтесь, это Себастьян, – церемонно представил Павел Микки. – А это Мэрилин.

Из-под очков глянули чуть навывкате глаза, шевельнулась улыбка, под плащом зябко дрогнули угловатые плечи. Вдруг заревел мотор, на улицу вылетела полицейская машина, двое, чуть притормозив, повернули головы, однако не сочли странную тройку закоренелыми преступниками, видимо, приняли за местных пьянчуг, кочевавших из паба в паб (кстати, на пьяници они и походили).

– Может, выпьем по джину с тоником? – предложила Мэрилин.

– Не надо толкаться среди англичан и привлекать внимание, я вас хотел только познакомить, – сказал Павел. – Прощайте, Мэрилин, я отбываю. Себастьян – надежный друг, надеюсь, вы поладите.

И он растворился во мгле, как Мефистофель, подаривший Гретхен Фаусту. Все это называлось передачей агента на связь и имело целью избежать явки с опознавательными знаками в виде зонтика с бамбуковой ручкой или фикуса в петлице. С минуту еще пошептались, договорились на будущее и разбежались в стороны, как мыши, преследуемые обезумевшим котом. Павел подждал Микки в обусловленном месте. Домой добирались долго и снова проверялись: вдруг Кукушка притащила за собой «хвост», который радостно вцепился в нас? А полиция? И именно в момент контакта!

– Ты не смотри на то, что она на вид хрупкая и в очках, – разъяснял товарищ Павел, – воля у нее потрясающая, не удивительно, что она взяла за рога своего мужа и живо завербовала! – Он был коммунистом? – Что ты! Настоящий госдепонец, но антифашист! Шуточка ли – завербовать мужа на иностранную разведку. Так что ты взял на связь очень ценного агента... – Но как эту старушенцию использовать? – Пойми, старик, что надежному человеку в разведке всегда можно найти применение, все зависит от тебя. –

Что-то ты ее использовал все по мелочи: конспиративный адрес, установка личности... – Это тоже дело... – Но отнюдь не высший пилотаж, мне же и шеф, и ты преподносите эту даму как дорогой подарок!

Но дело было сделано. Кукушка вскоре явилась в польский ресторан «У Любы», где кормили борщом а-ля граф Юсупов и мясом а-ля граф Строганов, – аристократы, наверно, трясли кулаками из могил, ибо даже гитарист с набриолиненным чубом, наяривавший «Очи черные», не мог скрасить всего убожества кухни.

Первая агентурная встреча требует нежности, как первое свидание, только полные идиоты с ходу обсуждают дела. Первая встреча – это дружелюбная атмосфера, это – наведение мостов, это – ключ к будущему, что весьма непросто, если невозможно разжевать бефстроганов и кусок подошвы попал к тому же в большой зуб, сейчас бы зубочистку, но эти шляхтичи – хамье и выжиги, зубочистки на стол не ставят и наверняка нагреют при расчете. Боже, как болит зуб, а вдруг он еще и попахивает. Что скажет дама? хорошо, что предусмотрительный Микки облился туалетной водой «Олд спайс», хотя сказано слишком сильно, не облился, а слегка смочил щеки и волосы за ушами, ибо одеколон стоил бешеных денег, а семья копила на западногерманский магнитофон.

Мерилин налегла на зеленые бобы и салат, а Микки глядел на героиню, уже переступившую пенсионный возраст, и думал, что с ней делать: ведь не пристроить в таком возрасте на вожделенное местечко в Форин Офис или в Министерство обороны. Может, использовать орденоноску для слежки за подозрительными субъектами, но ведь обидится, еще депешу с жалобой передаст в Москву! А может, не суетиться и просто использовать ее адрес для получения секретных писем, написанных лимонным соком, с проявлением при помощи горячего утюга.

Да, жить одной трудно, много внимания требует сын, кончавший школу, молодежь сейчас пошла другая, о будущем не думает, то ли дело наше поколение, уже в юности вошедшее в классовую борьбу... Паршивец-официант все крутился рядом, вообще лучше не ходить в эмигрантские рестораны, тут каждый второй – агент контрразведки, что делать с этой

орденоносской? Предложить Центру списать ее в архив. Ха-ха. Высекут и добавят, что лишь ценный агент попал из рук умного апостола Павла в длани глупого товарища Микки, как все дело пошло насмарку. Хватит думать об этой Мерилин (это уже на пути домой), проклятый зуб (тут уже можно было вдоволь поковырять спичкой), все обойдется, все это чепуха, шлифуй свой стих, старлей, когда-нибудь опубликуешь. Что-то Центр задерживает «капитана», вот гады!

«Парк, вычерченный четко, как чертеж,

Чернел, укрывшись под чадрую ливня,

И лилии вытягивались в линии,

И в листьях перекатывалась дрожь.

Как грустно мне под фонарями газовыми

Всю эту сырь своим теплом´ забрасывать

И наблюдать с унылою гримасою,

Как догорает третий час камин...

Не пахнут для меня цветы газонные,

Не привлекают леди невесомые,

И джентльмены, мудрые и сонные,

Меня вогнали в англо-русский сплин.

И я уже фунты тайком считаю,

Лью сливки в чай и биржу изучаю,

И я уже по-аглицки скучаю,

Устало добавляю в виски лед.

Английский кот внизу разлегся барином,

И шелестит в руках газета «Гардиан»,

И хочется взять зонтик продырявленный

И в клуб брести как прогоревший лорд.

Но угли вспыхнут ярко и растерянно,

О, Боже, как душа моя рассеянна!
 С ума сойти от этого огня!
 Там белые снежинки загораются,
 Там черти пляшут и века смещаются,
 И стынет в пепле молодость моя.

Когда-нибудь, когда-нибудь опубликую, а пока что же, черт побери, делать с этой Кукушкой, куда ее пристроить?

Родной полуподвал на Эрлс-Террас, супруга, подобно преданной Пенелопе, не спала и штопала носок (экономили еще как!), рванул стакан цинандали, присланного из Москвы, временами кричало дитя, опять бессонница, Гомер, тугие паруса, жена быстро заснула, намаялась с дитятей. У этой старушенции Мэрилин голубые глаза, в молодости, наверное, была красавицей...

Но бесперспективна.

Думай, думай, нет таких крепостей, которыми не могли бы овладеть большевики. И бедный Микки не спал и думал, он представлял, как Мэрилин вербовала своего супруга-штатника, как горели голубым пламенем ее глаза. «В результате Мейер согласился помогать силам, выступающим за мир и против фашизма» (это из справки Центра). Как происходила вербовка? За чтением газет в кресле у камина? Ночью в постели, когда уже потушен свет? Или во время... не кощунствуй, засранец! Или после ужина (филе камбалы с брюссельской капустой) под звон льда в стакане, холодившем и без того холодные руки. «Питер, у меня серьезный разговор». – «Слушаю, милая!» – «Мне для статьи нужна информация о конфликте в американской администрации». – «Попробуй, собери!» (Хмык.) – «Я хочу, чтобы ты помог, ты же кое-что получаешь...» (Глоток джина.) – «Но ты ведь знаешь, что это секретно, об этом нельзя писать...» – «Я не буду писать об этом, но использую для своей статьи, никто и не догадается...»

Глухое молчание. Или смешок. Или крик: да ты спятила! Я что? шпион? Закон жизни, политики и разведки: с течением времени человек привыкает ко всему, и, конечно же, к шпионству, человек привыкает ко

всему, даже к смерти. Вскоре он уже консультировал ее, и считал это в порядке вещей. «Что тебе терять время на консультации? Принеси документы, я прочитаю, и сделаю выписки. Утром унесешь!» – «Но их могут хватиться!» – «Хорошо, давай сделаем это в обед...». Сигарета за сигаретой, вой машин, бой часов, лай собаки, стук лифта, грохот двери. «Принес?» – «Да, да, я пообедаю сам, а ты читай!» Громыханье тарелок. Скрип табуретки. Кукушка фотографировала «миноксом», положив документы на сиденье стула, она держала камеру на спинке, лицо горело от вдохновения, голубые глаза светились счастьем.

Резолюция Центра: «В целях более надежного обеспечения безопасности, следует перевербовать мужа непосредственно на нашу службу» – работать напрямую надежнее, жены бывают капризны и вздорны, даже если они борются за великое дело коммунизма.

«Милый, у меня есть товарищ, который очень хочет с тобой познакомиться!» – «Это еще кто?» – «Не ревнуй, это идейный друг...» – «Друг? Откуда?» – «Один советский журналист...симпатяга». Перевербовали. И закончена песня. Или проще: хорошо выпили, предались любви. «Послушай, есть шанс сделать хороший бизнес, что если я познакомлю тебя с моим русским другом? (Давным-давно рассказала о связи с нами в нарушение всех догм конспирации.) Обещают полторы тысячи в месяц...» – «Идет!»

Микки заскрипел на кровати, жена тяжело вздохнула, проснулась и с ненавистью прошипела, что она и так целыми днями с ребенком и почти не спит, и если Микки не перестанет скрипеть, то она плюнет на Лондон, на всю эту мерзотную службу (одни рожи чего стоят!), и уедет с сыном к маме на Тракайские озера под Вильнюс. Напуганный старлей быстренько превратился в ангела, осторожно выполз из постели, набросил шерстяной клетчатый халат (точно такой носил гомосексуальный владелец замка в фильме Висконти) и поплелся на кухню.

С этой парой работали серьезные ребята, иных уж нет, а те далече, иных расстреляли или выгнали, иные спились, в справке о Мерилин, которую он читал в микропленке через специальный аппарат, мелькали

клички. Военные и послевоенные Томы, Грегори, Энтони постепенно уступали место солидным Томовым, Григорьевым, Антоновым, оно было спокойнее, не дай Бог, обвинят в космополитизме, выпить что ли? ни в коем случае, надо следить за здоровьем. Выпил валерьянки, вполз обратно в постель («Развел вонь!» – проворчала супруга героя и тут же заснула), и уже проваливаясь, уже когда окутывало тепло: а почему бы не использовать сына Кукушки? Гениально. Конгениально! Не забыть бы, надо записать...

И заскрипел, как слон в клетке, упертый задом во все стороны.

– Вот что, милый, – проснулась жена. – Хватит! Самолет в Москву улетает через два дня. Ты думаешь только о себе, ты эгоист, и на нас тебе глубоко наплевать!

И заснула. Спи, милая, ты не знаешь, как я счастлив! Совершенно голый, как будто и не сотрудник мощной организации и не выдающийся старлей, на цыпочках вышел он в кухню, достав из ванной полотенце, дабы прикрыть срам, если вдруг из комнаты напротив выйдет в туалет соседка (жили в коммуналке, не отрывались от родной действительности). Спасибо, мысль, что ты иногда есть. Откуда все идет? От французского генерала Лиотэ, который объяснял садовнику, что мощные дубы появлялись не с неба, их нужно сажать заранее, лет за сто, а потом лелеять и холить, пока они не превратятся в украшение и гордость парка и всей нации. Именно так и появилась великолепная кембриджская «пятерка»! Ким Филби, Гая Берджесс и другие студенты, бывшие ничем для разведки. Вот оно, то самое, ленинское звено, за которое можно вытянуть всю цепь, и виделась мама Рамона Меркадера, надежная агентесса ОГПУ-НКВД, уговорившая своего сына прикончить Льва Троцкого, она совала ему в руки ледоруб, целовала на прощание и желала удачи. Несомненно, что Мэрилин из того же теста, как и те, кто в Париже за ноги утягивал в машину оглушенного генерала Кутепова или пускал газ в морду Степану Бандере в Мюнхене. Прекрасная порода фанатиков и великих мучеников, легко всходящих на эшафот и бросавших перчатку пошлому мещанству, – «о, почему так лживо, вяло ты лижешь этот белый лист? Перо, будь скрипкой, будь кинжалом, о хлябь, ночную расшибись! И тех прославь, кто мыслил строго и жил по

правилам своим, бросал семью, и дом, и Бога, был щедр и не бывал любим...» (Это герой - старлей, а не доходяга Блок).

Итак, дело Ипполита (имя сына), будущее: президент, в худшем случае государственный секретарь, хотя нет, он же наполовину англичанин, главное – не спешить, суперконспирация, редкие встречи, определить мальчика в Оксфордский университет, желательно в гуманитарный колледж (придется раскошелиться), поручить внедриться в американский клуб, посетить библиотеку при американском посольстве. Пожалуй, стоит выпить виски. Хорошенько разбавить. Это дело не хуже «пятерки», их же тоже вербовали в университете. «Капитана» задерживают, мерзавцы, и так всегда, себе, небось, никогда не задерживают. Красивая вербовка, но пока он выбьется в президенты или в госсекретари... (Еще виски.) Вот так завербуешь, получишь жалкого «капитана», которого и так бы дали, и уедешь, передав на связь. А потом, когда Ипполит станет большой шишкой, какой-то сукин сын снимет пенку, а Мустафа (псевдоним Микки), вылепивший из него агента, получит фигу (очень хотелось бюст Героя СССР прямо на улице Карла Маркса в Днепропетровске, где родился).

Утром Микки выложил гранд идею резиденту, получил «добро» (слово это любили в КГБ, оно ассоциировалось с неким умным усатым дядей вроде полководца времен гражданской войны Пархоменко), и начал готовиться к очередной встрече с Мерилин.

...Шептались нежно.

– Покойный муж не понял бы вашего подавления революции в Венгрии. (Господи, уж эти либералы!)

– Не революции, а контрреволюции... Они же вешали коммунистов на фонарях. (Представил себя, мотавшегося как мочалка.)

– Муж считал главным свободу и демократию. (М-да.)

– Народ, увы, не всегда знает, что ему нужно. (А кто знает? Генсек? Стало тошно). Знаете, Мерилин, а почему бы вам не пригласить меня в гости? Заодно познакомлюсь с сыном (напряглась, зря мы всех считаем дураками).

- Я приглашала и Павла, и других товарищей, но они всегда говорили, что это влечет за собой риск: вдруг кто-то случайно увидит или заскочат соседи...(Совершенно верно.)
- Сейчас обстановка изменилась в лучшую сторону. (То-то газеты каждый месяц сообщают об арестованных агентах!)
- Милости прошу, я буду очень рада. Я неуютно чувствую себя в ресторанах...
- А сын будет дома? (Нейтрально-козья морда.)
- Ему следует уйти? (Не поняла? Дура ты стоеросовая).
- Что вы! Наоборот, я рад буду с ним познакомиться. (Оскал тигра перед пожиранием газели).

Ночь, когда серы все кошки и шпионы, мощнейшая проверка, появление без всяких приключений в доме у Кукушки. Представлен как Себастиан, журналист и друг семьи, знавший покойного отца Ипполита. Квартира, утонувшая в пуфиках, ковриках, цветах и безделушках (больше купеческая, нежели интеллигентская), гравюра с видом Кремля в гостиной (Слава Богу, без слонявшихся без дела суровой пары вождей – Сталина и Ворошилова), непростительно для агента калибра Мэрилин, все равно, что разгуливать по Лондону при советских орденах.

Товарищ Микки забавлял (как ему казалось) семью анекдотами (целился, естественно, в Ипполита), мальчик совсем растаял под искрами интеллекта, что-то в нем было от «сердитых молодых людей», брызжавших по поводу сытой, но духовно пустой действительности. К тридцати из таких вырастали жирные пингины. Коммунистов он не жаловал, что вполне вписывалось в запланированный имидж. Мэрилин подала куропаток с брусничным соусом, это не замедлило сказаться на состоянии желудка гостя, и он был проведен в уединенное место. Пути разведки неисповедимы и неожиданны, судьбе угодно было отключить в тот вечер воду и поставить аса перед проблемами техническими. Бился он над ними долго и тяжело, заставил Кукушку выйти в коридор и нервно вскричать: «Все в порядке, мой друг? Ничего не случилось?» Он стыдливо попросил какую-нибудь посудину с водой и вскоре вышел в гостиную розовый и деловой, словно

после получения ордена лично от всесоюзного старосты (к счастью, мадам его не обнюхала). «Куда вы собираетесь после школы, Ипполит?» – Очевидно, в технический колледж, хочу быть инженером». В восторг это не приводило, работать, работать и работать, ваять, как Пигмалион Галатею. Вскоре Ипполит удалился к себе в комнату, сославшись на занятия («Плейбой», исчезнувший с дивана, указывал на их род). «Прекрасный у вас сын, Мерилин, чудесный парень! Как бы мне хотелось еще с ним увидеться, пообщаться, поговорить! Конечно, конспиративно, я понимаю, что, если наш контакт станет вдруг известен, это может отразиться на его будущем...» (Первый пробный шар). – «Я рада, что он вам понравился, но он еще совсем маленький, вам с ним будет неинтересно... (Вот щука!)» – «Мы очень плохо знаем положение в молодежной среде, Ипполит мог бы мне в этом помочь».

Так Дракула и ушел ни с чем, посоветовав на всякий случай убрать изображение Кремля из дома, чтобы не будоражить воображение случайных посетителей.

Через две недели в пабе, увешанном часами, с видом на Темзу.

«Мерилин, Центр требует информации о молодежном движении. Мало времени? все отнимает учеба? войдите в наше положение. Через две недели в буфете кораблика, плывшего на Темзе: «Возможно, Мерилин, вы сами нацелите сына на работу среди юнцов, у вас же есть опыт». (Черт побери, если завербовала мужа, то почему же не завербовать и сына?) Еще через месяц в забегаловке Уайтчейпла: «Прошу вас, Мерилин, я буду встречаться с ним редко, никакого риска нет (Боже, как морозны ее голубые глаза, как сжаты губы!), мы будем помогать ему стать на ноги. Он заболел? как жалко!»

А не напоминаю ли я мерзавца? Вцепился в мамашу, как вампир! Тебе бы, задница, пойти на работу в богадельню. Откуда эти слюни?! Еще через месяц в парке у Гринвической обсерватории (после астрономических изысканий): «Извините, что я настойчив, Мерилин, но я, как и вы, солдат (забыл добавить: революции) и подчиняюсь воле Центра. Товарищи нами

недовольны (глаза превратились в голубые льдинки), они не понимают вашей позиции».

Неухоженный район Патни, булыжники, которых касались и ядовитый Искандер, и несчастный Огарев, и взбалмошный Бакунин, и даже – чуть-чуть, очень легко! – зовущий к топору Чернышевский. Свершилось! Встретился с сыном отдельно. Два брата, старлей, естественно, старший пастырь, Ипполит – младший, скромный ученик, внимающий золотым словам. Парень прилежно внимал, разговор шел в общих чертах. Главное – договориться о регулярных встречах и медленно лепить.

Дальше как в страшном сне: Ипполит из трех встреч пропускал две, извинялся, снова пропадал, и снова приходилось просить Кукушку, и парень приходил, и соглашался подумать об Оксфорде, и снова исчезал.

Микки жаловался агентессе, она удивлялась: «Я вас познакомила, работайте сами, он уже взрослый, чтобы мне его контролировать». Прошло полгода. Микки уже не выносил на дух проклятого парня, который мотал его, как хотел, все обещал и ничего не делал. И тут не выдержали нервы: «Мерилин, можно, я буду откровенен? Мне кажется, вы не хотите, чтобы ваш сын нам помогал?» – «Почему вы так решили?» – «По-моему, это совершенно ясно. Но знайте, Мерилин, Москва не поймет. Вы смогли привлечь на нашу сторону своего мужа, почему же сейчас...» – «Думаете, я об этом не жалею?» – и задохнулась. – «Неужели жалеете?» – «Я этого не говорила. Интересно, мой друг, а вы могли бы завербовать своего сына, или подарить его какой-нибудь иностранной державе, как флакон духов?» – «Конечно, смог бы, если бы это были товарищи по оружию, как мы с вами!» – соврал Микки мерзко.

Они уже ненавидели друг друга.

Однажды, гуляя с коляской по Холланд-парку, вычерченному четко, как чертеж, Микки увидел меловую черточку на кипарисе – сигнал вызова от Кукушки к тайнику «Гегель» (не зря ведь в разведшколе философию учили не по Гегелю). Что стряслось? Может быть, что-то с Ипполитом? Угроза ареста? Выплыли старые дела? Боже, как ужасна, как непредсказуема разведка! А срочные вызовы – самое страшное, они разбивают все планы, все иллюзии, от них бессонница и неврастения. А может, он потому и пошел

в разведку, что она так не похожа на плавную жизнь, где будильник, тягучая работа, унылый приход домой сразу после шести? Может, за это любит свою чертову разведку товарищ Микки?

Тайник находился между Виндзорским замком и частной школой в Итоне, где на теннисных кортах выигрывают Ватерлоо. Микки медленно шел по парку, все ближе и ближе подходя к развесистой иве, корни которой, оголившись, образовали прекрасные глубокие дыры. Светило солнышко, ветер покачивал верхушки деревьев, он оглянулся вокруг: ни души, тишь и благодать, и хотелось жить и работать, работать и жить... Микки нагнулся, рука напряглась и скользнула под могучий корень (был случай – наткнулся на большого зайца – чуть в штаны не наложил). Вот и контейнер – и тут удар по шее, очевидно, ребром ладони, сознание мгновенно выключилось, он повалился на траву, успев подумать: кто это? контрразведка? Ипполит? подручные Мерилин? Провокация? Мечь?

Когда он очнулся, вокруг никого не было – только шелестели дубовые листья.

Далеко в небе голубым светом сверкнула звезда.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Предательство! Предательство!

Души неумирающий ожог...

Александр Городницкий

Отель «Националь» пригож в любые времена, а в шестидесятые считался самым модным и комфортабельным. Именно там и остановился английский журналист Вальтер на пути из Лимы в Лондон, юркий, любезный, с милой родинкой на щеке, любимец и гордость резидентуры в Лиме, где он нес золотые яйца в огромных количествах, и все радовались, и получали ордена, и ходили, высоко подняв голову. Всему приходит конец, и редакция газеты отозвала Вальтера на родину. Он и сам уже начинал скучать по Англии, которую, как писал англофоб Гейне, "давно поглотил бы океан, если бы не боялся расстройства желудка".

Вальтер был не только политической Кассандрой, но и заядлым садоводом, жил он в двухэтажном коттедже в Рединге, где в прославленной тюрьме воспел свои и чужие пороки Оскар Уайльд. Он не просто любил свой сад до самозабвения, он обожал его как собственное дитя, он скучал по нему, и на встречах с суровыми разведчиками в Лиме вновь и вновь перечислял и подробно описывал каждый кустик, каждое дерево, каждый цветок. Даже советский резидент в Лиме заразился его страстью к садоводству. О, ритуал подстригания вечнозеленой травы, когда жужжит машина и стоит наготове лейка, а в дрожании приседающего солнца обостряются краски, превращая в сказочную картину все вокруг! О, жизнь, прекрасная жизнь! и как приятно махнуть рукой через улочку соседу в подтяжках и клоггах, который тоже топает по зеленому бархату, и бросить умиротворенный взгляд на вытянутый колпак истинно англиканской

церквушки! Догорел день, сад наполнился новыми, вечерними запахами, и самое время, натянув габардиновые брюки и ярко-клетчатый пиджак, неторопливо пройти по истертым веками булыжникам в скромный паб «Голова сарацина», приют окрестных жителей, где хозяин, с улыбкой и не задавая вопросов, сразу наливает клиенту именно тот самый, самый-самый, всегда желанный сорт виски...

Вальтер свалился на меня, как снег на голову: я и не мечтал о таком крупнокалиберном агенте, и очень удивился, когда шеф вызвал меня в кабинет, передал досье и объявил, что сама судьба привела Вальтера в Москву, и мне предстоит и поработать здесь, и договориться о связи в Лондоне. Англия занимала все мои мысли, я прилежно осваивал суровый Альбион по газетам и книгам, я даже знал, что в Эшборне раз в год весь город играет в футбол прямо на улицах (уже потом, в Англии, сажал в калошу всех англичан, никто не знал об Эшборне), а сноб – это человек, который посылает свою собаку в Альбион, чтобы она научилась правильно лаять. Я выписывал в заветную тетрадку английские пословицы и поговорки (чего стоило «Может ли леопард сменить свою шкуру?», означавшее: «Горбатого могила исправит»), дабы ослеплять ими носителей котелков и орденов Подвязки. Я работал над собой как вол, я бился над картой Лондона, нет, не над замком Тауэр, или симфоническим залом Альберт-холл, а над дальними районами типа Аксбриджа или Кройдона, где предстояли тайные встречи. Я с лупой в руке прослеживал маршруты метро и автобусов, которые следовало беспрестанно менять. Особенно ужасными казались автобусы загородной «зеленой линии», на них по ошибке можно было умчаться вообще из Англии в Сен-Жермен-де-Пре и загулять с богемой на Монпарнасе, в то время как издерганный и измученный агент мокнул бы под дождем у памятника жизнелюбу Фальстафу, что в Стратфорде-на-Эйвоне. Осваивал и западные привычки: учился снимать шляпу в лифте, если туда впархивали дамы (это американское, не английское пижонство я подметил еще в юности в веселом фильме «Джордж из Динки-джаза»), пытался вкрапливать тонкий юмор в тосты – с этим было сложнее, но хотелось иметь успех, а я вычитал, что

человек, имеющий успех на лондонском банкете, способен управлять всем миром... Скромное желание юнца.

В те времена в разведке работали основательно, и уж если агент попадал вдруг на территорию любимого им государства, то использовали его на всю катушку – и по местным иностранцам (заодно и проверяли, на что он пригоден), и тренировали его на случай мировой войны, всеобщего землетрясения и апокалипсиса, когда разведке, как предполагалось, пришлось бы работать в особых условиях. Итак, я уверенно прошел в «Националь», в ответ на церберовский оклик швейцара «Вы к кому, гражданин?» бросил несколько английских фраз, вполне в пандан с заграничным костюмом, заменившим пару лет назад брюки «клеш» и мешок-пиджак с кривыми надставными плечами, поднялся на этаж, где жил Вальтер, убедился, что в коридоре безлюдно, и постучал в дверь. Устроили Вальтера в шикарном «люксе» (на всякий случай поставили номер на слуховой контроль). Мыслил он в Москве пошляться по музеям и соборам, поесть икры, поволочиться за девушками – в общем, отдохнуть после тяжких трудов в Лиме.

Но не тут-то было! Я в твердых тонах изложил ему свою программу: каждый день с 10 до 12 часов уроки тайнописи и элементарного шифровального дела, вечером работа с секретаршей французского посольства, которую Вальтер знал по Англии (она, по данным нашей контрразведки, до того страдала от одиночества, что интересовалась русскими мужчинами, хотя офицер безопасности посольства не раз предостерегал ее и даже не советовал ходить в английский клуб, куда, несмотря на закрытость, все равно легко проникали агенты КГБ).

– Когда вы договоритесь с нею о встрече, не забудьте купить букет цветов, – учил я, ощущая свою мудрость. – Женщины, знаете ли, любят цветы, и это поднимет ваши шансы...

– Неужели вы думаете, что я идиот и потащу через весь город букет, словно веник? – возмутился Вальтер и показал, как нелепо торчит букет, если его прижимать к животу.

– А как же еще? – растерялся юный Песталоцци.

– Молодой человек, букеты приносят дамам посылные при цветочных магазинах, а джентльмену остается только вложить визитную карточку.

– Ну, уж эти капиталистические замашки...

– Зато удобно! – отрезал Вальтер.

Впрочем, тайнопись и шифродело он изучал с удовольствием, задавал много вопросов, не без юмора принял из моих рук «Книгу снобов» Теккерей и выбрал пассаж, которой лег в основу шифрования. Дело с секретаршей, однако, двигалось туго, она бурно отдалась Вальтеру без всяких цветов, но тянуть из нее секреты он счел преждевременным. («Давайте я приглашу ее в Лондон, повожу по ресторанам, сделаю хорошие подарки, естественно, для этого потребуются кругленькая сумма»). Я чуть было не возмутился, но шеф охладил мой пыл: «Этот Вальтер совершенно прав. Не надо спешить!». И Вальтер уехал в Лондон, вскоре за ним последовал и ваш покорнейший слуга.

В Лондоне наши встречи проходили в глухой конспирации, даже не в пригородах Лондона, а в пределах 25-мильной зоны, разрешенной для свободного передвижения дипломатов, подтачивающих остров фарисеев. В микрогородках, у магазинов, где без подозрений можно было топтаться, рассматривая в витринах шляпы или чулки, затем переходили в паб, забирались в угол и там неторопливо обсуждали шпионские дела. Правда, роли в Лондоне поменялись: теперь уже Вальтер учил меня: правильному произношению английских улиц (читаются совсем не так, как пишутся, сам черт ногу сломит!). Особенно недоволен он был покроем моего плаща, который выдавал «человека с континента» (плащ был шведский, хотя куплен в Лондоне). Любой полицейский глаз, как стращал Вальтер, сразу фиксировал плащ и вполне мог вычислить меня среди миллионов сновавших по улицам джентльменов. Однажды, когда я оставил в пабе на столике выкуренную пачку из-под «Мальборо», Вальтер устроил жуткую сцену: ведь на пачке отсутствовала налоговая наклейка и хозяин паба мог догадаться, что в его заведении упивался пивом либо контрабандист, либо

дипломат, освобожденный по общим правилам от налогов. «Вы загубите не только себя, но и меня!» - шипел он.

Вдруг Вальтер исчез. Я одиннадцать раз (!!) выходил на запасные и экстренные встречи, на ежемесячные явки – система связи была разработана на все случаи жизни и смерти и, конечно, исключала телефонные звонки. Мрачно бродил в туманах и под ливнями, ожидал под козырьками у кинотеатров и на скамье под вязами, раздраженно рассматривал витрины, и уже казалось, что весь район давным-давно обложен бандами английской контрразведки. Дико хотелось выпить, рвануть эдак граммов двести виски, но заходить в паб... лишний раз светиться... Что такое ожидание, знают лишь влюбленные и шпионы – только одни могут ждать до бесконечности, мечтательно глядя в небо, и даже писать стансы на манжетах, усевшись на ступеньки под башенными часами, а другим запрещено ожидать больше пятнадцати минут, дабы не примелькаться лавочникам, продавцам газет, агентам полиции и просто любопытствующим бездельникам. Но какая тоска на исходе пятнадцатой минуты, какая печаль! Такая печаль и не снилась больному Прусту в его «Погоне за утраченным временем»! сколько потрачено часов на проверку по маршруту и на подготовку к встрече, сколько сил души ухлопано на этого гада с длиннющим хитрым носом! и снова топать через неделю по запасным условиям! Полгода я жил в кошмаре, словно бродил по катакомбам, наконец, на очередной встрече длинный нос все-таки вынырнул из-за угла. Я чуть не покрыл его румяные щеки поцелуями, он же объяснил, что попал в больницу, хотя с такой загорелой физиономией не болеют, а греют кости на Канарских островах. Ясно, что он крутил мне мозги, но почему? Посовещавшись с Центром, я решил, что Вальтер таким образом намекал на желательность добавочных золотых дукатов за взрывоопасность своей работы в Лондоне, где шпионам жилось не так привольно, как в Лиме. Пришлось отвалить Вальтеру чуть больше положенного, потребовав взамен грызть крепости с секретами, об этих штурмах разговоры шли непрерывно. Однако, Вальтер снова стал пропускать встречи, и я снова кусал свои неаристократические ногти, мучился на пустынных площадях и ждал! ждал! ждал! а взбешенный Центр с

завидным постоянством молотил меня цепом, обвиняя в неумении организовать работу с ценным агентом, лупил так, что пух и перья летели...

Но судьба сменила гнев на милость, Вальтера редакция направила в Джакарту, а через год в Москву отозвали и меня!

К тому времени я уже ангажировался (не последнюю роль сыграли уроки Вальтера), с иронией относился к европейскому стилю одежды (только серые, только приглушенные тона, как у нас в Англии!), поправлял новичков, говоривших «букингем» вместо «бакинэм». Причесывал волосы щеточкой из модного магазина «Дерри энд Томс», иногда надевал шейный платок (интеллектуал из Блумсбери), тормозил на «зебрах» и из-за этого в Москве чуть не попал в катастрофу, виски разбавлял водой только из-под крана, подшучивая над янки, хлебавшими его с содовой, и утверждал, что ботинки английской фирмы «Черчиз» – лучшие в мире.

О своем первом учителе Вальтере вспоминал редко и очень удивился, когда меня вызвал шеф и предложил срочно выехать в Восточный Берлин на встречу с Вальтером, летевшим в отпуск из Джакарты в Лондон.

Резидентура в Джакарте сетовала, что Вальтер потерял свои бойцовские качества, обленился и даже тяготился работой с нами (!), и все мечтал о возвращении в редингский садик с розовыми кустами. И тут на пути в отпуск Вальтер попросил встречи со своими товарищами по борьбе с коварным Альбионом, и не с кем-нибудь, а со мною самим, героем его прошлых подвигов. Шеф передал мне шифровку – сердце взволнованно забилося! Как приятно сознавать себя и самым умным, и самым всезнающим и вообще – великим разведчиком!

Поезд Москва – Берлин, путешествие по социализму, который все улучшался от полного запустения в родной стране, через более сносную, но достаточно грязную Польшу в нечто жирное и благоустроенное на восточнонемецкий лад, бездушное и от этого еще более паскудное. Романтично подняв воротник английского плаща (шведский подарил папепенсионеру), я расхаживал у кинотеатра совсем недалеко от «пункта Чарли», разделявшего две мировые общественные системы, хмурил лоб, курил мягкую голландскую сигару, всматривался в силуэты вдали и ощущал себя

Джеймсом Бондом. Нервничал не на шутку, но – звон победы раздавайся! – вынырнул из-за угла знакомый нос, сверкнула родинка, мы прижались друг к другу разгоряченными щеками, стремительно прошли по улице и быстро опустили в гаштете.

– Черт побери! – сказал Вальтер, – глупо приехать в Берлин и не съесть хорошего айсбайна. Это кусище свинины, – пояснил он с обычным видом учителя, – конечно, нужно худеть, но что может быть прекраснее айсбайна с пивом? Как мне хочется, дорогой мой, чтобы вы увидели мой сад в Рединге. Как мне надоела конспирация! Так хочется пригласить вас, старого друга, сесть в саду на солнышке за пинтой пива и поговорить по душам!

Впрочем, дела оперативные, которых накопилось невпроворот, не давали прочувствовать чудеса айсбайна. Я включил портативный магнитофон, дабы потом не утратить ни единого слова, выпорхнувшего из золотого рта Вальтера. Обсудили и планы создания вербовочной группы в Джакарте и потом в Лондоне, и даже будущий переход Вальтера из газеты в Форин Офис, где у него имелись солидные связи.

Вальтер только и рвался в бой.

– Передавайте привет всем товарищам в Москве, – сказал он на прощание. – Я мечтаю снова туда приехать, и уж тогда мы поработаем над кем-нибудь посерьезнее, чем секретарша, которой вы советовали дарить цветы (не забыл, гад, помнил о венике). Москва – это моя любовь, а наше общее дело – смысл всей моей жизни. До свидания, советую вам разводить в своем саду рододендроны, они красивы и неприхотливы (я пропустил это мимо ушей, ибо дачи тогда презирал как частную собственность – пережиток капитализма).

Мы по-русски расцеловались, и я подумал, какие прекрасные люди живут на земле и как они помогают моей стране, побольше бы таких агентов, как Вальтер!

К шефу я вошел с чувством солдата, исполнившего свой долг, вручил кружку с симпатичным берлинским медведем и замер у начальственного

стола. Обычно кисловатое лицо шефа на этот раз было окрашено в хмуро-уксусные тона.

– Ну, как там дела в Берлине? – начал он издалека.

– Все в порядке, - отвечивал я. – Агент прибыл на встречу вовремя, беседовали мы часа три, все обсудили, я записал на пленку. Впервые в жизни я попробовал айсбайн.

Последняя улыбчивая фраза была рассчитана на воодушевление шефа: он любил поесть, всегда выпрашивал детали меню на докладах о встречах с агентами, сомневался в правильности выбора и его сочетании со следующим блюдом, вносил поправки и добавления и, конечно же, вспоминал, что он ел в подобных обстоятельствах и какой маркой вина запивал.

Однако шеф пожевал губами и хмыкнул.

– Вы ему верите? – спросил он внезапно.

– Конечно, – ответил я. – У нас нет оснований ему не верить.

– Мы его проверяли?

– Конечно. В деле есть отметки. Я и сам помню все эти операции в Лондоне...

И я поведал начальнику, как Вальтера раз пять проверяли на тайниках: он вынимал и передавал нам контейнеры, и каждый раз наши технари внимательно изучали, не вскрывались ли они английской или иной контрразведкой, – к счастью, все проходило гладко, и никто не сомневался в честности Вальтера. Да и в беседах я не раз возвращался то к связям Вальтера в прошлом, то к другим мелким деталям, зафиксированным в деле, – чтобы врать, как известно, нужно иметь хорошую память, – ни одной осечки, ни одного противоречия, все без сучка, без задоринки.

Шеф слушал меня спокойно и без всякого интереса.

– В Джакарте его тоже проверяли, и тоже все гладко, Ваш Вальтер с самого начала работал на англичан, это их опытный агент, тонкая подстава, а мы – круглые идиоты!

Шеф резанул рукой прокуренный воздух.

– Не может быть! – удивился я. – Он так к нам хорошо относился (первый учитель! – мелькнуло в голове.)

– Точная информация от немецких друзей. Какой я идиот! Зачем я клюнул на предложение совсем из другого региона! – убивался шеф. – Кому нужна была поездка в Берлин? Работал бы он себе в Джакарте... и черт с ним! В конце концов, это другой отдел... а тут конец года, отчет, и думаете, меня погладят по головке за английскую подставу?! Вечно беда с этими энтузиастами-фрицами (имелись в виду немецкие друзья из "штази"), вдруг проявили инициативу, мудаки, стали его проверять и докопались! А вы тут со своим айсбайном... Что мне теперь с вами делать, куда направлять на работу? Вы же расшлепаны, причем давно!

Я вышел из кабинета словно оплеванный. До сих пор я никогда не испытывал горечи предательства, я чуть не плакал, я ненавижу предателя и готов был убить его.

Я не знал, что впоследствии меня не раз предадут и чужие и свои, и все это опротивеет, и станет привычным, и не будет вызывать совершенно никаких эмоций.

Это был мой первый учитель.

ГЕНЕРАЛ ДЖОН

Нам нож – не по кисти,

Перо – не по нраву,

Кирка – не по чести

И слава – не в славу.

Мы ржавые листья

На ржавых дубах.

Эдуард Багрицкий.

-Эх, старик, это дивная история! В Арденнах немцы перекрыли подвоз продуктов, и мы оказались на голодном пайке: овсянка, сыр, не было даже тушенки. И тогда повар пригласил меня на кухню: «Как вам это нравится, капитан Джон?». Я попробовал. «Где вы достали такое чудесное мясо?» – «Знаете, что это такое, капитан Джон? Это кошка! Я сварил кошку!»

Генерал частенько рассказывал эту историю, особенно после двух-трех бокалов, пил он в меру (если считать мерой полбутылки виски на рыло), тогда лицо его слегка багровело, и сигарета надолго оседала в краешке рта. Ценный агент генерал Джон с тридцатых возненавидел фашизм и уверовал в Сталина, потом разочаровался во время московских процессов (тогда НКВД быстро зачислил его в троцкисты и чуть не уколошил). Но началась война – и Джон снова решил взять сторону Сталина во имя победы над фашизмом, однако, после оккупации Восточной Европы снова невзлюбил его. В знак протеста порвал с нашей разведкой и вновь появился уже после смерти вождя народов со святой верой, что святое знамя не виновато, если к нему прикасались грязные руки. Генерал работал на полную катушку, деньги считал презренным металлом и брал их только на конкретные дела, не связанные с его личным благополучием. В коммунизм он верил безоговорочно и даже пугал этим куратора, которого уже начинала подтачивать сытая английская действительность.

– Не судите по магазинам! – говорил генерал. – Посмотрите, как живет рабочий класс! Что-то я не видел рабочих в районах Мейфер и Челси! Общество расколото, и царят законы джунглей, тут нельзя расслабляться ни на миг, надо работать и работать! Вы не представляете, как ужасно жить в Англии!

И когда я деликатно замечал, что и Страна Советов тоже испытывает порою трудности, генерал махал рукой и смеялся: «Конечно, у вас есть проблемы! Но они временные. Не забывайте, какой разрыв всегда был между Россией и Англией! Вы же покрыли его в кратчайший срок, сам Черчилль писал, что Россия прошла путь от сохи до полета в космос в мгновение ока».

К мнению Черчилля даже опытные разведчики прислушивались с почтением, особенно после прочтения баек о том, что бывший лидер тори и дня не обходился без армянского коньяка, к которому приучил его хитрый дядя Джо, и без огромной сигары. Однажды мне удалось увидеть самого сэра Уинстона: тот стоял в окне своего дома у Гайд-парка, зажав в зубах пресловутую сигару, внизу щелкали фотоаппараты и жидко аплодировала небольшая толпа. Мой знакомый, личный секретарь Черчилля, заметил, что патрон уже давно не пил и не курил, а сигару ему приходилось вставлять в рот для сохранения имиджа, ибо британцы консервативны, и любое изменение привычек вождей больно ранит их чувства).

Генерал имел множество орденов и жил в превосходном георгианском особняке в Челси, при нем служили мажордом, повар, шофер и садовник.

– Англия заснула! – жаловался генерал. – Весь мир идет к социализму, а она дремлет в своем прошлом. На миг она проснулась во время войны...ах, дружище, вы не представляете, как я хохотал в Арденнах, отведав кусок мяса. «Знаете, что это такое, капитан Джон? – спросил кок. – Это кошка! Я сварил кошку!»

Особенно ненавидел генерал интеллектуалов Оксфорда и Кембриджа, а британскую прессу просто на дух не выносил, считая насквозь лживой и продажной, – в отличие от меня, очарованного профессурой в вельветовых пиджаках и по долгу службы штудировавшего все английские газеты, что

затягивало, как наркотик. Разделы о продаже особняков и замков я, живший в Москве в небольшой квартирке близ Сокола, читал с особым наслаждением, чувствуя себя честным бедняком, непричастным к классу крупных собственников, которые, как известно, с раннего утра до поздней ночи нещадно эксплуатировали подобных мне, умных и талантливых.

Генерал Джон обожал конспирацию, никогда не пропускал встречи, исправно проходил через все точки маршрута контрнаблюдения, задуманного для выявления вражеской слежки, и выполнял безукоризненно все, что ему предписывалось. Однажды за пятнадцать минут до randevу я столкнулся с ним на безлюдных лугах Ричмонда, но генерал прошел мимо невозмутимо, как китайский божок, и даже глаза не скосил, словно был углублен в свои мысли. Когда через несколько минут, уже на месте встречи, я использовал пароль, спросив как пройти к таверне «Утюг и лань», генерал ощупал меня холодным взглядом, пока не разглядел опознавательный признак – газету, торчавшую из кармана (это была «Таймс», единственная газета, которую читал Джеймс Бонд). И только тогда ответил, что таверна находится у кинотеатра «Огненная земля».

Шпионские игры со временем раздражают даже корифеев, и я однажды очень деликатно отметил суперконспиративность генерала, но получил в нос: «А что, если вражеская служба выпустила на встречу вашего двойника, сделав ему пластическую операцию? Как же без пароля и опознавательных признаков?». Впрочем, шутки шутками, но в свое время ФБР подставило подобного двойника доверчивым немцам, а те клюнули, как малые дети.

Когда генерал Джон выпивал, на него наваливалась сентиментальность.

– Друг мой, я с ужасом думаю, что вы уедете! Наши встречи – кислород для меня! Я люблю Россию! Боже, вы не представляете себе, как трудно здесь дышать! Эти вонючие интеллигенты, вонючие политики, вруны и ничтожества!

– Может быть, вам поехать отдохнуть, например, в Италию?

– Ненавижу туризм! К тому же макаронники такая же дрянь, как и поганые британцы... Самое ужасное, Майкл, что в Англии не может быть неожиданностей, жизнь тут запрограммирована на века! Вы знаете, как тоскливо ощущать, что завтра ровно в восемь утра к дому подвезут молоко и поставят у подъезда, и этого не изменят никакие революции! Нет, я должен увидеть башни Кремля, постоять у Мавзолея...

– Лучше поезжайте по Европе. Вспомните Байрона или Шелли. Как любили они места вокруг Женевского озера, итальянские городки, сохранившие дух Возрождения...

Но генерал и слышать не хотел о поездках по мещанской Европе, душа его рвалась в Советский Союз, что совсем не воодушевляло: спецслужбы ставили на учет всех визитеров в Страну Советов, особенно такого ранга, как генерал.

– Что за ерунда! Мне ничего не страшно. Боже, неужели я так и умру, не увидев России?

Этот мотив настойчиво тянулся из года в год и досаждал и мне и Центру как старая заноза. Наконец скала дрогнула, и чья-то властная рука повелела привезти генерала по поддельным документам, сменив истинные на курортах Кипра, где стада туристов, солнце и полная неразбериха. К этому времени я обосновался в Москве, часто вздыхал по Англии, надломившей мою душу, и с удовольствием принял приказ об организации работы с генералом в Союзе. Визит проходил не без полемики: некоторые осторожные головы выступали против соприкосновений верующих в Идею с реальностями социализма, отмечая, что из-за каких-то странностей судьбы (текущие краны, испорченный лифт – не больше) многие переходили на критические позиции. В доказательство приводили гордость английской драматургии Джона Осборна, который, вырвавшись в СССР, настолько возмутился гостиничным сервисом, сломанным унитазом, покорябанным потолком и холодной батареей, что мгновенно потерял веру в социализм и, как жалкий мещанин, начал оплевывать в своих статьях Страну Советов! Ведь и окна ему не решетили пулеметом, и даже в КГБ не таскали! Однако лагерь оптимистов, веривших, что умный человек всегда

различит все достоинства Системы, был достаточно силен, более того, считалось, что походы в Музей Революции и, уж конечно, несколько секунд у тела Вождя в Мавзолее играют чуть ли не решающую роль в воспитании агента. Слово «воспитание» всегда высоко котировалось в КГБ еще с тех времен, когда Феликс Эдмундович ведал беспризорниками.

Вскоре я ожидал генерала в черной «Волге» прямо у трапа самолета, мотор взревел, и друзья помчались из аэропорта Шереметьево по дышавшей бодростью столице. Программу генералу составили по высшему разряду: сначала тщательный медосмотр в элитной поликлинике (он поразился обилию самой современной техники, которую посчитал советской), специальная гостиница, где все не по Джону Осборну, и даже повар лично являлся к клиенту и интересовался, не переложил ли он в салат крабов. Черный «ЗИЛ», Большой театр и прочие жемчужины столицы, южные дворцы – санатории, величественно застывшие над морем в своей красе, счастливые трудящиеся, живущие за счет профсоюзов – школы коммунизма, гостеприимный Кавказ.

– Никогда не видел такой красоты! А в поликлиниках вообще никогда не бывал! – говорил генерал. – Посмотрите на москвичей: сколько энергии, сколько уверенности у них в глазах, разве можно сравнить с англичанами? Да и одеты лучше, чем в Лондоне. Подумать только: ведь совсем недавно они ходили в лаптях!

С генералом встречались и бонзы КГБ, и бонзы ЦК, разговоры касались мировых проблем: разоружение, спасение от голода Африки, ограничение власти американских монополий на Ближнем Востоке...

– Ваших людей отличает широта ума! – радовался генерал. – В Англии лица такого ранга не поднялись бы выше дискуссии о местном налогообложении или ценах.

Заботы врачей генерала умиляли – ведь на любом заводе пеклись о здоровье людей, не то что в Англии, где вообще не существовало санаториев и организованного отдыха. Однажды он пожелал увидеть моего коллегу, ветерана 30-х годов, с которым он работал в Лондоне. Просьба

вызвала легкий шок, ибо ветеран лет пятнадцать отсидел в сталинских лагерях и перебивался в коммуналке в районе Шмитовского проезда.

Однако просьбу уважили, в комнатухе, уставленной книгами, выпили три бутылки водки и обсудили все проблемы текущего момента.

– Давненько я не имел такой потрясающей беседы! – восхищался потом генерал Джон. – И самое поразительное – это скромность моего друга, он остался таким же с тридцатых годов, он не выберется из своей комнатухи, пока в СССР не останется ни одной коммунальной квартиры!

Естественно, что важным аккордом было посещение Грузии, где обычно иностранные визитеры под воздействием вина, хоровых песен и горного воздуха быстро теряли остатки критичности и целиком попадали во власть положительных эмоций. Теплый вечер на берегах кипящей речки, раскрасневшиеся секретарь обкома, я и генерал Джон, певшие «Интернационал». Пели от души, взявшись за руки, англичанин, русский и грузин, и этот момент человеческого единения был искренен и трогателен, как мечта о братстве людском. Я размышлял: неужели он принимает все на веру? неужели он не видит, что ему втирают очки? или просто это человек, который видит то, что он хочет видеть?

Генерал остался в восхищении от своей поездки.

– Я и раньше не сомневался в правильности вашей политики, но теперь, увидев и страну, и людей, я понял, что служу правому делу. Единственное, что меня несколько резануло: напрасно каждое утро мне подавали на завтрак вазочку с зернистой икрой. Я понимаю, что был дорогим гостем, но в Англии, мы, социалисты, к этому не привыкли...

Прошло время, в мир ворвалась перестройка, оплот коммунизма рухнул, генерал Джон совсем отошел от тайных дел из-за солидного возраста, иногда печатал статьи в газетах и даже издал книгу воспоминаний.

Однажды я встретил бывшего коллегу, недавно прибывшего из Англии.

–Как там генерал Джон? Наверное, страдает из-за того, что рухнула Система?

Коллега хитро сощурил глаза.

– Очень бодр и очень рад успехам демократии в России. Купил имение в графстве Кент, там у него отменное поле для гольфа. Уверен, что рынок укрепит благосостояние нашей страны, и победят идеи, которым он служил. Жаловался на вечный сон Англии и завидовал нам – ведь у нас никогда не скучно. Да, еще рассказал историю... что-то о войне...

– Как варили кошку под Арденнами?

– Совершенно верно. «Знаете, что это такое, капитан Джон? Настоящая кошка! Я сварил вам кошку!»

В жизни важно не изменять принципам, господа и товарищи.

Не изменять принципам.

ПЕРВОЕ ГРЕХОПАДЕНИЕ ВО БЛАГО

«Мы не можем уподобиться трусливым немецким социал-демократам, делающим вид, что у человека нет половых органов».

Фридрих Энгельс

«Старичок-хозяин, в одном нижнем белье, стоял на четвереньках и, нагнув седовато-багровую голову, глядел - промеж ног - на себя в трюмо».

Владимир Набоков

Всемирый Фестиваль молодежи 1957 года ворвался в Страну Советов с ликующим триумфом, поднял всех на дыбы: экзальтированные поклонницы затанцовывали негров на городских площадях, всюду были взаимные объятия и поцелуи, уверения в преданности делу мира и борьбе с поджигателями войны. Изголодавшиеся без ветров Запада массы рвались взглянуть на диковинные одежды, на живых стилияг, на отвлекавший от высоких идеалов, развратный рок-энд-ролл. Народ открывал Запад, носил на руках гостей, а одна юная трактористка бросила в подарок велосипед прямо в тамбур фестивального поезда, чуть не прикончив гонимого в США гостя, – хорошо, что под рукой у нее не оказался трактор...

Как переводчик, уже слегка овеянный дымом сражений с врагами, я был включен в число толмачей и закреплен за шведской делегацией, считавшейся своенравной, капризной, развратной и особо опасной в идеологических битвах из-за «шведского социализма», который только морочил голову трудящимся и потому был хуже самого жуткого капитализма. Всю группу переводчиков возглавлял сотрудник Комитета Молодежных Организаций (КМО), а вот замом при нем состоял некий Владимир Ефимович, человек роста малого, человек обходительный и загадочно таинственный. Я сразу же вычислил его принадлежность к могущественной организации. С некоторых пор невнимание КГБ ко мне

стало казаться даже оскорбительным (потом лишь я узнал, что детей чекистов старались к работе не привлекать). На фестивале предстояли ожесточенные идеологические бои, ясно, что Запад наводнит страну шпионами и диверсантами, а как же я? Останусь в стороне от этой смертельной борьбы? Позор! И я ринулся к Владимиру Ефимовичу, я, комсомолец и сын чекиста с 1918 года, участника и Гражданской, и Отечественной, ринулся и выложил всю свою душу. Осторожный В.Е. обещал подумать (нужно было время на проверку). Фестиваль уже бурлил, шведов мы встретили на границе у Выборга, я боялся за свой корявый шведский, но угроза пришла с другой стороны: в стокгольмском вагоне путь мне преградила загорелая, пахнувшая западными кремами ножка, и голосок с верхней полки (в полутьме я разглядел лишь соломенного цвета волосы) пропел совсем не по-шведски «How are you?» – я замер от страха, ведь в моих глазах даже легкий роман с иностранками был равносильным чуть ли не попытке взорвать Кремль. На вид меланхоличные шведы доставили массу непредсказуемых хлопот, ибо в первый же день надрались до положения риз и объелись бесплатными харчами (столы под тентами в районе гостиницы «Алтай» ломались от черной и красной икры, севрюги, балыка и других яств, поглощение которых не ограничивалось), исстрадались животами, заделали туалеты и полностью разрушили весь график мероприятий. Правда, и без этого хаос на фестивале стоял превеликий: выпив лишь стакан водки, западники сходили с рельс – кто-то крутил на улицах непотребные роки, а кто-то собирал незрелых советских юношей и вещал о свободе и демократии. Много головной боли доставляли женолюбивые, вечно гогочущие негры – запустили козлов в огород!

Уже на исходе фестиваля (я изнемог от ожидания – так жаждал быть сексотом!) Владимир Ефимович пригласил меня в кабинет и сообщил, что просьбу мою уважили, теперь передо мною широкая дорога работы с иностранцами. Начали мы осторожно торпедировать посольство Швеции, разумеется, в свои 23, при всей вольтеровской эрудиции и фрэнксинатраском обаянии, я вряд ли мог бы охмурить опытного дипломата, а посему бросили меня на юных дам – слабое звено в цитадели.

Первую хитроумнейшую комбинацию провели в «Советской». Там, отражаясь в царственных зеркалах бывшего «Яра», симпатичный Петя, верный агент КГБ и давний друг шведского посольства, кушал в компании двух шведских секретарш и офицера безопасности. Тут нежданно-негаданно в ресторан заскочил я, по легенде – процветавший бонвиван, и прошел чуть рассеянно меж столиков, в мыслях о своей свежей спарже и замороженном шампанском в серебряном ведрышке. Естественно, на столик с агентом Петей и шведами я даже не взглянул (оценим тонкость!), и Пете пришлось вскочить, побежать за мной с воплями радости, обнять, прижать к груди – встреча детей лейтенанта Шмидта! – притащить за стол и представить блондинистым фрекен и подпившему герру с мордой обиженного бульдога. Задержался я не надолго, навязчивости не проявлял (ни в Большой театр, ни в постель не тянул), лишь рутинно получил координаты присутствующих. Унылые шведки мгновенно не зажглись (мы списали это на присутствие офицера безопасности, ибо кто мог устоять перед моими чарами?), никто из них, увы, не подмигивал мне многозначительно и не жал жарко ногу под столом.

Через неделю по указанию свыше я позвонил одной из них, ухитрился вытянуть в ресторан, а на следующий день был приглашен домой на кофе (о, вождеденный миг!). Пахло не жарким сексом, а скорбью и похоронами, к тому же явилась суровая подруга (о "любви втроем" я в целомудрии своем даже не слышал). Нервно позванивали ложечки, лилась дохловатая беседа о советском балете, было ясно, что девицы тоже выполняли свой долг пред Отечеством (офицер безопасности, наверное, приплющил ухо к стене и и предвкушал орден за пресечение вражеской инфильтрации).

На этом мои подвиги закончились, не начавшись.

Что же, первый блин пошел комом, но вот через месяц раздался звонок. В.Е. бодрым голосом сообщил, что предстоит чрезвычайно серьезное дело, которое требуется обмозговать на тайном свидании в ресторане «Арагат». Чекисты жаловали это место рядом с Лубянкой, впоследствии я сам иногда после трудов праведных заскакивал в буфет на втором этаже, дабы принять свой заветный граненый. Ефимыч прибыл в обществе красномордого типа с золотыми зубами и его вертлявого

помощника, жадно ловившего слова, вываливавшиеся, как золотые яйца, из прокуренного рта шефа³³. Итак: в Москву на пару недель прибывала американская студентка Бриджит, которая собиралась на работу в ЦРУ. Мне предстояло изучить "объект" и установить с ним, с объектом, добрые отношения, естественно под вымышленной фамилией и под легендой аспиранта, причем из Киева, чтобы американцам трудно было установить мою личность. Предстоящая авантюра прекрасно ложилась на мою, вежливо говоря, романтическую натуру, на безоглядную любовь к Родине, уже рисовались в воспаленных мозгах картинки работы двух влюбленных шпионов на две разные враждебные разведки, кровь застывала в жилах, порой я даже любовался собой в зеркале, суживал демонические глаза и выпячивал хилый подбородок.

Аспиранта сделали преуспевающим, как все советские молодые ученые, и поселили в шикарный «Метрополь», где остановилась прекрасная дама. Богатые покои ошеломили меня, я с трудом заснул, ощущая еще неведомую, но бурную страсть. Утром мне объект показали: небольшого роста брюнетка с крупными глазами, не первая красавица, но и не баба-яга. Я тут же почувствовал, как обволакивает меня пелена влюбленности (только верность идеалам партии способна была мгновенно вызвать такие эмоции). Приказали не тянуть и искать контакта, исходя из обстановки.

Уже на следующее утро я сидел у телефона, напрягшись, как пантера перед прыжком. Наконец, пришло сообщение бдивших сыщиков: Бриджит собирается позавтракать в кафе внизу. Напустив на себя чрезвычайно занятый и несколько рассеянный вид типичного киевского аспиранта, я рванул дверь кафе, оно было пусто, как январский пляж в Ялте. Предмет моих вожделений ютился в одиночестве, поглощая яичницу. Что делать? Как завязать контакт? Не бежать же прямо к ней в объятия? Но именно это я

³³ "Поистине странное общество собралось на берегу: у птиц волочились перья, у зверей слиплась шкура - все промокли насквозь, вид имели обиженный и чувствовали себя весьма неуютно. Первым делом, конечно, нужно было найти способ высохнуть. Они устроили совещание по этому вопросу..."

и сделал: покраснел, растерялся и затопал прямехонько к ее столику, чувствуя себя полным идиотом.

–Извините... я Вам не помешал?... так скучно завтракать одному... можно я Вас потревожу... (лепетал бессвязно, глупо улыбаясь, и поэтому органично и убедительно).

Видимо, весь кретинизм ситуации подкупил Бриджит, ибо напроць исключал руку КГБ, слывшего хитроумным и коварным змием (Запад сумел выковать такую репутацию). Какая же нормальная служба будет заводить знакомство в семь часов утра в пустынном зале с помощью юного дурака в светло-бежевом, между прочим, костюме с жилетом, на который с трудом уговорил папу, купившего три метра бельгийской шерстяной ткани. Бриджит милостиво указала на стул, напуганный официант (он, конечно, чуть не рухнул на пол, узрев русского, подсевшего к американке) быстро принес мне яичницу и тут же, оглядываясь, чтобы я не выстрелил ему в спину, убежал простучать обо мне по инстанции.

Мои кураторы указывали на интерес црувки к искусству и литературе, и мне не пришлось долго рыскать по джунглям в поисках объединяющих тем. Через полчаса мы уже были закадычными друзьями, после завтрака тут же пошли осматривать старую Москву, продефилировали к Патриаршим прудам, затем переместились на Твербуль и, внимая шепоту деревьев, дошли до Музея изобразительных искусств – там я намеревался феерическим интеллектом переполнить чашу ее зреющей любви и окончательно вскружить голову. В музее на Волхонке я бывал часто, иногда под водительством полуопального художника Владимира Милашевского, сподвижника Добужинского, который, обнаружив во мне пытливого юношу, много поведал об истории живописи, а в музее открыл мне малоизвестного, но великого Яна Бартолда Йонкинда. Им я и потряс слабо просвещенную Бриджит, блеснув эрудицией, она ахала и охала, не отрывая от меня уже затуманившихся глаз. Американцы порой прекрасно образованы, однако слишком специализированы и беспомощны в темах, не имеющих к ним прямого отношения, у нас же дилетантизм безграничен – так что я блистал вместе со светло-бежевым костюмом.

Духовно овладев Бриджит, я собрал о ней "исходящие данные": миледи заканчивала университет в Беркли и собиралась заниматься наукой (кто же будет говорить о ЦРУ?), сообщила еще разные мелочи о себе. На следующий день я встретился с со своими двумя динозаврами и соответственно обо всем доложил. Они заметили, что вряд ли она откровенна со мною, ибо, как известно, все женщины бляди и потому лживы, хотя иногда раскрываются в любви. Тем не менее, я молодчина, но нужно не топтаться на месте, не терять инициативу, а двигаться дальше – не зря же мне выделили отдельный номер и солидные представительские.

Только тогда я – о, святая простота! – начал осознавать, чем должна завершиться эта героическая операция. Конечно, я предполагал, но... Будучи начитанным в области шпионажа, я поинтересовался, не намерены ли нас сфотографировать в номере, на что красномордый, криво усмехнувшись, заметил: «Вас это не должно волновать!» – «Как это не должно волновать! Как так?» – заволновался я. – «Работайте и не задавайте лишних вопросов!» – отрезал красномордый, влив в меня хороший заряд ненависти. – «В таком случае я отказываюсь от операции», – вспыхнул я. – «Пожалуйста!» – ответил наглец совершенно спокойно, показывая, что таких шибздигов, как я, тысячи, и на нас начхать... Расстались мы на ножах, вечером к нам домой примчался Ефимыч, начал убеждать не портить отношений с красномордым, который, всем известно, дерьмо, дело-то важнее, дело-то государственное. Ефимыч умел успокаивать и убеждать, в результате я унял гордыню, возвратился в «Метрополь» и договорился с Бриджит провести вместе ближайший вечер.

Операцию начали в пышном «Савое» с умопомрачительным зеркальным потолком, словно вобравшим мраморный фонтан. Там (в фонтане) резвились карпы, коих служитель ловко вылавливал сачком, показывал потрясенному клиенту и относил на жарку. Однажды я видел, как в этот роскошный фонтан ударом кулака отправили метрдотеля, впрочем, потом я слышал так много рассказов об этой драке, что либо в фонтане таким образом купались ежедневно, либо каждому посетителю хотелось двинуть в рожу мэтру, и на этой почве родились мифы. Оркестр важно играл модные тогда вальсы и танго, Бриджит сияла в длинном черном

платье декольте. Неведомый мне ранее Шанель №5 гасил мой скромный Шипр.

Стол был накрыт по рабоче-крестьянски просто: черная икра, заливная осетрина, балык и семга, разнообразные салаты и отечественное шампанское. И, конечно же, украшение Националя – молодой красавец-аспирант в модном кремовом костюме бельгийской шерсти, покуривавший толстенную кубинскую сигару *Hooyo de Monterey*. Ну чем не инженер Гарин, летевший на белой яхте с красавицей Зоей? Мы плавно и нежно танцевали, улыбаясь друг другу, изгибаясь, словно конькобежцы на льду, и очарованная публика, разинув пасти, завидовала декольтированной красавице и стройному юноше в убойном костюме с галстуком в белую горошинку, – такой я видел в журнале «Тайм» на рекламе «Мальборо».

"Согласно оперативному плану" (и по велению чувств) после мороженого мы стремительно переместились на диванчик в мой номер в «Метрополе», прямо у кофейного столика, обильно уставленного напитками. Тут уже кино завертелось со скоростью, которой позавидовал бы мой учитель Джакомо Казанова («Чем больше я тебя вижу, мой ангел, – сказал я, тем больше обожаю». – «А ты уверен, что влюбился не в жестокое божество?» – это из его мемуаров.)

«Но близок, близок час победы! Ура! Мы ломим! Гнутся шведы!». Войска шли в наступление, без сопротивления пали последние бастионы, о, трепет! о, сладость предстоящего мгновения, о, сумасшествие свившихся тел! И тут... и тут... Вдруг в безумие, в горячее бормотание ворвался вопль телефона. Предчувствуя недоброе, я нахмурился и прыгнул с дивана. Сдавленный глас красномордого прохрипел откуда-то из ада: «Убери стул! Слышишь?! Убери стул!». Действительно, рядом с диваном стоял добротный, высокий стул сталинской эпохи, на который я бросил свои рыцарские доспехи. Несмотря на стресс страсти, я сообразил, что загородил стулом поле битвы от глаза «литера» – так называлась загадочная техника, запрятанная в стене. Одно дело представлять что-то абстрактно, другое зримо понимать, что тебя фотографируют...

Я резко отодвинул помеху.

«Кто это?» - раздраженно спросила Бриджит. «Ошиблись номером», – бросил я, вытирая пот со лба, и выпил залпом целый фужер лучшего в мире советского шампанского. Тут же навалились слабость, безразличие, я облился потом (на редкость вонючим), я чувствовал себя больным и бессильным, и не удивился бы, если бы вдруг вошла медсестра и сделала бы мне клизму. Моя дама вызывала отвращение, хотелось все бросить к чертовой матери. Я с ненавистью глядел на брюки, висевшие на проклятом стуле. Но долг превыше всего и нет крепостей, которых не брали бы большевики. Тяжко дыша, бездарно пытаюсь изобразить нахлынувшую страсть, я повторил наступление, но в ушах стоял мерзкий голос красномордого, он давил, он принижал! атака на глазах позорно рассыпалась, тестостерон испарился, всё, что было, абсолютно всё обвисло (даже уши) от комплекса неолноценности.

– «Тебе плохо?» – «У меня с утра температура, я тебе не говорил!» Тут я начал кашлять, размазывать пот по лицу, симулируя лихорадку, а может, и скоротечную чахотку. Бриджит перепугалась и уже хотела побежать в свой номер за каким-то лекарством. Не зря я все же занимался в школьной самодеятельности, не зря переиграл там всю русскую классику. Содрогаясь от кашля, я стыдливо натянул брюки (нет более веселого зрелища, чем голый мужик, не попадающий ногой в штанину, да еще с обвисшими ушами!).

–С тобою такое часто случается? – деликатно спросила Бриджит.

–Впервые! – честно ответил я. – Сейчас выпью водки с перцем и положу сухую горчицу в носки.

Водка – это еще куда ни шло, но вот перспектива горчицы, да еще в носках, смутила мою леди, тем более что в те годы отечественные носки своей безысходностью наводили на мысли о несовершенстве социализма.

– Пожалуй, я пойду, – молвила Бриджит скорбно. – Жаль, что ты заболел.

Я в ответ разразился очередным приступом кашля.

Она удалилась, я на миг почувствовал себя свободным и счастливым, но только на миг. *Tedium vitae*, то-бишь, отвращение к жизни, к

собственному бессилию в такой ответственной момент скрутили меня, я отключил телефон, допил шампанское и рухнул в постель...

Рано утром ко мне в номер, словно на похороны, явились Ефимыч и красномордый. Я ожидал скандала, но красномордый вел себя деликатно и, многозначительно двигая щеками и золотыми зубами, признал свою вину. Я был прав! напрасно он не посвятил меня в священные тайны операции. О, стул! маленькая деталь, в которой всегда таится дьявол, косточка сливы, на которой поскользнулся Плева перед покушением на него, выстрел в эрцгерцога Фердинанда, принесший войну, яблоко, упавшее на голову Ньютона... Разве вся история наша, вся жизнь не царство Случая и не игра деталей? Принесенная отцами-благодетелями бутылка трехзвездочного "Арарата" вдохнула в меня силы. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать, мужайся, переживи свой Верден, впереди триумфы, – ведь у тебя бежевая тройка! впереди – победы, Дарданеллы будут наши, и мы посмеемся над дурацкими стульями!

–Зря ты нервничал, ведь для нас главное – совсем не факт физической пенетрации (слово-то какое у этого раздолбая!), важны поза, выражение лиц, а все остальное больше для психологии...

Тут же из номера я позвонил Бриджит и, подшучивая над своим расстроенным здоровьем, отныне восстановленным спасительной горчицей, договорился о встрече на следующий вечер. Однако с уходом гостей во мне ожил комплекс неполноценности (или, по-красномордому, психология). Весь день я провел в тяжелой борьбе с самим собою. Мысли о черной болезни, вдруг посетившей меня и сломавшей мое будущее (виделся никому не нужный, обшарпанный импотент, естественно, ни красавиц, ни детей, ни счастливой семьи). Эти мысли терзали мою душу, а при воспоминании о Бриджит к горлу подкатывалась тошнота, – все уныло, все пошло, все отвратительно стало вокруг. Я долго не мог заснуть, глотнул каких-то мерзких таблеток и утром проснулся совершенно разбитый, выжатый, как лимон, обессиленный, словно после марафона. Какая тут, к черту, любовь! Тупое равнодушие ко всему прекрасному полу обуревало меня, к этому добавился страх провалить задание Родины, ощущение слабости и пустоты – что делать? как жить дальше? К счастью, во время

грустных блужданий по центру мой взор упал на табличку (они тогда иногда попадались) о том, что некий доктор на Петровке лечит мочеполовые расстройства. Я набрался мужества и стыдливо поднялся по грязноватой лестнице. Доктор оказался совсем не чеховским интеллигентом в пенсне, с успокоительными «батенька» и «голубчик», а круглоголовым верзилкой с толстым слюнявым ртом, свеклоподобным носом и актерским басом. Он с любопытством уставился на мою гордость – светло-бежевый костюм и безучастно выслушал жалобы на упадок сил, вызванный экзаменационными перегрузками, и депрессию накануне встречи с невестой.

– Пустяки! – пророкотал он своим злодейским басом. - Сейчас мы вас восстановим, и всего за семь рублей! Снимайте штаны!

Я покорно выложил крупную по тем временам сумму (почти три бутылки водяры), суетливо стянул свои шикарные брюки, лег на покрытую клеенкой тахту (казалось, через нее уже прошли сотни сифилитиков), а он быстренько ухватил шприц своими волосатыми ручищами, наполнил его какой-то жидкостью, густо хохотнул, как Мефистофель, и засадил мне иглу в ягодицы...

Уже через десять минут, едва дойдя до ЦУМа и съев там мороженого в вафельном стаканчике (оно почему-то считалось лучшим именно в ЦУМе), я мысленно покрывал, как молодой баран, всю улицу вместе с переулками, я не пропускал ни одной женщины, шаря по каждой своим жарким взглядом, как прожектором. Я расстегивал и шубки, и платья, я срывал юбки, я орудовал в трусиках и бюстгальтерах. Вдруг я испугался: как бы не растратить энергию на проходивших красоток и не оказаться к вечеру у разбитого корыта! Посему от соблазнов созерцания я ретировался в номер, где раскрыл книгу Каутского о «Капитале» – тогда я еще тешил себя надеждой понять этот шедевр хотя бы в изложении талантливого интерпретатора, в любом случае книга была прекрасным транквилизатором, отвлекавшим от фривольных мыслей.

Я даже немного поспал и проснулся, чувствуя себя Гераклом, готовым совершить сразу все двенадцать подвигов. Легкий душ – бицепсы играли

железом под холодными струями, – я совершенно не удивился бы, если бы увидел, что у меня выросли львиные грива, лапы и длинный хвост с кисточкой. В зеркале я выглядел как Аполлон: изящная фигура, облаченная... (уже не в силах описывать все красоты костюма), спокойный взгляд серых глаз, прическа «полубокс», аккуратно прочерченный пробор.

На сей раз я решил отбросить все интродукции типа ужина в «Савое», заказал еду и напитки прямо в номер, убрав подальше всю потенциально опасную мебель.

В назначенный час раздался нежный стук в дверь, и появилась Бриджит – на этот раз в костюме, надетом на блузку с красным жабо, похожим на кровавую пену. Желая скрасить позор прошлой встречи и преодолеть смущенность, я начал бодро потчевать Бриджит модным тогда среди бедных студентов «белым медведем» (смесь коньяка и шампанского), вливал я его в представителя главного противника в пропорции хаф-хаф. Первые двадцать минут за столом царило веселье, но вдруг колымага закрипела, и колеса начали отваливаться. Я поспешил перевоплотиться в Казанову, но Бриджит вдруг тяжело засипела, застонала, задохнулась, схватилась за голову и бросилась в туалет. «Белый медведь» не для изнеженных американок. Минут десять бедняжка мучилась, сотрясая всю гостиницу горловыми рыками, и, наконец, вывалилась, как подстреленная птица, еле переступая ногами. Я двинулся ей навстречу с лучезарной улыбкой и раскрытыми объятиями, но она затрепетала крыльями, подняла вверх руку, словно Иван Грозный, убивающий посохом сына, истерически вскричала «нет!» и, шатаясь, выскочила из номера в коридор.

Я с трудом удержался от унижительного бега за ней и умоляющих призывов вернуться, волшебные инстинкты распирали меня, я чувствовал себя, как кот, у которого из-под носа увели мышь. Оценив новую боевую обстановку и подкрепившись внушительной порцией «белого медведя», я ощутил себя свободным менестрелем, похоть раздирала меня, я забыл о служебном долге, о моральном кодексе строителя коммунизма.

Немного выждав, я решительно прошел на этаж, где размещалась Бриджит (дежурные тети-стукачки делали нейтрально-паскудные физиономии и отводили взоры, давая понять, что им до меня нет дела, но

тут же за спиной срывали трубки и сигнализировали о преступных передвижениях), уверенно постучал в дверь и был заключен в жаркие объятия уже ожившей американкой, «смешались в кучу кони, люди, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел».

– This is what we students like³⁴, – промолвила она, с интересом разглядывая мои семейные сатиновые трусы до колен, шедевр отечественного производства, годный и для купаний, и для волейбола, и для мытья пола, – в глазах Запада такие трусы выглядели явным антиквариатом.

Дело было сделано.

Я гордо опустился в кресло³⁵.

И тут началось! Сначала в дверь забарабанила горничная (пожелала очень своевременно сменить графин с водой), затем последовали нервные телефонные звонки. Бриджит сначала поднимала трубку, но на другом конце стояла напряженная тишина, я, разумеется, к телефону не рвался, опасаясь, что вместо «убери стул!» услышу нечто похлеще. Снова постучали, но Бриджит не ответила. Вечер прошел чудесно...

Утром, когда мне позвонил Ефимович, я чувствовал себя преступником: не то чтобы я пытался взорвать Мавзолей или уклонился от призыва в армию, но все же нарушил планы мощной организации, хотя... какой был выход из положения? Разве любой уважающий себя джентльмен не пришел бы на помощь внезапно занемогшей леди? Или нести ее на руках обратно к себе в номер?³⁶ Как ни удивительно, скандала мне не устроили.

³⁴ «Вот что любим мы, студенты!» Добавим к этой максиме, что не только студенты.

³⁵ Невольно вспоминается анекдот. Пауза после объятий. Он (*самодовольно*). А вы хотели бы быть мужчиной? Она. Конечно. А вы?

³⁶ Но что трагедия, измена

Для славянина,

То ерунда для джентльмена

И дворянина. *Иосиф Бродский*.

Ефимыч заметил, что материалов накоплено вполне достаточно, повторять подвиги больше не придется, от объекта следует мягко отойти, то есть проститься по-хорошему (но не в номере!), взять адрес, договориться о переписке и отбыть из «Метрополя» в родной Киев. Так по-хамски я и поступил.

Боюсь, что у Бриджит сложилось превратное впечатление о русском национальном характере.

ВОЯЖ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

"... И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотами... и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать мерзостям земным".

Новый Завет, Откровение Святого Иоанна,
Апокалипсис 17, 1-18.

Куда Джакомо Казанове до Вашего покорного слуги! – ведь венецианский прощелыга все делал ради удовольствия и злата, я же трудился во имя Родины, во всяком случае, так мне казалось.

Не забудем, что разведка, как способ существования, захватывает и кружит, разведка раскрывает новые грани личности: тишайший подкаблучник, боящийся сквозняков, прорывается в тыл врага и творит подвиги, или становится на миг полководцем Суворовым, строча в резидентуры указания. Во время ночного дежурства по управлению на разведчика могут замкнуть весь земной шар, ему несут шифровки со всего света, и приходится решать, будить начальство или не будить? Что там принц Гамлет! Подорвет ли интересы Страны Советов переворот в Бурунди? Снимать ли телефонную трубку и тревожить московского вершителя бурундийских дел? Убили премьер-министра? Если большой страны, то напрямую к шефу разведки. А вот повар посла из ревности огрел своего хозяина лопатой. ЧП это или не ЧП? – вот в чем вопрос! Это не Клавдия проткнуть шпагой, это не тоскливые метания буриданова осла между двумя охапками сена...

А еще прекрасны секретные³⁷ миссии за рубеж – не рутинные инспекционные поездки с занудными совещаниями в резидентуре и метаниями по магазинам во имя семьи. А именно Секретные Миссии, когда от гордости надуваются щеки и пружинят ноги на ковровых дорожках учреждения. «На днях уезжаю, важное дело», – роняешь небрежно, не говоришь ни куда, ни когда, ни зачем, коллега все это понимает и лишних вопросов не задает. Дома на время стихает суматоха будней, жену распирает любопытство, она напряжена, она незаметно для себя играет амплу Спутницы Героя («Когда ты вернешься?» – «Не знаю, не от меня зависит...» – «Будь осторожен!»). Пожатие мускулистых плеч, сдержанная улыбка). Наконец, служебный автомобиль у подъезда, легкий саквояж, Шереметьево – и туда, туда, во вражеский стан...

Бродили по миру герои: врачи, студенты и геологи.

И каждый вкалывал что надо, порой о них писала «Правда».

Герои гордые и нежные, но, к сожалению, не вечные, хоть жили не всегда по правилам, историю толкали правильно.

И я меж ними отрицательный или, быть может, положительный, толкал историю старательно, я бы сказал – неукоснительно...

Толкал-толкал, выбился в начальника датского направления и партайгеноссе отдела, но радости особой не испытывал, дела шли довольно дохло (видимо, из-за сытого благополучия датчан, не толкавшего их в ряды советских агентов). А тут еще пренеприятнейшая история: агент-датчанин, блестяще завербованный еще человек шесть на таких соблазнительных объектах, как датские МИД, НАТО, Министерство обороты, источавший фонтанами информацию, был взят нами в рутинную проверку и оказался самым настоящим жуликом: и его донесения, и сообщения его

³⁷ Шеф германской разведки Вальтер Шелленберг: «Когда я выезжал с секретной миссией за кордон, у меня был постоянный приказ иметь вставной зуб с ядом, который уничтожил бы меня за несколько секунд в случае захвата врагом. Для страховки я надевал перстень, в котором под большим голубым камнем скрывалась золотая капсула с цианистым калием». Можно только позавидовать, ведь «честный немец сам дер вег цюрик, не станет ждать, когда его попросят. Он «вальтер» достает из теплых брюк и навсегда уходит в вальтер-клозет» (Бродский).

источников были напечатаны на одной и той же машинке. Позор упал на наши головы, как кислотный ливень: датское направление обесчестили прямо на большом совещании, хохот стоял на всю разведку...

И тут, словно манна небесная, прилетела неприметная депеша из провинции о том, что кустарь-одиночка Федор уже многие годы ведет переписку с некой Марлен, сотрудницей западнобельгийского посольства в Дании. Предыстория: в конце войны переселенка Марлен и красноармеец Федор были схвачены за прелюбодеяния в городе Кракове грозным «Смерш»ем, неисповедимо узревшим в этом страстном акте руку западных спецслужб. У Марлен отобрали расписку как условие возвращения на земли родной Западной Бельгии: «Я, Марлен, даю обещание секретно сотрудничать с Красной Армией, обязуюсь работать честно и добросовестно и т.д.». «Смерш» смотрел далеко вперед, расписки клепали под диктовку в массовом порядке, кто знает, может, на эти клятвы появился бы особый спрос в момент победы мирового коммунизма и создания глобального Министерства Любви? Нагрешивший Федор по приговору военного трибунала отсидел два года в лагерях и благополучно вернулся домой, обнаружив на столе тревожные письма от своей возлюбленной. Его тут же завербовал местный КГБ, возрадовавшийся «заграничному каналу», столь редкому в глубинке. Однако проку для местных органов от этого дела не было никакого, Марлен работала в какой-то захудалой конторе, переписка шла ни шатко, ни валко, секретных сведений (о ситуации на сеновале?) Федор ей не пересылал. И вдруг... вдруг Марлен поступила в западно-бельгийский МИД и вскоре получила место секретарши в посольстве в Дании. Органы провинции, естественно, сама наострились в страну Андерсена. Однако энтузиастам дали по носу, ибо тут требовался опытный зубр с датским опытом, а не малограмотный опер в модной тогда болонье.

Кто подходил на эту роль больше, чем шеф датского направления и партайгеноссе отдела? И, конечно, очень хотелось реабилитировать обесчещенное направление – посему кистью мастера я раскрасил всю картину и преподнес ее генералу аншефу, который зажегся, побежал к Андропову и получил санкцию на проведение операции.

Снова на Джакомо пурпурный плащ, в руках – изящный «самсонайт», набитый икрой и прочей отечественной гордостью, в боковом кармане пиджака (рядом с горячим сердцем), – расписка Марлен, страстное письмо Федора своей возлюбленной (составлять приходилось по переписке Абеляра и Элоизы). Весьма не хватало для понта крошечного бельгийского браунинга в кобуре под мышкой (приятно вроде бы случайно сбросить пиджак в компании друзей перед отъездом!), впрочем, дипломатический паспорт при таких миссиях надежнее любого оружия. «Ни пуха...» – «К черту». Самолет взвился к небесам и через несколько часов уже сделал первый круг над Копенгагеном.

Резидент встретил меня прохладно (кому понравится, если боевая операция родилась не в окопах на передовой, а в комфортабельных кабинетах Центра!), а контрразведка, прекрасно знавшая Джакомо по положительному вкладу в датско-советскую дружбу, просто рассвирепела, будто в мои планы входила по крайней мере высадка советских войск на Ютландии или взрыв фолькетинга. Взяли меня, бедного, в такой оборот, который не приснится разведчику в самых страшных снах: мощнейшее наблюдение днем и глубокой ночью, плотный и жесткий контроль, когда служба сыска не считает нужным особо маскироваться, а демонстративно идет сзади почти «бампер в бампер» и ставит цель не выследить, а сорвать операцию.

Мои активные походы к старым друзьям в надежде, что мышки-норушки усмотрят в моем вояже лишь желание попить «туборг» с креветками в хорошей компании, успеха не имели: машины исправно дежурили у подъезда и четко провожали меня до гостиницы. Последовать примеру Шерлока Холмса, заgrimироваться под бродягу на костылях? Сесть на метлу и вылететь в трубу? Или залезть в бутылку, которую выбросят из машины у синего моря? Как назло, в инспекционную поездку приехал сам генерал аншеф, который не прочь был заодно тряхнуть стариной, поруководить на месте и урвать у меня часть лавров в случае успеха. Какие безумные сны виделись, должно быть, шефу датской контрразведки, ломавшему голову над тайной приезда двух волкодавов...

Что делать в этом железном мешке, как вырваться на волю? Лучшие лбы резидентуры мучительно размышляли об этом и пришли к единственному выводу: только тайный вывоз, причем в машине «чистых», то бишь, мидовцев. А дальше? Домашний телефон Марлен заполучить нам не удалось, звонить в посольство было опасно, оставалось переть прямо на квартиру – вариант рискованный. Разработали легенду: я – отныне советский гражданин Семен, друг Федора и провинциальный простак, оказался в датском королевстве во время туристского круиза и по просьбе Феди без всяких церемоний решил забросить его старой подружке личное письмо и сувениры. Моветон, конечно, но мы в гимназиях не обучались и обожаем у себя в деревне запросто хаживать друг к другу, запасшись водкой и зернистой икрой. Изобретательный генерал неожиданно предложил мне записать беседу на портативный магнитофон: идея прозрачная: доверяй, но проверяй, да и запись всегда пригодится как «закрепляющий фактор» в вербовке. К нашей родной подслушивающей технике, способной издавать самые страдальческие звуки в самые неподходящие моменты, я относился без всякого пиетета, правда, я об этом умолчал, но заметил, что дама может выкинуть неожиданные фортеля, вплоть до вызова полиции, которая весьма удивится, обнаружив под моими кальсонами вершины научно-технической революции. Аргумент этот за спиной интерпретировался, как позорная трусость, и был отвергнут.

Всё уперлось в проблему преодоления «хвоста»³⁸. Конечно, при желании мы с водителем-профессионалом из московской «семерки» (службы слежки) могли от «хвоста» и оторваться, бешено прокрутившись по переулкам, презрев и одностороннее движение, и светофоры (и зазевавшихся инвалидов), водитель знал город получше датчан и мгновенно определял мышек-норушек своим натренированным оком. Однако такие грубые трюки считались непозволительными: зачем приводить контрразведку в ярость? Ведь она могла мобилизовать все ресурсы, подключить полицию и начать тотальный поиск по всему городу. Зачем размахивать красной тряпкой у носа быка? Итак, порешили: «чистая»

³⁸ Написать бы поэму «Преодоление хвоста», звучит получше, чем «В погоне за утраченным временем» или «Постижение истории».

машина, бросок в никуда, и, по Бродскому, «он взял букет и в будуар девицы отправился. Унд вени, види, вици».

Долго примеривали меня к багажнику завхозной «Волги», куда брэнное тело умещалось, лишь преломившись вдвое, как складной стул, но посольство, увы, не имело ни «линкольна» ни «шевроле», – в их багажниках можно было бы запрятать целые резидентуры.

В результате приняли соломоново решение и уложили меня на пол у заднего сиденья, покрыв сверху зловонным ковром, на который бросили пустые картонные ящики. За руль уселся трепетавший завхоз, который вечно метался между рынками и магазинами, выглядел затурканным и никак не походил на Джеймса Бонда. «Волга» тронулась, и мы резво выехали из ворот.

– Что-нибудь видите сзади? – спросил я, подыхая от тошнотворных запахов.

– Вроде идут за нами! Идут! – хрипло забормотал завхоз. Он нервничал и чувствовал себя участником операции, равной по масштабу вывозу из Италии Муссолини отрядом эсэсовца Отто Скорцени.

– Где мы сейчас? – вопрос из космоса.

– В Сёборге! – лопотал завхоз. – За нами прут три машины! Вот гады! Что же делать?! Ах, батюшки... ведь выгонят меня датчане...

– Держитесь спокойно, не дергайтесь, вы отобьете мне все бока! Не нервничайте, внимательно следите за машинами!

Я уже прикидывал, как скупоромантически опишу всю эту проверку в отчете, и потом генерал где-нибудь скажет: «Вот в каких условиях нам приходится работать, товарищи!»

– Я не нервничаю! – дергался завхоз. – Они действительно идут! – он так мандражил, что я даже испугался: как бы он не врезался в столб.

– Поверните направо в переулок, но не давайте заранее сигнала поворота. Пошли за нами машины?

– Идут... – он шумно сглотнул слюну. – Нет, кажется, ушли в сторону. Нет, идут! Капут!

– Еще направо и налево! – приказывал я, входя в роль то ли раненого Чапаева, ведущего за собою отряд, то ли попавшего в переплет д'Артаньяна.

После получасовых кружений стало ясно, что затея удалась, и страхи завхоза напрасны. Кстати, даже профессионал-новичок на первых порах дрожит от страха, видя слезку на каждом углу, – со временем этот синдром уступает место беспечности. В районе Багсверда, вдохнув более приятные запахи креветочного ресторана, я пересел к нашему виртуозу-водителю. Еще час поколесили мы по пустым окраинам, где только слепой не увидит «хвоста», и свернули к лесу. Там я, друг природы, и был высажен, не хватало лишь сачка для ловли бабочек.

До вечера оставалось часа четыре, я побродил по полянам, усеянных белыми грибами (разборчивые датчане ели только шампиньоны, зато мы и поляки белыми отнюдь не брезговали, наоборот, мощно укрепляли подножным кормом семейные бюджеты и даже, засолив, высылали в банках голодным родственникам на родину). Потом сел на автобус, добрался до «нон-стопа», подремал на какой-то киноерунде и часов в семь направился на randevu, изящно помахивая «самсонайтом» с сувенирами от пламенного Федора. Сердце же, однако, изрядно колотилось, и умнейшая голова проигрывала вариант за вариантом. Вдруг Марлен надолго задержится и мне придется топтаться у ее дома? Рядом лишь одно кро (пивная), но дом оттуда не виден, да и каким образом идентифицировать Марлен? Фотография отсутствовала, имелись лишь описания Федора, расплывчатые, как передовицы: «интересная блондинка», «хорошо улыбается», «карие глаза» и «вроде бы полная». А что, если Марлен вообще откажется со мной говорить или, допустим, выползет из ванной в халате, густо намазанная кремом, а рядом джентльмен с дубиной в руке? Незванный гость хуже татарина, даже если это уважаемый во всем мире советский турист.

Догорал рабочий день. Я пополз к городу на автобусе, тревожась, что на пути от остановки к дому Марлен случайно столкнусь с наружником, спешившим домой и знавшим мой прекрасный лик, – центр города всегда опасен, там больше всего уголовщины, а потому и полиции.

А вот и дом заветный, обыкновенный семиэтажный дом, открытый подъезд. На пятый этаж я поднимался пешком – вдруг в лифте окажется соседка по площадке или еще кто и заговорит со мной по-датски... У двери я замешкался, перевел дух и вспотевшей от волнения рукой нажал на звонок. Дверь отворила чуть пухловатая, но складная, с голубыми (!) глазами, совсем не дряхлая блондинка и не Сивилла со вставной челюстью и ниспадающей на живот грудью. Дрожа от страха, я вошел³⁹.

Ослепительно улыбаясь и глупо переминаясь с ноги на ногу – как мне казалось, именно так ведут себя жители провинции, залетевшие в западную столицу, – я представился как Сема – друг Феди, вывалил роскошные сувениры, передал письмо и приготовился к лучшему. Блондинка залучилась от счастья (думается, от вида черной икры) и потащила меня в комнату. К моему ужасу, там сидела хмурая пожилая пара (хорошо, что не в полицейской форме), как оказалось, родители моей Марлен, приехавшие на побывку из Западной Бельгии именно в день операции. Все рухнуло, не обсуждать же любовь и страдания брошенного Феди в таком широком составе? Однако минут десять пришлось пожурчать о неповторимости Копенгагена, сослаться на неотложные дела, а уже в коридоре попытаться вытянуть соблазнительную блондинку на randevu в этот же вечер. Ведь любая затяжка операции, особенно в условиях тотальной слежки, таила новый риск, к тому же мы боялись прекрасного и опасного женского языка, способного мгновенно раззвонить о любом событии и по всему дому, и по всему посольству, и по всему миру.

Но Марлен, взволнованная вниманием Федора, и слышать ни о чём не захотела – родители уезжали на следующий день, все трое начали утягивать меня за праздничный стол. Отбивался я как мог, стараясь выглядеть все так же нелепо (думаю, это удавалось без особого напряжения, жаль, что не было в руках зонтика, задевавшего все предметы вокруг), мялся, дергался,

³⁹ «Она увлекла меня по направлению к кровати. Я хотел открыть занавесь, но она остановила меня: никогда еще взгляд не выражал больше страдания, печали, отчаяния. «Что с вами? – спросил я, прижимая ее к своему сердцу. – Вы дрожите?»»

извинялся, размахивал руками, как бы всем видом стараясь доказать свою бесхитрость – смотрите, люди: перед вами честный обыватель, нормальный дурак. Договорились с Марлен на следующий вечер. Путь обратно в посольство был не менее тернист, чем выезд оттуда: снова автобус, оперативная машина, перегрузка в «Волгу» под ставший уже родным ковер и счастливое возвращение.

В резидентуре царило напряжение – так ожидают разведчика с ценным «языком» перед началом наступления. Я доложил об итогах дня самому генералу, озабоченному, как Кутузов на Бородино при прорыве правого фланга неприятельской конницей, вышел из здания посольства под очи наружки (показался!), как невинный агнец, будто бы и не покидавший его, и вальяжным шагом дошел до гостиницы.

На следующий день премьеру пришлось повторить. Правда, генерал, желая явственнее обозначить свой вклад в операцию (после установления контакта с Марлен как-то сами собой забрезжили розовые перспективы в виде ливня орденов и благодарностей) высказал заботу о моей безопасности и повелел выставить наблюдателя за местом встречи с Марлен: мало ли что! Правда, было неизвестно, что делать наблюдателю, если вдруг участников операции закуют в кандалы блюстители порядка? Выхватить маузер из деревянной кобуры и отбивать коллегу? Кричать «караул» (по-русски?), обращаясь к прохожим? Звонить в посольство и условной фразой «Прачечная уже закрыта» предупредить резидента о ЧП, дабы он, как в добротном чекистском фильме, не мучился всю ночь от бессонницы?

Погрузившись на дно «Волги», я вскоре почувствовал, что в завхозе проснулся великий разведчик. Трепет новичка исчез, и он мчался, как ковбой на мустанге, преследовавший бедных индейцев, смело шел на светофоры и резко поворачивал, совершенно не заботясь о моих боках. Завхоз вошел во вкус оперативной работы, обобщал и критически осмысливал вслух и методы проверки, и маршрут (совсем недавно он видел фильм, где преступника заматывали в бинты и уносили на носилках, обманув полицию), и, конечно же, внезапно познанные проблемы разведывательной работы в Дании. «Все чисто! Все чисто! Хвоста нет!» –

ликующе орал он, быстро усвоив профессиональный новояз. «Мы же на автостраде, они могут отстать на километр!» – сдерживал я его. «Куда они от меня денутся? У меня ведь глаз – как ватерпас!» – «Не гоните, давайте сойдем с автострады в сторону!» – «Нет никого за нами, что вы боитесь? Нет хвоста, я вам гарантирую, я слов на ветер не бросаю!» Так, купаясь в диалогах, мы добрались до машины аса – дальше все повторилось.

Марлен явилась на randevу в темном платье, шею обвивали нити жемчуга, платье стягивала на груди белая камея⁴⁰. Ресторан я подобрал дорогой, с интимной полутьмой. Стены украшали натюрморты, доводящие аппетит до кипения, горели свечи на столе, горели свечи... По высочайшему указанию генерала ужин надлежало провести широко, как требовала необъятная и загадочная русская душа, известная на Западе из Достоевского: она любит жечь деньги, рыдать, когда все хохочет, стрелять и стреляться в момент счастья, прожигать состояние, пить днями и ночами у цыган... Сема хоть и советский турист, но ничем не хуже ублюдков дворян.

Начали мы с французского шампанского, чокнулись за здоровье Федора (чокнулись! какой пассаж! – ведь это словно плавать саженками в океане у Рио-де-Жанейро или застегивать штаны при выходе из парижского писсуара – вдруг заорут: «Это русский!»), закусили хвостами лангустов, далее был живописный кусок мяса (прямо Снейдерс!), именуемый у нас неаппетитным словом «вырезка». Это чудо официант жарил прямо рядом с нами на спиртовке, поливал коньяком, поджигал, и вверх вздымалось голубое пламя.

Я не спешил развертывать все декорации, наоборот, создавал, как говорится, непринужденную атмосферу, когда легка душа, светел ум и мир кажется прекрасным. Разумеется, стержнем беседы были незабвенный Федор и его доброе сердце, в котором и целые рощи березок, и милые церквушки, и бездны щедрости (икра произвела впечатление на Марлен, а я

⁴⁰ Сразу вспоминаю послевоенный «Крокодил»: «Сказал: «у вас лицо как камея», и потом искал в энциклопедии, что означает это слово».

тут же вспомнил отзыв о жлобе Федьке). Ну, а стоит ли говорить о его беспредельной верности старым подругам? (Похотливый старый козел, покрывший весь городок, – это тоже было в характеристике.) От изысканных вин и нежных воспоминаний глаза Марлен как-то зеленовато (!) заискрились, она окунулась в прошлое и вспомнила военную юность: как все было прекрасно, когда молодой освободитель случайно проходил мимо домика, где две девушки пели под гитару, сунул голову в окно, наполнил комнату своею улыбкой и быстро проник в комнаты...

Но меня беспокоили не воспоминания, я все прикидывал, как ее вербовать? на какой основе с ней работать? как она относится к нашей стране и озарявшим ее идеям? Аполитичный Федор в порыве любви не составил впечатления о ее политических взглядах, а в письмах этот центральный вопрос не поднимали. Вдруг ... вдруг Марлен сердцем со всем прогрессивным человечеством? Тогда все проще. Но увы, через пятнадцать минут стало ясно, что Марлен наплевать на политику и тем более на коммунистов, да и оплот мира, Советский Союз она не жаловала, зато ценила свое место в посольстве, где неплохо зарабатывала. Оставалась надежда, что у нее сдвинутые и экзальтированные мозги – ведь в практике бывали случаи, когда и на почве комплекса неполноценности или просто из мести сослуживцам соглашались работать на чужую разведку. Бедный Джакомо! Перед ним сидела до противности уравновешенная дама, к которой трудно было подобраться, даже положив на чашу весов такую штангу, как любовь Федора.

Рухнула надежда, что она – сексуальная психопатка или маниакальная однолюбка (почему, почему она вела долгую переписку с этим дурнем?!), преданной Федору до гробовой доски, – тут бы мы ее живо заарканили. Устроили бы встречу где-нибудь в пансионате на швейцарских лугах, где жуют жирную траву добродушные коровы с колокольчиками на шеях, втащили бы туда пейзажа Федьку, приодев его в твидовый пиджак и нахлобучив тирольскую шляпу с пером, и, конечно же, закадычного его дружка Сему-путешественника. Была замужем, родила дочь, потом развелась – обыкновенная скучная история, на которой разведке не сыграть. Пила умеренно (ах, если бы надралась! Излила бы душу!), на

нищенскую жизнь и долги не жаловалась (а ведь в письмах намекала, что еле сводит концы с концами), свое правительство не ругала – какой ужас, венецианец! Не рви волосы на голове! Неужели ты вернешься в столицу ни с чем?! Оставалось (о, дьявол!), оставалось (неприятный холодок в животе), оставалось... хотя, конечно, такой разворот был предусмотрен (недаром же я снял копию с расписки). Оставалось приступить к плавному и ласковому исполнению. Пианиссимо. Без удара волосатым кулаком по столу («Если откажетесь, то пожалеете...») и без пистолета, который как у Гумилева, капитаны рвут из-за пояса, «так что сыплется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет». Я трусил, но, не сознаваясь в этом, прикрывал свой страх жалостью к бедняжке Марлен, такой непосредственной, наивной и честной.

Но Рубикон следовало переходить.

Начал пианиссимо: «Все мы о Федоре да о Федоре, хороший он человек, Федор, конечно, стоит о нем говорить, ведь он славный парень (размазывал кашу по тарелке, мазал и мазал...), но у вас ведь еще были друзья из нашей страны, правда?» – «Конечно, конечно (то ли усекла, то ли нет), вы долго будете в Копенгагене?» (Куда поехала, задница, при чем тут это?) – «Несколько дней... а друзья вас помнят...» (Жми, старина, не слезай с кобылки!) – «Кто помнит?» (Ну и мадам!) – «Как кто? Друзья!» – «Ах, друзья...» – «Ну да! Они просили передать вам привет...». Шаг сделан, пауза, она задумалась – неужели отшибло память? Не спеши, Джакомо, дай ей шанс адаптироваться к неожиданному ходу – ведь не каждый день она давала расписки «Смерш», чтобы об этом забыть, – все равно что Фауст забыл бы о расписке кровью Мефистофелю. «Спасибо»... – растерялась, чуть побледнела, но еле-еле, совсем незаметно, – и вот рука легко коснулась бусинок жемчуга и прошлась по ним тонкими пальцами, прошлась и задержалась, и как будто ничего не произошло...

«Вы раньше бывали в Копенгагене, Сэм?»⁴¹ – «Никогда не был, чудесный город!» Опять, черт побери, ушла в сторону, скользкая бабища! А вдруг она хлопнет меня бокалом по лбу? (Такое у меня бывало – правда, в

⁴¹ Это я, Сема! Так вот откуда дядюшка Сэм!

обстоятельствах неоперативных). «Друзья вспоминали, как вы работали вместе, Марлен...» Карты на стол, я выдержал паузу, сейчас бы заглотнуть стакан кородряги, чтобы снять напряг. «Работали?» – она выигрывала время, пытаюсь прикинуть, что же мне стало известно.

В этот кульминационный момент в наш разговор и вперся официант с кофе, испортил песню, дурак, бряцанием чашек и блюдец, все сломал, негодяй, словно чеховский злой мальчик. Официант отошел, я уже в отчаянии, все уже в печенках, сколько можно тянуть kota за хвост? И тут ва-банк: «Марлен, вы обещали работать, вы обещали помогать делу мира! (Ха-ха.) Друзья помнят о вас и хотят вам добра...» Ежу все понятно, а она удивленно улыбалась. Боже, я удавил бы ее салфеткой, если бы она вновь спросила, как мне понравился Копенгаген и посоветовала обязательно посетить бы Эльсинор, где жил Гамлет, принц датский, о котором знаменитый английский драматург Шекспир написал трагедию. Так наживают инсульты и инфаркты. Не случайно Казанова в шестьдесят два года выглядел дряхлым старцем, правда, говорят, это не мешало ему распутничать и писать либретто для «Дон Жуана» Моцарта («Я заслуживаю прощенья и невиновен совсем. Виноват не я, а женщины, которые очаровывают души, которые околдовывают сердца. О, пол обманщиц, источник печали!» – это он вложил в уста Лепорелло).

Я вспотел от напряжения и вытер лоб платком. Что делать, если она притворяется, что не понимает? А вдруг это какая-то страшная путаница – ведь прошло так много лет! Послушай, Джакомо, а на фига тебе приключения? Не поняла – значит, не поняла. Забудь об этом деле, закажи еще шампанского, фокус не удался, в разведке это бывает.

Стоп.

А долг перед Родиной? А офицерская честь? Где же твоя совесть?

Гордыня поборола трусливый здравый смысл, рука сама потянулась за распиской: «Не узнаете этот документ?». Марлен побледнела (я тоже, наверное, напоминал тень отца Гамлета – так, во всяком случае, хочется думать), допила шампанское и встала. Глаза у нее потемнели (!!!). «Какой вы мерзавец! Сейчас я вызову полицию!» Она пружинисто пошла к выходу,

жемчуга подрагивали на открытой шее, она шла к выходу, а я семенил сзади, хватал за руки, бормотал, что пошутил, и просил вернуться к столу.

Все очень напоминало семейный скандал, когда не ночевавший дома муж пытается замолить свои грехи, а рассвирепевшая жена грозит переселиться к маме. Как ни странно, она возвратилась, и только тут я заметил печать утомления, даже изнеможения на ее лице, – в один момент пробились на свет все прилежно замаскированные морщины и складки, глаза потеряли всякий цвет и поблекли, она вмиг постарела на сто лет, и уже годилась мне в бабушки. Кофе она пила скорбно, как на поминках, я бормотал нечто светское и общее, будто ничего и не произошло, нет, надежда еще теплилась во мне, еще жила, – ведь глупо ожидать мгновенного согласия на сотрудничество.

Вспомним клерка английского адмиралтейства Джона Вассала, которого прихватили в Москве на гомосеках, его ломали, его шантажировали целый вечер, ему в нос совали фото, а он отказался, чуть не застрелился, возвратившись домой. А потом? Потом подумал трезво и дал согласие. И блестяще таскал секретные документы целых 9 лет.

Спокойно, пусть она привыкнет, главное – расстаться друзьями. Выждать, дать успокоиться, потом подойти снова, не потерять контакт, плод еще вызревает, и требуется время, чтобы он упал на землю, прямо к ботфортам. Она пила кофе, пожилая некрасивая женщина с тусклым взглядом, слушала меня и равнодушно кивала головой. Наконец попытка окончилась, я усадил ее в такси, пообещав позвонить на следующий день. Она лишь вяло улыбнулась в ответ.

– Прощайте... («Прощай, возьми еще колечко, оденешь рученьку свою и нежное свое сердечко в серебряную чешую». О, если бы так, как у Блока!).

Я звонил ей два дня подряд, но к телефону никто не подходил, наконец, услышал ее голос, но от встречи она отказалась, правда, говорила вежливо, полицией больше не грозила и скандала не затевала. Дело рухнуло (скорее всего, она призналась в своих прошлых грехах посольскому офицеру безопасности). Генерал впал в панику: зачем шутить

с огнем, ведь не составит большого труда вычислить Сему с туристского лайнера.

Оставалось лишь завернуться в пресловутый плащ, вооружиться кинжалом, взгромоздиться на скакуна и, запасшись бочкой аквавита, восвояси отправиться домой.

В Москве меня не ругали. Пути разведки усеяны шипами, а не только розами, и если бы все вербовки удавались, то на этой прекрасной планете яблоку некуда было бы упасть: одни агенты, все население Земли – агенты! и мамы, и папы, и дети, и внуки! Не жалея красок, я расписал всю героическую эпопею начальнику отдела, у старого волка даже пасть опустилась после рассказа о катаниях под слежкой, не говоря уже о смертельной конфронтации в ресторане.

«Хорошо, когда секретарь парторганизации показывает пример другим коммунистам!» – заметил он удовлетворенно.

В тот же вечер мы зверски накачались датским аквавитом.

ПРЕЛЕСТНАЯ ВОРОВКА

Как будто, – сказал Доносо, – мы наливали шампанское в огромную хрустальную чашу и вдруг остались с ржавым ведром взрывчатки”.

Курт Воннегут

Не таким уж исчадием ада был Джакомо Казанова, он не только помогал вдовам превратиться в мальчиков, но и вел философские беседы с Вольтером и Руссо, и музыкой не брезговал, еще юношей играл партию второй скрипки в театральном оркестре, сам недурно сочинял. Но, конечно же, талант его расцветал в полной мере за игорным столом в компании аферистов – умением облегчать кошельки он владел в совершенстве. И печальная старость, не лучше чем у отставников разведки, которых ныне каждый (особенно те, кто лизали больше всех) норовит ткнуть носом в дерьмо. Представить только бывшего соблазнителя приживалой в богемском замке, где над ним издевалась челядь и служанки нагло хохотали, когда старик (он еще не дотянул до шестидесяти лет – пенсионного возраста) запускал им руку под юбки. Ревматик и сифилитик, презиравший, как все шпионы, шпионов («Некий Мануцци, шпион совершенно мне неизвестный, нашел средство познакомиться со мной, предлагая мне купить у него в кредит алмазы»), он мечтал об атласной женской коже, о любви – и шуршали на столе пожелтевшие письма, локоны, счета... Как везло Казанове! Он даже не искал женщин, они сами искали его, они готовы были служить ему верно (и вечно), они уже были готовыми агентами.

Поиск человека для вербовки – это тяжелый труд, причем, чем больше ищешь, тем ниже результат, а когда отдыхаешь и дуешь «гиннес» в пабе, вдруг волею случая являются Он или Она. Это судьба. Это везение.

А мне не везло, хотя я землю рыл носом.

Но однажды свалилась все же с неба звезда. Голландская консульская секретарша Мишель – дебелая дама лет тридцати, глазки маленькие и хитрые, лицо мучнистое, с подвижными бровками, похожими на игривых червей, киселеподобная, скучная, как сова, с ужасным английским (по два раза переспрашивала) и замедленной реакцией, превращавшей беседу с ней в пытку. Но все это меркло на фоне главного: Мишель располагала чистыми паспортными бланками, всегда необходимыми нашей нелегальной службе для создания голландских купцов с голландскими сырами и тюльпанами и транспортировки их на вражеские берега. Однако, надежда на успех не вдохновляла: коммунизм Мишель почему-то ненавидела, зарплату получала раза в три больше, чем я, – на какого же живца брать эту рыбу? Правда, по ее лепешке-физиономии бродила некая мистическая дымка, именуемая на шпионском просторечии вербуемостью, бесполезно ее определять научно, это – как любовь и ненависть, как 24-й прелюд Шопена, как гром и молния или лермонтовское «Пускай она поплачет, ей ничего не значит»⁴².

В народе распространено мнение, что в разведке все дозволено, и уж тем более соблазнение женщин ради высших интересов, однако на деле разведчик и шагу ступить не может без приказа резидента и Центра, и, когда на горизонте появляется женщина, кагэбэвский Джеймс Бонд сразу ощущает особый контроль. Двойную заботу о себе я почувствовал уже при первом докладе о Мишель резиденту – он был интеллигентен на вид, въедлив (до этого командовал филерами в Азербайджане), слушал меня внимательно и не перебивал.

– Ведите себя осторожно, держите ее на дистанции и хорошо изучите. Кто у нее родственники, с кем она общается здесь... Работайте аккуратно, – напутствовал он.

После первого ужина в китайском ресторане я, как истинный рыцарь, довез даму до дома на такси, и вдруг: «А может, зайдете ко мне на кофе?»

⁴² Представляю научные споры по поводу этого определения в оперативных кругах разведки и контрразведки.

Предложение застало меня врасплох, при других обстоятельствах я, возможно, и выпил бы кофе (сжав надежно ноги), но вспомнил строгий наказ резидента и со вздохом заметил, что мне еще надо на работу.

– Как поздно вы работаете! – удивилась она. (Еще бы! было десять часов вечера!)

Резидент мое поведение одобрил, но предупредил:

– Ни в коем случае не заходите к ней домой. Вам я верю, но она ведь может сделать черт знает что⁴³: и брюки вам расстегнуть, и на колени плюхнуться, и раздеться догола... тьфу!

Следующий ужин, масса информации, среди которой случайно (?) оброненная фраза, что, мол, иногда хочется съездить в Амстердам, но это дороговато, снова такси и дом.

– Может, выпьем кофе?

– Извините, я опять сегодня дежурю... очень много работы...

– Какое у вас странное посольство, столько народу, и все равно много работы⁴⁴...

Расстались гордо мы. На следующий день я явился к резиденту.

– Я чувствую себя полным идиотом, к тому же еще хамом... дайте я зайду хоть на пять минут.

– За пять минут много можно сделать... Она интересная?

– Уродина! (Говорил от души.)

– Уродины – самые опасные. Красивые – избалованы, а эти всегда тянут в постель и, между нами, весьма темпераментны (жирноватый хохоток). Она пьет?

⁴³ ...сей жар в крови, ширококостный хруст, чтоб пломбы в пасти плавилась от жажды коснуться - «бюст» зачеркиваю - «уст!»

И. Бродский

⁴⁴ Воистину странное посольство! Если учесть, что две трети составляют наши и военные разведчики, то прелюбопытнейшее посольство!

– Почти нет.

– Курит?

– Довольно много.

– Вот-вот, курящая женщина напоминает пепельницу. (Хохоток, я тоже поддакнул, хотя слышал это гениальное бонмо еще в раннем детстве.)
Никаких кофе на дому!

Прошло еще два ужина, отношения наши теплели, и я даже предложил одолжить деньги на поездку в Амстердам, Мишель не отказалась, снова приглашала на кофе, но... расстались гордо мы.

Тогда я решил сменить вечер на день. Конечно, это был шаг назад: ленч обычно ограничен двумя часами, к трем рестораны закрывались, зато днем джентльмену можно и не провожать даму до дома, достаточно снять котелок, поцеловать руку и помахать вслед стеклом. На первом же ленче случилось ЧП: после кофе Мишель вдруг ухватила ресторанный пепельницу и быстренько сунула ее к себе в сумочку – куда девалась только ее флегматичность!

– Что вы делаете?

– Я коллекционирую пепельницы с ресторанными названиями...

– Давайте купим!

– Они не продадут, это же специальный заказ.

Я осторожно посмотрел по сторонам – вокруг никого не было, вряд ли на выходе подбежит официант и потребует открыть сумку...

Очередной ленч в другом ресторане – и снова кража пепельницы, просто ужас какой-то!

– Далась вам эта коллекция! Подумаешь, пепельницы... – я уже чувствовал себя соучастником.

– Вы хотите, чтобы я коллекционировала Рубенса? – повеяло ледяной иронией, но я это легко стерпел: в конце концов, и похуже можно ожидать от леди, если постоянно увиливать от чашки кофе.

Сначала резиденту я о кражах не докладывал, но, когда Мишель стянула уже четвертую, решил все же рассказать. Чем дальше я углублялся в повествование, тем серее становилось его красивое лицо, оно постепенно принимало трагическое выражение, лоб покрылся морщинами, даже залысины стали больше, нос превратился в иронический крючок, рот кривила сардоническая улыбка.

– Я на вас удивляюсь, – сказал он. – Чувствуется, что вы никогда не работали в контрразведке. Неужели вы не видите, что вам готовят провокацию: она крадет пепельницу, врывается полиция, вас арестовывают...

– Но ведь не я украл пепельницу...– возразил я слабо.

– Вы просто ребенок! Кто будет разбираться? Из-за вашей халатности мы получим очередную шпионскую сенсацию в прессе, уж Центр нам за это нахлопает...

В последнем я не сомневался: Центр всегда поправлял, направлял, давал втык, Центр всегда был прав и знал это.

– Что же делать? Я как раз планирую попросить у нее голландский паспорт. И простить долг.

– Как что? – удивился резидент. – Прекратить встречаться в ресторанах. Ни дома, ни в ресторане. Либо найти такой, где не курят. Хотя... она может украсть и вилку, и вазу с цветами.

– Но она курит...

– Перетерпит. (Хохоток.)

– Кстати, я ни разу не видел таких ресторанов.

– Надо лучше изучать город, наверняка такие есть, ведь должны быть рестораны для некурящих!

«В Азербайджане», – подумал я зло.

– Разрешите идти?

– Пожалуйста, – сказал резидент.

Он снова стал красивым и даже добродушным.

Сначала мы гуляли по улице, затем перешли в парк, затем заморосил мелкий дождик (к счастью, у Мишель был зонт). Разговор на улице среди прохожих и шумевших машин был совсем иным, чем за ресторанным столом, фразы не клеились, расплзались, в этой обстановке не только просить бланк паспорта, вопросы неудобно было задавать. Проклятый дождик! Ну и совиная рожа, белая, противная, эти черви-брови, ползучие гады, с такой выпить чашку кофе и дать деру, ну и харя! к тому же ворюга, и чего я с ней вожусь? подумаете, паспортные бланки, велико счастье! Холодно, зябко, неужели я так и буду встречаться с этой финтифлюшкой на улице до самого конца командировки? Да катись она...

После встречи я направился прямо в начальственный кабинет.

– Опять украла?! – он прочитал что-то на моем лице.

– Мне пришлось зайти к ней на кофе, – соврал я, нарушая все уставы.

Он окаменел и оледенел.

–Вы с ума сошли!

– Она купила по дороге ручную швейную машинку, и мне пришлось донести ее до дома.

– Как она себя вела?

– Довольно любезно. Села рядом, налила кофе.

– И что?

–Как что?

– Не приставала?

– В каком смысле? – я стал наивен как дитя.

– Ну, положила руку на колено... или еще куда... – Он растопырил пальцы (что он имел в виду, до сих пор остается для меня загадкой).

– Поцеловала в щеку. Но по-братски.

– Как так по-братски? – Он начинал превращаться в своего трагического alter ego.

– Просто так, – нейтрально ответил я.

Он нахмурился и картинно забарабанил пальцами по столу, они были покрыты темными волосами и чем-то походили на извивавшиеся брови-червяки Мишель. Под черепом шла напряженная работа мысли.

– Дело приобретает опасный оборот, – сказал он. – Придется встречи с ней прекратить...

– А как же паспортные бланки? – возразил я, не глядя ему в глаза. – Мне кажется, это преждевременно!

– Давайте не спорить. Когда станете резидентом, будете руководить по-своему. А сейчас идите работать.

Я напустил на себя дымы обиды и печали и направился к двери (в душе играли оркестры счастья).

– Интересно, много ли у нее в квартире пепельниц? – спросил он, словно выстрелил в спину.

– Целая куча! – не растерялся я. – Весь дом завален пепельницами.

– Ну и шлюха! Сколько наворовала! Я с самого начала знал, что она – дрянь.

Я взялся за ручку двери.

– А при каких обстоятельствах она вас поцеловала? – вдруг спросил он.

– Когда я уходил. На прощание. В щеку.

– Слава Богу! – вздохнул он.

Мы оба были счастливы.

ЗВЕЗДНЫЙ МИГ

... поцеловал у нее руку.

–Боже мой, если б вы знали...

–Что, что? – спросила Муся.

– Ничего, – тихо ответил Тептелкин.

Константин Вагинов «Козлиная песнь».

В «Руководстве для агентов Чрезвычайных Комиссий» несколько коряво: «...для сотрудничества важны личные симпатии к заведующему политических сысков, особенно хорошо, если будет женщина, но заведующий не должен увлекаться из личных симпатий. Она многое может сделать, но нужно быть чрезвычайно осторожным». Не увлекаться из личных симпатий – это уже не Казанова, а железный Феликс, это уже в духе разведки, те, кто увлекаются из личных симпатий, гибнут, как бабочки на огне: от доверчивости, от интриг вражеской контрразведки, от пьянства, наконец. «Страсти погубили меня», – сказал полковник Рёдль, русский шпион, разоблаченный австро-венгерской контрразведкой, перед тем, как пустить себе пулю в лоб.

Катрин явилась среди шумного бала и, конечно, случайно, но вспыхнула ярким метеором, когда я узнал о ее принадлежности к шифровальной службе. (Эверест для любого разведчика, если, конечно, это не шифры индейцев племени лулу, хотя и их, наверное, для коллекции прихватит служба)⁴⁵. Действо разворачивалось на приеме, жар шел от разгоряченных тел, пахло дымом и потом, давились у стола с осетром длиною в крокодила. Она уронила платок, как ни странно, я поднял (если бы знал о ее профессии, ухватил бы зубами). Затем разговорились, она не

⁴⁵ О шифры! И крутит мозги расшифрованная запись в «Золотом жуке» Эдгара По: «Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо-северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стрелой из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов».

скрывала своих занятий, я похолодел от счастья, быстренько взял телефон и тут же отскочил в сторону как от прокаженной, дабы не «светить» сокровище наличием своего присутствия.

Несколько дней мучительного выжидания и необыкновенных фантазий, наконец, звонок из телефонной будки на окраине города, вкрадчивое приглашение на ужин. Неужели скажет, что занята? И конец мечтам о жар-птице, и снова Казанова пойдет за плугом, разрыхляя сухую землю... Но фортуна была милостивой, и вскоре, сменив несколько кебов, я ожидал Катрин у ресторана. На рауте в мельканье лиц и бриллиантов я ухватил лишь туманный абрис прекрасной дамы, болезненное изображение подняло ее до мадонны Рафаэля, в ней все дышало очарованием – видимо, мечты о шифрах рождают в душе нежность.

И когда из «пежо» вышла неимоверно худая, вдвое старше меня женщина с запавшими щеками щербатая, чрезвычайно похожая на веселые скелеты из мексиканских гравюр, с огромной копной крашенных рыжих волос, походившей на куст, внезапно выросший прямо из головы, я конспиративно содрогнулся. Мутновато-темные глаза, покрытые на белках воспаленными жилками, что наводило на мысль о наркотиках, глаза выпирали из густо напудренного лица, как при базедовой болезни. К счастью, улыбка была открытой и приветливой. О, если бы она была одета в какое-нибудь скромное платьице, а не нет! Дорогое, с какими-то чертовыми кружевами и вензелями, и с головы до ног усеяна бриллиантами!

Мы вплыли в ресторан, и официанты превратились в окаменевшие столбы со сверлящими взорами – ведь не каждый день залетает такая странная пара. Я чувствовал на своей спине буравящие рентгены, я слышал мелкие смешки: с кем же пришла эта экстравагантная старушка-божий одуванчик? с единственным сыном? с верным братом? с партнером по бизнесу? ха-ха! бросьте вы, наивные люди, это же сучонок-любовник, срывающий с нее дикую деньгу, бессовестный жиголо, герой полового сервиса для старушек! Бедняга! Ведь не так легко слышать каждую ночь, как грохочут её столетние кости...

Как я страдал! И, конечно, не только от смешков за спиной, но и от потенциального риска: ведь наша картинная пара отпечатывалась в любых мозгах – невыносимо для разведчика, всегда жаждущего быть незаметным и серым, как тигр в ночной пустыне. Катрин блистала умом, жизнь прожила в одиночестве, которое чувствовала остро, особенно в чужой стране, отсюда и желание общаться с внимательным, чутким, живо реагирующим на каждое слово, очаровательным... нет слов, нет слов! Политика ее давно не интересовала, секретность приелась, и желание нормально общаться намного перевешивало обычные (и обоснованные) страхи контакта с русскими. Первый ужин похож на собеседование с абитуриентом, когда важны и анкетные данные, и общий образ, и все видимые и невидимые детали: вспышки улыбки, хмурость лба, количество сигарет (курила Катрин нещадно, причем едкие «Голуаз», я задыхался и попытался укрыться в дыме черчиллианской сигары), число прикасаний к рюмке прелестными губами («пьет умеренно», это для агентурного дела) – первый ужин проходил радостно, как фейерверк.

«Я впервые здесь в столице встречаю такого интересного человека...» – это, конечно, я, с оскалом белоснежных зубов, элегантный, как десять тысяч роялей, не забывавший (к черту официанта!) наполнять бокал французским шампанским «Мумм»⁴⁶. – «Надеюсь, мы будем друзьями, знаете, я не люблю политику, хотя ею и приходится заниматься в посольстве...» – это хитроумный Казанова, унюхавший настрой. – «Я тоже...» – «Хорошо бы, чтобы наши встречи остались чисто личным делом... Трудно все объяснить, но тут в стране некоторые люди пытаются бросить тень на русских», – это снова я, и это называлось первым элементом конспирации и ложилось в досье, облеченное в рутинную фразу «Договорились не афишировать контакт».

Успех! успех! ноздри мои (как и у лошади, на которой мчал домой), раздувались от счастья: я проводил даму к «пежо», поцеловал на прощанье

⁴⁶ «Мумм» я полюбил заочно, когда в студенческие годы прочитал «Фиесту» Хемингуэя, там граф в сопровождении шофера привозит корзину шампанского, взятого у приятеля барона Мумма, граф расстегивает жилет, поднимает рубашку и показывает шрамы, а потом все надираются. Всю жизнь литература играла мною как хотела.

руку, стараясь смотреть мимо морщинистых тонких пальцев, униженных перстнями и одуряюще пахнувших куревом, через этот ад я прошел мужественно и на моей физиономии можно было прочитать только блаженство. И действительно, блаженство! что может быть радостней в жизни разведчика, чем появление перспективной разработки, да еще шифровальщицы? Это – как внезапное озарение, как «Я встретил Вас, и все былое...», – и мир прекрасен, уходят дурные мысли, не тянет печень, отменно пищеварение, не мешает плоскостопие, в семье наступает благоденствие и согласие, и чета, не ссорясь, в обнимку выписывает шмотки по «Квеллю».

Дело завертелось, – руби канаты сразу, пусть корабль уйдет в густой туман, подальше от чужих глаз: не звонить-не писать-никому-ничего-никогда-вечно! Но пора отойти от ресторанов, где все пялят глаза. Ресторанная кухня ужасна (это вздыхал Джакомо), ее не сравнить с домашними трапезами: утка в духовке с яблоками, жареные щечки ягненка, баклажаны по-домашнему... (Ничего из этого я не умел, правда, научился готовить паэлю валенсиана, мажорно смешивая поджаренный рис с дарами моря, – героическая симфония, после которой жена неделю, стелая и плюясь(!), выгребала из кухни грязь.) «Как хочется вкусно, по-настоящему поесть, да и поговорить по душам, когда не мешают тупые официанты!» – продолжал ныть Казанова, словно вбивая в голову гвоздь.

Вскоре Катрин, поняв шибко дипломатические намеки, пригласила к себе домой, правда, принесла извинения, что терпеть не может готовить. Я в ответ всплеснул руками и посулил поджарить ей даже молочного поросенка с гречневой кашей (интересно, как бы я его нес в мешке?) и заодно почитать по-английски любимого Томаса Стернза Элиота. Дело не в интеллектуальном пижонстве, а в том, что интуиция подсказывала: на квартире придется балансировать на канате без всякой сетки, и поросенком тут не отделаться. Роль князя Мышкина, чуть-чуть не от мира сего, к тому же влюбленного в заковыристого Т. С. Элиота, вполне подходила для перфоманса.

Первый визит я обставил пышно, в самом шикарном магазине набрал горы яств (ничего советского не брал, вдруг дворника охватит любопытство

при виде баночки из-под советских шпрот в помойке?). Какие-то невероятные салаты, бережно уложенные продавцом в специальные непромокаемые пакеты, несколько видов малосолевой рыбы и два уже приготовленных нежно-розоватых лангуста («Дело важное нам тут есть, без него был бы день наш пуст: на террасу отеля сесть и спросить печеный лангуст». Н. Гумилев), банка улиток вместе с набором раковин, куда их, голых, требовалось засунуть перед тушением, замазав сверху укропным маслом и, конечно же, пару бутылок уже одиозного «Мумм» (запасы планировал растянуть на две-три встречи). Не омаром единым – приволок я с собой и солидный альбом современной живописи, и тут мы галопом по Европам окунулись во все «измы», чуть потоптались на русском авангардизме (я вещал, словно живописал и поддавал вместе с Малевичем и Татлиным), затем я выдал коронное блюдо: почитал отрывок из «Бесплодной земли» Т. С. Элиота, завывал тревожно и протяжно, как дог перед смертью. «Витали странные духи, синтетикой тревожа (что-то она угнетена) и выдыхая запахи вокруг (жрать хочется), дрожали от волнения эфира и свежести, несущейся из окон (много курит), и пламя свеч напоминало великанов, бросалось на узорный потолок – там плавал мраморный дельфин...» Катрин не настолько владела английским, чтобы все ухватить (признаться, и я тоже), но с интересом наблюдала, как я закатывал глаза, хватал жарко ртом воздух, вздымал руку, словно трибун, – интеллектуальный дым стоял коромыслом. В ответ она пустила пластинку Гайдна, и после всех этих небесных высот любое сползание на грешную землю выглядело бы просто святотатством.

Не первый раз давал я концерты во имя Дела, бывало и похлеще: однажды целый вечер играл я Гамлета на пару с обаятельным црувцем Джорджем Листом (он дебютировал и в роли Офелии, и в роли Полония и всех остальных), русская жена его Таня, бывшая ранее замужем за лидером адской организации Народно-Трудовой Союз Поремским, грустно лицезрела, как пустеют бутылки с виски. Джордж был прекрасный парень, мы друг друга честно разрабатывали и заодно не забывали о взаимных услугах: я купил ему со скидкой болгарскую дубленку в нашем посольском

сельпо, он же отвалил мне к Рождеству несколько первоклассных американских индеек.

Впечатление на Катрин, думается, я произвел, как существо поэтическое и душевно хрупкое⁴⁷. Снова получил приглашение, снова – как в салоне мадам Шерер (с гусем под мышкой). И так повелось, в ход пошли сначала скромные, а потом более существенные подарки: к религиозным праздникам, ко дню рождения и просто так от души. Впрочем, подарками я не баловал, Катрин не страдала меркантильностью, а наша святая служба щедростью. Меж Элиотом и Гайдном прорывались ненавязчивые речи и о характере работы Катрин (тут меня уже понатаסקали на специфике шифровального дела, обозначили вопросы, своего рода пробные камни). Если ответит, можно потирать руки, предвкушая, как набьет тебе халвой рот начальство, шаг вперед, два шага назад, как учили, осторожно, тише едешь, дальше будешь. Когда приходит на работу? когда уходит? не трудно ли вообще шифровать, черт побери? Вот уж никогда не сталкивался с этим! представляю, сколько приходится писать и считать! Наверное, все это очень сложно? Имеется шифровальная машина? А какой марки, если это не секрет? (Секрет большой, тот самый оселок). Марка швейцарская, значит, покупали в Швейцарии? Впрочем, послушаем Гайдна, какое совпадение, это тоже мой любимец. Шагай вперед, веселый робот, но не думай, что ты самый умный и Катрин ничего не понимает. Прекрасно, что раскусила, великолепно, что рассеялся туман, это важный этап, теперь она знает, на что идет. Самое ужасное – это собираться домой и прощаться, возникала неловкость, слова и движения становились деланными и искусственными, губы стыдливо прикладывались, словно оправдываясь, к худой руке, и даже глаза убегали в сторону, чтобы не видеть иронической улыбки, – шагай по канату, веселый робот, прильни еще раз к великолепной руке, чарующе улыбнись и если можешь что-то излучать, выпусти несколько частиц

⁴⁷ Все мы склонны ставить себя высоко, а других считать дураками. Скорее всего, Катрин сразу увидела, что за шедеврами современной живописи и разрыванием души Т. С. Элиотом скрывается прохиндей из КГБ, нацелившийся на ее шифровальные сокровища, и развлекалась, любясь моими эксгибициями.

нежности, источи из себя теплоту, иначе будешь, виляя хвостом, смотреть на шифры, как лисица на виноград. Я поднимал глаза, видел жуткую копну волос, темные оспинки, и сердце замирало от ужаса, словно схваченное ее костлявою рукою...

Постепенно Катрин привыкла к тому, что и я подобен камню и предан лишь делу мира и человечества, что, впрочем, отнюдь не заморозило наши отношения. Я уже много выведал о деталях ее работы, на информацию она не скупилась. Однако этого было мало, требовались шифры. И тогда, мило улыбаясь, я обратился к ней с просьбою: зачем, мол, отягощать наши дружеские беседы разными информационными вопросами, если гораздо удобнее дать мне ключ к чтению всей шифропереписки посольства? Она как-то очень внимательно на меня взглянула и... согласилась.

О, звездный час в жизни гомо сапиенс! Мировой рекорд спортсмена, последний удар кисти по полотну, финальная точка в романе века, открытие кванта... Вышла, вышла, наконец, на небо моя звезда, моя судьба!

Комбинация была сложная, ибо никто не мог гарантировать безопасность, мне помогало несколько коллег, крутивших на машине со сложной фотоаппаратурой недалеко от места встречи (кодовая книга требовала перефотографирования). Зброшенный полустанок, торчащий среди темного леса, тусклый свет на грязноватой платформе, каменная скамейка, холодившая спину. Хотелось молиться, чтобы она пришла, чтобы не сорвалось, чтобы улыбнулась и протянула пакет или сумку или целый чемодан⁴⁸.

Шум летящего поезда – это она! все точно по времени, быстро забрать шифры – и в машину, там тоже сейчас мандраж: а что, если Катрин провокатор? а что, если готова засада? Как медленно подходил поезд! как тянулось время, один, два, трое вышли, сейчас выйдет она, о, выйди же! (так идальго заклинал выйти на балкон своих сеньорит). Трое прошли

⁴⁸ Из «Руководства для агентов Чрезвычайных Комиссий»: «Если везут с собою литературу, шрифт и т. п. вещи, то первым делом надо обратить внимание на то, чтобы корзина или чемодан не бросались в глаза своей относительной тяжестью».

равнодушно мимо скамейки, я смотрел им в спины, я ненавидел и весь мир, и самого себя.

Поезд тронулся и скрылся, стук колес удалялся, спускалась тишина, все кончено, она не приехала, она подвела, наобещала, а потом испугалась, трепло, мне не везло, проклятая судьба играла со мною, как ветер с мокрым листком, бегущим по платформе, он то прилипал, то отрывался. Катись, катись, зеленый лист, перелетай поля сырые и в горстку охладевшей пыли на полдороге обратись! (еще сочинял, мудака!) А может, она вынула из сейфа шифры, кто-то заметил, стукнул, ее арестовали? Сейчас допрашивают и уж наверняка расколют. Или уже раскололи, и весь район оцеплен полицией, они наблюдают и вот-вот захлопнут мышеловку. Какая обида, сколько потрачено сил, выброшено кошке под хвост... Что делать? Уходить? А что еще? Следующий поезд – через час. Ребята в машине, конечно, промолчат, однако подумают: слабак. Проигравших не уважают нигде, и правильно делают. Проклятые бабы, все они капризны, ненадежны, непунктуальны...

Я встал и уныло поплелся с перрона в сторону светившихся домов, где курсировала наша машина. «Ты куда? – прямо из кустов. – Ты уже уходишь? Извини, я не успела на поезд, я взяла такси! (Боже, приехать на такси, это же ни в какие рамки!) Ты не волнуйся, я принесла! Я принесла! бери!» (О, счастье!). «Где такси?» – «Прямо рядом!» (Какой ужас! нас увидит шофер!). «Спасибо! – схватил пакет, сердце выскакивало из груди, – пока! подожди!» Я обнял ее, я целовал, целовал и вдруг почувствовал, что флюиды нежности (ферромомоны?) забили из меня, как нефть из скважины, они летели в Катрин, она чувствовала это и сияла от счастья, я сам превратился в пульсирующую нежность, я целовал и целовал ее на полупустынной платформе... я любил ее, такую нежную и неповторимую.

Катрин чувствовала это и сияла от счастья, я сам превратился в пульсирующую нежность, я целовал и целовал ее на пустынной платформе... я любил ее, такую нежную и неповторимую.

Затем – в машину, и там началась свистопляска с фотографированием, минут двадцать напряженной работы. Я вернул документы, и мы снова страстно поцеловались.

Она работала много лет, и работала прилежно. Я так и не понял, почему она стала работать с нами, почему пошла на смертельный риск? Денег не брала, подарки презирала, да и к шампанскому особой привязанности не было. А ведь ей грозила тюрьма или смертный приговор. Так почему? Почему? Я вскоре уехал, передав ее на связь коллеге, я уехал и больше никогда не видел ее.

Но до конца своих дней я буду помнить тот звездный миг на пустынной платформе, кодовую книгу, биение наших сердец и сладкое счастье триумфа.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

И ЗАТОПАЛ ГЛУПЫЙ ОСЛИК ПО КОЧКАМ СВОЕЙ БИОГРАФИИ...

МОСКВА - ДАНИЯ 1965-1972

Когда носорог глядит на луну,

Он напрасно тратит цветы своей селезенки.

Китайская поговорка

По возвращении из Альбиона к осени 1965 года меня сбагрили на одногодичные курсы усовершенствования – учиться толочь воду в ступе. Учеба на УСО в качестве уже руководящего кадра умасливала и грела, каждый чувствовал себя пупом земли, жили, как в лесном доме отдыха, привольно и беззаботно, когда желали – уезжали домой или еще куда (порой раздавались тревожные телефонные звонки взволнованных жен, разыскивавших исчезнувших драгоценных мужей). Скука стояла дичайшая, на освоение новых языков не тянуло, но продолжил французский и сдал

кандидатские экзамены (тянул на тайны английского национального характера).

Снова – в который раз! – навалили марксизм-ленинизм, но уже под соусом освоения современной буржуазной философии, которую никто из преподавателей и не нюхал. С прагматизмом, экзистенциализмом, неотомизмом и прочей гадостью расправлялись одним щелчком, как с клопами, вновь и вновь черпали мудрость из неисчерпаемого «Материализма и эмпириокритицизма» (о, Небо!). Смешивали с грязью путаников Маха, Авенариуса и примкнувшего к ним отпетого дурака Дицгена, снова с тошнотой в горле пережевывали партийные документы, а в основном болтали о жизни, о доблестях, о подвигах, о славе, и к завершению учебы написали по реферату, щедро и конспиративно поделившись опытом работы за кордоном.

В 1965 году учебные структуры ведомства еще не превратились в обросшую жиром махину с продленными сроками обучения, с растущим числом предметов и преподавателей (в этот «отстойник» часто сплавляли неудачников, жертв аморалок, бывших фаворитов, да и просто малоспособные кадры). Тогда еще только зарождались споры о том, что есть разведка: искусство ли это, как писал враг номер один Аллен Даллес, или же наука? Звенели шпаги, и будущие профессора кислых щей аргументировано вещали: конечно же, наука! Чем она отличается от философии или физики? Впереди маячили докторские звания, солидные кафедры и, конечно же, Академия Разведывательных Наук, которая, возможно, вобрала бы в себя все другие академии страны. Курсы навещали крупные шишки из разных подразделений КГБ с лекциями, в которых тривиальщина выдавалась за откровения, тем не менее порою бывало интересно послушать, что глаголило начальство из других подразделений, сравнить, примерить, оценить.

Иногда я заезжал на работу в скромный дом номер два, что на Дзержинского, в кабинет с незабываемым видом на гастроном, забегал к начальнику отдела и смотрел на него собачьими глазами, дабы меня не открепили от англо-скандинавской линии и не бросили бы в когти Африки и Азии, где лихорадка, бацилла и черные кобры.

Но фортуна держала меня на плаву: однажды я встретил в коридоре власти резидента в Дании Леонида Зайцева, моего оперативного крестного в Лондоне, это мой учитель и покровитель, друг до конца дней.

Позволю себе небольшое отступление об этом прекрасном человеке.

... «Ты, старик, не бери закуску и суп. Так не принято. Что-то одно и затем второе блюдо. Вино закажем Ньюи Сан Джордж, он этого достоин, хотя не парламентарий. По одному виски в самом начале, но рядовой Джонни Уокер. Мы шли по лондонскому Стрэнду на встречу с английским журналистом вместе с Леонидом Сергеевичем Зайцевым, руководителем линии политической разведки в резидентуре, моим первым учителем. Был 1961 год, я был еще сосунком в делах невидимого фронта. За столом Зайцев вел беседу непринужденно, словно пришел выпить и закусить, и проблемы поднимались банальные (ничего ни о планах нападения на СССР, ни о заменах в консервативном правительстве – нас нацеливали на информацию такого рода). Что меня поразило: по возвращении в посольство Зайцев накатав сразу три шифровки в Москву, и все получили высокую оценку. Оказалось, уминая свой стейк, я не подозревал, что в одном кубическом метре воздуха каждый видит и слышит разные вещи. В 1967 году резидент в Дании Зайцев взял меня туда своим заместителем. Помнится лесная дорожка под

Копенгагеном, глухая ночь, мы вдвоем везем для передачи агенту большую сумму денег. Темень жуткая, и кажется, что из-за кустов сейчас выпрыгнут лешие в штатском. Леонид Сергеевич спокоен, словно мы везем белье в прачечную, только глаза напряжены – высматривают укрывшегося в деревьях клиента. Курортный город Копенгаген баловал драматическими историями: поздно ночью меня буквально вырывает из постели оперативный шофер, мы мчимся в посольство. Оказывается, что покончил с собой наш сотрудник, молодой парень учившийся в местном университете. Убили? Повесился сам, испугавшись шантажа? Паника была жуткая, но Леонид Сергеевич не мельтешил, действовал спокойно. Трезвостью ума отличался поразительной. Работа есть работа. Разобрались с покойником, занялись сметой (было 4 утра). Зайцев нежно почитал своих родителей, практически не пил, не курил, обожал жену и сына – просто на доску почета. В семинарах нашего партпросвета участвовал, но к идеологии относился без трепета. В 1968 году, в время чехословацких событий наиболее политизированные вцеплялись друг другу в глотки – Зайцев смотрел на эти баталии сквозь пальцы. Человек дела. Враг суеты. Шеф разведки Александр Сахаровский давно его приметил и сделал начальником нового труднейшего управления. Речь шла о внедрении в разведку всех новых технических

достижений, в частности, ЭВМ. Ведь до того времени дела прошивали цыганской иглой, а ручной поиск был похож на работу крестьянина за плугом. Зайцев не только дружил с будущим премьер-министром Вильсоном, великим английским писателем Грэмом Грином, многими сотрудниками Форин Оффиса и деятелями парламента, он закончил знаменитое Бауманское училище и Академию внешней торговли – так что дела технические были ему не чужды. (Между прочим, в Англии работал под весьма неудобной «крышей» заместителя представителя Международной книги). Мне пришлось трудиться при создании этого управления и до сих пор перед глазами сумасшедший дом: с одной стороны, оперативники, ничего не понимавшие в кибернетике и электронно-вычислительной технике, с другой стороны, научные и малонаучные работники, считавшие, что разведкой можно управлять как молочным заводом. Тем не менее, Леонид Сергеевич с честью вытянул эту громыхающую телегу, и автоматизированная система управления была создана на пользу всей разведки. Заслуги превосходного организатора и координатора (приходилось иметь дело с академиками Глушковым и Наумовым) были оценены, и Леонил Зайцев сел в кресло начальника легендарного управления научно-технической разведки, это направление внесло самый значительный вклад в русскую

историю: добыло секреты атомной бомбы! Это оно вместе с Курчатовым, Харитоновым и всей славной плеядой наших ученых обеспечило ядерный паритет и прочный мир (несомненно, после варварских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки США не поколебались бы надавить на нашу страну). Когда Леонид Сергеевич взял в свои руки бразды правления, научно-техническая разведка обеспечивала не только военно-промышленный комплекс, но и все народное хозяйство – выкрадывали всё полезное, ведь как учил Леонид Ильич: экономика должна быть экономной. И препятствия были похлеще санкций и зловещего Обамы: множество товаров и технологий были запрещены для ввоза в СССР и КОКОМ (координационный комитет по экспортному контролю), за этим строго следил. Золотые (и нелегкие) времена для разведки! Доставали и оборудование для нефтяной промышленности, и самые новейшие компьютеры, и необходимое для космической отрасли. Например, одна крупная операция в космической сфере обогатила нас на 500 миллионов долларов. Даже для производства инсулина (лицензия тогда стоила один миллиард долларов) зайцевская разведка добыла документацию за 30 тыс. долларов. Приобретали документацию не только для производства электроники, но и целые технологические линии. Порой для перевозки техники и оборудования приходилось проводить тайные

операции с фрахтованием морских судов! Ведомству Зайцева обязано появление новых самолетов и ракет, подводных лодок и боевых кораблей (продолжил бы список, но посадят). По некоторым данным, научно-техническая разведка была не просто рентабельной, но и окупала содержание всего КГБ! Наш герой был человеком легким и смешливым. Любил слушать разные байки и анекдоты, к сладкой жизни был непривычен, в жизни неприхотлив и как-то в ресторан на встречу притащил пару бутылок вина (он же не потреблял, а куда девать дареное?) Как-то возвращаясь за кордон, я пристал к нему: чего тебе привезти? Долго мялся, ну уж коли приспичило, говорит, привези мне пиджак, мой совсем поизносился (твидовые пиджаки – пагубная страсть еще с Англии). Наши олигархи с их яхтами и куршавелями содрогнулись бы от удивления и, возможно, покопались бы в заблудших душах! В моей жизни погуляло много начальников, но одни ничем не запомнились, а другие – либо очень глупые, либо жутко карьерные и тщеславные, либо слишком хитроумные, либо отпетые самодуры. Ох уж эти начальники, никто их не любит! Неправда ваша, дяденька, некоторых очень даже любят. Вот и Леонид Сергеевич Зайцев остался в памяти незаметным героем и гордостью нашей разведки, честь ему и хвала!

Между прочим, Зайцев заметил, что в Дании ему уже надоело, и если дела пойдут нормально, то вполне вероятно мое восхождение на трон резидента – и коридор, и Зайцев пошли кругами: в тридцать два года стать резидентом! таких прыгунов в высоту среди коллег было немного...

Счастье свершилось, вскоре началось оформление, меня сводили к шефу разведки Александру Михайловичу Сахаровскому, которого все боялись как огня. Сахаровский был высок, крут и умел защитить разведку. Помнится, на совещании Андропов разнес его за то, что ему заранее не сообщили о визите Чаушеску в Вашингтон, однако генерал не утерся, как многие, а, признав вину, отметил, что решение было принято за день до визита и так быстро добыть информацию разведке почти невозможно. Не всякий парировал бы упрек председателя.

Сахаровский дочитал бумаги, принесенные начальником отдела кадров, и поднял водянистые глаза. Присесть он мне не предлагал и вообще головы не поднял, когда я вошел. Все это было в порядке вещей: вежливость в те годы была редкостью, и только единственный большой начальник, замнач разведки Иван Иванович Агаянц, всегда выходил из-за стола, пожимал руку, и, окончательно умиляя, просил присесть.

– За что вас выслали?

Я быстро объяснил, добавив, что Айвор Винсент недавно, как сообщила газета «Таймс», получил орден. Сахаровский как-то странно улыбнулся (улыбки на его лице я никогда не видел) и подписал документ. Потом мне шеф кадров, пояснил, что Сахаровский подумал, что Винсент получил орден за мою вербовку, но отмел эту мысль и улыбнулся.

Катя восприняла командировку драматически, снова предстоял разрыв с театром, где только все наладилось, она играла первые роли в спектаклях по Аную и по Горькому. К тому же, после Лондона Копенгаген выглядел глухой деревней.

Однажды мы несколько часов бродили по нему на морском пути из Лондона в Ленинград, царственной поступью сошли с корабля на Лангелиние, погрузили сына в коляску и начали осмотр достопримечательностей по карте, которую я тут же развернул, как верный ученик Ливингстона и

капитана Кука. Мы обозрели королевский дворец с гвардейцами, постоянно вспоминая о Букингемском дворце, будто каждый день гоняли там чай с королевой, пробежались по Глиптотеке, вздыхая по Тейт и Национальной Галерее, мельком взглянули на гнездо разврата Нью-Хавн, который и в подметки не годился истинно развратному лондонскому Сохо, утыканному кабаками, унизанному как бриллиантами сногшибательными шлюхами, не зазывавшими грубо, как в Нью-Хавне, а деликатно позванивавшими ключами у подъездов. Прошли спокойно мимо здания оперы (оказывается, у этих датчан есть и опера? Конечно, не Ковент-Гарден...). Потом покатали коляску по пешеходному Строгету, с иронией поглядывая на витрины: м-да, куда этим варягам до нашего изысканного магазина «Баркер», до помпезных «Хэрродс» и «Дерри энд Томс», до гордости всех мужчин мира «Остин Рид»! На Ратушной площади, взглянув на карту, я с удивлением обнаружил, что главные достопримечательности уже покрыты, и маршрут фактически завершен – это казалось невероятным, миниатюрные масштабы вызвали умиление, по времени вся экскурсия заняла не больше, чем променада по Гайд-парку.

Впрочем, когда в 1967 году мы прибыли в Копенгаген на постоянное поселение, то неожиданно для себя раскрыли иные прелести, таившиеся в области вечной природы и капризного комфорта. Двухэтажное строение с садиком на Маглегордс-алле, недалеко от луга, озера и болота с дикими утками, в десяти минутах езды то суровое, то сияющее море. Вместо скромной машины – темно-зеленый шикарный «опель-рекорд», и вообще заместитель резидента, он же первый секретарь, - не мелкая сошка в посольстве, тем более что Зайцев сразу же представил меня послу Ивану Ивановичу Ильичеву (когда-то шефу ГРУ) как своего престолонаследника и оставил вместо себя при первом же выезде в отпуск.

Моей опорой в резидентуре оказался Анатолий Лобанов, друг по институтской скамье, тоже ушедший из МИДа в КГБ, он прекрасно освоил датский и тащил на себе весь воз внутренней аналитики, хотя Москва не шибко интересовалась страной, не желала вникать в почти невидимые нюансы в позициях партий, но требовала борьбы с НАТО и США. Правда, иногда сведения о левом политическом фланге котировались в

международном отделе ЦК, не спускавшем глаз с рабочего движения, и мечтавшем воссоединить его под эгидой коммунистов.

Лобанов был необычайно смелым разведчиком и аналитиком, его потом выслали из Дании из-за неудачной попытки вербовки. Дальше все пошло неудачно: его медленно сгубил проклятый зеленый змий.

Прибыл и ленинградский кадр Леонид Макаров, прекрасно работавший как информатор. Затем он стал резидентом в Осло, а дальше – шефом разведки КГБ Украины (!), а потом главой службы активных мероприятий в Москве. Двигался он так, благодаря усилиям отвести его от руководства нашим отделом, для этого требовалось большое искусство.

Совсем юный Олег Гордиевский, тогда еще только вызревавший в английского супершпиона, подчинялся лично Зайцеву по линии нелегальной разведки, встречал и провожал таинственных дядюшек и тетушек, сапожников, часовщиков, бизнесменов, контактил со священниками, необходимыми для оформления подложных документов, рыскал по городу в поисках тайников, а по нашей линии политической разведки возился то ли с жидким радикалом, то ли с таким же жидким клерикалом – в любом случае потом он сдал его англичанам, если было что сдавать. Как и нелегалов, которых он знал. Гордиевский импонировал мне не только общей альма матер (тогда в разведку из МГИМО народу приходило мало), но и прекрасным знанием истории и особенно запретного опиума – религии, он любил Баха и Гайдна, (измученный занятиями фортепиано в детстве, я так и не смог раствориться в симфонической музыке), это внушало уважение, особенно на фоне жизни совколонии, завязшей в рыбалках, распродажах и тусклом накопительстве.

В Копенгагене я увлекся декламированием Мандельштама, Волошина, раннего Тихонова, Багрицкого и сам погрузился в поэзию, рождая и середнячков, и уродцев. Читал главным образом жене и иногда гостям, все страдали, изображая наслаждение. Однажды триумфально въехал в Копенгаген сам Евтушенко (старый знакомец), и, когда после обильного ужина, отмеченного запахами шотландских лугов и прелестью куропаток, что предполагало сморщенные в улыбку комплименты, я в задыхающемся

ритме зачитал ему целый цикл, мэтр заметил, что по душе ему пришлось лишь одно. Правда, этот ледяной душ меня не охладил.

Датская резидентура в ту пору набирала очки по главному противнику, причем успеха добивались не нахватанные эрудиты, вечные пятерочники и поклонники Киркегора в оригинале, а хитрованы, не особо смыслившие в гранд-политике, но зато не отпугивающие своей энциклопедичностью, слабенькие на вид, но поразительно умевшие невидимым змеем влезть в простоватые души американцев. Население резидентуры так и разделялось: на умников-информационников, не блещущих оперативной хваткой, и на презиравших газеты акул, охотившихся на просторах океана, и весьма успешно. Самым выдающимся был Николай Коротких, особого склада разведчик, добившийся больших успехов.

Работа по главным американским объектам сопровождалась не только огромными физическими и моральными затратами, но и горячей обидой: рано или поздно предметы нашей оперативной любви покидали Данию и возвращались в родные пенаты. Мы же в резидентуре оставались в одежде голого короля, и снова начинали бурить скважины под презрительные окрики Центра, всегда страдавшего короткой памятью, но зато цепкого на конъюнктуру. Американцев мы обхаживали и с помощью, и дипкорпуса (прямые контакты слишком часто давали сбои, в дело вмешивалась контрразведка, и тут уже было не до игр). Планы создать группу беззаветно преданных делу вербовщиков-датчан, которые постоянно держали бы в зубах янки, так и остались на бумаге, а вот дипкорпус, разнежившийся от безделья в скандинавском Париже (впрочем, так называют и Стокгольм, и Осло, каждому почему-то очень хочется быть Парижем), мы немного потрепали.

Любой разведчик работает с прикрытия и обрастает знакомствами, но только небольшую часть он прячет в кусты от сыщиков-разбойников, остальным же трезвонит по телефону с работы, ставя на уши службу подслушивания, зазывает в посольство или домой отведать узорной деревянной ложкой зернистую икру и попить прямо из бочки кородряги, да и сам не брезгует заскочить в гости с матрешкой и горючим приложением. У каждого разведчика свой стиль, каждый сходит с ума или умирает в

одинокую по-своему, я, например, всегда стремился обрасти знакомствами, как мхом, в этой паутине (иногда хотелось выглядеть злым мохнатым пауком, пожиравшим бедных мушек, особенно после просмотра шибко страшных западных фильмов о КГБ) скрывались и истинные объекты моего вожделения, которые постепенно я пытался увести из-под вражеского телескопа, и совершенно пустые, никчемные знакомцы. Я старался загрузить контрразведку (и вам того желаю!), дать ей пищу для работы, дабы ребята не злились из-за моей таинственности и конспиративности. Я болтал по телефону, давая волю фантазии, и представлял: вот крутится пленка со всей этой чушью, вот ее прослушивает носатая девица в наушниках, хохочет над моими остротами (для нее их и пускал), перепечатывает все или фрагменты или делает реферат, сохранив самое существенное, потом бумага попадает к контрразведчику, ведущему мое досье, тот докладывает ее выше. Конечно, в этой игре нужно соблюдать и правила, и границы – ведь на том конце прекрасно понимают, что ты понимаешь, что тебя понимают, могут и обозлиться... В то время резидентура расширяла связи среди парламентариев, журналистов, политиков, сотрудников МИДа Дании, встречались совершенно официально, и этот факт не стоил бы упоминания, если бы через десять лет, благодаря бюрократическим выкрутасам руководства, многие из этих персонажей не получили бы клички и не преобразились в агентов или «связи влияния».

Безумный строй, не осознавая еще, что переживает смертельную агонию, силился доказать себе свою мощь и путал сам себе карты, выполняя и перевыполняя и по тракторам, и по молоку, и по агентам. Я не утверждаю, что невозможно завербовать иностранного лидера или редактора газеты, я всего лишь хочу сказать, что границы любого политического сотрудничества настолько размыты и неуловимы, что слишком часто можно интерпретировать его по желанию, особенно если в тайных архивах разведки президент США именуется «Дятлом», а лидер социалистической партии Франции «Матильдой».⁴⁹ Был ли Талейран,

⁴⁹ Кстати, мой взгляд субъективен: и американская, и английская разведка часто даже чисто официальные контакты считают агентами влияния, а посему беги иностранных посольств,

проходивший в секретной переписке царя, как Анна Ивановна, действительно агентом? Примеров политических альянсов пруд пруди: Курбский и король Сигизмунд, Мазепа и Карл XII, Ленин и кайзер, Савинков и Антанта, Рузвельт и Сталин (через Гопкинса), Кекконен и Брежнев, ну и, конечно же, Горбачев – Яковлев – Рейган – Ельцин – Буш и целый сонм западных лидеров.

Везде налицо политическое сотрудничество, и каждый добивался своих целей, разведка в этих хитросплетениях могла и подремать за кулисами, могла появиться на миг, а порою и глубоко завязнуть, выполняя волю правительства, от участия разведки ни Ленин, ни Савинков, ни Яковлев не превращаются, как по мановению волшебной палочки, в агентов влияния. Впрочем, «ему казалось – на трубе увидел он слона. Он посмотрел – то был чепец, что вышла жена. И он сказал: «Я в первый раз узнал, что жизнь сложна», – Льюис Кэрролл явно работал на КГБ.

Нашим усилиям активно препятствовала датская контрразведка, чьи пастухи не оставляли шпионское стадо без внимания: машины наружки ходили довольно часто, открыто переговаривались в эфире, контрразведка не брезговала и провокациями: однажды в посольство завалился «англичанин», суливший горы секретных документов, такие посетители не редкость (особенно опасны шизы, сулящие гиперболоиды инженера Гарина, которые разрежут все американские базы на части, – хорошо бы!), ему, естественно, не поверили, но на всякий случай сам зам по контрразведке в лице Анатолия Серегина вышел все же на встречу. Он тут же узрел на улице, кроме «англичанина» с толстой папкой под мышкой, целую кучу нацелившихся сыщиков, «англичанин» пытался всучить ему «документы», но безуспешно: «англичанин» гнался за ним, как борзая за зайцем, но не догнал. Серегину вообще везло на веселые случаи: однажды к нему обратились сотрудники датских спецслужб, обещавшие выдать самые страшные тайны НАТО и попросившие немедленного укрытия в СССР: лихорадка в резидентуре, мысленное сверление дырочек в лацканах пиджаков, шифровки на самый верх. Андропова привлекла идея

осторожнее пей виски и фотографируйся, коли уж попал во вражеское гнездо, а уж жениться на иностранках противопоказано даже в наши жутко либеральные времена.

политических разоблачений коварного Запада, спасителей социализма в срочном порядке погрузили на наше торговое судно, но, поскольку оно не собиралось в ближайшее время швартоваться, сняли героев в середине Балтийского моря прямо на вертолетах (!) и через Ленинград доставили в изнывавшую от нетерпения Москву (Андропов не мог заснуть, все беспокоился об успехе операции, представляю его в пижаме). Однако первые же беседы показали, что у героев дня заметно сдвинуты мозги (Серегин в суете счастья этого не заметил), и двух психопатов, не нюхавших ни спецслужбы, ни НАТО, оставалось только быстрее перебросить через спасительный Восточный Берлин обратно в страну принцессы на горошине.

В безоблачной Дании, где вполне достаточно на всякий случай держать одного-двух офицеров разведки, в 1967 году нас было порядка десяти-двенадцати человек. К моменту моего воцарения в 1976 году резидентура увеличилась вдвое, я сам стремился расширить штаты: видимо, у любого начальника сидят в крови бациллы укрепления власти с помощью кадров, которые решают все.

«Пражская весна» принесла новые иллюзии (с уходом Хрущева гайки хоть и подкрутили, но не забывали еще о XX съезде, в воздухе пахло скорее неопределенностью, чем жестким курсом), на портретах я всматривался в кирпично-неподвижные физиономии Подгорного и Шелеста, в красивого, даже величественного Брежнева, в пронизательные глаза Андропова и бесстрашный лоб Косыгина, и казалось (все мы склонны принимать желаемое за действительное), что эти люди понимали: коммунизм можно спасти, лишь придав ему человеческое лицо, поддержав и Дубчека, и Смрковского – о, после этого мы все распрявим спины, мы будем гордиться нашей свободной страной и свободной партией!⁵⁰ В КГБ был создан штаб, нацелившийся на Чехословакию, нам тоже вменялось в обязанность собирать информацию, тем более что отношения с чехословацким посольством, где всегда к услугам были целебное пльзенское пиво и шпекачки с мягкой горчицей, отличались обычной теплотой товарищей по оружию. Я – о, святая простота! – верил, что мы поддержим Дубчека, иное

⁵⁰ Очередная иллюзия в стиле Горбачева – ничто не могло уже спасти систему, кроме яростного закручивания гаек.

казалось невозможным, совершенно невероятным, в узком кругу открыто спорили (кое-кто, правда, помалкивал или нейтрально улыбался), куда заведет пражская весна, образцовый сталинист Серегин спорил со мной и Гордиевским, что в Прагу войдут наши танки, на кон выставлялась нешуточная драгоценность: целый ящик «туборга».

Зайцев тем временем энергично вводил меня в резидентские дела, рассчитывая уже к концу шестьдесят восьмого вернуться в Москву. Котировался я хорошо, а тут еще в инспекционную командировку прибыл новый начальник нашего отдела Николай Стацкевич, легкий и веселый человек (особенно порадовавший тем, что поздно ночью в коридоре своего отеля переставил все стоявшие у дверей туфли), который проникся и ко мне, и к Кате, и к нашему дому, да и посол наш Иван Ильичев, бывший шеф ГРУ и глава советской военной администрации в Вене, человек суровый и сдержанный, неожиданно дал мне лестную характеристику. Так и порешили: в августе 1968 года я отправляюсь в отпуск, прохожу по инстанциям – процедура движения была мучительной и громоздкой, утопавшей в бумагах. Затем возвращаюсь в Копенгаген, там мирно работаю на благо родины, ожидая, пока прокрутится вся карусель с назначением, а затем официально вступаю в калоши счастья резидента⁵¹.

Летом я отправил Катю с Сашей в Союз к родственникам, а сам окунулся в мечты, тем более, что слухи о моем скором восхождении уже распространились. Все больше вокруг оказывалось ласковых и улыбчивых лиц, руководители торгпредства и других учреждений приходили за мудрыми советами, я уже прикидывал, какого цвета «мерседес» будет мне к лицу, решил не вселяться в ветхий зайцевский особнячок недалеко от моря, а снять что-нибудь поприличнее, чуть поменьше, пожалуй, чем замок принца Гамлета в Эльсиноре, но не хуже, чем у американского резидента. Мечталось превратить этот дом в центр политической жизни, где банкеты, на которых циркулируют министры, послы и лидеры партий, а хрупкие

⁵¹ Из «Руководства для агентов Чрезвычайных Комиссий»: «На галошах не следует иметь своих истинных инициалов. Это часто дает предателям нить для разыскания лиц, фамилии которых им известны».

юные дамы в белых фартуках разносят тончайшие вина, музыкальные вечера с танцами и просмотры сенсационных фильмов.

Ходил я, чуть-чуть надувшись, твердой походкой молодого генерала (уже репетировал роль), привыкшего, что встречные уступают дорогу, а подчиненные, если снизойти до визита в их кабинет, вскакивают, как ошпаренные, и смотрят в рождающий Истину рот. По случаю надвигавшегося величия нужно было и сменить декорации: я двинулся в английский магазин Остин Рид, что тогда стоял на Строгете, и, не пожалев бешеных денег, приобрел темно-серый костюм в светлую полоску, смотрелся я в нем как сэр Энтони Идеи до Суэцкого кризиса. Недаром на утреннем обзоре прессы в кабинете посла все дипломаты, окаменев, уперли в меня взоры, а второй секретарь, ответственный за связь с компартией, читая ясный, как «Правда», орган коммунистов «Ланд оф фольк», краем глаза изучал мой пиджак⁵². Уезжал я на коронацию в Москву в умиленно-праздничном настроении, уже как отец совколонии, как наследный принц, которому осталось лишь пройти мелкие формальности.

На перроне меня встретили почему-то хмуроватые отец и Толя Лобанов, находившийся в отпуске, объемный нос моего старого друга выглядел особенно понуро, он отвел меня в сторону, наводя ужас своим траурным видом, и молвил: «Я тебя должен огорчить, Катя подала на развод». Если бы меня арестовали тут на платформе как шпиона всех разведок (что никогда не поздно в нашей изменчивой, как запах розы, стране), я и то изумился бы меньше.

Все рушилось, сценарий голубого будущего расползся в пух и прах, разведенных за кордоном не держат (и правильно), ничего не оставалось, как тут же всем вместе прямо с вокзала поехать в ресторан, где и упиться в дым. «В одной стороне – дорога, в другой стороне – дорога, до дома осталось недолго, но только не знаешь – куда», – это развенчанный принц.

Мои попытки уговорить Катю изменить роковое решение результатов

⁵² Боже, в кого я превратился! Тот ли это человек, который в детстве, плача у картины Репина, писал: «Толпа бурлаков устало бредет, тяжелая баржа за ними плывет, два богатея на берегу стоят и на измученных молча глядят».

не дали: она настроилась на новую семью и на театр, о, театр! в конце концов, он и изничтожил ее...

Через несколько дней сверкнула очередная молния: наши войска вошли в Прагу. Этого я понять не мог, я выплескивал свой гнев близким, я ненавидел и Систему, и себя в ней, я тут же принял решение: хватит! Конечно, с протестами на Красную площадь я не пойду, зачем зазря подставляя себя и коротать жизнь в психушке? но в отставку подам и начну новую, честную жизнь. Далее уже включился в дело пресловутый здравый смысл, всегда дрожащий, как хвостик – о хвост! – зайца: дадут ли пенсию? Вряд ли, выслуги нет. Ну а чем заняться? Славная организация помогать не станет, будет лишь мстить... Правда, есть великая и могучая русская литература, разве не ждала она меня, родная, в свое бархатное лоно? Виделись симпатичные и душевные писатели, всегда готовые протянуть руку помощи ближнему и не влезавшие в такое дерьмо, как политика. Конечно, в заглавнике у меня было негусто, но кому-то нравилось, хотя... – тут же здравый смысл подсказал оттянуть отставку, а тем временем освоить литературное братство и напечатать хотя бы рассказ или несколько стихов. Да и вообще: что изменил бы мой протест?⁵³ Отпуск пробежал быстро, на службе, вместо грома и молнии из-за развода, я встретил сочувствие и решимость отправить меня обратно на несколько месяцев, дабы дожать до конца горлышко малютки Дании, спокойно передать вожжи своему преемнику и достойно возвратиться в родные палестины.

В Копенгагене я ринулся в атаку, как зэк, зачисленный в штрафной батальон, полный жажды показать, что во мне не ошиблись (и не ошиблись!), голова быстро перестроилась, приспособилась к послеавгустовской канители, иногда сердце сентиментально вздыхало: «Нет, неужели мы не смеем переменить судьбу свою? И я лирической

⁵³ -Я человек маленький, - повторил он. - И все время думаю о филине.

- Сам ты филин! — сказал Король.

капелью в эфире сонном прозвеню?» – впрочем, дальше этого дело не пошло.

В советской колонии быстро пронюхали, что графа Монте-Кристо из меня не вышло, на это указывал и постепенный демонтаж моего счастья: переезд из представительского особняка в скромную квартирку, приостановка планов покупки «мерседеса». Да и в партбюро меня не включили, и не кричали на собраниях «Предлагаю в президиум первого секретаря посольства ...!». И на домашние банкеты, куда обычно зазывали нужных людей, и на ключевые дни рождения все реже стали приглашать, и уже не звали на спуск судна с верфи, где первая дама посольства игривой ручкой разбивала о борт бутылку шампанского, – так бесславно я прожил в Копенгагене почти год.

По приезде в Москву встречен опять же по-братски: не переброшен на укрепление резидентуры в Гвинее, не заткнут в мышинные норы знаменитого шпионского вуза, не превращен в кадровика (почти все злобные неудачники) и не отправлен в управление КГБ города Нежина для разведения специальных огурцов, незаменимых в операциях против главного противника. Наоборот – не чудо ли это? – поставлен на руководство датским направлением и даже избран (конечно, по решению начальства) партайгеноссе отдела, опять доверие, черт побери, опять соблазны дьявола, рассыпавшего перед глазами фальшивые бриллианты...

А как же насчет того огня, который жжет и не отпускает? Как насчет Кестлера, Замятина и Солженицына, кумиров, тайно привезенных в дипломатическом багаже? Разве они не содрали гнилые одежды и не открыли правду? Содрали, конечно, но жизнь прекрасна и удивительна, да и дел у партайгеноссе предостаточно: и в партком ПГУ надо сходить, пожать руку кому надо, сообщить нечто кашеобразное об обстановке в партийной организации, осмыслить речи коммунистов на собрании и их свежие предложения, освоить тематику для политучебы, а тут еще совещание всех секретарей КГБ в клубе имени Дзержинского, стройный доклад с патриотической слезой самого Андропова.

А наемдни пришлось отмечать день рождения сына секретаря президиума Верховного Совета Георгадзе, зачисленного почему-то в наш

отдел перед выездом за кордон, пригласили и меня вместе с начальником, и даже сам папа пожаловал на полчаса (до его приезда мы чинно стояли вокруг ломившегося от яств стола, грустно смотря на розового поросенка⁵⁴, раскинувшегося, как аристократ, на блюде). Но, наконец, приехал! приехал! всё чинно и благородно, я лично чокнулся с папой, сказавшим прочувствованный и очень правильный тост. А какое божественное вино из бочонка, прямо из Грузии...

Так что партайгеноссе – это вам не хряч свинячий, а фигура! Жаль, что из-за этого дурацкого развода пропала транспортабельность, потерялись голубые горизонты, но мужайся, товарищ партийный секретарь, есть много девушек хороших, есть много ласковых имен... Плыви, друг, доплывешь куда-нибудь и все будет о.к.

⁵⁴ «Если бы он немного подрос, — подумала Алиса, — из него бы вышел весьма неприятный ребенок. А как поросенок он очень мил!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

**ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ БЛУЖДАНИЙ ПО ЗЕМЛЕ, БУДЬ ТО
ВЕНЕЦИАНСКИЕ КАНАЛЫ ИЛИ КАНКУНСКИЕ МОЛЛЫ ИЛИ КЕМПИНГИ
РОДИНЫ ЧУДЕСНОЙ, ТОГДА ТАМ БЫЛО БОЛЬШЕ ЛУЖ И ВОЗДУХА, И ВСЕ
СКРАШИВАЛИ КАРТОШКА В МУНДИРАХ, САЛО И КОРОДРЯГА**

**Всякое перемещение по плоскости, не
продиктованное физической необходимостью,
есть пространственная форма
самоутверждения, будь то строительство
империи или туризм.**

Иосиф Бродский

11 июля 1970 года.

Печально было его лицо, провожавшее еще один ускользнувший штраф, милицейский взор вывел путешественников за окружную дорогу и оставил в покое. Девушка еще не стряхнула с себя сонную вялость, иногда прикрывала свои карие глазки, потягивалась, ерошила волосы, почесывала лодыжки, рассматривала себя в зеркальце, хватала карандаш и рисовала брови, зевала, равнодушно поглядывала в окошко на коробки Химок и обгонявшие автомобили. Мелькнули кресты заградительных «ежей», у которых фотографировалась пара помятых новобрачных, гулявших с воскресенья и спьяну решивших, не ложась, запечатлеть себя на заре. Играл на гармонии качавшийся призрак в рубахе, вылезшей из штанов, улыбавшаяся Баба-Яга плясала с платочком в толстой руке, а старушки в шальях вздыхали, вспоминая юность.

Россия-мать.

Названия наших городов и весей таинственны и обаятельны, как солнце, они заставляют срочно тормозить и хвататься за перо.

Проезжаем Спас-Заулок, бесподобный городок. Я хочу писать заумный, длинно-вычурный стишок. Но мешает, пассажирка – ножки больно хороши. Привораживают шибко, – хоть на них стихи пиши!⁵⁵

Мы существуем или нет? – вот в чем вопрос. Или вокруг мираж, который колеблется в зависимости от состояния души. Если влюблен, то симпатичны грозный ливень и грязь, летящие из-под колес охреневшего самосвала, и плевать на то, что сел аккумулятор и нет бензина на колонке, и приходится выпрашивать и неумело отсасывать прямо из бака грузовика, захлебнувшись во время манипуляций со шлангом (сюда бы моих знакомцев из датского правительства!). Мир прекрасен, но скорее бы добраться до кемпинга. Дотянули до приветливого в своей ободранности Валдая (красавец-мужчина в рубище), съехали поближе к озеру, маневрируя меж пней и разбросанного ржавого железа, кемпингов нет, поставили палатку. Подгробла старушка с лукошком грибов и предложила калган – панацею от всех болезней. Особенно хорош для закрепления беременности (я вздрогнул). Кроме того, можно пить с водкой, с чаем, подмешивать в варенье, посыпать салат, использовать в качестве соуса к цыпленку «табака», натирать мозоли, чистить зубы. На озере темнеет поздно, изредка дребезжит мотор лодки, плещет волна. За такие вечера в палатке около озера можно отдать жизнь. Вам, жрущим омаров, этого не понять.

12 июля 1970 года.

Утром рванули в Новгород и быстро долетели до кемпинга, где буйствовала многоязычная орда: отель на колесах с пьяными до чертиков финнами, фургон с английскими школьницами, пара молодых немцев на

⁵⁵ И написал. Опасное дело, между прочим, - финал фатален: законный брак, поездка в очередную командировку и благополучный развод. Но все равно эти годы горят, как красный мак, как песнь ямщика в степи.

«минифольке», горластые американцы с консервами и банками «кока-колы», и на этом гоготавшем фоне замученная стайка советских туристов, забившихся в угол в ожидании распоряжений начальства (русская дисциплина, замешанная на палке и столь далекая от волюнтаристских блужданий индивидуала с Запада), правда, выделялась московская пара, которая тут же надралась и закемарилась в «Волге», повесив на стеклах окошек штаны, пиджак и даже бюстгальтер. Некий отец семейства, обладатель «Запорожца» скрылся в машине, закрыв себя от мира плотными шторами, забросил антенну на высокий тополь, заперся изнутри, оставив нас догадываться о всех загадках его внутрисалонного бытия по отрывочным звукам Би-би-си. Вражеские звуки мучили меня. Хотелось прильнуть толстым ухом к кузову, всунуть глаз в боковое стекло и узреть рожу, блаженствовавшую в антисоветчине. Хотелось настучать, чтобы его, мерзавца, взяли за одно место, хорошенько допросили бы, привязав к стулу, и отправили бы лет на десять туда, где нет Би-би-си (старик, ты явно перебрал, съешь капусты, очнись, не блюй на чужую машину). Гнус не миловал меня, оскорбляя прекрасную леди своим невниманием, а она мирно спала, вкусно-розовая, не внимая ни джазовым звукам, ни жужжанию комаров, ни суетливым покалываниям вылетающих из меня флюидов. Что было делать бледному рыцарю? Проследовать на задний двор и, свершив вечерний обряд на памятниках старины, куда благодаря Александру Невскому не ступила нога тевтонца, возвратиться в деревянную обитель, где и почтить сном праведника, не забыв приложить губы к холодному лбу красавицы-девицы.

14 июля 1970 года.

А красавица-девица, шемаханская царица (спортивно скроенная, с улыбкой до ушей, располагавшей даже завзятых ипохондриков и людоедов), оказалась в машине, пташкой божьей перелетев из града Копенгагена, где из-за редкой в те времена свободы порнографии высок был чрезвычайно градус любви. Глаз выдающегося разведчика эпохи пал на гибкую фигурку Тамары, трудившейся в посольстве, еще не подозревая, что всюду страсти роковые и от судеб защиты нет. Разведенный лев щелкал

зубами, но счастье было так редко, так тревожно... Был дом, а в доме квартира, сыр, кавардак, духота, четыре плаката цветные, четыре глухих окна, иногда зажигалась лампа, сковородка шипела в углу, разномастные фолианты шелестели на грязном полу, во дворе на помойке картова заливался ничейный кот, взрывался скрипучей октавой продырявленный лестничный ход, ты прибежала тайно, кусались ступеньки зло, и ноготком хрустальным стучала в дверное стекло, стучала грустно, как будто осталось нам пять минут, как будто пустое утро и дворники снег скребут, как будто бы дом мгновенно проглотит сырая мгла, как будто твоя измена шуткой дурной была.

Страждущего льва трепетно пасла датская контрразведка, однажды, когда на «опель-рекорде» цвета средиземноморских водорослей он впервые подхватил смутьянку чувств близ отеля «Ройал» (конспирация!) и домчал ее до двухэтажного особняка с садом, а точнее, отсека длинного двухэтажного дома, и когда навстречу вышла соседка по саду с двумя детишками, приветливая, как депутация, встречавшая ревизора... О, эта приветливость! Вдруг зазвонили телефоны, и вскоре дом заблокировали бригады наружного наблюдения (тетка-сука времени не теряла, тут же сигнализировала – а вдруг этот русский преступник зазвал к себе сотрудницу датского МИДа?). Испортили песню, пришлось выйти к машине, взять огонь на себя, потянув за собой «хвост», а девушка тем временем пробралась через сад к калитке и благополучно растворилась во мгле...

А тем временем мы бродили по новгородскому Кремлю, долго рассматривали гигантский колокол с барельефом русских великих, зашли в церковь (Тамара щедро подала нищим и застыла, крестясь у икон), потом ели мясо в горшочках и снова бродили по бесчисленным церквям.

16 июля 1970 года.

Несчастья поджидали нас на каждом углу: отсутствие указателей, пустые продовольственные магазины, заправка бензином лишь по талонам, и самое главное, у въезда в город в нас чуть не врезался грузовик, летевший на всех парах по шоссе. Я машинально вывел машину из-под

удара, еще не осознав угрозы катастрофы, только минут через пять появилось в брюхе ощущение гибельной тошноты. Фантазия вскоре заработала и произвела на свет расколотые черепа, зевак, рассматривавших еще теплые трупы, добрую старушку, сметавшую веником кровь в кювет... Случайны рождение и смерть, но есть утешение, господа, есть сладкое (хоть и слабое) утешение, уважаемые леди и джентльмены, ибо сегодня пламень, завтра снег, зерно, консервный нож, мечта, и никуда не уйдешь из дымного мира распущенных молекул, которые группируются и перегруппировываются, и потому: то раб, то морж, то вдруг поэт, то ярость рыцаря, то на Монпарнас бежишь из старого Чикаго, то гибнешь от турецкой пули, то рисом стал – тебя съедает кули, и ты суперфосфат...

Впрочем, я влюблен, и черные мысли лишь обостряют болезнь. Тамара смотрит на меня с обожанием (особенно когда я читаю вслух Багрицкого – «Мы ржавые листья на ржавых дубах...»), от литературы она далека, и это прекрасно, все поражает в ней: и жизнь в бедной семье без отца, и ненавязчивое православие, и работа с пятнадцати лет в ателье, и какие-то неведомые, никогда не законченные техникумы, и умение в один момент навести блеск в комнатке или палатке, и улыбка до прекрасных ушей, и милостивый Господь послал нам солнце, оно высовывается из-за туч и нещадно палит, вдруг кокетливо исчезает и подмигивает.

Таллинн, гордый и наглый, где колонка со старичком-заправщиком, самолично втыкающим шланг в бак, – не очистили еще эстонцев от западных излишеств! Мы прошли в малютку-кафе, вокруг сидели грузины и узкобедрые дамы (лиц я не разглядел, возможно, их и не было), зато рожи мужчин были мясисты, и цвели от счастья. Эстонцы отсутствовали в присутствии. Наконец вошел один мутный скелет с копной соломенных волос, презрительно оглядел гудящий Кавказ, заказал кофе, уставился в пропасти глазниц спутницы и замер, наслаждаясь. Но что я так груб и беспощаден? Ужель столь прекрасен шпион и дипломат, возвращенный на народных хлебах? Почему не уходишь в отставку, герой, почему не займешься делом? Вздыхай, вздыхай, что волею небес рожден в оковах службы царской, что в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, а на родине всего лишь жандарм. Вечером ударил по нам эстонский протокол, ударил

прямо в кафе кемпинга, изящнейшем сооружении в виде народной избы с мебелью, обтянутой шкурами. Мы были беззащитны в своих скромных джинсах под взорами швейцара, который зацокал языком, замотал головой, развел руками и захлопнул перед самым носом дверь. Нет! нет и нет! Еще в плавках явитесь! Аргументы взлетали как зенитные снаряды, язык плел правду о том, как я входил в лондонский Риц-отель в шортах и майке, и кланялись лакеи, и мэтр, как верный пес, летел к ногам с меню в руках. «Слышал об этом, но у нас Эстония», – ответствовал грозный страж.

Тут оказалось, что мы не ели три дня и у меня язва желудка, обреченная открыться, если не будет ужина. «Как человек, я вас понимаю, но как швейцар, – нет», – возразила красномордая бестия, делая попытки вновь захлопнуть дверь. «Вы хотите, чтобы я уехал отсюда ненавистником эстонцев, товарищ администратор?» – запел я, прикидывая, что пора поднять его до «сэра». Он дрогнул: «Вы, наверное, адвокат?» «Нет, я журналист-международник», – соврал я, как обычно, честно. Он не расслышал: «Народник?» – это почему-то его сломило (подводник? угодник? пособник? зеленых братьев?), дверь скрипнула, и мы очутились в холле. Я не знал, как его отблагодарить, – на какой же риск он пошел! «Если публика возмутится, скажите, что мы иностранцы, – зашептал я, вспотев от радости. – я говорю по-английски и по-французски». – «У нас пограничная зона», – испугался он и взял свой честно отработанный рубль.

17 июля 1970 года.

У Таллинна море лежало под обрывом. В мокрой траве блестели бусинки черники, высоко на сосне одинокий дятел глухо выстукивал свой подъемный марш и плевался корой. Моя голова высунулась из палатки и бешено закрутила глазами, озирая местность. Море. Кафе. Хотелось жить дальше и поделиться этой радостью с друзьями. «Друзья, – писал я томительно, и слезы подступали к моим глазам. – Отброшенный судьбою за границы отчизны дальней, слагаю я эти строки, обуреваемый тоской и неизъяснимой любовью к вам, брожу я по эстляндским землям в поисках истины, опух я от мошки, гнуса, подлых комаров, свежего воздуха.

Завшивел, не меняю носки, не бреюсь и не моюсь, и уже четвертые сутки ничего не ел, кроме листьев подорожника и земляники. Ночами свинчиваю я подфарники с автомашин и продаю их по дешевке в авторемонтных мастерских. Молю вас, друзья мои, вышлите мне денег, если хотите увидеть в Москве мой бледный лик, когда-то столь любимый вами». Я смочил письмо слюной, немного его помял, поставил большую кляксу в конце, размыл ее слезой и заклеил конверт.

...Поразительно, но после столетнего юбилея даже неудобно писать о Ленине, уж столько понаписали, что не видно каши, одно масло. Но почему, почему в этой палатке захотелось написать о Ленине? Ассоциация с шалашом в Разливе? Вечная благодарность за то, что крестьянин и слесарь папа, попав в чекисты, стал социально значимой фигурой, и я всем обязан Ленину?

Кто-то шевельнулся в кустах, прошелестел газетой и после поцелуя сообщил, что наше правительство сложило полномочия. Сердце запульсировало от этой сенсации, я схватил купленную на почтамте газету, где прочитал об образовании нового правительства. Задыхаясь от волнения, я изучил его неизменный состав. Все-таки великолепная у нас держава, главное, правительства приходят и уходят по законам советской демократии! За это стоило выпить, и мы сварили молодую картошку, очистили домашнюю селедку и провозгласили здравицу в честь столь радостного события. Оказывается, при новом правительстве живется не хуже, чем при старом: «Нет, не из злопыхательства, из тяги к сочинительству пою свое правительство и все его чудачества!»⁵⁶

Виват!

19 июля 1970 года.

⁵⁶- О Мышь! Не знаете ли вы, как выбраться из этой лужи? Мне так надоело здесь плавать, о Мышь!

– Степа, ты штаны надел?

– Нет, а что?

– Надень, а то замерзнешь.

Пауза.

– Степа, ты спишь? — снова раздался женский голос.

– Нет...

– Степа, а ты Валечке ноги целовал?

– Нет!

– А вчера ты говорил, что целовал.

– Перестань, я хочу спать!

– Я тебя выведу на чистую воду! И что ты в этой Вальке нашел? Глаза шkodливые, усы до колен, и воняет от нее рыбой и дерьмом. И как ты мог ноги в волосьях целовать? Небось, противно было?

– Угу, – ответил Степа, ерзяя на деревянной кровати.

– Брошу я тебя, распутника, брошу тебя, шелудивого гада, обезьяну старую! Ты в зеркало на себя посмотри!

– А что? - встрепенулся Степа.

– Морда пьяная, глаз не видно, губа нижняя, жидовская, висит, задница в дверь не пролезает, из носа вечно льет, уши словно навозом забиты, и как ты только слышишь?

– А я и не слушаю, – обиделся Степа. – Слушал бы, давно бы примусом тебя по балде, и уехал бы в Ригу один.

– А ты поезжай, поезжай, – настаивала женщина, – кто с тобой, вонючей развалиной, согласится поехать?

– И согласятся! Многие согласятся! Ничего, что старый, зато при «Волге», с культурным обращением. Вот вчера иду по пляжу, так все оборачиваются, любуются, мужество чувствуют...

– Да потому оборачиваются, что в зоопарке такое чучело не встретишь.

Долгая тишина, ровно тикали часы, половицы заскрипели, сонно прозвучали поцелуи.

– И за что я только тебя люблю, пьяницу окаянного? – прошептала женщина за стенкой.

Моя Россия.

Так закончился день. А новый начался с обычного завтрака на траве, и не просто завтрака, а приготовленного на купленной в Таллинне газовой плитке с баллонами, преобразившей нашу жизнь, как открытие огня человечеством. Отныне мы стали свободными от столовок, буфетов, от всего на свете. Прощайте, кемпинги, ужины в прибрежных ресторанах при свечах, покойное чтение на диване с кубинской сигарой в зубах! Впереди жизнь туриста-фаната, комары, дождь, пробивающий палатку насквозь, сидение в колючих кустах по нужде, пеньки, превращенные в столики и стулики, вечный страх, что вдруг всунется чья-то пьяная харя и скажет: «Извините, ребята, что помешал, водки у вас нет?» Палатка и еще раз палатка, и гонять и гонять в поисках газовых баллонов, терять колышки, натягивая и снимая брезент, путаться в спальных мешках, громыхать раскладушками, привязанными к багажнику на крыше. Прощайте, живописные кафешки, отныне мы набиваем сумки-холодильники, мы упиваемся свободой, мы ночуем в глухих лесах. И все это из-за портативной газовой плитки...

Прав был Маркс: «Чем меньше вы имеете, тем больше вы существуете».

23 июля 1970 года.

Остановка у райского озера с крохотными домиками на берегу. Мест нет, и маленькая хозяйка кемпинга зла, как цепная собака. Придется дать, подумал я вяло, опыт велик, давал стерлинги и в уборной, и в боковой карман конвертик совал вроде бы в шутку, и слюнявил пальцами, отсчитывая, а агент ворчал, что мало, и целые мешки со златом на тайные встречи привозил. (Ночь. Мельница. Фонарь. Аптека. Лес густой. Авто с потушенными фарами, и я за рулем. На лесной дороге мигала огнями

машина датского генсека, она тормозила, и почти на ходу я бросал в салон бабло...). И дарил по мелочи «сувениры», и в тайники совал, боясь, что оттуда выпрыгнет тигр. Взятка и подкуп – орудие разведки, еще в XII веке до нашей эры лазутчики Иисуса Навина охмурили иерихонскую шлюшку, указавшую, где лучше прорыть подкоп под городскую крепость. А сколько прелести в технике передачи денег! Из рукава в рукав, при повороте за угол улицы, в броске смятой пачки сигарет за поросшую паутиной батарею в подъезде, через перегородку клозета, когда орлом суешь под дверь, прямым попаданием в задний карман бриджей, когда монеты звенят, как хвосты золотых рыбок, играющих в пучине... Так что асу разведки опыта не занимать, и я развязно подошел к администраторше, у которой при ближайшем рассмотрении оказалась добрая, коровья физиономия.

– Мест нет, – мрачно сказала она. Я растянул улыбку номер пять (для иностранных шифровальщиц).

– Не может быть! Что вы таким плохим карандашом пишете? – и положил перед ней «бик», раритет, мечту заветную любого провинциала.

– Мест нет! – не дрогнула она.

– Я отблагодарю! – улыбка номер шесть (для иностранных премьер-министров).

– Я же сказала: мест нет! – железо в голосе, и никаких гвоздей.

Я вдруг смутился и засуетился, как торговка на толкучке, увидевшая милицию.

– Пять рублей дам, – зашептал я и дотронулся ласково до ее руки. (Где ты, хладнокровный Джеймс Бонд?)

– Давай хоть двадцать! – она отдернула руку, почувствовав накал чувств. – Мест нет!

Дали по морде, утереться не успел, вернулся побитым псом к прекрасной спутнице. Тамара пожалала плечами, улыбнулась и пошла в администраторскую. Через полчаса вернулась с ключами от домика.

– Сколько? – обалдело спросил я.

- Ничего.
- Как же тебе удалось?
- Чудак, главное – это нормальные человеческие отношения.

М-да, учиться, учиться и учиться! – прав был Ильич.

25 июля 1970 года.

За рулем я стараюсь не думать. Прекрасная привычка, возвращенная в оазисах служебных кабинетов, не только избавляет от ненужных терзаний совести, но и позволяет сосредоточиться на всех извилинах дорожного грунта. Так мы пролетели Плявинес, ворвались в Даугавпилс и свернули в Зарасай. Мы в грязи позарастали, обрастаем в Зарасае, промчались через Цесис, – в городишке Цесис живет Соня Песис. А потом через Огре, – в городе Огре весело, как в морге, потом через Ливаны, – в городе Ливаны гадят на диваны. Грандиозно! Просто солнце русской поэзии! Без приключений выехали на проселочную дорогу в поисках озера Свентес, веселый тракторист объяснял путь с упором на местный магазин: «Водка там есть, а на хлеб я не смотрю».

Если Валдай – жизнелюбивая рубенсовская гетера с взлохмаченными волосами, то Свентес – голубоокая красавица Васнецова. Воды его кристальны, и на несколько метров видно белое песчаное дно. Вечером, перед заходом солнца, озеро накрыла молочная дымка, и стало еще теплее.

26 июля 1970 года.

Возвращение на Родину зачастую приятно: когда вдали ты долго жил и от нее отвык, то даже скорбный ряд могил – как розовый цветник, послушный морж – московский клерк и помпадур-балбес – все мило, сладко, как эклер в «Патиссери франсез»⁵⁷. Мы простились с Латвией вскоре после Краславы, живописного городка на берегах Двины, и направились в Полоцк. В местном магазине, подхлестываемый актуальным бухаринским лозунгом

⁵⁷ Всего лишь кондитерская, а не филиал театра «Комеди Франсез».

«Обогащайтесь!», я приобрел уникальный гарнитур из стола и четырех складных стульев. Россию, родину мою, я почувствовал в Полоцке у пивного ларька. Неукротимым танком надвинулся на меня мужик, недружелюбно дыша самогоном, сунул в физиономию нечто напоминавшее стрелу с ядовитым наконечником, которые, как известно, восточные славяне настолько успешно применяли против своих врагов, что быстро оказались под властью Речи Посполитой. «Купи гвоздь!» – прорычал он и, шутя, нацелился мне гвоздем в глаз. В первый момент, избалованный прибалтийской учтивостью, я сразу не нашелся что ответить, но, к счастью, вспомнил картину немецкого сюрреалиста Кубина, где доктор забивает гвоздь в голову сумасшедшего пациента: «Что мне, в голову вбивать, что ли?». Это заставило мужика глубоко задуматься, и он отвязался.

В ресторане висело объявление, запрещающее полочанам являться в пижамах и майках, у храма висела тяжеловесная надпись: «Пешеходное хождение запрещено!», у выезда из города на дороге мирно писали дети. Захотелось эклер в «Патиссери франсез».

28 июля 1970 года.

И грянул последний ужин вблизи Смоленска, когда впереди реки Можайского молока и огни растленной столицы, – палатка уже приелась, в голову лезли ванны с пенистым болгарским «бадузаном», презираемая когда-то широкая тахта, устланная крахмальными простынями, и нормальный газовый огонь, не вытекавший из баллона через микроскопическую дырочку, которую постоянно забивали природные стихии. Прекрасная дама сделала из палатки храм чистоты, вымыла все и вытерла, превратила в Георгиевский зал, и трапеза была обильна и вкусна, и сладки речи и предвкушенья столичных чудес. Я люблю комфорт, но, увы, где-то в глубине души таится червь, враг чистоты и порядка. Мы не моемся годами, обросли насквозь лишаем и кровавыми зубами ногти яростно сгрызаем! Как же еще объяснить, что в одно мгновение, где бы я ни появлялся, образцовый порядок превращается в хаос, белая скатерть покрывается жирными пятнами, у ног лежат крошки и рыбные скелеты, все

вещи меняют свои вековые места, все теряется, скрывается, опоганивается, деформируется, и нет нирваны, и уже не штиль, а шторм...

Первая рюмка прошла легко, как поцелуй в щечку, но вскоре улыбка моей Тамары потухла, глаза заблуждали по палатке, на личике появились скорбные складки и не в силах сдержать своей горькой печали, она зарыдала (слезы скатывались на резиновый пол, иначе бы они прошли сквозь земной шар и захлестнули Ниагару).

– Ты грязнуля! – прогремело сквозь слезы, сверкнула молния, от грома с дерева свалился медведь, в голову полетел граненый стакан и врезался в бледный лоб, набив синюю шишку.

Такого рукоприкладства я ранее от дам никогда не испытывал, разве что однажды одна соблазнительная актриса в ресторане Дома кино разбила бокал о мою голову (мы были влюблены и поспорили, сможет ли она это сделать). Кровь взбудоражила всех пьянчуг вокруг, вдали сидела Виктория Федорова, и это делало эпизод историческим⁵⁸. Возвращение в Москву напоминало жизнь: машину вдруг затрясло, постепенно стали отвинчиваться разные детали. Особенно запомнилась некая «бобина», повисшая грустно на проводах, затем вышла из строя коробка передач, и я ехал только на третьей, дрожа перед светофорами. Только бы не красный! В пути нам помогали советами приبلудные пьяницы, о причинах вибрации горячо спорили (лопнул картер сцепления), к гаражу подтянули на тресе.

Через несколько дней мы подали документы в загс, и прожили счастливо десять лет.

Да будут ангелы летать над нашим домом.

⁵⁸ Спустя много лет моя физиономия приобрела привлекательность мишени, ибо уже после отставки бит я женами был по крайней мере дважды: первая – Катя вдруг взяла меня за щеку и продырявила ее ногтями, а нынешняя – Таня, вроде бы самая кроткая, после выхода из ресторана, когда по лондонской привычке я зашел во двор облегчиться, вдруг толкнула меня в помойку, куда я и рухнул, испортив французскую дубленку, – страдала потом, ведь дубленка после чистки села. "Обращайтесь со мной, как со своим рабом, – без пощады, без жалости, и я полюблю Вас за это еще более страстно... Приходите же поскорее в мехах и с хлыстом. Ваш преданнейший Захер-Мазох".

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

РУТИНА ГЕРОИЧЕСКИХ БУДНЕЙ. ПОГРУЖЕНИЕ В ВЫСОКИЕ СФЕРЫ НАУКИ.

МОСКВА, 1969-1976

Заслуживает внимания тот факт, что, владея обширным земным плоскогорьем, где много чистых источников и густолистных деревьев, они предпочитают всем скопом возиться в болотах, окружающих снизу их территорию, и, видимо, наслаждаются жаром экваториального солнца и смрадом.

Хорхе Луис Борхес

Ладно, ладно, думал я, Бог с ними, с разводом и потухшей карьерой, не сошелся свет клином на КГБ, надо писать, надо затмить популярнейшего Юлиана Семенова невиданными откровениями прямо из недр секретной службы (я не представлял, насколько беспощадна цензура). Родился сценарий фильма о разведчиках, с названием из Уитмена, которого вроде бы любил Сын Сапожника. («Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил», – где-то на пленуме вождь процитировал эти строчки поэта в подкрепление тезиса о могуществе большевиков). По сценарию герой, расставшись с любимой, уехал в Испанию на войну с Франко, потом Отечественная и подвиги в немецком тылу. После войны нелегальная жизнь в Англии, где, рискуя жизнью, герой спас из когтей британской разведки старого друга – профессора, естественно, рассеянного, как повелось у нас со времен Тимирязева, но тем не менее, женатого, на бывшей возлюбленной героя. Чем не шекспировские страсти? Вскоре явилась на свет суровая проза: повесть «Velle amour» – там разведчик-бизнесмен соблазнил жену лорда, но настолько вжился в роль, что намертво влюбился, а в результате погиб одноногий нелегал, храбрец и орденосец Генри, тоже трудившийся в тылу врага со времен Испании.

Тема испанской войны и особенно подвиги добровольцев меня всегда волновали, я чувствовал, что те люди были искренни, начинены романтическим порохом, солидарны друг с другом. Это подкрепляло мысль о жизненности коммунистических идей, и Великая Иллюзия, уже сгоревшая в пражских кострах, порой снова выныривала из глубин и щекотала нервы.

Все шедевры я относил другу дома незабвенному Виктору Николаевичу Ильину, секретарю Союза советских писателей, причем не по каким-нибудь, а по оргвопросам. В боевые тридцатые годы отец работал с Ильиным в СПО (секретно-политическом отделе), они тесно дружили. В 1938 папу посадили. Как гласит предание, Ильин, дежуривший однажды по СПО (секретно-политический отдел ОГПУ), зашел к шефу отдела с отцовским делом и умело его доложил: мол, какой он, к черту, троцкист, если толком не знает, кто такой Троцкий, это и на политзанятиях чувствовалось. Шеф дал команду, отца выпустили, выгнали из органов, но пристроили в Киеве уполномоченным по мерам, весам и измерительным приборам.

История генерала Виктора Ильина описана и Солженицыным, и Войновичем, и многими другими, в 1942 году его на девять лет засадил в одиночку шеф безопасности, его близкий друг Виктор Абакумов за несогласие с разработкой органами знакомому ему генерала авиации (в конце жизни Виктор Николаевич говорил: «Знаешь, сейчас мне кажется, что, Витя просто хотел спасти мне жизнь, поэтому он не допустил ни суда, ни следствия – иначе бы меня точно расстреляли!»). Ильин пришел к нам домой в Москве году в пятьдесят четвертом с выпавшими зубами, тогда он работал прорабом на стройке, но вскоре, как бывший куратор культуры в ОГПУ-НКВД, комиссар второго ранга (генерал-майор), человек начитанный и умный, был брошен на разноликое писательское стадо. Пройдя тюрьму, Ильин остался коммунистом (думаю, что искренне, хотя с началом перестройки у него появилось много сомнений) и патриотом органов. Любил вспоминать службу в кавалерии во время гражданской, наша семья традиционно посещала его дом в день рождения, где отец, чуть выпив, радовал гостей своим приятным тенором («Не счесть алмазов в каменных

пещерах» и даже «Пока земля еще вертится» Окуджавы – отец шел в ногу со временем).

Публика у оргсекретаря собиралась солидная, все "свои": весь в себе поэт Сергей Наровчатов, секретарь союза писателей, светский Гофман, написавший о своих летных подвигах, Герой Советского Союза; вкрадчивый, очень любезный писатель Алексей Алексин, потом эмигрировавший в Израиль. Почти всегда присутствовал начальник Виктора Николаевича, поэт Сергей Михалков, вальяжный и демократичный. Из старых чекистов бывал генерал Леонид Райхман, бывший заместитель начальника контрразведки, сидевший и при Сталине и при Хрущеве (уже при перестройке мы с ним, будучи соседями по району, иногда гуляли вокруг Миусской площади, «Умнейший был человек Лаврентий Павлович!» – говорил он), Норман Бородин, видный контрразведчик, нелегал, тоже порядком отсидевший. Познакомился я и с секретарем Феликса Эдмундовича, и с таинственными латышами, напоминавшими легендарных стрелков, эдаких престарелых боевиков... В общем, у Ильина собирались и таланты, и поклонники.

Придворные литераторы не вызывали у меня интереса, с ними все было ясно, а вот старые чекисты гипнотизировали: верили ли они в Идею или подчинялись духу времени и притворялись? Если верили, то откуда почерпнули такой фанатизм? Самое интересное, что большинство были бедны как церковные крысы и равнодушны к деньгам, зато от корки до корки штудировали газеты и обожали спорить о политике. Бескорыстие всегда подкупает, но, услышав слова о преданности идеалам Октября, я начинал задумываться: если это искренне, не страшная ли это мистическая игра со своею собственной душой? А может, они просто так запуганы, так сломлены прошлой жизнью, настолько привыкли жить в двух измерениях, что не могут быть искренними? Если бы это были идиоты, но нет, это были умные люди, пережившие и гражданскую, и Отечественную, и все кровопускания... Как легко они говорили: «он отсидел двадцать лет», или со смехом: «Он вдруг подошел к арестованному Ягоде и дал ему по морде». – «Вы с ума сошли, вас же расстреляют за рукоприкладство!» – возмутился

Генрих. – «Вчера пришло указание товарища Сталина о применении физических мер к врагам народа... Ха-ха»⁵⁹.

Ильин отправил мои труды на суд приближенных литераторов, я побывал у Наровчатова и у двух – трех прозаиков, о которых я прежде не слышал. Все были приторно деликатны, особо не ругали, но и не восторгались. Надавали массу мудрых советов, на этом дело и закончилось, от всех литературных ворот я получал поворот. В утешение Ильин выдал мне пропуск в Центральный Дом литераторов, что еще больше подогрело литературное тщеславие. Медлительные, с чувством достоинства писательские трапезы, – вот у коктейльной стойки махнул рюмку коньяку толстый, но изящный Семен Кирсанов! Вот вошел восхитительный Вознесенский, исподлобья осматривая зал, а вот Евтушенко сдает в раздевалку волчью шубу.

Мой друг Юрий Левитанский (его я считал и считаю великим поэтом), без восторга читавший мои стихи (впрочем, он и к другим поэтам относился спокойно), советовал мне вжиться в литературную среду, ибо такой цветок, как я, не мог произрастать на нетворческой сухой почве, без ежедневного полива из писательской лейки. Легко сказать! Это означало смену работы. Шило на мыло? Я решил опробовать новые жанры и ударился в пьесы, они писались с необыкновенной легкостью, вроде бы я говорил сам с собою: «Почему ты такая бледная? – Посмотри на звезды... какая синяя сегодня ночь! Ты любишь меня? – Тебе холодно? (снимает пиджак)» – я сравнивал свои пьесы с Арбузовым и Зориным и решил, что их просто ставят по благу.

Пьесы читал друзьям и знакомым, не скупился на выпивку, чтобы слушали, многие честно засыпали, а потом хвалили, другие отделивались шутками. Однажды, когда Левитанский прошел в ресторан «Шереметьево» через таможенников и пограничников, предъявив лишь свой сборник с портретом на обложке (иного пути добыть водки в тот ранний час не было), я понял, что графомания не отпустит меня никогда, солженицынский глас ревел с небес: «Писатель – это второе правительство».

⁵⁹ А вдруг нет никаких загадок и все просто, как по Альфреду Розенбергу: «Жизнь подобна марширующей колонне. Не важно, в каком направлении она идет».

Так бы и стучать-постукивать дятлом в одну точку⁶⁰, пробивая в печать то стишок, то рассказик, а там и пьесу проклянуть, потом написать прошение об отставке, уже сидя на золотых мешках с гонорарами, и начать честную жизнь труженика пера, а нет! всесилен бес – искуситель, не желал он выпустить меня из своих когтей в дурманящую неизвестность, наоборот, манил все новыми искушениями карьеры⁶¹. Не желая отстать от ЦРУ, разведка вознамерилась построить свою мощную автоматизированную систему управления для информационного и оперативного обслуживания своих деяний. В то время такие системы бурно входили в моду во многих министерствах с благословения энтузиаста кибернетики, академика Глушкова, невежество в этой области стояло густым туманом: большинство считало, что АСУ сами будут решать проблемы, а у чиновника появится еще больше времени на кофе и треп. И опять меня совратили (тот же Леонид Зайцев): предложили золотое место заместителя начальника отдела мне, разведенному и нетранспортабельному. Я, словно в волшебной сказке, прыгал через должность и выходил в начальники, в нижний слой руководящей номенклатуры. Моя должность дарила святое право входа в начальственную столовую, где было не самообслуживание, а внимательные официантки, кормили там не лучше, но зато вокруг сидел весь цветник ПГУ и сам шеф разведки Владимир Крючков с замами у стены за специальными столиками. Кроме того, получил талончики в ателье и в спецмагазин, где парные молоко и цыплята из подсобного хозяйства (скорблю горько, что так и не посетил его с бидончиком, любуясь одухотворенными лицами в очереди). Все это грело сердце, господа, и вообще приятно ощущать себя хоть немного, но выше других, осознавать принадлежность к правящей касте, все-таки верно, что жажда власти и тщеславия движут нами, грешниками. Мое триумфальное возвышение в совершенно иные сферы имело изъян: в технических науках разобрался я не больше, чем баран в Гомере, с арифметикой расстался навсегда еще в средней школе (как складывать и вычитать, еще помнил, но убей, не смог

⁶⁰ Никоим образом не хочу обидеть дятла, правда, говорят, что от стука у них быстро изнашиваются мозги – тогда они и влетают в помещение, чтобы проткнуть клювом полковника.

⁶¹ Бес ли это или ангел-хранитель?

бы извлечь корень). Компьютеров и в глаза не видел, о кибернетике лишь слышал, не особенно веря в обещанный ею рай. Дабы не выглядеть полным идиотом в глазах подчиненных, я тут же стал глотать Винера и разных популяризаторов, но все равно, подписывая бумаги, понимал не больше половины.

В создании славного АСУ слились, остервенело сражаясь друг с другом, два антагонистических потока: психологи, технари-системщики, математики и программисты, ничего не смыслящие в разведке, но готовые полностью ее автоматизировать, и умудренные опытом разведчики, невежды в кибернетике и пр. Первые представляли разведку как молочный завод, которым можно управлять с помощью АСУ, пристроив куда-то на третьестепенные роли разных там вербовщиков и информаторов, последние же либо вообще не понимали всей затеи, либо, в лучшем случае, сводили ее к упорядочению архивов и замене картонных досье и цыганских игл для сшивания ниткой на нечто современное.

Управление создавалось под крылом шефа разведки Федора Мортина, сменившего Александра Сахаровского, волевого начальника сталинского типа. Мортин был импульсивен, мягок, даже непосредственен и питал слабость к свежим идеям (особенно когда ими уже был озарен ЦК).

Незадолго до нового назначения вместе с небольшой группой избранных я побывал у него на совещании, где пытались реализовать совершенно убойный план: создать на лето в соцстранах, имевших курорты, специальные резидентуры, дабы не пропустить мимо сетей разведки сонмы иностранных туристов. Мне досталась должность «запасного резидента» в Варне, однако основной резидент просидел в Золотых Песках все лето, борясь на пляжах с империалистами, и оставил меня с носом.

И вот новое узкое совещание с потоком предложений для облегчения трудов шефа разведки. Мортин слушал заворожено, чуть приоткрыв рот и изредка одобрительно кивая головой, хотя по виду его очевидно было, что он ровным счетом ничего не понимал, как и большинство присутствующих оперативников⁶². Бушевали фантазии по поводу политической карты мира,

⁶² - Но интересно, на какой же я тогда широте и долготе?

висевшей в кабинете: ее сулили превратить в огромное табло с выходом на многочисленные информационные системы, автоматически отражавшие все события в мире, даже кризисные ситуации в «горячих точках».

Докладчик рассказывал, как будут вспыхивать на карте черные и желтые лампочки, как побежит по табло текст, шеф морщился и напрягался, когда на голову валились словечки «система», «подсистема», «ТТЗ», «циклы», «экстраполяция», «АЛГОЛ», но честно слушал и не перебивал⁶³. Мортин поинтересовался, не уменьшится ли поток документов ему на подпись (этими монбланами давно замучили всех начальников, не говоря о вождях), но его тут же оглушили перспективой хранения документов в памяти ЭВМ, селекцией их согласно программе, ну и, конечно, автоматическим принятием управленческих решений. Узнав, что, по всей видимости, ему вовсе не придется читать и подписывать документы, Мортин насторожился и стал призывать к малым шагам и постепенности.

Не отставали от системщиков психологи. Обеспокоенные недостаточной одухотворенностью сотрудников, выезжавших за рубеж в окопы холодной войны, они требовали, чтобы шеф разведки принимал каждого (!) лично, благословлял на ратные подвиги, создавая мощную мотивацию, причем у красного знамени, которое надлежало целовать под звуки гимна (хорошо, что не похоронного марша Шопена).

В новом управлении много внимания уделяли прогнозированию – ахиллесовой пяте любой разведки, тщательно штудировались многочисленные американские методики прогнозирования, одна мудренее другой, но я в них не верил: разве они могли заменить обыкновенные мнения умных людей? Видимо, я принадлежу к породе агностиков,

Сказать по правде, она понятия не имела, о том, что такое широта и долгота, но ей очень нравились эти слова. Они звучали так важно и внушительно.

Льюис Кэрролл

⁶³ У Гашека в "Швейке" есть дивная сцена, когда полковник водит указкой по рельефной карте и вдруг она упирается в бугорок. "Was ist das?" – "Das ist katzendrek, herr oberst" – ответил шефу молодой лейтенант.

верующих в Судьбу, и расчеты безошибочных машин меня просто пугали, как антиутопии на темы научно – технической революции⁶⁴.

Как гуманитария, не смыслившему в кибернетике, мне поручили участок оперативного освоения современных достижений (именно так это звучало!) психологии и социологии, к психотропным средствам и «психушкам» это отношения не имело – речь шла о вполне уважаемом вооружении сотрудников разведки некоторыми основами науки.

Позднее у бывшего сотрудника ЦРУ Маркса (везет же на фамилии црувцам!) я прочитал, что там еще в пятидесятые годы с использованием таблеток и других средств пытались управлять поведением человека. Таких мыслей у нас не было: за границей разведчик не может позволить такие экзерсисы – нереально и рискованно, хотя дома... дома все возможно.

Мы метались по Москве, консультируясь у известных профессоров, пытаюсь, прежде всего, уяснить, что такое психологический портрет и каким образом собирать информацию о личности, ибо из-за непопулярности психологии и неподготовленности разведчиков в оперативных досье преобладали крайне общие характеристики типа «имеет хороший характер». Курьезных фантазий имелось предостаточно. Один кандидат наук, трудясь ранее у пограничников, совершил открытие: оказалось, что бдительность сидевших в кустах воинов притуплялась с каждым часом, отсюда необходимость часто менять караулы, а значит и кардинально расширить службу. Пограничное начальство ахнуло, психолога перебросили к нам «на укрепление», это его вдохновило, и свое стройное, как теорема Пифагора, учение, он активно перенес на разведку. Тут дела обстояли драматичнее, чем у пограничников, ибо, разведчик, приравненный к пограничнику с Джульбарсом в кустах, находился в напряжении гораздо больше, и, допустим, на явку с агентом выходил и после работы по прикрытию, и после интенсивной проверки на обнаружение пресловутого «хвоста». Разве КПД от встречи с агентом не падал резко вниз после таких

⁶⁴ Как мудр Набоков: «К счастью, закона никакого нет – зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, – все зыбко, все от случая...»

пертурбаций? Что мог при таком ужасном стрессе впитать его мозг? Предлагалось изящнейшее решение: в день встречи освободить разведчика от всех нагрузок, дать ему хорошо поспать, не требовать выхода на работу по прикытию к девяти утра, не снимать с него стружку накануне и, конечно, за рулем во время проверки перед встречей должен находиться другой оперативник, а самому герою дня полезнее дремать, собираться с мыслями и даже не смотреть на дорогу.

О, вечно зеленое дерево жизни, смеющееся над сухой теорией!

Несколько лет я крутился в этом славном управлении (как ни странно, не угодил в больницу им. Кащенко) и весьма нахватался новых знаний. Особую радость доставляли американские методики изучения личности с помощью «детектора лжи» с фрейдистскими вопросиками о запоях бабушки или о том, какие мысли роятся в голове при виде трещин в тротуаре, – на эту тему я даже создал бредовую пьесу.

Я не пишу историю организации, я пишу о себе и не собираюсь выдавать субъективные вспышки сознания за летопись, поэтому, дабы не выглядеть трухлявым ретроградом, лишь замечу: несмотря на все издержки, АСУ оказала благотворное влияние на разведку, внесла в нее системное мышление и, главное, подтолкнула компьютеризацию архивов. Конечно, началось все абсурдно, но какая реформа в России когда-либо проводилась нормально?

Сначала наше управление располагалось на Лубянке, однако вскоре ПГУ мирно перебралось в загородные хоромы в Ясенево. Все были повергнуты этим великим переселением в смертное уныние: приходилось просыпаться рано, словно на доение коровы, любой отъезд в Москву упирался во время и транспорт, и не спасали ни лес, ни речушка, ни бассейн, ни просторные кабинеты (впрочем, вскоре их стало не хватать, начался новый цикл строительства), как всегда народ роптал, начальство, летавшее с водителями на «Волгах», не обращало на эти вздохи внимания и вскоре отстроило себе рядом служебные дачи, с тем, чтобы не расставаться друг с другом ни после трудов, ни в выходные, ни днем, ни ночью, никогда.

Боже, какая скука, как уныла жизнь, как одинакова, начиная с рева будильника ровно в семь. А разве не ужасно каждое утро рассматривать, сидя на стульчаке, один и тот же плакат, приклеенный скотчем к кафельной стене туалета? На картинке изображены торчащие из унитаза ноги в отглаженных брюках и черных штиблетах, туловища не видно, зато из бачка высовывается бородатая морда в очках. Пора на работу, о Боже! не опоздать бы на спецавтобус, иначе ведь не добраться до нашей деревни.

Овсянка, кофе, улица, толпа, метро, автобус, пропускной пункт, рукопожатия, служба, утро туманное, утро седое. Сейчас бы пива, но какой-то пентюх, кандидат наук залез в кабинет, воняя носками, размахивает руками и упражняется в элоквенции по поводу моделирования оперативной деятельности, о которой он читал в «Шпионе» Фенимора Купера. Сейчас пива бы или холодного шампанского, чтобы умереть в Баденвейлере, как Чехов, прошептав «Ich sterbe» (я умираю), сейчас бы пива, и напялить никербокеры, и отправиться играть в гольф в Ричмонд-парк, сейчас бы на север...

Хотел на север, но начальство вдруг направило в командировку в Бейрут, дабы я взглянул на деятельность резидентуры с вершин Норманна Винера – мой первый вояж на Восток: Бейрут еще сиял, но лагеря с палестинцами, вооруженные «калашниковыми», предвещали недоброе, война была на носу, и это у теплого моря, где через полчаса снежные горы и лыжи. Меня сводили на восточный стриптиз с юной египтянкой, окруженной важно сидевшими слонятами, там были не изможденные европейские девки с синевой под глазами... Красавица закончила танец, сорвала подвязку и швырнула в зал, попав прямо на наш столик (видимо, так задумали в ЦРУ). Этот волшебный дар, пахнувший миром и какими-то томящими, заглатывавшими с потрохами ароматами, я привез в Москву и положил в вазочку на холостяцкой квартире у отца, мы нюхали подвязку много лет, давали нюхать гостям – так и не вынюхали, запах был, карамба, неистребим.

Усните с Богом, господа.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ОДА БАХУСУ, ДИОНИСИЮ И БОЖЕСТВЕННОМУ
ПЬЯНСТВУ

Ах, если в голове покойной
Иссохнет мозг – каким добром,
Как не божественным вином,
Нам заменить его достойно?

Петр Вяземский.

"Стихи, вырезанные на мертвой
голове, обращенной в чашу".

Когда же я напился в первый раз?

Когда же свершилось это чудо и кругом пошла голова?

Когда же вещей мой язык впервые затрепетал оживленно и начал
выпускать из уст умную дурь?

Когда же провалилась земля, налились чугуном ноги?

Не в счет птичьих пробы из родительской рюмки во время домашних застолий, не в счет и первая бутылка вина со странным названием «Medoc», распитая в третьем классе с приятелем на Стрыйском рынке в Львове (хохотали мы жутко над дурацким названием, и лишь через десятилетия, отведав вволю из западных чаш, я обнаружил, что это не мед, который по усам течет, а прославленная бордоская марка).

Пожалуй, где-то в классе четвертом грянула первая масштабная пьянка, развернулась она в горных массивах, что тогда высились напротив львовской госбезопасности, и по той счастливой причине, что в нашем классе тихо и незаметно трудился племянник директора спиртозавода. Он был взят за бока, и раздобыл драгоценного спирта, который мы,

великолепная пятерка, особо не мудрствуя, рванули прямо в кущах. Веселие стояло неправдоподобное, но вскоре все мы, воздвигаясь и рушась, поднимаясь и опускаясь, замерли в неестественных позах на поляне. Будучи уже тогда Гераклом, я, как положено даже раненному разведчику, выполз из грязных ям и позвонил из телефонной будки отцу.

На мой сигнал из папиного «Смерш»а вмиг примчался дежурный «виллис» с вооруженными чекистами, нас сложили в одну кучу и развезли по еще не поседевшим от горя родителям. Слава отцовскому «Смерш», творившему добрые дела в красивом желтом здании на вулиці Кадетской, а потом соответственно Гвардейской, усаженной роскошными каштанами! Прежде в доме том размещалось гестапо, и долго на фасаде его зияла выбоина от орла рейха, она вызывала у меня обидные чувства, даже когда ее зацементировали и закрасили: еле заметное гестаповское пятно унижало славный «Смерш», предававший смерти всех шпионов, разрушавших страну Ленина-Сталина. В «Смерш» мне нравилось все: трофейные машины отца («ауди», «хорхи» и «опели»), ладные офицеры в гимнастерках с кобурой, из которой высовывалась рукоятка «вальтера» (эта марка была в моде), седой генерал, открывший день рождения отца словами: «За юбиляра мы еще выпьем, а сейчас давайте поднимем тост за товарища Сталина!».

Любил я и увитый плющом особняк с часовым у ворот (шла невидимая война с бандеровцами), яблоневым садом и овчаркой Дик, там я безжалостно расстреливал ворон и воробьев из духового ружья, и Дик приносил их к моим ногам, словно вальдшнепов на охоте в Шотландии, смотрел преданно в глаза и азартно вертел хвостом. В особняке нашем веяло благополучием ограбленного курфюрста: внизу – черного дуба огромная столовая, тяжелые резные буфеты, «горка», наполненная фарфором и безделушками, необъятный стол с кожаными стульями – надо всем ослепительная хрустальная люстра, словно из Венской оперы. На втором этаже спальня из карельской березы (вытащили ее прямо у какого-то чина гестапо, вообще гестаповское имущество органы считали своим, как наследство почившего родственника), полный комплект семейного счастья. Наконец, кабинет барчука: английские напольные часы, стол из красного дерева, китайские вазы, статуэтки и бюсты, изображавшие людей из чуждой

несоветской истории (особенно запомнились белые бюсты польского маршала Понятовского и большегрудой дамы, которая потом оказалась богиней Дианой). Довольно мощная библиотека (мальчика из простой, но престижной семьи готовили в интеллигенты), там классики марксизма-ленинизма и очень русский Вячеслав Шишков (его Анфиса из «Угрюм-реки» долго меня волновала, но я не опушусь до признаний Руссо в мастурбации), полное собрание Алексея Толстого соседствовали с «Очерками секретной службы» полковника Роузена, «Совершенно секретно» Ральфа Ингерсолла и настольной книгой, разосланной в управления военной контрразведки по личному указанию шефа службы Виктора Абакумова – «Тайная война против Советской России» американских коммунистов Сейерса и Кана, сделанной ими по заказу Москвы. Атмосферу интеллектуальности несколько подрывала деревянная кровать (естественно, тоже красного дерева) с голубым стеклянным глазом на спинке⁶⁵.

Дружил я и с папиными ординарцами, лелеявшими барчука не хуже английских гувернеров. Хлебное место денщика ценилось высоко, особенно в первые послевоенные годы, когда начальники отправляли слуг на Запад в командировку за трофейным барахлом. Каждый ординарец имел чемоданы, по которым я тайно лазил, они были набиты часами, фарфором, одеждой, ботинками, бельем (все для дома после демобилизации), но особенно привлекали меня пистолеты, которыми можно было всласть поиграть. Особенно нравилось изображать самоубийцу и картинно пускать себе пулю в висок перед зеркалом, перед этим, естественно, подстрелив нескольких нападавших фашистов. Однажды после щелчка в висок я прицелился в чемодан ординарца, видя в нем вражеский танк, вдруг пистолет бухнул, оказалось, что мой наставник добыл патроны, и зарядил браунинг, целый

⁶⁵ Сын советского контрразведчика жил лучше маленького лорда Фаунтлероя («Когда грум вывел красавицу–лошадь, круто сгибавшую свою темную глянцевою шею... Фаунтлерой был в восторге, садясь на пони первый раз в своей жизни. Конюх Уилкинс стал водить лошадь под уздцы взад и вперед перед окнами библиотеки»). На лошадях, правда, не катался, зато разъезжал в открытом бежевом «ауди» не с конюхом, а с солдатом – шофером, однажды слишком по – барски открыл дверцу, и она оторвалась, пришлось сменить «ауди» на «опель-капитан», «ауди» тут же выбросили на свалку: трофейный парк был переполнен.

месяц он тяжело вздыхал по поводу этого эпизода, больше всего печалило его, что пуля пробила три пары новых полотняных подштанников.

Ребенок я был общественно-деятельный и уже тогда склонный к руководящей работе: энергично сколотил тайный отряд из пяти человек, присвоил ему название «ПОИЛ» – Пионерский отряд имени Ленина, естественно, командиром назначил себя и лично выписал всем документы. Отряд вел разведку в оврагах, тогда существовавших у Стрыйского парка, но в основном в полном составе курил до одурения краденые у родителей папиросы на чердаке, оборудованном под штаб.

Иногда в нашем особняке собирались гости, тогда отец просил меня прочитать по-немецки ненавистного «Лесного царя» Гете (единственное, что я знал). Чекистов мое вундеркиндство приводило в восторг, до сих пор помню, как тискал меня упившийся красноносый генерал в красных под цвет носу шелковых кальсонах... Эта трофейная роскошь весьма отличалась от ординарских подштанников и сеяла сомнения в том, что все люди равны.

Через год-другой после смерти матери отца начали посещать милые дамы. Сначала он меня с ними даже не знакомил. Особенно интриговала меня парикмахерша, которая стригла его на втором этаже при закрытых дверях, несколько раз я пытался подсмотреть в щелку, но папа, как опытный чекист, ключа не вынимал. После ухода дамы папа громко просил домработницу вымести волосы, что, впрочем, меня, уже прочитавшего «Декамерон», совершенно ни в чем не разубеждало. Вскоре дамы появились как официальные гости, они ахали, ослепленные мореным дубом, рассматривали стены с изображениями райского сада, где меж роз и пальм бродили павлины и жар-птицы (сделал это старый поляк, пользуясь трафаретом), уминали яства (в основном колбасу и водку) за столом. Потом мы все играли в «кто больше назовет великих людей или городов на определенную букву» (тут всегда выигрывал я, ошеломив всех своей эрудицией). Пили вино и чай, а иногда я показывал дамам свою фотолабораторию – отец подарил мне ФЭД, выделил довольно просторное помещение рядом с ванной. Горел красный свет, от дам пахло безумием любви, иногда я прикасался к их теплым телам и совсем изнемогал от

вожделения. Страсти разрывали меня, однажды я пристал к лежавшей в постели домработнице Наташе и прыгал на ней, пытаюсь совратить, она хохотала, как Перикола в оперетте ("какой обед там подавали! каким вином нас угощали!"), и это вместе с пропитавшими её запахами щей живо остудило мои чувства.

После смерти матери отец начал брать меня с собой на юг в отпуск – событие в жизни эпохальное: летали на «дугласах», обязательный заезд в Москву (прямых рейсов на юг не было), праздник для провинциального мальчика. Я сохранял билеты в планетарий, МХАТ и ЦПКиО им. Горького, чтобы потом хвастаться перед одноклассниками.

Мы посещали и старых знакомых (они вспоминали маму, и мне было больно: я не верил, что она никогда не вернется). В гостях однажды мне дали посмотреть альбом с марками, английские колониальные с невиданными зверями так искусили меня, что дрожавшей рукой я незаметно⁶⁶ выдрал штук десять – так формировался будущий мастер по краже секретных документов.

Из Москвы вылетали в военные или эмгэбэвские санатории (детей туда не пускали, и папа пристраивал меня в домиках служащих), особенно любил я огромный санаторий им. Ворошилова в Сочи, славившийся своим фуникулером. В белой пижаме санатория (тогда криком моды было расхаживать по городу в пижамах), чуть надменный, прикрыв такой же белой панамой свой высокий лоб, шагал я вместе с отцом по Сочи, поглядывая свысока на непижамный люд. Отец, правда, пижамы не жаловал и носил белые брюки с парусиновыми ботинками, которые чистил зубным порошком, меня они приводили в восхищение, и я упросил отца купить мне такие же.

В то незабываемое время покоряли мускаты, отдегустированные в погребках, они обволакивали рот и пахли экзотическими странами, хорошо пились они в симеизском доме отдыха, где отец, по его рассказам, в начале тридцатых годов познакомился с сотрудником ГУЛАГа Абакумовым. Красавец Виктор Семенович, блестяще игравший в теннис и попутно

⁶⁶ Как мне казалось.

разбивавший дамские сердца, настолько очаровал папу и его друга, что, прибыв в Москву, они уговорили шефа секретно-политического отдела вытянуть Абакумова из ГУЛАГа в отдел на пост делопроизводителя, что тот и сделал, обогатив секретные службы и русский народ. Вот она история – и не стоит вечно искать тайных пружин и глубоких корней! Абакумов вымахал в шефы «Смерш» и потом госбезопасности, к отцу он благоволил, но генералом не сделал, ибо для этого папино "дело" нужно было нести в ЦК, а оно с изъясом: почти год в тюрьме. Во время войны мама ходила на поклон к Абакумову (какая-то бытовая просьба), а я ожидал ее в приемной на Кузнецком. Мама вернулась очень довольная и заметила, что Витя совсем не изменился, по-прежнему добр, любезен и красив (единственно плохое, что я слышал от отца об Абакумове, было уже после ареста: во время обыска у него нашли чуть ли не пять костюмов – о tempora! о mores!).

Между Абакумовым и прелестью пьянства лежит целая пропасть (устланная костью), поэтому переберемся в Куйбышев (1949 год), уставленный пивными ларьками, где торговали и водкой (естественно, наливали в граненые стаканы), и пивом. Кроме того, на спуске от Куйбышевской к Волге функционировал магазинчик узбекских вин, там продавали «Салхино» и прочие вязкие и сладкие напитки, выковавшие у меня такое же устойчивое отвращение к крепленным винам и ликерам, как и к опере, которой пичкал меня папа. Это (не опера), по-видимому, несколько оттянуло роковой визит старика-цирроза, а к опере я вдруг пристрастился в старости и даже летал в Берлин послушать Вагнера, а потом плевался по поводу толстых безголосых певцов.

С винным магазинчиком связано первое разочарование в человечестве: тренер нашей школьной волейбольной команды (мы выиграли первое место в городских школьных играх) Миша устроил меня судьей на соревнованиях, за что впервые в жизни я получил скромную сумму, казавшуюся состоянием. Естественно, я пригласил Мишу на стакан в магазинчик (тогда пивали и там) и состоялся следующий диалог: "Деньги получил?" – "Получил"... – "Давай их сюда!". Я легко отдал, Миша запрятал все в карман, купил мне стакан «Салхино», мы тяпнули за успех, и он удалился, сунув мне три рубля. На них я купил портсигар с тремя

богатырями, написал «Хранить, но не курить» и вручил некурящему отцу, тут же от счастья отвалившему мне не карманные расходы. Но горечь от несправедливости жжет до сих пор.

Бури студенческих лет.

Пьянки в Тестовском поселке, куда в 1954-м переехал из Куйбышева в столицу ушедший на пенсию отец. Пили в модной «Авроре» (ныне «Будапешт») с чучелом медведя в фойе (каждый пьяный так и норовил его либо под ручку взять, либо нахлобучить шапку, либо всунуть сигарету в пасть), пили на Речном вокзале в ресторане с цыганским хором (орали перезрелые цыганки, и пьяный друг читал на весь зал меню под аплодисменты публики), надирались в «поплавке» близ «Ударника» (вынули железные прутья, на которых крепились занавески), веселились на верхотуре гостиницы «Москва» и там сломались (на Горького один перепитый боец вдруг поднял в воздух случайную даму и выжал ее, как штангу, на вытянутых руках, все закончилось милицией).

Грандиозная пьянка: мы с сокурсником и сотрапезником Борей Ключниковым в махровых халатах выходим из дома на Литвина-Седого и спешим к прудам, что по соседству, на нас плавки и мы тут же устраиваем купание. Ныне Борис стал маститым профессором, автором русофильских книг и большим моралистом, боюсь, что даже за этот невинный пассаж он, гитарист с нежным баритоном и православный христианин, предаст меня анафеме.

Во время летних каникул я выезжал в Хосту или Ялту: медлительные прогулки по набережной (*cherché les femmes*), несколько стаканчиков сухенького прямо из цистерны (в них прямо из забугорья привозили подобие вина). Топанье за милovidными и не шибко, запахи моря и роз, наконец, первое слово любви (по лошадиному переминаясь), и в ответ из яйцеципательных уст -- кудахтанье. Увы, секс – это голова.

Уже в конце пятидесятых дохнуло затхлым Западом: столицу заполонил «анизет де рикар», известный народу как перно, то бишь анисовая водка, в смеси с водой она становилась молочно-белой и отменно шла под аккомпанемент Хемингуэя и Ремарка. И грубовато-нежное,

московское «потерянное поколение» мчалось по «Фиесте» на бой быков в Памплону, оттуда в Валенсию на паэлю и затем опять в Париж, где шампанское «Мумм», без которого плохо красотке Брет и главному герою-импотенту, и до утра в «Максима» за уткой по-руански с жареными каштанами, разумеется, в сопровождении Эдит Пиаф, Жульет Греко, Далиды, Гертруды Стайн и Эзры Паунда.

Сидели, спали, лился кальвадос рекой, и Эзра бормотал красиво о том, что жизнь прекраснейший мираж и сгинет все, что ветрено и лживо, и шар благословенный наш, как колобок, под блюз нью-орлеанский покатится, гонимый суетой туда, где век другой и бог другой, и это описать... «Ах, Паунд, пошлите лучше за шампанским! Ужели нам писать, не изменив печальных правил общего устройства? Неужто сущность – в прелести чернил?»

Пьянство требует широких обобщений, причем патриотических. Горжусь, что прошел свой пьяный путь вместе с любимой пьяной страной и всем пьяным народом, прошел и пережил различные исторические этапы: и через завалы водки в магазинах и ларьках (там хорош был прицеп в виде кружки «Жигулевского»), через рюмочные, через огромные цистерны с алжирским кислым «сухарем» по 20 коп. за стакан, через ужесточения и подорожания, когда хлебали «на троих» в подворотнях. Но, конечно, трудно припомнить более кошмарный период, чем перестроечная борьба с пьянством, и не столько из-за дефицита алкоголя, сколько из-за неразберихи, из-за мучительных метаний с пустыми бутылками. Их то принимали, то отвергали, то требовали отдирать все с горлышка, то вообще смывать все наклейки начисто, то – о, ужас! – спиртное давали только в обмен на пустую бутылку, которая обычно в тот момент, как на грех, отсутствовала. Покупая жидкость «Кармазин» для своей облетающей головы, я столкнулся с мужиком, который брал целую упаковку, он подмигнул: «Не представляешь, как она идет, если смешать с пивом». Мне было стыдно. Таким мерзким интеллигентом я себя почувствовал, будто предал весь народ, используя «Кармазин» по прямому назначению; все мы – коллективисты, в крови это, черт возьми!

Никогда не могло и в голову прийти, что вино начнут выпускать в трехлитровых банках, водку – в бутылках из-под фанты. И, конечно же, даже в самые тяжкие похмельные минуты и мысли не было, что в общественной пивной придется пить пиво не из кружки, даже не из банки, а из бумажного пакета из-под молока, стараясь не пролить на грудь.

Пришли времена свободной торговли, когда все разбавлено, или смешано, или отравлено, когда морочат голову красивые этикетки и чересчур надежные пробки, и остается только гнать, гнать и гнать на дому. Но беда не только в дороговизне сахара, но и в том, что после долгих лет красивого питья душа не лежит к дурному самогону – ведь, по Гете, «и смех и грех гореть в аду за то, что ты хлебал бурду!» Пить самогон после пушкинского: «К аи я больше не способен, аи любовнице подобен, блестящей, ветреной, живой и своенравной, и пустой»? После мандельштамовского «из двух выбираю одно: веселое «асти спуманте» иль папского замка вино»? И ценами наш пьяный дух не сломить!

Несчастливая и великая страна, вечно зависимая от воли генеральных секретарей, торгашей и чинуш, воистину великий народ, вынесший и вытерпевший все, неужели он не заслужил Божьей милости? Душа рвется формализовать весь пьяный процесс, соединить с литературой и искусством, облечь в строгость формул.

Поток кородряжного сознания.

Юность была сумбурной (Бальзак, Шекспир и другие полные собрания +портвейн или водка + «Вольный ветер» или «Отелло»+Перов и Репин), годы студенчества обрели некую колею (Ремарк, Хемингуэй + цинандали или мукузани + «Дни Турбиных» в Станиславского + походы в консерваторию по абонементу с разъяснениями о том, что во время «Героической» Бетховена взвод солдат карабкается на баррикаду + импрессионисты и «Юлиус Фучик» кисти юного Ильи Глазунова).

Жизнь под непостоянными Близнецами меняет цвета, как море, жизнь то засыпает в штиле, то разбивается о скалы, вкусы и пристрастия постоянно меняются, а сейчас герой похож на огромный шкаф, забитый самым странным и разным барахлом, там душно от странных запахов, но не

хочется выходить на воздух. Заграница вдохнула вечность и вольность (виски с водой, джин с тоником + Солженицын, Замятин, Кестлер, великий Мандельштам, «Марбург» и «Заместительница» Пастернака, «Ржавые листья» Багрицкого + паб «Проспект оф Уитби» в доках + Ларионов, Гончарова, Малевич, Кандинский, Танги, де Кирико + «Город из махогани» Курта Вайля + Лота Ленья, певшая зонги Брехта, Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, джаз и джаз), передышки в Москве (Булгаков + Таганка + «Новый мир» и «Иностранка» + Галич, Окуджава, Высоцкий и другие барды + художники Лепин, Провоторов, Кабаков и прочие из МОСХа + грузинские, армянские, молдавские вина по пять бутылок за вечер), снова глотки заграничного свежего воздуха (шабли + Набоков, Платонов, все тот же Мандельштам, Бродский + Босх, Брейгель, Боттичелли (это сыр?), Магрит, Эрнст + те же барды, под звуки которых ушел в отставку и устал от них лишь после перестройки, впрочем, если выпить «скрюдрайвер», то бишь «отвертку» (водка и «фанта» хаф-хаф) или же привезенный другом «гленливет», то все равно от бардов переворачивается душа), и наконец, прочное и вечное оседание в Москве, медленное старение, ухудшение характера, растущая нетерпимость, еще немного, еще чуть-чуть – и на картине брюзжащий старый мерин в заношенном халате, он вцепился искусственными зубами в жесткую куриную ногу (кусочки падают на мятые портки), и склеротический нос блестит от жира.

Не надоело?

Еще по одной? + некое осознание собственного литературного величия + полная растерянность: что пить, если ни одной наклейке не веришь? + воспоминание о шабли, обожаемом Чеховым (еще одно сходство, кроме любви к дамам с собачками), ты несравненно, шабли, в резко охлажденном виде, когда по-ахматовски остро пахнут морем устрицы во льду, ты прекрасно, шабли, когда в соломенном кресле в полуденный зной под кипарисами, пальмами или виноградными лозами, лучше в самом

Шабли⁶⁷. Тут уместно тонко улыбнуться, прикрыть глаза и блаженно потянуть из высокого, узкого, как бедро балерины, хрустального бокала.

Наполеон Бонапарт любил кларет «шамбертен», император Франц-Иосиф – венгерский токай, а Петр Великий – бренди. Сановный Гете любил рейнский «розенталер», и в глубокой старости изволил заметить, что за свою длинную жизнь он, в общем счете, был счастлив не больше пятнадцати минут (бедняга, видно, считал только оргазмы, причем с цветочницами, а не часы наслаждения за рюмкой).

А пожрать, егеря, рать любимая царя?

Сначала устремим взгляд на полотно: зеленая дама с чувственным ртом и голыми ребрами, вылезшими из кожи, болотная фея, изменчивый друг, загадка зеленая, скрытая в коже холста, я грустен, как твой драгоценный каблук, и немые мои и ничтожны уста! Бьется сердце, рука ищет между Бичевской и прелюдами Шопена, пускает двадцать четвертый, он летит стремительно к солнцу, и никак не достигнет его, раскроем набоковское «Ultima Thule», но «все равно это не приближает меня к тебе, мой ангел, на всякий случай держу все окна и двери жизни настежь открытыми, хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старинных приемов привидений, страшнее всего мысль, что поскольку ты отныне сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь».

Вздых. Фото ушедших.

А пожрать?!

Сегодня у нас буйабез, которым полковник должен утереть нос пожилой хозяйке ресторана в Остенде, где он укрывался после убийства итальянского премьера Моро, премьер сидел в кресле и читал, а полковник подкрался сзади, обхватил его за шею и засунул в мешок. Хорошо идет, черт побери, не Моро, нет, это самое... шабли, которым на виноградниках Шабли пажи графиню уе...блажали. Итак, бухнем воды в кастрюлю, доведем ее до остервенелого кипения, затем откроем ножом много-много рыбных

⁶⁷ Между прочим, в годы пенсионных странствий я взял машину и добрался до деревни Шабли, Франция, где мы с женой и отметили мой день рождения. Вокруг в пабах торговали шабли, и напиток был прекраснее, чем у нас в Мытищах.

консервов в томате (севрюга предпочтительна), раскалим добела сковородку, швырнем на нее масло и лук и поджарим до посинения (чтобы не подгорел), а потом скоком запулим рыбу в кипяток, опрыснув винным соусом, и туда же жареный лук, присовокупив к нему паприки, крупной соли, шафрана. Затем откроем холодильник, закроем глаза и начнем слепо (и даже зло) метать в кастрюлю все, что попадется под руку: ошметки сыра и колбасы, скукожившиеся от старости сосиски, огрызки сала, хлебные корки, сохраненные на случай третьей мировой, чеснок, маслины, очищенные томаты. Бросать, пока в кастрюле не образуется густая жижа, потом плеснуть туда стакан кородряги – в этот момент желательно появление на кухне какой-нибудь сисястой, с которой можно рвануть по стакану. Потом напустить воды в ванну, залезть туда, испытывая необъяснимую грусть, вытянуться, как труп в гробу⁶⁸, легко обмыть волосатую грудь и долго смотреть через воду на ступни с раздвинутыми пальцами – они вырастают до гипертрофированного уродства Гулливера, вот посмотреть бы так на пятки, вдруг по богатству рельефа они превосходят самые диковинные уголки мира?

Влажный шлеп по кафелю (как рукой по заднице голой бабы), и снова ощущение тоски от перехода из тепла в прохладу, нелепое вытирание полотенцем (оно дергается между ног, как вцепившийся в гениталии зверь), затем махровый халат, длинный, как горская бурка. На тахте развалиться, распустить телеса, раскрыть альбомы художников. Московские хлебцы, одноцвет, пол-лимона мякотью вверх, клешня рака, свисшая со стола, как рука у заснувшего гостя, гроздь винограда черного, бокал красного вина, оно темнее, чем рядом лежащий гранат. Голландской даме скучно: после длительного туалета, завязав некую белую косынку, у которой явно есть особое название, в зеленоватом кафтане, отороченном белым мехом, она дрессирует рыженькую собачку, а та служит, стоя на задних лапках. Камеристка инфанты Изабеллы, тонкий кусок мяса с золотой корочкой, отрезанный от огромного мяса, на блюде замерли две рыбы – серо-синяя и с красной чешуей, помидоры в высокой банке и голова гуся, рядом фазан

⁶⁸ Поэт Хомяков умирал, лежал в постели вытянувшийся, сосредоточенный. Вошел сосед: - Что с Вами? – Да ничего особенного, приходится умирать...

с багровым пятном на голове и разрубленная свинья, превращенная в окорока. Далее прогулка по брейгелевской зиме, где красные кирпичные дома, красные кафтаны, рыжие лошади и собаки платья... Но лучше всего – снег, особенно, когда бредут охотники с красными собаками (у красной собаки твоей на губах заколдованная пена), силуэты ворон на силуэтах деревьев, внизу на коньках муравьи-человечки, вдали снежные горы и красные-красные «мукузани», «ахашени», «негру де пуркаръ» и «кодру» – не капнуть бы на светлые вельветовые брюки.

Почему жизнь к концу, как бегун у финишной ленты, вдруг дико убыстряет свое движение?

В МГИМО учили, что на часах возле Крымского моста время стрелки железные движет, и минута прощального тоста приближается ближе и ближе.

Ну как не пить: поступал на юридический, ставший потом западным, сливались и разливались шесть лет, в итоге диплом специалиста по международным отношениям стран Запада, нечто резиновое, правда, с иностранным языком. Чего нам только там не читали! И марксизм-ленинизм под всеми возможными гарнирами, все вариации истории партии и всех историй как бледного отражения истории партии, все виды права (какое право?), детский лепет о советской и зарубежной литературе (сжечь!) и, конечно же, фиктивная политэкономия фиктивного социализма.

Оставили на всю жизнь дураком, все прошло мимо, Бердяев, Плутарх, Флоренский, – сколько их, гениев! Кормили жидкою похлебкою, но зато добились своего: вырастили верноподданных серых мышей, всегда готовых, как пионеры, подчиняться и делать карьеру. Шесть лет беспробудного пьянства принесли бы больше пользы, чем все эти лекции, вполне закономерно, что никто из имовцев не ушел в диссиденты (на Запад сбегали, и в иностранные шпионы неплохо шли, там же платили!), никто не написал ничего путного, – только служили, делали карьеры, смело колебались вместе с генеральной линией. И потом, уже за границей, вся эта компашка наливалась жиром вместе с толстозадymi женами.

Дипломатические диалоги (петь под гитару со всхлипом).

Свинцовые фразы висят над столом:

- Подайте мне шпроты. – Налей мне боржом.
- Купил я штаны по дешевке на днях.
- Что смотришь на Светку? Она же в прыщах!
- Не надо севрюги, наелся сполна.
- Да врешь, что наелся, тебе бы слона!
- И сколько за дачу свою заплатил?
- Пойдем, отойдем-ка! – Да я уже был.

Угри и селедка, икра и салат,
с холодной водкой графины стоят,
в глазах отражаются щи и желе,
на пальцах – брильянты, на шее – кольцо.

Веселая дама, свинину жуя

взахлеб вспоминает, что ели вчера

у этой, у самой, что любит гостей,

у этой, что может... которая с тем.

- Ну что ж, за хозяйку, за папу ее!
- За мужа, за сына давайте нальем!
- За мамку и бабушку давай от души!
- Что льете на платье! – Да он уже спит!

Ну и публика, аж противно стало – глоток. А чем ты сам лучше?

Главное, что ничего не изменилось, все те же хари. Конечно, в начале пятидесятых мы были еще глупы или делали вид – ведь кое-кого из умников быстренько вышибли во время слияний и размежеваний факультетов и институтов⁶⁹. Но пились тогда отличнейше, и в пьянстве

⁶⁹ В бумагах остались лишь обрывки их нонконформистских мыслей: «У хорошего друга должна быть красивая сестренка» (Костров). «Вам, крестьянам, не понять прелестей городской

терялись и совесть и страх, эрзацы дружбы вечной и такой же вечной любви сияли над облитыми пивом и водкой столами ослепительными звездами. Однако, профукали студенческие годы, товарищи! и пусть не дрожат в обиде старческие щеки, услышав нечто вроде «Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые, выбыл из партии он дряхлым, увы, стариком» – профукали!

«Смерть – это только печаль, трагедия – бесплодная растрата сил» – это не я.

Правда, слишком уж яростно я написал, не все так ужасно было, и виновата Система, ковавшая нас именно такими, а не славный МГИМО!

Распределили быстро: в хельсинкском консульском отделе случилась Любовь, вызвавшая кадровый кризис в Посольстве, осиротел отдел, и чувствительные пальцы МИДа нащупали в бурных водах среди массы червеподобных человечков юное тело, дурно бормотавшее по-шведски, беспартийное, комсомольское и неженатое. С Финляндии начинается пьянство заграничное, прыжок Пикассо из голубого в розовый, пьянство разборчивое, дерзновенное, постигающее. Но выпьем молока и немного протрезвеем, ибо разведчик, словно между Сциллой и Харибдой, бродит между пьянством для дела и пьянством для души, одно переливается в другое, как два сообщающихся сосуда (закон Бойля – Мариотта). В Гельсингфорсе, где я был лишь консульской букашкой, штамповавшей визы, на приемы приглашали редко, да и за граница открыла такие перспективы самоусовершенствования, таким чистым свободным воздухом вдруг повеяло, такие книги на прилавках я узрел, что не до бутылки было, к тому же в свои двадцать четыре года я был чрезвычайно обеспокоен своим драгоценным здоровьем, много размышлял о грядущей смерти, не рассчитывая пережить по возрасту Лермонтова. (Тогда я еще не знал, что душа бессмертна, а пьянство продлевает жизнь.) Интенсивный волейбол, бега на лыжах в Лахти, купания в Финском заливе, монашеское воздержание

жизни» (Нифонтов в речи в подшефном колхозе). «Рубите лес и стройте дачи!» (Петухов). «Если поднатужимся, то к лету коммунизм построим».(Кобзарь). Иных уж нет, а те далече...

и угрызения совести из-за рюмки, выпитой в будний день. Мой начальник консул Григорий Голуб⁷⁰ отличался грандиозным умением пугать, и я уверовал в тотальное подслушивание и подглядывание. Правда, однажды я сорвался и как-то вечером пригласил в свою комнату одну сотрудницу – царицу красоты (показать новый пиджак), и – о ужас! – именно в тот момент грозный Григорий начал бешеный розыск меня по всему посольству, и раздавался визг телефона, и даже стуки в дверь (недавно признался, что она была его любовницей).

В Москву я возвратился полный сил, поступил в разведшколу, женился и порой в воскресные дни позволял вместе с женою раздавить бутылку сухого. Лондон дал шанс отыгаться: метания с приема на бал, с бала на коктейль, с коктейля в клуб, и вот, наконец, дом, когда заждавшаяся Ярославна наливает стаканчик под килькупряного посола – московский сувенир. Но пьянство молодого разведчика, познающего жизнь⁷¹ во всем ее винно-водочном многообразии, не только ограничено из-за относительной бедности, но и поверхностно: оно своего рода проба сил, оно сковано неопытностью и приматом оперативных ценностей над общечеловеческими. Отсюда бутылка красного вина на двоих или по 50 г виски, отсюда и жажда внешней респектабельности, то бишь пижонство. Твидовый пиджак с Сэвил-роу или пуловер в шотландскую клетку, сигара в зубах и горчайшая струйка никотина на языке, что приходится терпеть, ибо еще бард империализма Джозеф Редьярд Киплинг учил: «And a woman is

⁷⁰ Гриша Голуб, с которым мы крепко подружились, личность необыкновенная: танкист, прошедший всю войну, израненный и много переживший, сотрудник ГРУ, а потом разведки КГБ. Но из органов его вычистили (еврейское происхождение), и он мужественно менял работу – от директора мебельного магазина до работника райкома партии и функционера минкультуры, потом банкира. Но и старость не миловала: погибла дочь, блестящая актриса Марина Голуб... И вот и Гриша тихо почил... Вечный кму покой!

⁷¹ Юноше, обдумывающему житье, думающему, делать жизнь с кого, скажу не задумываясь: «Делай ее с товарища Дзержинского!»

only a woman, but a good cigar is a smoke»⁷². Или бриаровая трубка, соучастница и любимица вдохновений, особенно если действие разворачивается в пабах Лондона с мистическими названиями «Дьявол и мешок гвоздей», «Дырка в стене», «Кит и ворон», «Нога и семь звезд»⁷³.

Конечно, все это увлечения молодости есть презренный снобизм, от которого передергивает, как после первой похмельной рюмки. Не стыдно вспомнить «на троих» в подворотне, когда раскрыты и души, и пиджаки, и ширинки, или застолья в цивилизованном подъезде на подоконнике. Там, на газете «Правда» разложены колбаса, порезанная заранее продавцом, а порою аж вобла, разговор там нетороплив и вдумчив («Хорошо прошла...», «Тепло-то как...»), и ни одному иностранцу в жисть не понять загадочную славянскую душу. На подоконнике хорошо читать: «После бульона или супа подают: мадеру, херес или портвейн. После говядины: пунш, портер, шато-лафит, сент-эстеф, медок, марго, сен-жульен. После холодного: марсала, эрмитаж, шабли, го-барсак, вейндерграф. После рыбных блюд: бургонское, макон, нюи, помор, пети-виолет, романс-эрмитаж. За соусами: рейнвейн, сотерн, го-сотерн, шато-икем, мозельвейн, изенгеймер, гохмейер. После паштетов, перед жарким: пунш в стаканах и шампанское. После жаркого: малага, мускат-люнель, мускат-фронтеньяк, мускат-бутье». Приятного питья, леди и джентльмены!

Мучительно трудно было привыкать к виски, тем более что в нашем лондонском сельпо со скидкой продавали не скотч, а «Канадский клуб», страшное пойло, как, впрочем, и американский «Бурбон» (любители сего, не убивайте меня!). Шотландский виски требует терпеливого освоения, как Рихард Штраус или Андрей Платонов, но зато, погрузившись в скотч и продержавшись в нем несколько лет, открываешь новый мир («Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски!»). Сначала рядовые «Джонни Уокер» и «Грант», затем двенадцатилетние «Баллантайн» и тот же «Джонни Уокер», но с черной наклейкой, купаешься в «Чивас ригал»

⁷² «Женщина – это всего лишь женщина, а хорошая сигара – это курево!»

⁷³ И что б ни говорили о баре «Пикадилли», Но – это славный бар.
Вертинский

– напитке премьер-министров и резидентов (однажды купил оный за 15 руб. в Елисейском, а тут – о причуды Истории! – в кулинарии «Будапешта» оказались устрицы по 15 коп. за штуку, привезенные с каких-то экспериментальных колхозных огородов, открывали их, правда, плоскогубцами, но наглотались вволю).

Время текло под мостами...

И тут появляется на свет и тянется вереницей благородное семейство «гленов» (вид молта). Сделанных на прозрачайшей родниковой воде, на лучшем в мире ячмене, и из благотворного горного воздуха! «гленливеты», «гленфидичи», «гленморанджи», сваренные из ячменного солода, высушенного над горящим торфом и антрацитом. Солод вместе с дымом впитывает эмпереуматические материи и креозит, а после перегонки схватывает дымный дух и привкус... «Глены» корнями уходят к Стюартам, они разлиты в стройные, как талия Марии,⁷⁴ бутылки и упакованы в цилиндрические коробки из крепчайшего картона, оберегающего бутылку, если она выпадает при выходе из королевского фаэтона или во время прыжка с парашютом. В последние годы, с ростом терроризма, коробки уже делают из стали и брони, рисуя на них средневековые замки, пруды с белыми лебедями или принцессу Луизу, вручающую знамя шотландским гвардейцам в Арденкейпле-на-Клайде. Истинные почитатели виски никогда не пьют его с содовой, как лапотники-янки (все равно что закусывать шампанское селедкой). Скотч разбавляют чистой водой, желательной ключевой, можно тянуть его и со льдом, но упаси Господь в избранном обществе бросать лед в молт – все «глены» пьются только с водой, только с водой, господа, причем стоя и сняв цилиндр. Виски прекрасен, но коварен, идет он легко и без напряжения, и вроде бы лярошфуковским остроумием отмечен язык, и бьют фонтаны идей из черепа (еще не превращенного в кубок). И разомлевший шпион внезапно чувствует себя как за праздничным столом на сретенской кухне, когда каждый бормочет свое, не слушая другого, а патефон врубается в этот рев со своим «Не уходи, побудь со мной еще минутку». Но самое страшное в разведке – это коктейль «драй

⁷⁴ Той самой Марии Стюарт, которой сука Елизавета, любившая джин и авантюриста Рэли, отрубила голову.

мартини» (джин + мартини хаф-хаф, можно и смешивать и взбалтывать), по легенде любимый напиток Джеймса Бонда⁷⁵, с ног он сбивает неожиданно, как разбойник, подкравшийся сзади. Внезапная одеревенелость языка и медлительность движений плохо сказываются на развитии официальных контактов (особенно из среды чопорных и высоколобых), впрочем, порою и наоборот: одинаковая одеревенелость на миг сближает идейных антиподов.

От менторства пересохло горло. Глоток – одиночество не проходит.

Где же дитя, где же сын? Где гитара?

"Если в старом отеле погром и бедлам и папаша картины все выдрал из рам, если резко машину в кювет понесло и родитель башкой продырявил стекло, но спокойно баранку сжимает в руках и сверхмодный мотив у него на губах. Если целый сервис об сынка раздолбав, он ползет по земле, как раздутый удав, и в дубленке начнет в океане тонуть, и помчится домой, чтоб в окно сигануть, и когда на плечах понесут на кровать его тело, как куль с углем, вот тогда вы поймете, что значит смешать драй мартини и черный ром".

Продолжим лекцию.

Разведчик ставит место и размах пьянства в зависимость от ценности агента. Беседы с серьезным агентом, когда требуется выпитывать всю его трескотню в атеросклеротическую память, хорошо идут под пиво, особенно темное, вроде бархатного «гиннеса», правда, с агентами крупного калибра и с общественной репутацией такие номера проходят не всегда, особенно если это министр или парламентарий. Такие любят выпить и закусить в центральном ресторане, и не пойдут в окраинный паб, где все друг друга знают, они – любимцы общества и телевидения, и мелкая конспирация с ними равнозначна провалу: ведь весть о том, что граф Кент напился в пабе с загадочным иностранцем⁷⁶, мигом облетит всю округу и

⁷⁵ Старика Бонда кагэбисты в Москве научили пить водку с перцем, внушив дураку, что перчинки, оседая, утаскивают с собою сивушные масла.

⁷⁶ И входит айне кляйне нахт мужик,

внося мордovorот в кoсоворотке.

возбудит местную прессу. Большие пушки, большие корабли обожают шикарные рестораны, они пыхтят от важности, когда лисы-официанты, заискивающе улыбаясь, подносят к их сизым носам увесистые меню в алом сафьяне. Они медленно читают и перечитывают, облизывая губы, уже медленно пропуская по гремящему пищеводу вальдшнепов, они, наконец, торжественно заказывают и отворачиваются от официанта...

Как заказывал бутылку за бутылкой граф Солсбери! как выдерживал паузу, морщил лоб, дергал носом, как пробовал и отвергал, как требовал открыть новую бутылку, ибо находил, что, это – не шатонеф-дю-пап 1793 года, как указано на поросшей мхом этикетке, а всего лишь нюи-сент джордж 1815-го. Как я смущался, бледнел и холодел, вслушиваясь в скандал! как трепетал я, когда он вызывал хозяина ресторана и отчитывал его за подлог, и требовал его лично опробовать бутылку шатонеф-дю-пап, чтобы самому убедиться, что он торгует дерьмом 1815 года когда, как всем хорошо известно, винный урожай во Франции был катастрофическим, в чем легко убедиться, хлебнув из бутылки. «Сейчас хозяин вызовет полицию!» – страдал я. – У меня попросят документы... узнают, что я русский, все сопоставят. Ну и негодяй! И с ним теперь в этом ресторане нельзя появляться – запомнили на всю жизнь, и с другим человеком опасно – ведь и меня запомнили!»

С десяток таких случаев – и превращаешься в полного психопата. Конспирация и подозрительность заставляют говорить шепотом, ходить на цыпочках, постоянно выглядывать в окно (нет ли слежки?), весь вечер думать, правда ли, что соседу нужен был коробок спичек или он зашел, чтобы составить план квартиры для предстоящего негласного обыска. Отставные разведчики с возрастом становятся мнительными, им кажется, что они по-прежнему в центре внимания, – уже после войны никому не нужный шеф германской разведки Шелленберг при виде приближавшейся

Кафе. Бульвар. Подруга на плече.

Луна, что твой генсек в параличе.

Иосиф Бродский

жены садовника понижал голос и шептал собеседнику: «Французы всегда использовали пожилых женщин как агентов».

Начинающий разведчик обычно далек даже от мысли хорошо выпить и пожрать, он экономит народные деньги. И я, дурак, в первые годы заказывал что подешевле, и все норовил поинтенсивнее вести беседу, побольше выведать информации, мешая агентам жевать и глотать. И в тот момент, когда они покойно отправляли в рот кусок бифштекса, полив его соусом анжу, и подносили бокал ко рту, вламывался скрипучим буфетом в музыкальное чавканье с планами подрыва бактериологической лаборатории в Портоне или создания нелегальной группы на Канарских островах.

Прошли мучительные годы, прежде чем я понял, что во время трапезы пристойнее обсуждать актуальные проблемы погоды и вздохнуть, что десять лет назад в это время было и теплее и зеленее, и воздух чище, и люди добрее. А как насчет здоровья? Как ишиас, помешавший год назад вылететь в Дублин для того, чтобы выкопать портативную радиостанцию, запрятанную в тайник? Как печенька и селезенка? Кстати, не хотите гусиной печени, нет, нет, не паштета из нее, а целой, ничем не испорченной, экологически чистой foie gras? Не барахлит ли сердце? Ведь в случае чего можно и тайно вывезти в страну, ради которой мы живем и боремся, и отдать в руки опытейших советских академиков и профессоров – они не подведут (почему-то вспоминается «дело врачей»). В первые разведывательные годы, сидя за столом с агентом, я не ел и не пил, вслушиваясь в его речь, стараясь запомнить каждое его золотое слово, дабы потом воспроизвести на бумаге и отправить в Центр, – поразительно, но обычно вся эта информация отправлялась Москвой в корзину. Тогда я начал легко выпивать, что вносил тревожно-драматические нотки в информацию, причем чем больше я выпивал, тем лучшие оценки получала моя информация в Центре, и неудивительно: пожаром пылали отношения внутри НАТО, на советских границах тучи ходили хмуро, ЦРУ и СИС вербовали налево и направо, плели заговоры против власти рабочих и крестьян. От такой информации Центр млел, она летела на самый верх, ибо вполне соответствовала образу мыслей владык страны. И тогда уже на

трезвую голову впервые посетила меня дерзкая идея: а почему бы не выпить бутылку коньяка в суровом одиночестве? Кому нужна встреча с агентом, если и так все ясно до слез? Зачем рыскать по городу, собирая отзывы на очередную эпохальную речь Генерального, если и без этого понятно, что она произвела на правительственные и парламентские круги неизгладимое впечатление? Так начинают работать в одиночку.

Утро туманное, утро седое, кричит петух, обливание водой по методу Детки (ходи босиком и первым говори «здравствуйте!»), косилка ползет по щекам, чашка кофе и простая мысль: кому это все нужно? Мир разбух от информации, и пора платить деньги тем, кто ее уничтожает. И все это из-за радио, телефона, телевидения (а теперь Интернета), они сводят на нет шпионаж – а ведь было время, когда разведчик выезжал в Париж, чтобы определить точное местонахождение собора Парижской Богоматери и все новости собирал на рынке...

Дорогое мое правительство, как ты там поживаешь? Тебе не скучно? Взбодрись, пробегни добрым взглядом по скромной депеше о шотландско-валлийских отношениях и их неоднозначном влиянии на внешнюю политику Англии? Блестяще, правда? Теперь объясним генсеку местоположение Шотландии и что такое валлийцы. Он выслушает, мудро кивнет головой, а когда вернется домой со Старой, как геморрой всех вождей, площади, то расскажет жене, детям и внукам о таинственных Уэльсе и Шотландии. Добавит за чаем, что в Шотландии родился Бернс, которого хорошо перевел Маршак, и определенно заметит, что всю эту ценную информацию передал шифром один из тех скромных героев, которые умирают в одиночку. Или вдруг генсек молвит: а почему бы нам, товарищи, не направить делегацию в Валлию, где живут, если не ошибаюсь, валлийцы? Делегация – это хорошо, пьешь с ней много и главное, бесплатно, что тоже очень важно и очень приятно. Правда, некоторые, вырвавшись за кордон из своей тюрьмы, так радовались, что портили ненароком платье королевы, путали министра с мажордомом, входили в телефонную будку отеля, думая, что это лифт. Пьяные делегации – это ужасно, но гораздо ужаснее делегации трезвые.

Константин Устинович Черненко, ставший кандидатом в члены ПБ и потому отправленный в капстрану (впервые в жизни) на съезд датских

коммунистов. Не пил ни грамма из-за болезни, прибыл с персональным врачом и охранниками и поселился в посольстве, где сразу запахло аптекой, что трудно вязалось со стабильными ароматами перегара. В первое же утро после завтрака по мановению жезла помощника я, как положено, предстал перед Черненко и вкратце поведал об «агентурно-оперативной обстановке» в стране, почтительно всматриваясь (даже вслушиваясь) в неподвижный круглый лик. Был я до омерзения трезв, и потому еще больше подчинен идеям верноподданничества, вкрадчив и льстив, но чуть не опрокинул стаканчик, когда на совершенно секретном совещании Константин Устинович сообщил о последних грандиозных достижениях в нашем сельском хозяйстве. Но удержался, не выпил – и в тот же день неприятность: водитель машины, где восседали Черненко и посол, так заслушался беседой великих, что проехал на красный свет прямо под автобус, тот еле успел затормозить... В тот же вечер убеждали Черненко поднять зарплату нищающим гражданам великой державы, и в этих целях провели высокого гостя по улочкам, где располагались самые дорогие магазины. Двигались группой человек в десять: шефы всех ведомств, партком, профком. «Как же вы живете? – изумлялся потрясенный Константин Устинович, самолично увидев, что цена туфель выше зарплаты посла. – Как же живут датские трудящиеся?» – забота о них никогда не покидала наших лидеров. 65-летие Черненко в Копенгагене, и не о выпивке речь, а о подарке, и проблема в том, чтобы склонить чашу, но не пролить ни капли: вдруг отвергнет? Сильные мира сего берут не у всех, а резидент по положению ближе к егерям, нежели к сановным охотникам. В результате набор мелочей: пепельница с русалкой, термометр с варяжским кораблем, вазочка с видами Копенгагена и несколько гномов с красными симпатичными носами, именуемых в Скандинавии троллями. И грянул праздничный день, и прибыла поутру шифровка с поздравлениями от Андропова (у шефа КГБ наверняка имелся список всех великих дат, от Пушкина до членов и кандидатов Политбюро), и переступил я в назначенное время порог кабинета, который от присутствия почти члена ПБ, казалось, раздвинулся в стенах. Торжественно зачитал реляцию Председателя, блиставшую оригинальностью: «от души... на благо Родине... здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни», готовясь вручить сувениры и

надеясь на отеческий поцелуй, о котором рассказывал бы внукам до конца дней. Константин Устинович хитро улыбнулся и по-простецки вздохнул: «Эх, Юрий Владимирович! Злоупотребляет Юрий Владимирович своим служебным положением!» (Мол, использует служебную шифрсвязь!).

«А вот от меня... от нас... скромные сувениры... тролли...» – "Тролли?" Смятение и удивление на лице при виде красных носов и колпаков. – «Это датские гномы, волшебники для внуков...» – растолковывал дурак. («Сейчас, сейчас притянет меня к груди... сейчас! А в Москве скажет Юрию Владимировичу, какой умный резидент сидит в Дании»). Я чуть расслабил ноги, став пониже, чтобы ему легче было заключить меня в объятия, но черт побери! они любить умеют только мертвых! Как хотелось быть ценным вождями, служить и поклоняться, чувствовать себя причастным к мудрым политическим деяниям! Особенно тем, кто порой вдруг обнаруживал остроумие или вдруг садился за фортепиано или выдавливал из себя пушкинский (а то и собственный!) стишок...

М-да, мы умели служить, этого у нас никто не отнимет, служить верно и яростно, а потом выпить – и обо всем забыть.

Снова пошло пятнами: дом рыбака и охотника на Сахалине, вечно пьяный хозяин, два года назад опрокинувший в море лодку с семьей. Он вспарывает брюхо горбушам, заполняя марлю икрой, опускает в раствор соли, он бродит вокруг дома, собирая пустые бутылки, на которые и пьет. Пятничный заезд, три переполненных автобуса с отдыхающими, уже в дрезину упившимися, они шумно вылезают и с ходу пьют остервенело, словно в последний раз, они, качаясь, танцуют, гремя «На диком берегу Иртыша». И все это у таежного леса, объятого свежими и сочными запахами, рядом с прозрачной рекой полураздетые бабы изливаются в похабных частушках, хозяин уже спит мертвым сном, в воскресенье автобус отбывает, к среде хозяин просыпается и бродит, собирая бутылки. Цикл закончился.

Еще пятно по контрасту: чинно собираются на охоту румяные датские дяди в бриджах и высоких обтягивающих щиколотку рыжих ботинках со

шнуровкой, черные лимузины, торжественный развоз охотников по местам, глоток виски из плоской фляги с серебряным горлышком и в черной коже, сообщающей, как писали в прошлом веке, приятное тепло рукам. И егеря стучат, лупят палками по кустам, оттуда, словно тарелочки в тире, круто взмывают в небеса фазаны, – пиф-паф! ой-ой-ой! – пробитое тело замирает в воздухе, резко тормозит и жалким комочком рушится на землю. Гости возвращаются к столу, за ними на вездеходе с прицепом следуют цветастые трупики фазанов, их раскладывают на земле в мистическое каре. Парад фазанов, ритуал священный, пьют не только аквавит, но и стародатский ликер, похожий на итальянский фернет бранка, горький настой из благовонных трав.

Иностранцы сраные, пижоны говяные, да разве так пьют?!

Что нам белесые варяги?! Скучны, как дохлая треска! Что Конотоп, что Копенгаген, все начинается на «ка»! Люблю собачек я и кошек, их много в городе и вне, и вечно со своих подошв ножом соскабливаю «ге». По пляжу побежишь за водкой, тебе тепло и хорошо. А рядом голые красотки лежат с распущенными жо. Сидим на озере, косые, и каждый – лоб и эрудит. И тихо спит советник синий на чьей-то огненной груди.

В добротном пьянстве важны сюжет и интрига, иначе оно вырождается в тупой алкоголизм: хочется увозить трех сестер в Москву, рубить вишневый сад, разыгрывать друзей по телефону от имени председателя КГБ. Но все равно скручивает и душит тоска, мир рассыпается, люди исчезают, и остаешься совершенно один, не считая бутылки. Выручает телефон – лучший друг человека и панацея от одиночества. Одна беда: ночью приятели спят, и приходится звонить туда, где еще не поздно – в Нью-Йорк, Лондон, Рио-де-Жанейро. Сюжеты, обрывки фраз, ухмылки, *allegro ma non troppo*, прошлогодний снег, жизнь, *allegro vivace*, хохот («Как же ты полез по балкону в окно, ведь это восьмой этаж!»), *andante fredo*, амиго, помнишь, как ты выдрал в отеле перо из чучела павлина, а потом в ресторане бросал в метрдотеля кусками жареной рыбы? Кто в жутко дорогих ботинках «Ллойдс» бродил по воде вдоль морского берега, проверяя их на прочность? Кто изображал из себя президента США? Разве можно орать члену ЦК, что ты – русский коммунист и потому можешь

путешествовать по миру без разрешения каких-то инстанций? Не стреляйте больше из газового пистолета, у меня до сих пор во рту – словно спалили куриные перья. Танцевали, пели под оркестр «как же это было? как же это было!» (Кикабидзе), а потом оказалось, что никакого оркестра в тот вечер в ресторане не было. Не сидите долго в ресторанных сортирах, хотя там хорошо спится: проклятые служители стучат в кабину и кричат «пора!», им все равно, народ испохабился, хочет взятки, норовит урвать...

Завтра в восемь, как всегда, на вокзале рядом с буфетом,
 где пьяницы хлещут водяру и запивают мадерой,
 в зале ожидания, где навалом, вповалку лежат тело за телом,
 где бабки в платках на тюках и младенцы режут на руках оглашено.
 Приляжем рядом, осторожнее, носом не ткнись по ошибке в румяную
 пятку...

Это я, бедолага, влюблен и рифмую. Я иду по вокзалу, и мне легко. Я родился в мае, когда Телец уже перекрыт Близнецами, я легко запоминаю прочитанное, люблю общество, развлечения и вкусно поесть, имею хорошую деловую интуицию, люблю одеться комильфо, потому считаюсь богаче, чем есть на самом деле, я ревнив, обладаю врожденным чувством гармонии, ритма и цвета, из таких выходят превосходные должностные лица, служащие и лидеры в правительственных организациях и армии, гороскопы едины и в том, что я верный и надежный друг, а также могу быть доброй терпеливой няней и исцелителем, склонен к садоводству, имею отличное телосложение, но тем не менее подвержен болезням горла, носа и верхней части легких.

Твердую рукою, не квадратной, без холма Венеры, с короткими ногтями (наклонность к сердечным болезням, недомоганиям туловища и нижних частей тела), легко покрытой волосами, что указывает и на энергичность, и на флегматичность, пока еще твердую рукою я наливаю в пластмассовый стаканчик, прихваченный дома, и пью.

Истина в вине, пьяное чудовище!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ВНОВЬ НА ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ. ВЕРШИТЕЛЬ СУДЕБ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. РАБОТА С КИМОМ ФИЛБИ.

МОСКВА, 1974 – 1976

Герр доктор чертит адрес на конверте: «Готт штрафе
Ингланд, Лондон, Фрэнсис Бэкон».

Иосиф Бродский

Счастье начальственной столовой и ондатровой шапки вдохновило меня на новый подвиг: почему бы не написать кандидатскую диссертацию и не присоединиться к важным лысынам окружавших меня научных мужей? Зверь в облике этнопсихологии, запретной при Иосифе Виссарионовиче, считавшем, что национальный характер проявляется лишь в области культуры и т.п., уже бежал на ловца. Тема была воистину золотой жилой, в официальной науке (психологии или этнографии), ее касались с опаской, в нашей разведке о национальном характере писали отрывочно и сугубо прагматически – так что мне выпало счастье соединить несоединимое: Англию, психологию и разведку.

Тема моя звучала «Особенности национального характера англичан и их использование в оперативной работе» – держитесь, леди и джентльмены! Почтенный сэръ Майкл взялся за ваши слабости, и вскоре научит весь мир, как всех вас вербовать. Королева с ума сойдет, узнав, что ее подданных отныне любой дурак сможет привлечь к сотрудничеству с помощью простой методики предприимчивого подполковника. Я начал читать различные труды⁷⁷ по национальному характеру и не на шутку

⁷⁷ Особенно заинтриговала меня «Сексуальная жизнь в Англии» доктора Айвана Блоха. чего стоит описание жизни Эммы Гамильтон: служанка, в двенадцать лет прочитавшая все аморальные романы, любовница какого-то прокуренного капитана, которой она стала ради получения работы ее родственником. Потрясающая красавица, любовница, а потом жена сэра Уильяма Гамильтона, британского посла в Неаполе, в танцах доводившего до обморока молодых женщин (ему было всего лишь семьдесят). Наконец, бурный роман с адмиралом Нельсоном. Его письмо: «Ты

увлекся: редко встречался писатель и в Англии, и в России, который не изрек бы несколько премудростей по поводу национального характера англичан, многие писали с блеском, причем противоречили и опровергали друг друга.

Почему было бы не добавить в окрошку и щепоточку собственного видения, этнопсихология от этого не умерла бы, и вообще, как писал Тимофеев-Рессовский, «наука – баба веселая и не любит, чтобы с нею обращались с паучьей серьезностью». Но главной целью, естественно, было получение ученой степени, и рецепт этого был до склероза прост: сначала подвести железную идеологическую базу, ошеломить библиографией (прочитать бы хоть один процент!), указать со слезой на пробелы, образовавшиеся в тяжком разведывательном труде из-за халатного пренебрежения наукой. Затем навешать на марксистско-ленинский скелет оперативные макароны и придать всей этой требухе практический характер, что, несомненно, подвигнет оперативный состав на вербовку нации лавочников во всех точках земного шара, и особенно в осинном гнезде – Лондоне.

Мои дерзания, естественно, потребовали общения с архивами по Англии, и это привело в родной отдел к его новому шефу Дмитрию Якушкину, недавно прибывшему из Соединенных Штатов. Дмитрий Иванович был ох как непрост, один вид его внушал благоговение: высок ростом, орлиный нос, прекрасная речь, не случайно он считался потомком знаменитого дворянина и декабриста. Незауряден, колоритен, явный интеллектual, иногда наизусть цитировавший Льва Толстого, умница и превосходный собеседник, собиратель книг по истории (причем эмигрантских авторов!), истинный либерал и отец русской демократии, – но... бойтесь стереотипов! – у Дмитрия Ивановича все это причудливо сочеталось с махровым сталинизмом. На этой почве он со многими

ожешь не опасаться ни одной женщины в мире, кроме тебя никто ничего не значит, для меня ты – все: я никого не могу сравнить с моей Эммой...», его преждевременная смерть. Далее падение леди Гамильтон, разврат, долговая тюрьма и смерть от цирроза печени. Разве все это не имело отношения к оперативной работе?

коллегами испортил отношения, хотя с высоких трибун о своей любви к вождю народов не вещал⁷⁸.

Однажды, провожая сына в пионерский лагерь КГБ, среди пап и мам я встретил Виктора Грушко, он, застенчиво улыбаясь, сообщил, что недавно вернулся из Норвегии и назначен заместителем Якушкина, чему он был несказанно рад. Тогда он не знал, что его ожидает феерическая карьера в фарватере бурно плывшего вверх Крючкова: вплоть до первого заместителя председателя КГБ. Грушко отличался острым умом, хорошей памятью, умением сглаживать углы. Человек он был незлобивый, даже добрый. Случай (дружба со школьным другом, ставшим помощником Леонида Брежнева) свел его близко с Крючковым, который, словно тягач, потянул его до самого верха, включая и бурные события августа 1991 года. Правда, в тюрьму Грушко не попал, но много пережил, и через несколько лет преждевременно ушел из жизни. С Виктором Федоровичем у меня всегда были прекрасные отношения, правда, после отставки они закончились.

Однажды после бесед в отделе о загадках англо-саксонской души (я даже проводил анкетирование об ее особенностях, хотя для большинства сотрудников национальный характер был terra incognita) я заглянул к Якушкину, который совершенно неожиданно предложил мне должность своего заместителя – это было лестно, интересно и перспективно.

Бес попутал меня в очередной раз.

Вскоре я был проведен на беседу к курировавшему отдел Крючкову, не так давно назначенному Андроповым первым заместителем под обреченного шефа разведки Федора Мортина. Брали меня как эксперта по Англии, призванного если не восстановить былую славу лондонской резидентуры, то, во всяком случае, подчистить пепелище, образовавшееся

⁷⁸ Мне всегда вспоминалась характеристика Герценом генерала Дубельта: «...много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше сказать, накрыл все, что там было». Якушкин вскоре отбыл резидентом в Вашингтон, его самостоятельность и неординарность не очень импонировали шефу разведки Крючкову, посему своим замом он его не сделал. Последний раз я видел Дмитрия Ивановича около здания ТАСС, где он трудился последние годы, мы мирно прогулялись по Тверскому, он был мрачен и не склонен к разговору. Вскоре он умер от рака.

после массовой высылки в 1971 году ста пяти советских дипломатов. Скандал 1971 года, обостривший до предела англо-советские отношения, вспыхнул после бегства на Запад сотрудника бывшего отдела «мокрых дел» Лялина, вроде бы и выдавшего асов КГБ и ГРУ⁷⁹. В московских высших сферах все возмущались наглостью англичан и сравнивали акцию со знаменитой в 20-х годах нотой Керзона.

На самом дела такая высылка уже давным–давно назрела: англичане сначала намекали, а потом уже прямо указывали на безудержный рост советских представительств, об этом гудели и в парламенте, и в прессе, но попробуйте остановить законы Паркинсона и выход советской бюрократии за границы столь любимого Отечества! Ретивые МИД и прочие учреждения не отставали от двух разведывательных служб и протезировали в Лондон лучших детишек истеблишмента. Резидентура КГБ, если бы ее вовремя не остановили, превратилась бы в солидное управление с отделами и собственной конюшней с золотой каретой для выездов резидента в Букингемский дворец на аудиенцию у королевы. В то же время число англичан в Москве на фоне нашей славной дивизии выглядело мизерным (в отличие от США). Посему ответные меры выглядели жалко и бессильно.

В посольстве в кровопролитии 1971 года не уцелел ни один сотрудник резидентуры, кроме молодого Виктора Кубекина, прибывшего в Лондон после бегства Лялина и потому не известного предателю. Высокий жгучий брюнет с сочным баритоном, Виктор Николаевич выглядел весьма солидно, и длительное время эффективно возглавлял линию политической разведки (одно время был и. о. резидента), опираясь на наших подкрышников – журналистов, которых англичане не выперли из уважения к свободе слова. Работал он почти в одиночку и весьма эффективно. После возвращения Кубекина намеривались направить в Лондон уже полноправным резидентом, но англичане зарубили ему визу, и его бросили на Финляндию, там в резидентуре не терпели чужаков. Затем Кубекин развелся с женой и вновь женился, разбив семью внука небожителя,

⁷⁹ Все или почти все разведчики были известны британской контрразведке и до бегства Лялина, к тому же, в список добавили и активных дипломатов. Так что жест носил явно политический характер.

министра иностранных дел Андрея Громыко. Разразился жуткий скандал, словно он обесчестил жену самого министра, и молодожена тут же перебросили на незначительное место и через некоторое время отправили на пенсию. Отметим, когда рядовой разведчик Шальнев скандально развелся с женой и женился на дочке Георгия Цинева, заместителя Андропова и друга Брежнева, то он резко пошел в гору и получил «генерала». Кубекин после перестройки никак не мог устроиться на работу, но наконец, встал на трудную стезю переводчика (он окончил институт иностранных языков), в отличие от некоторых коллег, пролезших в фирмы и банки, ничего не смысля в бизнесе и финансах.

Ноша на меня легла ответственная: организовать разведывательную работу в Англии, причем действовать и через третьи страны, причислив Альбион к главному противнику – США. Резидентурой после скандальных высылки руководил офицер безопасности, закаленный во внутренних боях латышский кадр (стрелок по духу), бдивший и высылавший за грехи (так, например, погорел советник К., не совсем погано отозвавшийся о Сахарове), но лишь в общих чертах представлявший и страну пребывания, и разведывательную работу.

Посему начать следовало с подбора резидента, но тут проблема уперлась в английское упрямство: мы представляли на выезд десятки выдающихся мастодонтов, но проклятые англичане, потеряв совесть, сбивали всех, кто имел зарубежный опыт. Наши ответные меры и «подвешивания» на визе собиравшихся в Московию британских сотрудников имели лишь малый эффект, время летело, реальных кандидатов не было, и Мортин, чувствуя, как уходит из-под него кресло, однажды запальчиво вскричал: «А почему бы не послать в Лондон самого Крючкова? Он не засвечен, ему наверняка дадут визу!»

Вскоре Мортину, словно по ариказу кэрроловской Королевы, отрубили голову и сделали советником при Председателе.

На трон взошел Владимир Крючков, незадолго перед этим мы отметили его 50-летие, таинство причащения совершали в основном счастливики, трудившиеся под его крылом. Благоговейно вошли мы в

кабинет (с какими-то приятными, но недорогими подарками – у Крючкова была репутация аскета а-ля Савонарола, не пившего и дорогих подарков не бравшего, эти слухи вместе с его тягой к театру все время упорно поддерживала свита, думается, не без подсказки шефа). Впереди – Дмитрий Иванович (благородный орлиный профиль), затем Грушко (скромный и улыбчивый) и я (чтобы никого не обидеть – с физиономией, переходящей в кувшинное рыло). Крючков был суховато любезен, и предложил нам шампанского, Якушкин молвил что-то прочувственное, Крючков дотронулся до шампанского губами, еще минута – и мы быстро ретировались, ибо на подходе у дверей суетились и другие хитрованы.

Якушкин имел страсть к высоким сферам и влиятельным знакомствам, что хорошо вписывалось в свежую линию на использование в работе крупных советских тузов (редакторов газет, академиков, ведущих дипломатов), временами наезжавших в Англию. Это соответствовало политике Андропова – Крючкова, стремившихся втянуть в круг своих интересов как можно больше бонз из других ведомств и тем самым держать под контролем всех и вся. Такие встречи обставлялись со сдержанной помпой, в кабинетах «Праги» или «Арагви». Дмитрий Иванович обыкновенно брал меня с собой, там мы, нарушая пищеварение, ставили перед визави интересующие нас вопросы. Затем сообщали в лондонскую резидентуру о грядущем приезде сиятельной особы и просили оказать содействие вплоть до оплаты встреч с англичанами. Печально, но урожай, посеянный на этих вкусных ленчах, всходы давал слабые: отъезжавшие согласно кивали головами, а иногда даже горели энтузиазмом и прикидывали, кого из своих английских друзей превратить в родник животворной информации. Но на этом дело, как правило, и кончалось, никто не шел на рожон, но и не отказывался – кому охота портить отношения с КГБ? Страх и нежелание засветиться и испортить себе карьеру – вот причина уклончивости этих товарищей. Правда, звон от таких встреч всегда доходил до ушей Крючкова, который подавал все это Андропову как нетрадиционный вклад в великое дело.

Воцарение Крючкова мы встретили со сдержанной радостью, ибо отныне разведка получала незримый высокий статус: Крючков замыкался

на самого Председателя, будучи его верным клеветом, служба сразу поднялась над грешной землей, и затрепетали все, особенно конкурент МИД (Громыко еще не включили в ПБ). Кроме того, Крючков не свалился с утонувшей в борьбе со шпионами и диссидентами периферии, не походил на сомнительного вида двух первых зампредов Цвигуна и Цинева, подставленных, как два цербера, под Андропова доверяющим, но проверяющим Брежневым (один – дружок, другой – родственник). Усмирят контрреволюционный переворот в Венгрии в 1956 году (тогда либералы восторгались, как тонко Андропов подобрал прогрессивного Кадара, правда, забывали о загубленном Имре Наде), работал в международном отделе ЦК, отличался трудолюбием, цепкой памятью и вполне вписывался в светлый образ шефа в глазах офицеров политической разведки, задававшей тон в Первом главном управлении (ПГУ).

Правда, на собраниях Крючков выступал, читая по бумажке, блеском идей не отличался (впрочем, тогда принято было выглядеть даже серее, чем были на самом деле) и внешне удивительно походил на бухгалтера – не хватало лишь деревянных счетов и нарукавников. Что касается его непрофессионализма, то, на мой взгляд, для руководителя такого калибра совсем не обязательно разбираться в тайниках, явках и конспирации – для этого существуют заместители и аппарат. Умело маневрируя меж «американской», «азиатской» и прочими «мафиями», сложившимися в ПГУ по региональному признаку, Крючков сделал ставку на Виктора Грушко (не забыть о помощнике Брежнева!), потянувшего за собой Геннадия Титова и «скандинавскую мафию», ставшую опорой Крюčkова до августа 1991 года.

В счастливые времена отлучек Якушкина и Грушко я общался с шефом разведки: носил бумаги на подпись, что-то согласовывал. Однажды, сидя в кресле с поломанными колесиками, я с такой верноподданнической страстью рванул к прямому телефону, что рухнул, гремя костями, вместе с креслом на пол, не выпустив, однако, трубки. Помнил о подвиге Матросова! «Что там случилось? Что за шум?» – «Все в порядке, Владимир Александрович!». Он задал несколько вопросов, я бодро отвечал, дергаясь на полу под проклятым креслом, – вошедший в кабинет сотрудник в ужасе застыл, как будто увидел со мною на полу американскую агентессу.

Работать с Якушкиным было сравнительно легко, сложнее обстояло дела с личными отношениями: авторитарностью его небо не обделило. Даже в обед, раскрыв меню и зачитывая, как монолог Пимена, заказ официантке, он следил, чтобы и мы с Грушко не отклонялись от его выбора, и, когда я, осмелев, иногда заказывал навагу, вместо бифштекса, в его строгих глазах сверкали недобрые искры. Служебная машина привозила и увозила Якушкина вместе с Грушко (они жили недалеко друг от друга), однажды решили подвезти и меня (жил я в новом счастливом браке, но аж в окраинном Чертаново), машина тряслась по кочкам минут сорок, Дмитрий Иванович был суров, как Зевс, и с тех пор меня больше не подвозили.

И все потому, что был я на вторых ролях и жил в Чертаново, "где ни черта, где лишь тщета и нищета, и бродят только пьяные по грязному Чертаново"...

О Сталине мудром, родном и любимом с Якушкиным я старался не говорить, однажды, правда, в ресторане имел неосторожность чуть усомниться, но Дмитрий Иванович взорвался, как фугас, и Грушко, больно наступая мне под столом на ногу, долго его успокаивал. Однажды, в день высылки из СССР Солженицына, когда мы втроем, как обычно, державно двигались по двору в столовую, Якушкин заметил, что на днях Андропов интересовался у руководящего состава, какие шаги они предприняли бы в отношении Солженицына⁸⁰. Дмитрий Иванович заметил, что поставил бы его к стенке (до сих пор поверить в это не могу, видимо, ему нравилось выглядеть максималистом). Я мягко возразил, что, мол, XX съезд и прочее, но был обозван то ли либералом, то ли еще хуже, и на время попал в немилость. Благо Якушкин быстро отходил, было в нем и декабристское

⁸⁰ Через полгода мы сдавали в архив дело когда-то крупного агента-англичанина, перешедшего затем на сторону врага, и обнаружили из прессы, что в Цюрихе ренегат встречался с Солженицыным - «Пауком». Как это использовать? Явились ребята из идеологической «пятерки» и предложили досадить «Пауку», раскрыв, что его новый дружок принадлежал к агентуре КГБ. В результате я начертал письмо «Пауку» от имени диссидента – полковника КГБ, его почитателя и ненавистника Системы, с разоблачением англичанина, «пятерка» правда, сдержанно отнеслась к моему творению и поставила крест на операции.

благородство, уже после моей отставки, вернувшись из Штатов, он счел делом чести специально пригласить меня в ресторан, дабы обласкать.

Вскоре Дмитрий Иванович уехал стражем нашей крепости в Вашингтон, началась эра Грушко, плавно и уверенно пересевшего в то самое кресло, которое сыграло со мною злую шутку. Рекордов в это время мы не поставили, хотя пытались сплотить на борьбу с коварным Альбионом всю разведку, но укрепили точку кадрами, попускали фейерверков по линии активных мероприятий, при Крючкове они все больше входили в моду, видимо, Андропову нравилось выглядеть вершителем мировой истории.

Лондонская резидентура тем временем шуговала в Центр совершенно официальную информацию, уступавшую «Таймс» и другим серьезным газетам, но самое поразительное, что эта информация, хлынув нарастающим потоком, приобрела котировку ничуть не хуже, чем до разгрома точки в 1971 году. Вполне объяснимый парадокс: информационная служба уже задавала тон, в крупных точках имела своих представителей – отработчиков сырья, знавших, как писать и в каком стиле, чтобы нравилось в инстанциях. Многие резиденты быстро усекли это нововведение Крючкова, и информация текла в основном без серьезной опоры на секретные источники. По этому поводу один из заместителей начальника разведки как-то полушутя заметил: «Пожалуй, резидентуры только мешают работе Центра. Не закрыть ли их? Это будет дешевле – ведь экономика должна быть экономной».

Инстанции живо интересовались перипетиями в английских правительстве и политпартиях, взаимоотношениями Англии с США и НАТО, и с Африкой, и с Азией и, конечно же, позицией в отношении Советского Союза. Однако лишь только в информации появлялись глубокие оценки положения в СССР, что, казалось бы, больше всего должно было волновать верхи, как все летело в корзину. Покоренный премудрейшим «либеральным» имиджем Андропова, в порядке здоровой инициативы я однажды отправил в перевод несколько статей советологов, кажется, Эдварда Крэншоу и Виктора Зорзы, с анализом борьбы в Политбюро и передал материалы Крючкову для Андропова. Вскоре они вернулись с

размашистым: «Уничтожить!». Всмотревшись в андроповскую резолюцию, я вдруг понял, что он, как и все, включая Брежнева, панически боится подножки коллег. Статья содержала едкую издевку над Суловым, кто знает, а вдруг поползли бы слухи, что председатель КГБ собирает компру на главного идеолога? На все ПБ? Что сказал бы Генсек? Черт побери, действительно ужас! Возвращая статью, Крючков заметил, что такие материалы ему больше не нужны (сначала он нашел их интересными, иначе не стал бы докладывать).

Работать с Грушко было одно удовольствие, он не любил вмешиваться в оперативную текучку, просматривал лишь переписку с резидентурами, почти не правил документы, правда, очень тщательно готовил все, что текло вверх к Крючкову и дальше по восходящей, – разумный стиль работы, избавлявший от суеты, вечного столпотворения в кабинете и сования носа во все дыры. В козырных тузах нашего отдела ходила не спаленная Англия (от нее только и ждали неприятностей), не унылые скандинавские страны (кроме Норвегии, где была кое-какая агентура), не Австралия и Новая Зеландия (потом добавили Фиджи и Мальту), заброшенные, дохлые точки, приятные лишь для так называемых инспекционных командировок, а соседняя Финляндия.

Там, пользуясь особыми межправительственными отношениями, разведка всегда снимала жирные пенки, оттеснив далеко в сторону МИД, и фактически занималась дипломатией. Хватало тут, конечно, и настоящей разведки, но мыльных пузырей было не меньше, финны легко шли на доверительные и прочие контакты, руководствуясь «особыми отношениями» между президентом и советским руководством, тем более, что страна имела от СССР крупные экономические выгоды в обмен на эфемерные политические уступки типа «идеи Кекконена» о создании безъядерной зоны в Скандинавии, по сути дела блеф и иллюзия – кто бы стал выводить натовские базы из Дании и Норвегии?

Советским лидерам, испытывающим растущую международную изоляцию, просто необходимы были как самоутешение подобные лекарства, за них отваливали и лес и нефть и многое другое. Совершенно ясно, кто выиграл в результате от «советского влияния» в Финляндии.

Бывшая глухая провинция, обогнала Англию по уровню жизни, вот тебе и "глубинка!" Вот тебе и Чухляндия!

Финляндия напоминала огромный банкетный зал, в который валом катились советские вожди всех уровней, члены ПБ чувствовали себя как дома, двери гостеприимства были широко открыты, ритуалы в саунах отработаны в деталях, меж парилкой и бассейном (или Финским заливом). За обильным столом решались важнейшие государственные вопросы, под приезд Брежнева на СБСЕ резидентура приобрела еще одну дачу, жизнь воистину была ключом... Сколько умников выбивало там квартиры у размякших деятелей Моссовета, сколько народу погрело руки на сделках с финнами! Я сам, пробыв там однажды два дня и парясь в сауне торгпредства с зам. министра внутренних дел, получил от последнего визитную карточку, которой отпугивал ГАИ лет десять⁸¹.

Но Финляндия, увы, не относилась к моему домену, а британские дела не радовали. Так и не удалось найти светило на роль шефа резидентуры, англичане закаленных бойцов упорно не пускали, пришлось смириться с этим и держать шефами офицеров безопасности – контрразведчиков, с политикой, как правило, не друживших. Пока мы страдали от агентурного безрыбья, английская пресса и особенно сотрудник МИ – 5 Райт приписывали нам и бывшего премьер-министра Гарольда Вильсона, и шефа контрразведки Холлиса – такие агенты могли присниться лишь в розовом сне...

Тяжка была история резидентуры в 60-70-е годы, провалы измучили и подточили, и не покидает мысль, что среди нас действовал опытный английский агент (не Гордиевский, попавший на английское направление лишь в начале 80-х), наверное, он спокойно ушел на пенсию и мирно доживает свой век, подрезая розовые кусты на своей комфортабельной даче под Москвой.

⁸¹ В порядке пускания слезы отметим, что от ведомства я не получал никогда квартиры, после развода и размена жил в однушке в Чертаново, а потом около Варшавского шоссе. Правда, после смерти отца с помощью связей удалось получить прекрасную квартиру на Ленинском проспекте, но новый развод переселил меня в маленькую, но уютную квартиру в старом доме на ул. Готвальда.

Мои подвиги на альбионском направлении вряд ли будут полными без описания работы с блестящим Кимом Филби. Мысль привлечь его и других золотых агентов к воссозданию работы резидентуры озарила меня сразу по воцарении в кресле зама начальника отдела. Мои попытки встретиться с Дональдом Маклином, тоже ярким участником «кембриджской пятерки», успеха не имели, ибо мне сразу заявили, что Маклин сочувствует диссидентам и не желает общаться с почтенной организацией. Мне удалось поланчевать с Джорджем Блейком, однако, он деликатно отказался от участия английских делах, ибо готовился защитить диссертацию и всерьез заняться научной работой. Ким Филби, наоборот, с радостью ухватился за мое предложение, и с тех пор до моей отставки мы находились в постоянном контакте...

Ким умер в Москве 11 мая 1988 года. Шумел, разрывался радиоэфир, газеты мира не скупилась на пространные статьи и некрологи – ведь вокруг имени аса советской разведки десятилетиями не утихали страсти, о нем выходили кинокартины, бестселлеры, монографии.

Вторая родина не баловала вниманием своего героя: скупые строчки о смерти в «Известиях». Так информируют о мелких землетрясениях, небольшие некрологи в «Красной звезде» и «Московской правде», без портрета, конечно, это не «Таймс» или «Фигаро». Безымянная группа товарищей, о, эти вечно скромные, вечно невидимые товарищи!

Как-то удивительно правильно уравнивала нас смерть в той нежной Системе – и не важно, проник ли ты в самое сердце английской разведки, рискуя каждый день и ожидая провала, или же протирал всю жизнь штаны в руководящих кабинетах ПГУ или ЦК. Важно, что ты Номенклатура, тогда даже гроб положен поуютнее и посolidнее, и орденов погуще, чем у закордонного агента, и некролог соответственно пожирнее и покрупнее, с подписями членов правительства, а то и Политбюро.

С Филби прощались в ведомственном клубе, конечно, без предварительного объявления в печати, впрочем, иностранная пресса не отрезана, благодаря наступившей гласности.

Впрочем, много ли знали в СССР о Киме Филби? Сначала сообщение в 1963 году, что некий гражданин Великобритании попросил в Советском Союзе политического убежища, дело понятное: не выдержал человек трущоб, безработицы и духовного распада буржуазного общества, порвал с печальным прошлым и уехал в страну светлого будущего. С годами в печать проникали лишь малые крупницы правды, вдруг, народ не так подумает? не так поймет? Беда с этим народом, одна беда! Да и Ким Филби плохо вписывался в идеальный образ положительного героя – разведчика, которым кормили страну десятилетиями. Не из трудовой семьи – отец сначала верно служил британской короне в Индии, где 1 января 1912 года и родился Ким, а потом стал известным ученым-арабистом, получил титул сэра, обожал путешествовать и к концу жизни принял мусульманство. И не только по происхождению, но и по другим параметрам мало подходил Филби под общепринятые стандарты, слишком много грешно-человеческого было в его натуре: и приверженность к шотландскому виски и недожаренным бифштексам, и романы, и четыре брака, и разводы, и любовь к свободе – сомнительное качество, когда работаешь на царство осознанной необходимости. Не стрелял он из пистолета без промаха, не прыгал с парашютом, не терпел спорта, не владел самбо и, наверное, и недели не продержался бы в нашем разведывательном ведомстве – тут же вышибли бы! Зато он в избытке обладал мужеством и верой в ослепительную Утопию, посетившую его в привилегированном Кембридже, куда он поступил из не менее знаменитой частной школы Вестминстер. Времена студенчества пали на годы мирового экономического кризиса, на безработицу и нищету, кембриджский вольный воздух клубился от революционных идей, в колледжах шумели политические баталии, там Филби и увлекся марксизмом, хотя в компартию никогда не вступал.

Сейчас система рухнула, идеи обанкротились, и еще долго иные бывшие коммунисты, будут лупить современной палкой по спине ушедшего прошлого и развеивать ненавистные прахи, еще долго будут восстанавливать истину и винить в предрасположенности к сталинскому коммунизму Шоу, Уэллса, Барбюса и Фейхтвангера, Рамсея Макдональда и лейбористскую партию, французских социалистов, Милюкова, Бердяева и

легионы других, еще долго будут надрывать и клеймить, вырывать людей и события из контекста совсем иного времени и иной психологии.

Ну а что, если представить, что в тридцатые капитализм выглядел действительно жутко? Или, мягко говоря, непрезентабельно? Если представить, что перед чудищем фашизма неведомая Россия, умело сокрытая от западных очей, виделась многим чуть ли не спасителем мира от неминуемого краха? Что там интеллектуалы Барбюс, Шоу и Мальро! Что там левые лейбористы! – британский шпион Сидней Рейли в личном письме жарко писал своему другу Брюсу Локкарту, тоже честно боровшемуся с большевиками: «Я считаю, что, пока эта система содержит практические и конструктивные идеи социальной справедливости, она должна постепенно завоевать весь мир».

Кровопускания Вождя народов и все ужасы последующих нелегких лет не раз порождали у Филби боль и сомнения. Вот что он написал об этом уже в Москве: «Когда стало ясно, что в Советском Союзе дела идут очень плохо, у меня оставалось три пути. Во-первых, совершенно бросить политику. Это было невозможно. Конечно, были у меня и интересы, и желания помимо политики, но только политика придавала им смысл и значение. Во-вторых, я мог продолжить политическую деятельность на совершенно иной основе. Но куда было податься? Политика Болдуина – Чемберлена оценивалась мною точно так же, как и сейчас: она была глупой. Я видел путь обидевшегося изгоя... и мог возмущаться и Движением, и Богом, которые подвели МЕНЯ. Ужасная судьба, как бы она ни была привлекательна! И третий путь – это вера в то, что революция переживает искажения, допущенные личностями. Этот курс я избрал, полагаясь частично на разум, частично на инстинкт. Г. Грин в книге «Тайный агент» рисует сцену, когда героя спрашивают, лучше ли его вожди, чем другие. «Конечно, нет! – отвечает он. – Но я предпочитаю людей, которых они ведут». – «Значит, бедных – правы они или нет?» – «А чем это хуже моей страны – права она или нет? Вы выбираете свою сторону раз и навсегда, это может оказаться и невероятная сторона. Только история сможет это доказать».

«Это может оказаться и неверная сторона» – не случайно Филби остановился на этой цитате. Разные мысли, видимо, приходили ему в голову в Москве, в разгар триумфов развитого социализма.

Свою судьбу с советской разведкой он связал в 1933 году, когда заканчивал Кембридж, на Филби уже тогда имели виды, но требовалось «отмыть» левую репутацию, подмоченную прокоммунистическими симпатиями и романтической поездкой в Австрию. Там молодой Ким помогал спасать социалистов от преследований правительства Дольфуса, а заодно и вывез в Англию еврейку-коммунистку Литци Кольман, сделав ее своею женой. Вскоре Филби по заданию разведки стал членом англо-германского общества дружбы, помогал издавать профашистский бюллетень и временами наезжал в Берлин для получения интервью у нацистских бонз. Образ юного германофила, отличавшегося умеренно консервативными взглядами, вполне отвечал чаяниям части тогдашнего истеблишмента, искавшего точки соприкосновения с фюрером и вскоре заключившего мюнхенские соглашения.

В феврале 1937 года в качестве корреспондента «Таймс» Филби уехал в Испанию, прямо в пекло гражданской войны, и не к республиканцам, а в войска генерала Франко. Профессия журналиста – сущий клад для работы разведчика, образованный англичанин с покладистым общительным характером регулярно передавал репортажи и даже удостоился «Красного креста за военные заслуги» от Франко. Связь с нами в годы кровопусканий у Филби была нерегулярной: кураторов расстреливали, а замены не прибывали, почти целый год по приказу Берии лондонская резидентура была закрыта. В английскую разведку Филби удалось поступить в 1940 году – помогли и происхождение, и связи. Сначала дерзал он на испано-португальском направлении, затем ему добавили Северную Африку и Италию, а в 1944 году назначили начальником секции по борьбе против СССР и коммунизма – можно представить ликование в кабинетах на Лубянке.

С началом войны советская разведка, имевшая в то время, наверное, лучший в истории России заграничный агентурный аппарат (это и неудивительно: ведь к нам тянулись многие антифашисты), переживала, как

и вся страна, глубокий кризис. Кадры разведки были беспощадно репрессированы, и, самое главное, из-за закрытия посольств оказалась парализована связь с Центром из Германии и оккупированных стран.

Гестапо запеленговало и подавило некоторые нелегальные резидентуры, последовали аресты в Бельгии, во Франции и в самой Германии, где осталась без надежной связи известная «Красная капелла», выжила еле-еле лишь нелегальная резидентура военной разведки в Швейцарии, хотя немцы и пытались протянуть туда свои щупальца. В Англии же, естественно, имелась надежная связь через посольство, да и англичанам удалось расколоть некоторые германские шифры (знаменитая «Энигма»). Так что Филби не ограничивался лишь информацией об английской политике. «К началу 1942 года слабая струйка перехватываемых радиogramм абвера превратилась в поток», – писал Филби. Но как повлияла информация Филби и «пятерки» на решения Сталина? Известно, что она сыграла роль при сражении на Курской дуге, а как в остальных случаях? Что докладывалось, а что сочли пустышкой или даже «дезой»?

Величайшая драма и агента и разведчика: им почти всегда неведомы конечные результаты труда – информация перемалывается в бюрократическом механизме. Один начальник пропустит, другой отвергнет, третий отретуширует до полной противоположности. На самом верху тоже колдуют византийские хитрецы, обожающие похлопать Хозяина по голенищу и подложить на стол то, что ему по душе и что показывает в глазах всех остальных членов правительства всю гениальность его внешней и внутренней политики.

Этот «человеческий фактор» свойственен и демократиям, но в особенности тоталитаризму. Как однажды признался великий кормчий Мао Генри Киссинджеру: «Лишь только секретные службы узнают, чего от них хотят, как сообщения сыплются, словно снежные хлопья».

В августе 1945 года Филби чуть не провалился из-за попытки сотрудника резидентуры в Стамбуле Волкова получить убежище у англичан взамен за информацию, свидетельствующую о проникновении в английскую разведку и Форин Офис советской агентуры. Филби повезло,

именно ему поручили это дело, вскоре Волкова вывезли в Москву и быстро прикончили. Озноб бежит по коже, но на войне как на войне, либо ты, либо тебя – Филби и впоследствии раскрыл многие операции, особенно в Восточной Европе. В 1947 его назначили резидентом разведки (СИС) в Турции, где английская разведка добывала информацию об СССР и Балканских странах, направляла агентуру в Армению, Одессу, Николаев, Новороссийск. Дела шли отменно, руководство СИС радовалось успехам Филби, в 1949 году его карьера пошла в гору: назначен на пост представителя английской разведки при ЦРУ и ФБР в Вашингтоне, – по своему значению должность не меньше заместителя начальника СИС. Правда, в тогдашнем НКВД гордость успехами Филби носила несколько смешанный характер: листая его дело, я наткнулся на заключение по всей знаменитой «пятерке», составленное, кажется, в 1948 и подписанное тогдашним начальником отдела. После тщательного (и тенденциозного) анализа был вынесен вердикт: вся «пятерка» суть подставы англичан, дезинформаторы и провокаторы. Правда, делу хода не дали, связь с агентами не порвали и, как в добрые тридцатые годы, не направили в Англию боевиков, дабы стереть с лица земли предателей. Проверка агентуры – святое дело, проверять следует всех и всегда – таков закон разведки и контрразведки. Но другое дело накал подозрительности в тогдашнем ОГПУ – НКВД. Бывший заместитель начальника контрразведки генерал Райхман, с которым я общался уже в годы перестройки, до конца жизни был уверен, что «пятерка» – провокаторы.

Между тем, дух захватывает, когда смотришь не только на документы военных лет, но и на материалы обо всех хитросплетениях англо-американской политики. Да, дядюшка Джо не имел иллюзий насчет западных союзников, ему все или почти все было известно из первых рук.

Все больше разгоралась «холодная война», все драматичнее становилось противостояние между СССР и бывшими союзниками. Острая борьба за сферы влияния бушевала и в Восточной Европе, и в Китае, и в Корее, англо-американский альянс играл доминирующую роль в международной политике, и Филби, находясь в самой кузнице принятия

решений, получал информацию, как говорят англичане, прямо из зубов лошади.

Что такое работа агента, осевшего в стане противника? Некоторых рутина изматывает больше, чем любая авантюра. Жить вроде бы тихо и спокойно, играть свою роль с коллегами, с женой, с детьми, не выходить из образа. Постоянно проверяться и бдеть, иногда топтать по улице в дождь с секретными документами в портфеле или красться к тайнику. Кто знает, не окажется ли на месте встречи группа захвата? не тянется ли «хвост»? не произошло ли предательство?

Немыслимый стресс – такова жизнь Филби: игра с огнем под покровом темноты.

В 1951 году, когда англичане взяли на подозрение заведующего отделом Форин Офиса Маклина, от всеведущего Филби в Центр полетел тревожный сигнал, и вскоре Маклин и его коллега Берджес бежали из Англии и объявились в СССР. Сразу же возникли вопросы: кто же предупредил советских агентов? откуда утечка? кто «третий человек»? На Филби вышли без особого труда (он дружил с обоими в Кембридже, Берджес даже жил у него дома в Вашингтоне), отозвали в Лондон и подвергли суровым допросам. Можно только позавидовать его мужеству и самообладанию: он не только не признался, но и сумел на время отвести от себя подозрения и уйти в отставку с приличной пенсией. Увольнение Филби не прошло незамеченным, вся история постепенно раскручивалась и, главное, приобрела политическую окраску, дав козырные карты лейбористской оппозиции, не упускавшей случая, чтобы щелкнуть по носу своих оппонентов.

И в 1955 году после публикации «белой книги» о деле Берджеса – Маклина в парламенте разразился оглушительный скандал о «третьем человеке» – Киме Филбе, он попал в эпицентр невиданного паблисити, пресса разрывала его на части. Тогдашний премьер-министр Гарольд Макмиллан, спасая честь мундира спецслужб, официально заявил, что не располагает доказательствами о причастности Филби к делу. Бедный Мак! Через несколько лет лейбористы все же сбили его с пьедестала, и снова

делом о советском шпионаже, на этот раз раздутым: связью военного министра Профьюмо с проституткой Килер, которая – трепещите! – интимно общалась иногда с помощником военно-морского атташе Е. Ивановым.

Филби выстоял в борьбе нервов, блистательно сыграл роль оскорбленной невинности, возмущенной клеветой прессы и подлостью коллег. В 1956 году, не без подсказки друзей Филби (человек он был светский, и не избегал лондонских салонов), уважаемый еженедельник «Обсервер» предложил ему место в Бейруте. Там он и писал благополучно в газету несколько лет, не теряя контактов с резидентурой СИС, – англичане так и не могли до конца поверить, что питомец истеблишмента мог работать на Советы. Так продолжалось до января 1963 года, когда его выдал кагэбист-перебежчик (или же завербованная Кимом англичанка). Филби перебрался в Советский Союз, где раньше никогда не был, увидел своими глазами нашу жизнь, наверное, не на шутку удивился, но виду не показал.

Открылась новая страница в эпопее Филби, менее романтическая, окрашенная всеми цветами нашего живописного быта и суровыми порядками секретной службы. Ковер гостеприимства расстилали опытные руки, повесившие плотный занавес секретности под предлогом, что разъяренные английские спецслужбы могут отомстить «кроту», многие годы подгрызавшему самые корни государства. Мало ли что? Совсем недавно друг Кима Гай Берджес, так и не адаптировавшийся в Союзе, проник за кулисы гастролировавшего в Москве английского театра и произвел там фурор своими откровенными рассказами (об этом в Лондоне даже поставлена пьеса).

Нелегко привыкал Филби к новой жизни, многое раздражало его. Нехватку друзей и живого воздуха ему пытались компенсировать развлечениями, поездками по стране, выписывали ему английские газеты, за которыми он конспиративно ходил на главпочтамт. Выделили и квартиру, потом поменяли на трехкомнатную недалеко от Патриарших, в старом доме, окруженном запущенными, типично московскими двориками (давняя архитектура «коробок» и помпезные кирпичные строения номенклатуры вызывали у него неподдельный ужас). В общем, по меркам простого

советского человека, жил он вполне прилично, правда, без собственной дачи, без автомашин, без личного водителя и прочего, в отличие от многих его боссов, спустившихся с партийных небес. Неприхотлив был Филби, не жаждал ни собственности, ни роскоши – вполне хватало ему тихого уюта центра Москвы, заботливой руки любимой жены Руфы, кухоньки с замысловатыми специями, соусами и горчицей, пластинки Шопена на старом проигрывателе⁸². Библиотеку свою он без трудов получил из Лондона, английские власти, блюдя священные законы частной собственности, не ставили палки в колеса и, кстати, свободно пускали в Москву его родственников.

На полках стояли внушительные фолианты в сафьяне, не читать которые в начале этого века считалось так же неприлично, как разрезать рыбу столовым ножом: «История» Маколея, Босвелл о докторе Джонсоне, «История упадка и разрушения Римской империи» Гиббона, Томас Карлейль, Геродот, Плутарх, Тацит, совсем забытые сегодня английские романисты XIX века Треллоп, Кингсли, Хоуп. К современным беллетристам Филби относился снисходительно, правда, ценил своего друга и бывшего коллегу Грэма Грина (он всегда навещал его, будучи в Москве), детективы, особенно о разведке, не читал – они вгоняли его в сон.

Жизнь в Москве постепенно входила в свою неумолимую колею.

Пришла любовь – Руфа, сотрудница научного института, красивая темноглазая женщина, ставшая его женой. С женами у Филби было непросто: с первой Литци брак был фактически фиктивным (он женился, чтобы ее, еврейку, вывезти из оккупированной Австрии), и они вскоре

⁸² Мне это особенно нравилось в нем, и не потому, что я не люблю мягкую мебель и вместо автомашины предпочитаю телегу, просто у любого комфорта должны быть пределы. У нас же, увы, часто все тонет в заботах о ненасытном материальном благополучии, и человек крутится и страдает от них, и жизнь пролетает мимо. Как утешают слова Чарлза Лэмба: «Ты пишешь, что недоволен высокой ценой на сахар, но боюсь, ты имел в виду иное. О, Роберт, я не знаю, что ты называешь сладостью! Мед, розы и фиалки еще есть на земле. Солнце и луна еще царствуют в небе, и светила поменьше тоже оттуда мило мигают. Еда, и выпивка, дивные пейзажи и чудные запахи, прогулки по лесу, весна и осень, глупость и раскаяние, ссоры и примирение – все это и составляет сладость. Хорошее настроение и добрый характер, друзья здесь, любящие тебя, и друзья там, скучающие по тебе, – это все твое, и все это сладость жизни».

разошлись, вторая жена Эйлин умерла, родив ему несколько детей, третья – Элеонора разошлась с ним вскоре после его побега в Москву. Что говорить – задохнулся бы без Руфы Ким от одиночества, он любил ее, верил ей до конца дней.

Вскоре решил он подвести итоги и написать мемуары – сложность невеликая с его легким пером и типично английским, горьковатым юмором. Но не так это было просто в стране, где всегда на страже армии штатных и нештатных идеологов, а тут еще признания в шпионаже в пользу вечно окруженной недругами державы! где это видано? где это слыхано? Какая разведка? Нет у нас разведки! Как у кота Бегемота: «Сижу, ничего не делаю, починая примус!» И все же книгу он написал, но далась она трудно: редакторские ножницы кастрировали рукопись беспощадно. По тогдашним стандартам книга вышла быстро: в 1968 году в Лондоне, с предисловием маститого Грэма Грина, взорвалась сенсацией и несколько раз переиздавалась. Почему в Лондоне? Потому, что пробивали книгу как «активное мероприятие», разоблачавшее британские спецслужбы, иначе кто бы дал санкцию? Ким сумел сохранить в книге некую объективность и не опустился до уровня партийной печати, умевшей гоняться за ведьмами. Но, конечно, он не написал и четверти того, что хотел, а жаль...

Казалось бы, любой истинный патриот Отечества тут же повелел бы перевести книгу на русский, – ведь не в Англии же искать почитателей! – переводите, чтобы видели граждане, какие герои трудятся за кордоном, чтобы гордились, чтобы военно-патриотически воспитывались.

Но тоталитаризм не просто туп, он обладает поразительной, совершенно уникальной способностью подрезать сук, на котором сидит, доводить свои и без того скудные духовные силы до полного нуля. Забота о чистоте мозгов своего народа, который не следовало отвлекать от доения коров, токарных работ и выполнения плана и тем более наводить на мысли о разведывательной работе в мирное время (с войной, слава Богу, хоть было немного ясно, благодаря Штирлицу), задержала перевод на годы.

Поговаривали, что скромный человек в кепке, Торквемада застоя Суслов, к тому же опасался «подрыва позиций английской компартии», и

вроде бы английский генсек ему пожаловался, что дело Филби бросает тень на коммунистов – и действительно: Филби, в сущности, работал на Коминтерн.

Только через десять лет появилась книга в русском переводе, вышла в Воениздате, на ужасной бумаге, без слишком вольного предисловия Г.Грина, без эпилога – да и этот вариант протиснуть через бюрократические рогатки стоило огромной энергии и нервов. «Моя молчаливая война», естественно, на прилавки книжных магазинов не попала – законы дефицита охватывали не только икру и сервелат, но и литературу о шпионаже, – разлетелась по солидным ведомствам: ЦК, КГБ, МО etc. Впрочем, рецензий или обсуждения в печати не последовало – тема запретная, словно в песок все ушло. Можно представить себе ярость Солженицына или Шаламова, которые, создавая свои труды, прекрасно понимали, с кем борются и что ненавидят, они стискивали зубы, когда их жахали по голове и конфисковали рукописи, но они знали, за что! Гораздо сложнее представить бессильную ярость человека, с юности связавшего себя с Идеей и с разведкой – частью Системы, написавшего книгу и ожидавшего благодарных оваций, – и вдруг вместо этого мурыжат, спускают на тормозах, режут на части. Железный каток прошелся по Филби, почувствовал он на себе, что такое смрадное болото.

За годы московской жизни Филби русифицировался, выучил слово «блат», понял, о чем можно говорить вслух и о чем нельзя, и даже полюбил сигареты «Дымок», напоминавшие ему по крепости любимые французские «Голуаз». С легкой иронией относился к гала-представлениям наших тогдашних богов, отмахивался от звона пропаганды, хотя и не кричал на каждом углу о своих настроениях.

Познакомились мы в ресторане на его дне рождения первого января 1975 г., на церемонию эту собирались некоторые из тех, кому довелось прикоснуться к его деятельности в окопах на Западе, но больше отцы-благодетели, курировавшие его на второй родине. Были на трапезе, конечно, Крючков, Якушкин, зам начальника контрразведки Виталий Бояров, работавший с Кимом в Бейруте Рэм Красильников, Олег Калугин (дело Кима было в его управлении внешней контрразведки) и другие избранные.

Конечно, к 1975 году Ким уже серьезно оторвался и от политики, и от оперативных дел, но глубинные знания делали его полезным советчиком, тем более что он прилежно слушал Би-би-си и получал английские газеты. Филби скучал, он жаждал деятельности, но она так и не наступила: сначала его «доили» по прибытии из Бейрута, а потом охраняли, опасаясь «эксов» мстительной британской разведки. Но не будем все валить на систему: такова судьба любого агента, потерявшего свои возможности. Да и что за работа в уютной московской квартире? Ким, допуская свой провал и побег в СССР, наверное, представлял свою жизнь совсем иначе: утром машина у подъезда, ровно в девять – служебный кабинет на Лубянке, телефонные звонки, срочные телеграммы – равный среди равных, почему бы агенту доверять не меньше, чем кадровому сотруднику? Ведь такой агент, как Филби, стоит десяти отечественных лбов по своей преданности.

Но агентам уготовлена иная судьба, держат их на привязи и только внешне обращаются как с равными. В спецслужбах, наших и иных, развито чувство снисходительного отношения к агентам, особенно иностранцам, им не доверяют при всей внешней любезности, а иногда в душе презирают, как предателей. Агенты чувствуют это и переживают: не случайно Филби однажды вдруг прорвало? «Что ты деликатничаешь? Думаешь, я не знаю, что я – агент, который находится на связи? Всего лишь агент!»

У Филби я бывал довольно часто, и не только о политике и разведке лились беседы за бутылкой виски, говорили о любви, о жизни, о предательстве. Он угощал меня сигарами, и все обстановка весьма напоминала клубную библиотеку в Лондоне, куда переходят из зала пить кофе с пряным портом. Оба мы, как профессионалы, исходили из того, что квартира Кима прослушивается («доверяй, но проверяй»), естественно, об этом помалкивали, однако в меру рассказывали невинные анекдоты о Брежневле и деликатно критиковали правительство.

Однажды, во время дискуссии о Солженицыне, я попытался подсластить пиллюлю и перевалить вину за его высылку на узколобую контрразведку. В ответ Ким возмутился и закричал: «Неправда, ты тоже несешь за это ответственность! И я! Все мы несем ответственность!»

Идею создать при нем небольшой ликбез для молодых сотрудников,

нацеленных на Англию, Филби принял на «ура». Вскоре на конспиративной квартире и состоялся первый семинар, молодежь сначала стеснялась и задавала асу корректные вопросы, а потом, когда начался легкий фуршет под виски (дабы молодые разведчики реальнее представляли тяжкие условия заграницы), сердца и головы растаяли, начался непринужденный разговор. Главным в создании ликбеза было не столько приобщение молодых разведчиков к новым оперативным знаниям, сколько попытка вдохновить их неповторимой личностью Кима Филби. В 1976 году перед отъездом в Данию я добился выделения некоторых сумм для снабжения Филби нужными ему предметами (всего на 1000 долларов), и не потому, что Филби испытывал лишения. Просто человек, привыкший к оксфордскому мармеладу или горчице «мэль» и не видевший их лет пятнадцать, по-детски радуется, когда разворачивает пакет, не говоря уже о фланелевых брюках и кашемировом пиджаке – принадлежности туалета любого уважаемого джентльмена. Через дипломатическую почту мы обменивались иногда полуконспиративными шутивными письмами, выборки из переписки звучат просто как диалоги из светских комедий:

Ким. «Мой дорогой Майкл! Прекрасное зрелище явилось на днях перед нашими глазами: вошел Виктор с огромным пакетом, в котором находились крупный запас мармелада, не говоря о шафране, горчице «мэль» и чудесной почтовой бумаге с вензелем и монограммой «К». Кеннеди? Кинг-Конг? Или, может быть... Мы очень благодарны, как всегда, за все эти подарки, и лимонная кислота будет напоминать мне остроту наших бесед».

Майкл. «...Здесь довольно спокойно: никто не отрезал голову нашей скучной русалке, никаких террористических актов, высылки или арестов. Наша Руритания последние шесть месяцев председательствовала в ЕЭС и стала центром Европы. Будьте уверены, что Руритания забьется отныне в рыданиях из-за дефицита мармелада. (Знал ли бедный Маггеридж⁸³ о Вашей обезоруживающей страсти к мармеладу? Это материал для хорошего романа.)».

⁸³ Малькольм Маггеридж во время войны работал вместе с Кимом, потом стал крупным публицистом, много трудился на телевидении.

Ким. «...Я храню для Вас одну из специальных сигар – Фиделиссимо. Прием на «острове Свободы»⁸⁴ был более чем радушным, нас всюду сопровождали толпы людей. Очень приятно, конечно, но не совсем наша чашка чаю. В Москве прошел медицинское обследование. Легкие чисты, как свист, а печень выглядела просто прекрасно. Таким образом, Вы видите, чего можно достигнуть (почти) пятидесятилетней диетой на алкоголе и табаке».

Майкл. «Ваш портрет⁸⁵ в рамке серебряного цвета висит прямо над прилавком, недалеко от портретов богов. В случае насильственного налета на мое помещение он будет вещественным доказательством для объявления меня персоной нон грата».

Ким. «Роуландсона⁸⁶ я еще не видел. Наш друг Виктор, с присущей нам всем профессиональной осторожностью, передал его в запечатанном коричневом пакете. К сожалению, по дому бродит теща, и я не знаю, как она будет реагировать на эротику. Будьте уверены, что я не сожгу эту книгу и не верну ее, но, если наступят черные дни и инфляция съест мою пенсию, я продам ее на черном рынке около почтамта».

Майкл. «Продавайте Роуландсона не целиком, а по отдельным картинкам. Если Вам удастся вставить их в рамки и организовать выставку, то денег хватит не только на нас всех, но и на реставрацию всех мест, связанных с Роуландсоном в Англии».

Ким. «Дорогой Майкл! Я позорно запоздал с благодарностью за новый поток чудес к Новому году. Замененные джинсы оказались впору, очки тоже. Не говоря уже о «Хейг, Харпер и К0», «Максвелл Хаус», соевом соусе,

⁸⁴ Под чужой фамилией Кима с женой направили отдохнуть на Кубу, посадив на торговое судно.

⁸⁵ Я повесил портрет Филби с его собственноручными пожеланиями успехов точке в своем кабинете, недалеко от портрета Ленина – посторонние из «чистых», иногда заходившие ко мне, терялись, увидев этого явного иностранца. Предполагали, наверное, что это какой-нибудь большевик-инородец, датский коммунист или коминтерновец.

⁸⁶ Роуландсон Томас – английский живописец XIX века, блестящий автор фривольных, комедийно-эротических гравюр, не рассматривайте его картины долго: потеряете веру в любовь.

горчице и прочих вещах. Наконец, Вы решили джинсовую проблему, которая мучила многих математиков в последние годы. Жене теперь остается лишь потерять несколько кило, набранных во время поездок в Болгарию и Венгрию. Вы пишете, что старые можно оставить для Вашего секретаря. О'кей – если Вы представите ее, дабы я мог убедиться, что они ей действительно подходят. Несомненно, что я буду с ней не особенно проворен – мне уже 70, но таков стиль моей работы».

Майкл. «Я рад, что Вы довольны деятельностью нашего магазина. Вершиной ее, конечно, явился заказ очков для Вашей жены. Спасибо за хорошие шутки. Сейчас завершаю коллекционирование Хоупа, и меня уже не удивят имена Руперта из Хенцау или Рудольфа Рассендилла, хотя я еще не нашел тома о Руритании и Черном Майкле⁸⁷».

Ким. «Если мне не изменяет память (это сейчас часто происходит), Черный Майкл фигурирует в «Пленнике Зенды» – первой из книг о Рассендилле. Спасибо за «туборг» – он вызвал воспоминания об утренних часах, проведенных в баре «Нормандия» в Бейруте. Единственная беда – это то, что жена не может влезть в вельветовые джинсы. Я полагаю, что они были предназначены для другой девушки, как в том случае с женщиной, который написал письма своей любовнице и незамужней тете, а затем положил их в разные конверты».

Майкл. «Я никогда не предполагал, что Вы такого плохого мнения обо мне, чтобы ставить под вопрос способность определять женские размеры на глаз. Особенно когда дело касается хороших женских фигур. Спасибо за Ваше послание. Сравнение с Грэмом Грином сделало меня ленивым снобом, и только падение руританского правительства привело в чувство».

Ким. «Возможно, Вы слышали о капитальном ремонте, который мы перенесли в 1979 году. Как говорят, страдая от похмелья: «Больше никогда!» Мы были поражены историей с бедной Тamarой, оказавшейся отрезанной от мира в Варнемюнде, – несомненно, вокруг ее поезда были волки – и вашими невероятными усилиями по спасению своей супруги. Вот так нужно проводить отпуск! ...Итак, Старый Контрабандист, я не знаю, облегчит ли

⁸⁷ Это все ныне забытые романисты прошлого века, в которых меня пытался втравить Ким.

этот длинный список Ваши тяжкие личные решения или вызовет сердечный приступ. Я слышал, что Вы возвращаетесь. Вам придется привыкнуть к виду одетых девушек. Если Вы читали «Остров пингвинов» Франса, то вспомните, что мужчины-пингины проявляли интерес к тем женщинам-пингинкам, которые были достаточно бесстыдны, чтобы носить одежду».

Майкл. «Небольшая просьба. Я горд, что Вы посвятили меня в рыцари, дав титул Черного Майкла Руритании. Попросите сменить мое скучное «007» на эту роскошную пиратскую кличку. Должно быть, Вы знаете, что меня, как и всех нас, мутит от цифр».

Ким. «Олег переехал в точку севернее нас, ходят слухи, что Виктор Пантелеевич тоже уйдет, и даже Геннадий нервничает. Я думаю, хотя мне не следует этого писать, что его босс – это сукин сын, которому следует занимать место мелкого клерка в деревне, в трех часах езды на грузовике по разбитой дороге от Верхоянска. Однако каждая большая организация должна иметь свою долю дураков. Се ля ви!»

Ким не выносил перемен, он привыкал к людям. Неясно, какого именно сукина сына имел он в виду, выбор в КГБ был достаточно широк, впрочем, важно не это, а ярость Кима! – о, Верхоянск и тряска на грузовике по разбитой дороге!

После отставки я лишь переговаривался с Кимом по телефону, зная, что на наш контакт посмотрят косо, считая, что я его поддерживаю «в личных целях», Ким это тоже, по-моему, понимал.

Первый insult.

Скучал ли он по Англии? Он был англичанином до кончиков ногтей, с уходом имперского поколения таких уже почти не осталось: детство в колониальной Индии, энциклопедическая закваска Вестминстера и Кембриджа, война и разведка, разведка и война.

А дальше – тишина, как говорил принц Гамлет.

Новокунцевское кладбище.

Словно о Филби написал Руперт Брук:

"Лишь это вспомните, узнав, что я убит:

Стал некий уголок, средь поля, на чужбине
 Навеки Англией. Подумайте: отныне
 Та нежная земля нежнейший прах таит.
 А был он Англией взлелеян; облик стройный
 И чувства тонкие она дала ему..."

Был ли он предателем? Кого он предал?

Истеблишмент он никогда не принимал, связал себя с советской разведкой в начале тридцатых, внедрился в МИ-6 перед войной. Предал Англию? Но он презирал правительства и тори, и вигов, и лейбористов, он ненавидел Чемберлена, пошедшего на мюнхенский сговор с Гитлером.

Совсем недавно в своем архиве я обнаружил письмо друга Кима Дональда Маклина, тоже агента «пятерки», в свое время я скопировал его из досье, пораженный силой духа этого героя. Письмо написано в конце 30-х годов прошлого века. «Мои дорогие товарищи! Передавая мне сегодня вечером подарок, Макс согласно полученным указаниям сказал, что этот подарок должен рассматриваться, как выражение благодарности партии. Он говорил о моей верности, преданности и заслугах. Я благодарю партию и моих партийных друзей не только за подарок, но и за комплименты. Партия не ошибается, считая, что я стараюсь выполнять свои обязанности. Я вспоминаю Теодора, отдавшего свою жизнь в Испании. Именно он, будучи спрошен, что в нашем мире доставляет ему наибольшую радость, ответил: «Существование Коминтерна». Я могу сказать, что не представляю себе, как возможно в моей стране жить человеку, уважающему свое человеческое достоинство, без того, чтобы не работать на партию».

Теодор — это Теодор Малли, кадровый сотрудник ИНО ОГПУ, работавший и с Филби, венгерский священник, попавший во время первой мировой в Россию и горячо примкнувший к большевикам. Во время сталинских репрессий был отозван и расстрелян (естественно, его подопечным сказали, что он погиб в Испании). Филби был сделан из того же теста, для него коммунизм был высшей жизненной целью.

Начальник охраны римского императора Себастиан тайно сочувствовал христианам и шпионил в их пользу, за что и был распят римлянами, а затем причислен христианами к лику святых.

Ким Филби уже в юности возненавидел капитализм и перешел Рубикон, он твердо шел к цели, не жаждал ни денег, ни славы. Останься Филби рыцарем истеблишмента – и английскую разведку бы мог возглавить, и в парламент войти. И не курил бы «Дымок» на квартирке у Патриарших прудов, кушая дефицитную колбасу, принесенную из спецбуфета КГБ, а, наверное, процветал бы в особняке в Челси, отдыхал на французской Ривьере, катался на «роллс-ройсе».

Правда, думаю, такие бредовые мечты ему и в голову не приходили.

Чернорабочие разведки тех времен (существуют и паркетные разведчики) о себе не заботились, они рисковали, служили преданно, верили в добро, заставляли себя верить. Не могли отказаться от своей Мечты, не осознавая еще, что она давно высосала из них всю кровь.

...Нас всего несколько человек, но могло быть гораздо больше, — многие нынешние разведчики жаждут приобщиться к имени Кима Филби – из числа тех, кто имел честь быть в числе немногих студентов, которым он открывал секреты шпионажа в Великобритании. Открывал ли? Или просто был живым пособием, бессмертным рыцарем, изрекающим известные истины, прихлебывая с невероятным изяществом шотландский виски. Конечно, главное во всех этих штудиях был он сам, воистину Великий Разведчик, прошедший сквозь хлад и пламень, образец духовной стойкости и душевного героизма, один его вид в чуть помятых фланелевых брюках, одна его тлеющая трубка вдохновляли больше, чем сотни лекций о разведке.

Несколько мужчин и одна женщина празднуют восьмидесятилетие вдовы Кима Руфины Ивановны Пуховой. Отметим, что 1 января 2012 года исполнилось бы сто лет и самому герою. Очень тихо и скромно (при Путине разведка уползла в тень, видимо, страшась напомнить президенту о его прошлом), в честь Кима была открыта доска на особнячке пресс-службы СВР на Остоженке, хотелось бы памятник как у Зорге, но все равно

приятно, вряд ли буржуазная Россия оценит заслуги английского коминтерновца. Сидим мы не где-нибудь на кухоньке, а в нуворишской ресторации Пушкин, на втором этаже, где книги и вся сладкая жизнь, народу немного, но все свои: генерал Юрий Кобаладзе, ныне банкир и сотрудник Эха Москвы, генерал Игорь Никифоров, тоже в банке, человек порядочный и работающий. Полковник Михаил Богданов, ныне глава фирмы, когда-то лучший ученик Кима, надежный друг Руфы, большой путешественник. Некоторые другие таинственные товарищи, упоминать которых история пока не позволяет. Если бы Кобаладзе не стал бы генералом, он снискал бы звонкую славу эстрадника Гаркави — такого конферансье и тамады я в наше время больше не встречал. Серьез, замешанный на тонком юморе, подтекст, вырывающийся в фейерверк, много повидал я величественных грузин: и Георгадзе, и Инаури, и даже Шеварднадзе — но искра Божия поразила именно Кобу. Еще на посту пресс-секретаря СВР, куда его поставил Евгений Примаков, он прославился умелыми ответами на каверзные вопросы журналистов — и злобные волки были сыты, и родимые овцы целы. Ныне 2013 год, никогда не думал, что доживу до столетия Кима. Да и сам уже совсем не мальчик. Память о Киме еще жива, но больше за границей, чем у нас, наверное, мы — последние из могикан.

И мы еще живы.

И как писал Уитмен «Горит наша алая кровь огнем неистраченных сил».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
НЕИСПОВЕДИМАЯ СУДЬБА
ДАНИЯ, 1976 – 1980

Осрик. С возвратом в Данию, принц. Поздравляю вас.

Гамлет. Благодарю покорно.

Уильям Шекспир

К своей будущей судьбе я относился фатально⁸⁸, тем паче что все заграничные точки были укомплектованы резидентами и вакансии в ближайшее время не светили. Работа по Англии после топких болот Автоматизированной Системы Управления вначале взбодрила, но пыл вскоре остыл. Я форсировал диссертацию, которая казалась все более дурацкой и ненужной для, возможно, существующей души, в кабинет к Грушко все чаще заходили руководители других отделов (его близость к Крючкову становилась заметной). Тогда принято было пропускать по

⁸⁸ - Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? - спросила Алиса.

- А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот.

- Мне все равно... - сказала Алиса.

- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот.

вискарю, отмечать на работе праздники и дни рождения, благо, что дань из-за бугра поступала бесперебойно. В город мы выезжали редко и варились в своем бетонно-стеклянном склепе в Ясенева, нагружаясь озоном.

Иногда рутину нарушали заграничные поездки, связанные с оперативными задачами: я посетил Голландию, а попутно и Бельгию с Люксембургом. Обтоптал и музей Ван-Гога, и домик Франца Хальса, взглянул даже на брейгелевскую «Сумасшедшую Грету» в Антверпене (собственно, затем я и приезжал!). Шутка в духе марзматики-чекиста в ворсистых спортивных брюках, конспиративно подмигивающего красным глазом соседу по этажу.

Все это на миг воспламеняло тлевшие угли и заставляло забыть и о странных, как будто специально подобранных тупых физиономиях вождей (одно исключение — умница Андропов! — думал я тогда, — хотя зря он терзает диссидентов...), и о косных пустопорожних речах, и о трупной длани бюрократизма, сжимавшего горло разведки.

Я все же любил, искренне любил свою пиратскую профессию, я гордился своей причастностью к касте избранных, наверное, не меньше масонов ложи розенкрейцеров! Я очень хотел, чтобы мы работали изощреннее, целенаправленнее, и постоянно вставали в памяти самоотверженные разведчики тридцатых годов...

Иногда для координации усилий и для решения кадровых проблем приходилось выезжать в МИД, над которым в разведке КГБ посмеивались: и впрямь комично, что большинство дипломатов не встречались в городе с иностранцами, а гнали всю информацию на основе газет и очень редких официальных бесед (скромные представительские проедали послы, а чинам поменьше доставались лишь крохи). В те годы особую неприязнь у Крючкова вызывал посол в Англии Луньков, человек с характером, иногда наступавший на хвост КГБ. Все мидовские телеграммы после прихода Андропова в ПБ мы читали и возмущались попытками посла зазвать любой ценой Брежнева в Лондон («Вчера встречался с премьер-министром Хьюмом, тот интересовался здоровьем Леонида Ильича и видами на урожай»).

Иногда меня приглашали в ЦК провести беседу об Англии с отъезжающей туда периферийной делегацией (обычные аморфно-серые партийные дяди и тети, неопишимо похожие друг на друга), или просветить какого-нибудь коммунистического деятеля из страны Содружества о способах поддержания конспиративной связи и получения от нас денег. Деньгами для призрака, вдоволь побродившего по миру, занимался специально выделенный сотрудник, он сам и ездил за «табаком» в международный отдел ЦК – такую незатейливую кличку получил золотой телец, кажется, еще во времена ленинского подполья. Затем мы все распределяли по странам, ЦК снабжал не только компартии Великобритании, Новой Зеландии и Австралии, но и некоторые афро-азиатские страны Содружества, имевшие представительства в Лондоне. Денежные средства своим размером не впечатляли, но на семечки хватало.

Жизнь в Ясенева катилась своим размеренно-умеренным чередом. Курсировал спецавтобус в Москву и обратно (прохожие с любопытством посматривали на скопившихся рано утром на остановках, по заграничному одетых товарищей с атташе-кейсами). В ПГУ одевались, как положено чиновникам, начальство блюло порядок.

Однажды Крючков, любивший прошествовать пешком по лесу от кольцевой дороги, где его оставляло стремительное авто (всего лишь «татра»), засек на проходной человека в бороде и джинсах и сделал ему внушение. Последний, оказавшийся слесарем в нашем дворце, сроду не видевшим Повелителя Шпионов, в ответ послал его очень далеко, преступника, естественно, задержали, но помиловали.

Работа Центра протекала за чтением депеш, за беседами с посетителями из разных подразделений и из-за границы, шли оперативные совещания, политучеба в рабочее время, ибо в шесть уже уходили автобусы. И так каждый заунывный день...

За огромными окнами небольшого кабинета расстилались леса и поля, и в Ясенева я испытывал тоску по Москве. Пир природы на работе сменялся безобразными коробками, пустынными улицами, домами в Чертанове, запущенными витринами, редкими унылыми прохожими с авоськами. Все это придавливало, как свинцовая туча, и иногда хотелось

бросить все эти пейзажи, бежать от них куда-нибудь в центр города, где толпы людей, старинные особнячки, знаменитые театры и галереи...

Но тут ударил колокол и призвал горн: у резидента в Дании Могилевчика внезапно умерла жена, предстояла его замена, выбор пал на меня (брат резидента из другого отдела Грушко не хотел, у нас и так «чужаки» уже перехватили в точках достаточно теплых мест), и вскоре я уже листал датские дела и проходил через все инстанции. Визу мне запросили заранее, хотя датчане редко отказывали, особенно советникам (два моих предшественника тоже прошли через лондонскую резидентуру, и прекрасно известны были как разведчики). Выезжал я без особой радости: от этого древа я уже вкусил, хотелось неизведанного, правда, я успокаивал себя тем, что, будучи хозяином, я смогу выкроить массу времени и вволю заняться Литературой.

Снова соблазнил дьявол, снова несло меня по течению! Но несло приятно.

Итак, проводы в ресторане.⁸⁹ Кажется, тогда Крючков в очередной раз ввел на них запрет, чтобы, как обычно, не напивались до чертиков и не совершали ЧП. Руководство любило тешить себя запретами, например, после ухода на Запад кого-то из предателей запрещали выходить из служебного здания с портфелями или требовали обязательно их раскрывать. Элегические речи, добрые пожелания, прощание на Белорусском, успокаивающий стук колес и, наконец, копенгагенский вокзал: на перроне стояли резидент и рядом еще не раскрытый предатель Гордиевский со светлой улыбкой на устах.

По сравнению с моим первым заездом доблестная линия политической разведки деградировала: на американском фронте стояло безнадежное затишье, реальных агентов вообще не было, зато те датчане,

⁸⁹ Пролетарии всех стран

Маршируют в ресторан. *Иосиф Бродский*

которых в свое время мы считали обыкновенными дипломатическими связями (и мысли не было их вербовать), получили таинственные клички и стали «доверительными связями» и «связями влияния». Впрочем, это дело вкуса, например ЦРУ считает такие связи агентами. Линию политической разведки в Дании возглавлял уже два года Гордиевский, он же заместитель резидента, в наш отдел его взяли из управления, занимавшегося нелегальной разведкой. Грушко и остальные ценили его как грамотного (так любили квалифицировать в служебных характеристиках, словно только что вылезли из лаптей) и эрудированного сотрудника, хотя весьма сомневались в его оргспособностях и особенно в оперативной хватке. Серьезных вербовок на его боевом счету не было — ужасно! хотя в Дании ему удалось законтачить какого-то левака-негра (это считалось третьим сортом), то ли из Мозамбика, то ли из Занзибара, — интересно, подвесили ли его на крюк за гениталии по сигналу предателя или перевербовали на англичан? Есть нечто мерзкое в том, когда сам затягиваешь в сети, а потом выдаешь противнику, впрочем, в войне разведок правила хорошего тона как-то не прививаются, каждая семья счастлива по-своему, как у Льва Толстого.

Линия научно-технической разведки выглядела вполне прилично, линия контрразведки же, как обычно, не бросалась на спецслужбы, а предпочитала ворошить советскую колонию. К счастью, уже прикрыли линию отдела «мокрых дел», который уже давно переквалифицировался на «мероприятия на случай войны», причем все выглядело заскорузло и комично. Странно, что Гордиевский не добрался до этих планов, они потрясли бы лишний раз мир: в день «Х» взлетали на воздух мосты, перекрывалось водоснабжение, останавливались электростанции, кого-то травили, кого-то убирали, как в страшных фильмах... — и все мифическая туфта! Такие же паланы составляли и накануне Второй Мировой. И что? Почти все полетело к чертям!

В тот же вечер резидент представил меня послу Николаю Егорычеву, бывшему секретарю МГК, отбывавшему ссылку после критики состояния ПВО Москвы (в идеальности оно же мы убедились, когда немец Руст в пререстройкув приземлился прямо на Красную площадь). Посол был в меру любезен и настроен на деловое сотрудничество, я уже заранее был

расположен к нему как к пострадавшему за правду. От меня не укрылись сдержанность и настороженность посла, хотя никто в КГБ и словом не обмолвился, что я должен присматривать за опальным вельможей. Видимо, считали, что, если Егорычев начнет сколачивать диверсионную группу для свержения незабвенного Леонида Ильича или поведет злостную антипартийную пропаганду на собраниях, я и без напоминаний возьму его за бока. Заметим, что Николай Григорьевич до самых последних дней считал, что я за ним следил, хотя никто никогда меня об этом не просил.

Через несколько месяцев после моего приезда из Центра прибыла телеграмма, в которой мне предписывалось вылететь в столицу «в связи с возникшей оперативной необходимостью». Вызов не застал меня врасплох, ибо перед отъездом мы договорились через некоторое время обсудить все дела тет-а-тет в спокойной обстановке ясеневских кабинетов. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что причиной вызова был проданный мной перед отъездом «Москвич-8», который был перепродан по двойной цене, более того, мой дилер обвинялся в убийстве, что, собственно, и послужило основанием для раскрутки продажной стоимости машины. В Москве стояла жара, дама с немытыми волосами и с сигареткой в зубах, которая вела мой допрос в районной прокуратуре, либо жила раньше в пустыне Гоби, либо использовала смешанный с дымом кабинетный зной, как средство выколачивания показаний: пот с нас обоих лил градом. Естественно, она видела во мне злейшего врага — советника посольства, зажавшегося на западных харчах (о КГБ она не знала), и, конечно же, спекулянта. Оценочная стоимость моего «Москвича» в магазине была тридцать тысяч, мне же дилер дал на три тысячи больше с учетом запчастей. Следовательно, не щадя себя, выбивала из меня истину, дело закончилось очной ставкой с дилером в Бутырке (мой первый визит в советское пенитенциарное заведение, впереди еще было Лефортово, какое будет следующее предполагать не берусь), подсудимый оказался порядочным человеком, и тут же прояснил истину.

Во всей этой истории меня поразило внешнее законопослушание трусливой Системки: подумать только! тратить деньги на командировку резидента и легко передавать его в руки правосудия. Где же вы, хваленое

доверие, прославленная «корпоративность» разведки?! И это меня, передавшего многие тысячи долларов и агентуре, и коммунистам! Уж своих-то приближенных, свою номенклатуру оградил бы сотней заборов от прокуратуры, которую в КГБ всегда считали чистой формальностью.

Тем не менее, возвратился я в Копенгаген в хорошем настроении, в результате мне даже понравилось, что меня, как простого смертного, подвергли допросам, — разве это не свидетельствовало о равенстве в советской демократии?

Ах, как хорошо быть резидентом! Не хуже, чем генералом! Этого не чувствуешь лишь дома, где жена называет тебя уменьшительными именами, требует пылесосить и даже порою устраивает легкий скандал, забыв о твоём величии и видя в тебе рядового мужа, а не сановного супруга. Черный «мерседес» с автоматическим управлением, здание посольства за оградой, размеренный переход от машины к зданию. Дежурный, увидев на экране телевизора державную фигуру, нервно нажимает на кнопку дистанционного управления железной калиткой, она покорно жужжит, ожидая прикосновения властной руки. И вот вестибюль посольства и раздача рукопожатий, словно ты член Политбюро во время визита на ВДНХ и вокруг ошалевший от любви народ. Подъем в служебный кабинет по деревянной старомодной лестнице сопровождается принятием различных глобальных решений: кому-то нужно срочно вырвать зуб и он отпрашивается, вчера наловили в море рыбки — не угодно ли потоварищески? когда лучше назначить бюро? — это секретарь парткома, завхоз шепчет конспиративно, что подобрал наконец в мебельном магазине хороший кожаный диван, офицер безопасности докладывает, что в кооперативный магазин завезли тонкие французские вина, рекомендованные самим резидентом.

Кабинет убран и провентилирован, на стене — портрет Ильича в последние годы жизни, не ходульный, а тот, с которого он смотрит исподлобья трагическим взглядом. Сбоку портрет Кима Филби с автографом, призванный вдохновлять дружину на ратные подвиги, в углу подержанный сейф, на столе еженедельник, в котором расписан каждый день и час, лупа (не для исследования а-ля Шерлок Холмс следов убийц, а

для чтения фотопленки или мелкого текста), конечно же, груды карандашей и ручек для мудрейших резолюций, рядом шкафчик со справочниками и приемник «Шарп»⁹⁰. Кабинет убирало доверенное лицо, все в посольстве знали, что это кабинет шефа КГБ, и никто не смел войти туда без осторожного стука или без предупредительного телефонного звонка. Все руководители совучреждений свидетельствовали свое почтение и приходили «посоветоваться», посла обычно я посещал сам, хотя он, будучи по природе демократом ленинского толка, иногда тоже захаживал в святая святых. Туда я иногда затягивал и генсека коммунистической партии Дании, вручал ему деньги из ЦК КПСС, получал расписку — все это с помпезными тостами за солидарность трудящихся и за дальнейшие успехи Страны Советов.

Рабочий день резидента уныло бюрократичен. Усевшись в кресло, я начинал с датских газет, тут же шифровальщик, всунув предварительно голову (вдруг в кабинете гости из чужаков), притаскивал телеграммы из Центра, их я листал чуть снисходительно — ведь к Центру отношение как у Суворова на поле брани к генеральному штабу (что там они понимают, не нюхая пороха?). ЦУ чрезвычайного характера бывали редко. Под телеграммы являлись на утренний обмен идеями заместители (их трое, поменьше, чем у Предсовмина, но все равно греет душу), иногда краткое совещание оперсостава с обсуждением, как говаривали большевики, текущего момента, затем переход в кабинет посла на обзор прессы, там каждый сверчок знал свой шесток, и никто не бухался нагло в кожаное кресло, в котором обычно сидел резидент.

Отношение в совколонии к КГБ, естественно, почтительно-трусливое, все считали, что КГБ не только прослушивал каждую тетю Маню и следил за

⁹⁰ Должен признаться, что Вальтер Шелленберг, шеф германской разведки, намного меня переплюнул: «Огромная, прекрасно меблированная комната, покрытая толстым роскошным ковром... письменный стол красного дерева, напоминающий маленькую крепость. В него заделаны два автомата, которые могут изрешетить всю комнату пулями. Они нацелены на посетителя и двигались за ним во время приближения к моему столу. В случае необходимости нужно лишь нажать на кнопку - и оба автомата стреляли одновременно. Кроме того, имелась другая кнопка, с помощью которой я мог вызвать охрану для окружения здания и блокирования всех выходов».

всеми, но и держал на крючке всех и всё. (Миф удобный, культ разведки придумали гениальные люди, и никому не приходило в голову, что резидент с утра иногда мотался с женой на пригородный рынок, где в два раза дешевле помидоры.)

Обзор прессы, прерываемый пронизательными репликами посла, длился около часа, затем возвращение в свою крепость и утверждение оперативных мероприятий, вызовы на ковер подчиненных, активная умственная работа. В час дня обеденный перерыв, иногда дома, иногда в ресторане с каким-нибудь членом парламента, обычно в ресторанчиках у канала «Золотая фортуна» и «Крог», с видами на правительственные здания, что не позволяло остынуть оперативной страсти. Исполненный глубокого смысла разговор, интенсифицированный коньячком, задумчивое возвращение пешком (для здоровья!) с заходом в книжные и прочие магазины, снова деревянная лестница, портрет строгого Ильича, изысканная работа опытным пером над информационной телеграммой в Центр.

Исполнен долг, завещанный Крючковым...

Засиживаться после шести я не любил, хотя обычно перед отправкой дипломатической почты обрушивался неизбежный совковый аврал: кто-то не успевал дописать документы заранее, все ждали до последнего и вываливали целую кучу. Большинство трудяг после шести тянулось в кооперативный магазин, что в клубе, где бывало и кино, и самодеятельность, кое-кто млел с удочкой на берегу (верняк: две-три трески за час) или совершал семейный променад по набережной, насыщая легкие йодом.

Мой англофильский снобизм окончательно сменился симпатиями к Копенгагену: полюбил я бродить по центру, нестерпимо уютному и домашнему, мимо невзрачных протестантских церквушек, по закоулкам с книжными лавками, порой замирал в шоке у порновитрин, где бородатые дяди страстно возились с козами, шагал по пешеходке Строгет на Ратушную площадь, попутно съев пару сосисок-пельсеров под умиротворяющее пиво. Знаменитый парк Тиволи казался мне тесным, и я предпочитал загородный

парк Баккен, куда добирались по набережной, любясь капризным морем, по вечерам оно было особенно красиво, и хотелось все бросить и просто пожить в отеле прямо на берегу, забыть о Центре, об агентуре и шифровках, пить с утра молоко с круглыми булочками, намазанными джемом с апельсиновыми корочками, пожирать овсянку, стараясь, чтобы она не вытекала изо рта, и, конечно же, завершать эту идиллию дурманящим кофе, после которого хочется любить, дружить и писать романы под заботливым оком Софьи Андреевны Толстой...

Мы часто выезжали в живописный Эльсинор (по-датски грубо: Хельсингёр), где, как оказалось, принцем никогда и не пахло (он дерзал в Ютландии), однажды прямо во дворе замка мы смотрели «Гамлета» в исполнении английской труппы, спектакль был вял, предусмотрительные организаторы раздали пластиковые плащи на случай дождя, — и действительно, в тот момент, когда Гамлет убил Полония, с неба обрушился ливень. Недалеко от Эльсинора прямо на морском берегу примостилась художественная галерея Луизиана, около нее трепыхались и дрожали на ветру абстрактные построения Колдера, возлежали у берега на зеленой траве статуи Генри Мура, напоминавшие великанов из другого мира, в кустах запрятались скульптуры Аристиды Майоля... Прекрасные мысли о том, что только искусство, вынесенное из помещения на стены домов и площади, становится близким народу, расцветали там с новой силой.

Друзья мои, Данией нужно наслаждаться, как жизнью, а не заниматься там шпионажем! (Запоздавшие, весьма стариковские выводы!) Впрочем, шпионаж — это изощренная форма наслаждения (причем оплаченная!), огромное удовольствие, сопряженное с сознанием благородного служения Родине, с остротой и горечью чувств. Я тоже отдал дань тому, но лучше театр на дому...

Центр постоянно лупцевал нас за запустение по американской линии (частично это объясняли тем, что Гордиевский знал лишь датский и немецкий и не мог возглавить эту линию — представляю дикий хохот в английской МИ-6, на которую он работал), даже обыкновенные контакты с американцами резидентуре давались тяжело, на приемы к нам главный противник являлся редко, а к себе нас почти не приглашал. Правда, иногда

случались на нашей улице праздники: американцы приходили на просмотры фильмов с последующей выпивкой, закреплявшей восторги от фильма. Однажды мы затеяли грандиозный ленч с целой группой американцев на советском корабле, стоявшем на причале в Копенгагене, потрясли главного противника русской кухни и водопадами водки...

Зазывали мы американцев на волейбол, они приходили, играли, выпивали пива и, поблагодарив, исчезали, а на контакт в городе не шли. Организовали мы и футбол, сражались на поле в соседнем парке, американская команда в основном состояла из юных морских пехотинцев-охранников, по нашей стороне носились солидные дипломаты, в том числе и ваш покорный слуга, пыхтевший как паровоз. Тогда и произошло эпохальное событие: я забил американцам единственный гол с классической подачи офицера безопасности (знал, кому подавать!). Чекистская честность заставляет сказать, что мяч случайно долбанул мне в ногу и отскочил в сетку ворот, болельщики орали, как обезумевший хор («Славься, славься, русский царь!»). Я для приличия неспешно побегал еще минуты три, приходя в себя, гордо сошел с поля, принимая горячие поздравления (о, любовь народа!), и присоединился к болельщикам. Испытал чувства юных лет, когда в Куйбышеве во время войны в Корею вместе с толпой стоял у карты военных действий, висевшей под стеклом в центре города, на ней флажками каждый день обозначали линию фронта. Все ликовали, когда наши корейцы и наши китайцы, сметая врага, пошли на юг и захватили Сеул (увы, дальше было хуже).

Кроме зажавшихся американцев, которые не желали вербоваться, к счастью, существовал и дипломатический корпус — спасительный клапан, как писал Ильич, — там порою мы орудовали лихо, хотя Центр не поощрял работу по нецивилизованным, не натовским странам: не уклоняйтесь, товарищи, от решения основных задач, не увлекайтесь разной шантрапой, когда под носом главный противник - США.

Сидя в Москве, я не ощущал, какое количество циркулярных заданий рассылается по всем резидентурам, нам вменялось и работать по Социалистическому Интернационалу, и по Китаю, предписывалось освещать проблемы, которые явно были не по нашим зубам, но чем черт не

шутит? Вот какой-то датчанин сгонял в Северную Корею и вынес оттуда некие общие впечатления — и информация с гулькин нос летела не куда-нибудь, а в ЦК КПСС. Иногда в Копенгагене случались сборища НАТО, наезжали генералы, американские и прочие лидеры, тогда наша провинциальная точка оживала, наверх неслись срочные телеграммы и на задний план отступали и заседания Северного Совета, и особые позиции датского правительства — тут мы умели подсуетиться под клиентом и яростно доили корову.

Как ни парадоксально, но без всякой агентуры мы вполне и даже с избытком удовлетворяли интерес Центра к датской политике. Впрочем, что тут парадоксального? Много ли надо знать о Дании? Интересы Страны Советов не так уж там велики, другое дело, что и посол, и резидент стремились преувеличить значение страны (и свое собственное). Любая политическая информация уязвима, и приходит на ум Набоков: «Франция того-то боялась и потому никогда бы не допустила. Англия того-то добивалась. Этот политический деятель жаждал сближения, а тот - увеличить свой престиж. Кто-то замышлял, и кто-то к чему-то стремился. Словом - мир... получался каким-то собранием ограниченных, безуморных, безликих, отвлеченных драчунов».

Но не информационным валом прикрывалась наша полуголая резидентура, и не планами, сулящими превратить Данию в оплот советской разведки. Волчком были активные мероприятия: датчане вещали с высоких трибун о рациональных зернах в советской внешней политике, чаще всего без нашей подсказки, но, поскольку мы все-таки с ними контактировали, то и их речи приписывали себе и своему влиянию. И летели в Центр бравурные отчеты, вливавшиеся в общемировой поток, они искусно обрамлялись и с достоинством преподносились в ЦК и Политбюро.

Время от времени в Данию наезжали партийные делегации, ценившие местную компартию за лояльность и манипулировавшие ею в пропагандистских целях, главным образом в Стране Советов, где каждый гражданин, читая «Правду», быстро осознавал, какую непобедимую силу имела КПСС на Западе.

Мое отношение к западным коммунистам прошло через многие веселые и печальные стадии, сначала я ими восхищался — ведь они боролись за идею в нелегких условиях и не купались, как наши боссы, в привилегиях. Один деятель ЦК меня однажды предупреждал: «Помни, что западные коммунисты — это не настоящие коммунисты, как мы с тобой!» (т. е. они привыкли к свободе мнений и дискуссий). Встречал я и фанатиков, влюбленных в идею и не замечавших, как она воплощается в жизнь, — они вызывали уважение лишь тогда, когда сами были бескорыстны, не тянулись к роскоши и власти. Руководители датской компартии верно служили КПСС, хотя и среди них были чистые души. Система умела развращать: их умело спаивали, холили в роскошных крымских санаториях, подбрасывали валюту и подарки, бесплатно учили и лечили.

Один из руководителей международным отделом ЦК на узкой сходке в нашем посольстве, сияя румянцем, поднял тост: «За коммунистов, которые всегда хорошие люди!» Все выпили, и кое-кто даже облобызался. Увы, но хорошими людьми могут быть и нацисты, — разве Гитлер не любил кошек и детей и не насвистывал наизусть Вагнера? Зловещий политик может быть отличным человеком, а светоч свободы и демократии — скупердям и круглым дураком, посему политического деятеля стоит оценивать по его политике, а не по порядочности, честности, задушевным беседам в кругу друзей и добрым намерениям. Наши партийные делегации, как правило, возглавляли дуботолки, однако аппарат ЦК, особенно международный отдел, всегда удивлял неординарностью мышления, относительной терпимостью и подспудно реформаторскими настроениями. Горбачевская перестройка набухала и зрела в недрах еще со времен «оттепели», «шестидесятники» в партии таились и не высывались, словно масонская ложа. Особо мне импонировал тогдашний замзавотдела Виталий Шапошников, регулярно приезжавший в Данию, здоровяк и бывший боксер, прошедший в партии огонь и воду, о Крючкове он снисходительно говорил «Володя», любил слушать крамольные песни Высоцкого, а однажды в своем кабинете я зачитал ему собственные стихи, за которые тут же полагалось сорвать погоны и надолго благоустроить меня во

Владимирском центре. «Ничего стихи», — буркнул он, но на следующий день словно об этом забыл. (Наверное, и забыл).

Уже тогда КПСС начала заигрывать с западными социал-демократами, начиналось все гладко, с проблем разоружения, но с приходом Картера на наших лидеров обрушились «права человека», никто, естественно, не ожидал, что договоры на СБСЕ в Хельсинки вдруг приобретут неприятный привкус (за что боролись, на то и напоролись, наивные мечтатели!)⁹¹, вдохнут новую жизнь в «диссидентов» и антисоветские центры, — наши вожди всегда легко относились к собственным обещаниям, тем более что вопрос был «мелкий».

Сотрудничество с социал-демократами постепенно стало важной чертой работы ЦК КПСС с целью, естественно, использовать это для укрепления комдвижения. Социал-демократическая партия Дании пока оставалась в стороне, хотя лидер СДПД А. Йоргенсен не забывал об экономической стороне прав человека (елей на сердце советских лидеров, заботившихся о благосостоянии трудящихся всего мира).

Я не раз обсуждал с приезжавшими сотрудниками ЦК возможность установления официальных контактов с датскими социал-демократами. Идея вскоре стала материальной силой, превратившись в бумагу с добавлением, что датчане с удовольствием примут приглашение в Москву. Однако реакция мозгового центра мудрейшей партии была непростой: да, мы заинтересованы в визите датчан, но инициатива должна исходить от них: если они попросятся в Москву, то мы их просьбу уважим. То есть: мы вас пригласим, если вы к нам попроситесь, типичная перестраховка бюрократов на всякий случай. К тому времени я уже хорошо освоил вершины аппаратного прохиндейства, и не помчался в штаб-квартиру социал-демократов, чтобы с подкупающей простотой убедить их написать

⁹¹ Константин Константинович Мельник в своей книге признавал, что именно он в «Рэнд корпорейшн» вбросил идею связки «нерушимости границ» с «правами человека». Наше руководство это заглохнуло и потом удивлялось протестам «хельсинкских групп». С Мельником я общался в последние годы, он был внуком доктора Боткина, расстрелянного вместе с царем, и искренне ненавидел Ленина и Сталина. Поразительно, что генерал де Голль сделал его, русского эмигранта, координатором работы всех французских спецслужб.

заявление в ЦК КПСС с просьбой о приглашении. Ничтоже сумняшеся, сам шуганул в Москву шифровку, что СДПД «хочет и просит». Немножко сделал Историю. Вскоре прибыло официальное приглашение, делегация вылетела в Москву и — какой пассаж! — оставила о себе весьма паскудное впечатление из-за наглых нападок на КПСС по правам человека, так что лавров на моей голове не прибавилось.

Шла работа и по самой хлопотной линии: контрразведка и безопасность советской колонии — тут мы трепет не наводили и вели себя скромно, тщательно проверяя все «стуки», исходившие в основном от честных граждан, стремившихся устранить соперников и просто тех, чьи физиономии не нравились. Наш консул и мой зам по КР Михаил Федосеев, ветеран войны и ас разведки, отличался благородным и демократическим характером, читал Маяковского со сцены клуба и смотрел сквозь пальцы на мелкие грешки (вроде подпитки портного-поляка несколькими бутылками виски, дабы купить дубленку по дешевке, или слишком бурного романа с зав. канцелярией посольства).

Мы понимали, что живем в бедной России, и для большинства командировка за границу — как дар Божий на многие годы вперед и до гробовой доски. Суровый Центр не дремал, и пара грозных снарядов до нас долетела: однажды потребовали отправить на родину специалиста, утаившего, что его дядя во время войны помогал фашистам в Прибалтике, другим преступником оказался симпатичный сотрудник торгпредства, якобы переспавший много лет назад с иностранкой в благодатной Швейцарии, небось часто купался в воспоминаниях об этой феерии, не подозревая, что рано или поздно настигнет его карающая рука органов. Обычно отзывали по принятому тогда стандарту: из Москвы виновникам прилетала телеграмма с просьбой вылететь на срочное совещание.

Однако в Дании традиции тотальной слежки за своими никогда не существовало, крупных внутренних скандалов тоже не было. Правда, иногда появлялись любители зажечь бочку с порохом, как, например, мой новый заместитель по контрразведке, человек избалованный положением и с характером, вошел в конфликт с послом из-за нежелания последнего купить то ли ковер, то ли кресло для его представительской квартиры. К

этому добавилась стычка на совещании (как известно, публичные конфликты стоят сотни борений наедине, даже если соперники душат друг друга, брызжа благородной слюной). Битва бульдогов под ковром ожесточалась, и вскоре товарищ по оружию принес мне кипу материалов на дочку посла. Набросано туда было много горящих поленьев, и, главное, варганил он это месиво не самолично, а руками агентуры (естественно, советский агент в рот смотрел своему куратору и, как правило, очень талантливо приспособливал свою «компру» под услышанную «общую линию»). Мои уговоры прекратить всю эту возню и заняться делом, т. е. искать новых Филби в западных спецслужбах, до крайности обострили наши отношения, пожалуй, впервые в жизни я столкнулся с порочным кругом, который трудно разорвать: липовые «компры» поддержать я не мог, но и отвергнуть их полностью было опасно, ибо о деле товарищ грозил сообщить частным образом в Центр, и там умельцы тут же создали бы образ укрывателя преступников, пособника и дилетанта. Пришлось прокомментировать «компру» обычным бюрократическим способом («нами принимаются меры», «о ходе дела будем информировать»). Но вскоре меня спас от этой склоки случай: борец за правое дело выехал в отпуск (там он, естественно, точил на меня кинжал), а в это время сбежал на Запад связанный с ним агент, — я тут же порекомендовал Москве не возвращать товарища в резидентуру, убережь его от возможных провокаций. Во имя правого дела все средства хороши, в конце концов, мы же вполне интеллигентные люди, и работаем в белых перчатках...

И все же, какая суета!

Но жизнь уходила именно на чепуху, и в минуты философских размышлений с томиком Николая Федорова (нам, шпионам, и это не чуждо!), где черным по белому написано, что миссия человека на этой земле — воскресить предков, а не бегать на встречи с агентами и на рынки, я вновь понимал всю бездарность своего существования.

И, наверное, спился бы или обворовал бы казну (кстати, уже позже, после моих выступлений о передаче денег ЦК КПСС датским коммунистам, из многих уст я слышал: «Вот дурак! Зачем отдал сотни тысяч долларов им? Лучше бы взял себе!»), если бы не жгущая амбиция заняться литературой.

То ли от хороших хлебов, то ли от отчаяния, но в Дании у меня наступила своего рода болдинская осень: началось все с пацифистской и заговорной поэмы о войнах между Алой и Белой розами, намекавшей на грядущую ядерную схватку, затем родилась поэма под многозначительным названием «Гойя. Капричос», где водили странные хороводы ведьмы, вороны, летучие мыши и глупый испанский король — вылитый Леонид Ильич; досталось и мученикам догмата, и рыцарям, пирующим на костях замученных, и самому себе — «инквизитору, который плачет, когда рубит головы». Неожиданно появилась страсть к балладам, которые хотелось петь на углах, в плаще и с кинжалом, в стиле бродячих менестрелей. Искусства гитарной игры я, увы, не постиг, Высоцким себя не считал, но баллад тридцать отмахал, естественно, с кукишем в кармане («В одной далекой стороне, в одной молельне, висели уши на стене для развлечения» — так тонко маскировал я брови Брежнева)⁹². Свои творения я широко афишировал и среди тузов совколонии, и среди подчиненных, и послу читал, и важным визитерам.

То ли одни порядочные люди окружали меня (вот ужас-то! кто же тогда я?), то ли считали меня ловким провокатором, с которым лучше не связываться, то ли стучали слишком осторожно, и все оседало в "деле", но никаких видимых последствий я не ощущал. Неужели стихи были просто беззубыми? или у слушателей не развито было ассоциативное мышление? Ужасно!

Летом во время школьных каникул приезжал сын, освоивший гитару и — о счастье! — полюбивший мои баллады (поэзию он презирал, но для меня делал исключение). Тогда мы с Сашей еще больше сблизились, хотя ни Катя, ни я никогда не делали драму из развода, поддерживали в сыне уважение друг к другу, да и сами оставались друзьями. Развалившись на диване и прижавшись друг к другу, мы горланили под его аккомпанемент:

⁹² Поскольку голос у меня никакой (правда, папа и дядя заставляли меня петь третью партию в «Вечернем звоне»), основные баллады великолепно озвучил Николай Грибин, который потом заменил меня на должности шефа, а в дальнейшем возглавил наш шпионский лицей и стал генерал-лейтенантом, профессором и доктором юридических наук. Видно, вырос из баллад, как из гоголевской «Шинели»...

«Два туриста шли себе — Веселая компания, Шагали важно по земле
Под названьем Дания. Там датский бекон, датский жир, Во всех витринах
датский сыр, Но жить крестьянам нелегко — Едят лишь хлеб и молоко.

А свиньи, властные, как львы,

Один турист шагал хмельной, Другой трезвел и злился, Шагали по земле
одной, Где Андерсен родился. Тот самый старый Андерсен, Андерсен,
Андерсен...

Кончалась баллада вполне по Карлу Генриховичу Марксу:

Но разве в хлебе смысл, старик,

Когда не знаешь, что велик?

И так живешь себе, старик,

Совсем не зная, что велик...

Последние строчки сын пел особенно нежно, обратив свой лик ко мне, и теплом наполнялась душа, и хотелось построить дом в Переделкине, недалеко от Евтушенко и Вознесенского. Бродить по дорожкам, раскланиваясь с гениями, принимать Ганса Магнуса Энценсбергера и Джона Апдайка, выступать на вечерах и по телевидению... (кое-что из этого сбылось, а телевидение в погоне за комментариями по настоящему достало, и теперь уже хочется вернуться в прошлое, и даже возглавлять резидентуру где-нибудь на Майорке).

По уик-эндам мы все вместе (кроме Саши приезжал и Боря – сын Тамары) отправлялись в курортные Гилеляй и Тисвиляй, грелись на пляжах, зарываясь в чистый песок, иногда ночевали в кемпингах, как-то провели несколько превосходных дней на берегу моря в деревянном отеле на острове Фюн. С Олегом Гордиевским, естественно, я общался постоянно, но, как ни странно для английского агента (или, наоборот, именно поэтому), он не навязывал мне свою дружбу и держал дистанцию, начиная с вежливого «Михаил Петрович», несмотря на предложения брудершафта. Жизнь он вел размеренную, бегал по утрам, играл в бадминтон, всячески лелеял свое здоровье, видимо, предвкушая долгие годы в Англии на не шибко великой английской пенсии и орден от правительства Ее

Величества. Мне казалось, что он тоже мне симпатизировал, и я не придавал никакого значения словам его жены, сказанным как-то в момент обострения их отношений: «Он совсем не открытый человек, не думайте, что он искренен с вами!».

Впрочем, в жизни так много лицемеров, что можно сойти с ума, если каждый раз прикидывать, кто искренен, а кто лжет. Иногда мы сходились в разных компаниях, я был горазд на капустники, мой будущий заместитель Коля Грибин хорошо пел, ставший генералом и начальником института разведки, сдержанно бражничал с нами и Олег Антонович.

Играй, пока играет, Играй себе пока То Окуджаву-пьяницу, То Баха-дурака.

Играй! Какая разница? Зарплата есть пока... Пусть Гордиевский-кисочка

Нас судит, как Дантон, Его жена форсистая, А сам он... миль пардон!

Читает нам нотации И учит, как нам жить. Ему бы диссертацию вначале защитить!»

Последний удар был прямо в сердце, ибо я и солист были кандидатами наук, Гордиевскому я только и твердил, что с его головой можно в мгновение ока защититься в Институте им. Андропова, он, видимо, предпочитал Оксфорд. Гордиевский вел себя безупречно: всегда докладывал о своих передвижениях, не влезал ни в какие интриги, был подчеркнуто вежлив и исполнителен, готов тут же, как вымуштрованный конь, забить своим золотым копытом и рвануться... Это он умел. К тому же еще скромненький, как истинный коммунист. Я собирался повысить его по должности – он только руками замахал: «Нет, нет!», предлагал место в партийном бюро (престиж!) – «Нет, нет, Михаил Петрович, достаточно, что я веду семинар для жен дипсостава!» (жены обливались слезами умиления, узнав от него о фрейдизме и сексологии). Да и где это видано, чтобы заместитель-фаворит входил к шефу, не уверенно открыв ногою дверь, а всунув предварительно лысину: «Извините, не помешаю?»

За несколько месяцев до возвращения в столичный град Гордиевский меня совершенно изумил: явился в резидентуру и скорбно заявил, что собрался разводиться, ибо жаждет детей, которым можно будет передать наследство (насчет последнего, каюсь, я не понял, представляя мой

скудный капитал, но, наверное, он имел в виду свой счет в лондонском банке). Его тогдашняя жена Елена, наша сотрудница — редкость в учреждении, где в отличие от ЦРУ женщин любят, но на работу берут редко, — мне импонировала, однако аргумент насчет детей звучал искренне и убедительно, хотя я попросил его еще раз подумать и не сжигать мосты с ходу. Откровение Гордиевского меня подкупило: не всякий будет делиться с резидентом своим сокровенным, с риском быть отправленным на родину досрочно, честность любят все. Я написал личное письмо Виктору Грушко об этом печальном событии с предложением оставить Гордиевского в отделе, но не повышать в должности, как я предлагал ранее, — ведь развод, словно грязное пятно, портит чекистскую биографию, если новая избранница не дочка члена ПБ или члена коллегии КГБ.

Удивительно, что английская разведка, на которую с 1974 года трудился Гордиевский, не встала горой против развода, ибо в той ситуации без наличия Мохнатой Руки (возможно, она была у англичан) разведенный агент был обречен на длительное прозябание в самом затхлом углу просторного ПГУ и, уж конечно, отсутствовала даже призрачная перспектива, что его, скандинава со слабым английским языком, направят в Лондон.

В августе 1978 года грянула телеграмма об инфаркте отца, я тут же вылетел в Москву и прямо с аэродрома поехал в главный кагэбэвский госпиталь на Пехотном, где, как старый чекист, он и лежал. Плох был отец, совсем плох, мы недолго поговорили, на следующий день он потерял сознание и уже не приходил в себя, я сидел у кровати, держал его руку, он пожимал мне ее в ответ, прощаясь навсегда. Через час после моего ухода он умер, мне до сих пор кажется, что если бы я не убрал свою руку, все было бы хорошо...

Смерть отца я переживал тяжело: мы прожили вместе почти всю жизнь, мать умерла рано, он не считал возможным жениться, пока я не закончил институт и не встал на самостоятельную стезю. Человек он был добрый, любил и умел мастерить, чувствовал хорошо природу и всегда оживал в лесу, радуясь деревьям и цветам. Великолепно пел, вырезал из коряг чудных человечков, которые все вместе составляли хор, в котором

каждый имел свою биографию. В ЧК он попал случайно, к работе относился без пиетета, читал классику, любил музыку, был очень осторожен в высказываниях, ушел на пенсию лишь стукнуло пятьдесят, и меня всеми силами удерживал от перехода из МИДа в КГБ. О деяниях своих отец почти ничего не рассказывал, прорывались лишь скупые штрихи: имел отношение к антоновскому восстанию на Тамбовщине, к делу Рамзина (Промпартия), был на обыске в квартире Троцкого, и жена его кричала: «Кого вы обыскиваете? Вождя революции!», занимался меньшевиками — к счастью, он был «винтиком» и крупного положения не занимал, иначе его, конечно бы, не только посадили, но и расстреляли. Однажды, зайдя к отцу в управление контрразведки в Куйбышеве, я увидел, как по коридору вели арестованного. «Кого сейчас провели?» — спросил я отца. «Один солдат создал в роте антисоветскую организацию. Очень серьезное дело».

Уже после смерти Сталина я не раз изливал на него праведный гнев по поводу карательной организации, отбивался он вяло, утверждал, что никогда не симпатизировал Сталину, идеалы коммунизма тоже, в отличие от меня, не защищал. После отставки он устроился в Комитет стандартов, жил скромно, дачи себе не выстроил, машины не приобрел, — наверное, у всего этого поколения отбили охоту к материальным благам. Мне до сих пор не хватает отца. Каждый год в день его рождения мы с сыном кладем цветы на его могилу. Я чту его память, я люблю его, это был мой отец, воспитавший и любивший меня. И странным, магическим мотивом звенят корявые строчки, которые я писал ему в сорок втором: «Ты там, ты там во мгле ночной, в землянке и в огне, но знаю я, что ты, родной, все думаешь о мне». (простим «о» семилетнему дурачку). Прощались с отцом в известном всем чекистам морге на Пехотном, затем Хованское кладбище, три залпа в воздух, гимн — и все было кончено. Забрав шестнадцатилетнего Сашку, я махнул в Сочи, где у меня было достаточно времени, чтобы подумать и подвести итоги, — смерть близких заставляет собирать камни.

Итак, мне стукнуло уже сорок четыре года, великое дело строительства коммунизма в нашей стране казалось утопией (не теория, нет!), правительство я считал сборищем властолюбцев-маразматиков, не питал иллюзий по отношению к КГБ, выполнявшему, в основном, функции

душителя. Правда, разведка в моих глазах выглядела благороднее, я надеялся, что ее выделят из раздутого монстра, однако угнетали показуха и бюрократизм в разведке, когда шла переписка между отделами, находящимися в одном коридоре, словоблудие и подхалимаж, бесконечные согласования и перестраховки — наверное, долгая работа в одном ведомстве неизбежно рождает скепсис. Мое разочарование касалось и информации, которой вертели, как хотели, я ни в грош не ставил активные мероприятия, в основном имевшие резонанс лишь внутри ведомства, хотя сам не без энергии участвовал в этом бурном процессе, я чувствовал себя обыкновенным циником и карьеристом. Я разочаровался в разведке как в форме человеческой деятельности.

Я не уверен в своей правоте, но я прошел в разведке через все круги, я работал честно и на совесть, я вербовал, работал с агентурой, следил, соблазнял нужных (иногда и ненужных) дам, меня самого вербовали. Я встречался и с нелегалами, и вынимал из тайников, я проверял агентов и участвовал в контрнаблюдении. Черт побери, не я один потерял пиетет к разведке: кто не помнит язвительную сатиру бывшего разведчика Грэма Грина в «Нашем человеке в Гаване» или разведчика и контрразведчика Джона Ле Карре в «Портном из Панамы»? Или агента разведки Сомерсета Моэма: «Работа агента секретной службы, в сущности, скучна. Большая часть того, чем он занимается, совершенно не нужна ни ему, ни людям».

Но не только дела политические и служебные терзали меня: я ощущал на себе разлагающее влияние пусть малой, но власти. Любая заграничная колония — это наша страна в миниатюре, и резидент если не царь, то член Политбюро. Уже подчиненные вязали мне веревками коробки перед выездом в Москву, уже водитель привозил мне домой заказы из нашего сельпо, я уже считал это в порядке вещей, я привыкал к тому, что мне почти не возражали, — все это нравилось, но заставляло задумываться. Наконец, я скучал по Москве, по друзьям, по нормальному общению, так существовать было невыносимо, и — который раз! — хотелось начать новую жизнь.

Впрочем, все эти страдания души я наверняка перенес бы, ходил бы пузо вперед и в глазенки начальничьи заглядывал, носом по ветру крутил бы, вынюхивая, какой подстилкой выгоднее лечь! и эполеты генеральские

примеривал перед зеркалом, и к гостям на октябрьские праздники выплывал бы в мундире, и радовался бы до слез, и отдал бы в этой счастливой кондиции преспокойно концы, хвост заячий, если бы не Промысел Судьбы, это она, мудрая, все поняла и почувствовала, но тогда только накапливала себя во мне, примеривалась и не спешила подталкивать...

После смерти отца я и начал слезно просить Грушко побыстрее отозвать меня из надоевшей Дании в родные пенаты, сначала он удивился — обычно резиденты сидели по пять-шесть лет и отнюдь не стремились домой, — но потом внял моим аргументам и пообещал через год возвратиться меня на родину. Я вылетел в резидентуру и продолжил раскручивать там маховик.

Однажды я познакомился с английским дипломатом Питером Дэвисом, тут же запросил Центр и получил ответ: Питер — опытный волк английской разведки, работавший долго в Западной Германии, а ныне резидент на Данию, Швецию, Норвегию — англичане не отличались американским размахом. Контакты резидентов с резидентами — дело рутинное и приятное, но Питер вцепился в меня, как клещ, тогда я не обратил на это особого внимания, объяснив его интерес неповторимостью собственной личности. Мы особо и не скрывали свою принадлежность к могучим службам, встречались дома семьями (у него был прелестный особнячок в саду с рододендронами), я подарил ему «Былое и думы» на английском, после этого он стал величать меня генералом Дубельтом, а я его полковником Лоуренсом. Однажды мы мирно ленчевали в ресторане у Королевского сада, когда он, указав на занудного вида, красноносого типа, топтавшегося в баре, сказал, что это его шеф, и попросил разрешения пригласить его к столу. Я сразу понял, что это операция, а не случайность. Помня, как меня пытались вербовать, взяв с двух боков в лондонском пабе, я отказался от приятного соседства. Однако, когда мы вышли на улицу, красноносый подошел к нам, ласково улыбаясь, пришлось познакомиться, и тут он протянул в подарок книгу о Тургеневе, купленную якобы по просьбе Питера к моему дню рождения. Явно, что налицо был заговор, вербовочный подход, я раздул ноздри, шумно отказался от подарка, молвив, что «От

незнакомцев подарки не принимаю!». Обругал Питера за бесцеремонность, и долго мы кружили по площади, он умолял меня не сердиться, убеждал, что у типа вовсе не красный нос, и вообще он нежный человек и семьянин, а я вспыльчивый чудак, не понимавший английской души. Но душу я понимал и о Питере регулярно отчитывался в Центр, хотя зацепки для его вербовки отсутствовали, он был интересен как профессионал, любопытны были его вопросы и методы моего изучения, особенно он напирал на политические взгляды, я порою подыгрывал ему и мягко подчеркивал свой нонконформизм.

Один почтенный мастодонт на заре моей разведывательной юности изрек такую заповедь: если хочешь преуспеть в разведке и не желаешь, чтобы тебя вышибли из страны, играй немного в поддавки, дай контрразведке пищу для твоей разработки, не держись мрачно-советской линии, дыхни иногда диссидентством. Тогда и иностранцы не будут мчаться от тебя как от бешеной собаки, и спецслужбы не выбросят, надеясь завербовать (этот мудрый совет я оценил уже после высылки из Англии, где от правильной линии я не отходил ни на йоту, даже чуть перегибал в силу своих большевистских взглядов). Вскоре симпатичный Питер, увлекавшийся орнитологией (вариант Джорджа Смайли из романов Ле Карре), убыл в Осло, оттуда он иногда мне звонил, мы все договаривались о пылких рандеву в Копенгагене до самого моего отъезда.

В Москве я забыл о своем английском «приятеле», и только после бегства Гордиевского до меня дошло: ба! значит, Питер раскручивал меня по наводке предателя! интересно, какой подарочек из ящика Пандоры мне собирались преподнести? Тайна интригует меня до сих пор, упрямы все-таки англичане, не слезали с меня, молодцы!⁹³

Жизнь продолжалась не работой единой, а летом вообще становилась курортной: морские купания рано утром, интенсивный волейбол раз в

⁹³ Поразительно, но когда вскоре после августа 1991 года меня пригласил в Ясенево Леонид Шебаршин (я просил, чтобы сын с «Взглядом» пробился в ПГУ и снял там фильм), первый его вопрос был о моей связи с английской разведкой. Я жутко удивился и ответил, что все мои шаги отражены в документах, и это его удовлетворило. Кто-то напел ему из моих недругов, даже предполагаю кто...

неделю, броски на катере или на парусной яхте в море, где запросто за пару часов можно поймать до пятидесяти штук трески, что не только приятно, но и укрепляет семейный бюджет, регулярная охота в старом имении. Датчане умеют жить, у них нет жажды заколачивать деньги с утра до поздней ночи ради трех машин, двух коттеджей и возможности пожить в самом дорогом отеле мира. Для датчан качество жизни, или, как говорят они, квалитет, это не только зарплата и собственность, но размеренность, экологически чистая пища, воздух и море, зеленые полянки и старые дубы Клампенборга. Это состояние тела и души, когда всего в меру и можно посидеть на желтом песке среди обнаженных нимфеток, глаза на разноцветные яхты, снующие по глади волн.

Волчок жизни крутился спокойно, порою, словно залетные птицы, появлялись именитые гости: издали книгу Чингиза Айтматова, и он прибыл, молодой и уверенный в себе джигит, имели мы легкий ужин в кабаре, где я узнал, что все написанное надо пропускать через сердце; нагрязнул редактор «Правды» Афанасьев, честивший в хвост и гриву старых идиотов в правительстве (но не в Политбюро), посол сокрушался по поводу его невоздержанности на слово, намекая, что подвластной мне службе не следует тут же стучать в Москву. Однажды после ужина я экспрессивно зачитал редактору свой стих с душком, а заодно осудил за известную статейку в «Правде» об опере, поставленной Юрием Любимовым в Милане. «Это человек с двойным дном!» — отрезал Афанасьев; прибыл Светланов с оркестром, чему предшествовала срочная телеграмма из Центра о том, что он планирует побег на Запад, и мне следует принять меры (типичный трюк Центра, перекладывавшего ответственность, какие такие меры я мог принять? окружить мускулистыми ребятами, которые ухватили бы его под белы руки и стащили бы со сцены?).

Система гнила на глазах и уже переставала пугать.

Облагодетельствовал Данию Андрей Громыко с огромной свитой, я попытался было по указанию свыше доложить ему о всех перипетиях датской политики, но его помощник Макаров до хозяина меня не допустил («Устали, отдыхают с женой...»), пришлось мне поведать о датских делах его первому заместителю Корниенко, который, как большинство мидовцев,

политическую информацию КГБ не воспринимал, а больше интересовался деятельностью спецслужб по совколонии.

Впервые попал я и за стол датско-советских переговоров, — о, это был не обмен блистательных мнений и идей! — Громыко говорил настолько бесцветно и обтекаемо, что ухватить суть было невозможно: о миролюбии СССР, о дружбе между народами, об опасности НАТО, причем все на диком серьезе, без улыбки, словно речь шла об апокалипсисе...

Антураж между тем времени зря не терял, не вылезал из роскошного отеля «Royal», где у делегации был открытый счет, покрывавший и изысканнейшие коньяки, и омары, и улитки, и гусиную печенку. Со старым знакомцем, личным переводчиком Виктором Суходревым мы изрядно подорвали государственный бюджет.

Не забыл Данию и мой шеф Виктор Грушко, встретил я его, как положено, по-царски, с броском на благодатную Ютландию, где отягощенную думами голову необыкновенно прочищает морской ветер, вкусили мы и культуры, посетив модернистский театр с модернистской пьесой "Войцек". Актеры встречали каждого уже в дверях, по одежке и с юмором: «Прошу вас, джентльмены!» (мы оба — важные, в темных костюмах и галстуках, на фоне разноперых разночинцев-датчан), впрочем, после первого акта, совершенно измучившись, ушли в ресторан близ театра.

Грушко захватил на праздничный ужин ко мне домой поэта Евгения Долматовского, летевшего с ним в самолете, которому и попросил зачитать мои гениальные поэмы, что я с вдохновением и проделал. Мэтр, однако, восторгов не исторг (а мог бы, с учетом хлебосольства хозяев и их светлых улыбок), проворчал, что такого модернизма у него хватает и в литинституте, а заодно обругал и сюрреалистические картины Провоторова из андерграунда, висевшие у меня на стене. Я не остался в долгу и заметил, что его стихи меня тоже не воспаляют, разговор начал раскаляться, но дипломатичный Грушко ловко загасил костер и увел нас с нивы культуры на нейтральные темы.

Вертелся волчок, свеча горела на столе, я рвался в Москву, где все было широко и привольно и не так тесно, как в советской колонии, трудно

жить одной большой семьей, как в фаланстере Фурье, и слышать свое собственное эхо, отлетающее от стен. Осенью 1979 года, когда я прибыл в отпуск, Грушко предупредил, что меня должен вызвать Крючков, причем он дал понять, что дело коснется моего нового назначения. Вскоре я уже переступил порог державного кабинета, где кроме, как всегда, суховатого и делового шефа, застал симпатичнейшего генерала Михаила Котова, старого волка, изрядно потрудившегося в Хельсинки и Праге, начальника Управления «Р», своего рода штаба при шефе разведки.

Кратко расспросив о делах, Крючков предложил мне место начальника отдела⁹⁴ в этом славном управлении, объяснив, что нужен человек с научным уклоном, а у меня за плечами кандидатская. Котов добавил, что отдел занимается оперативной деятельностью всей разведки, просматривая ее насквозь по всем горизонталям и вертикалям. Я не зарыдал от счастья и, видимо, выглядел как человек, который вместо ресторана случайно попал в морг, — поэтому Котов пояснил, что отдел генеральский, т. е. мне следовало возрадоваться по поводу повышения в должности. Тут я зашевелился, превозмогая отвращение к штабной работе, поблагодарил шефа за доверие и попросил дать время на раздумье.

Далее состоялось обсуждение этой идеи в кругу Виктора Грушко и Геннадия Титова, помощника Крючкова, друзья-коллеги не скрывали, что подали ее отцу родному в надежде меня облагодетельствовать, чего мне еще надо? Конечно, жалко уходить из родного отдела, но не возвращаться же мне на прежнее место зама, где и не светит эполетами? Я прекрасно знал, что Грушко в фаворе и скоро станет заместителем начальника разведки, я знал о тандеме Грушко — Титов и предполагал, что последний займет место своего друга (так и случилось), но все равно было обидно, что меня оттесняют от родного отдела⁹⁵. Лети, мой челн, по воле волн! — я дал

⁹⁴ - И как оно сюда попало без моего ведома? - спросила Алиса, сняла с головы загадочный предмет и положила к себе на колени, чтобы получше разглядеть. Это была золотая корона.

Льюис Кэрролл

⁹⁵ - А ты могла бы не так напирать? - спросила сидевшая рядом с ней Соня. - Я едва дышу.

согласие, и мы договорились о моем возвращении на родину весной 1980 года. Новая должность виделась мне как показушная суета под начальником разведки, призванная обеспечить его идеями и свежими предложениями, создававшими видимость стремления к совершенству. Но змей-искуситель был сильнее меня...

Последние месяцы я передавал дела Грибину, заодно совершил вместе с женою автомобильный вояж в Стокгольм, до смерти перепугав шведов, учувших во мне врага почище, чем под Полтавой, хотя меня больше интересовали дом писательницы Сельмы Лагерлеф, создавшей Нильса с дикими гусями, упсальский орган и художественные галереи. По дорогам я плутал отчаянно, с трудом ориентируясь по карте, на хвосте моего черного «мерседеса» висело несколько машин. Путаясь на маршруте, я крутил, менял направление, часто останавливался, бесконечно соприкасаясь с озверевшей наружкой, она, в конце концов, в пароксизме вендетты проколола мне ночью на стоянке все четыре колеса — и правильно сделала!

Швецию я проехал с запада на восток, в сравнении с Данией она казалась и более цивилизованной, и менее уютной. Куда ей было до датской провинции: суровый серый Скаген, бесконечные, как в Сахаре, пески Рёмё, где с ног сбивал ветер и приходилось не идти, а падать вперед, сомкнув глаза и чувствуя, как впиваются в тело, как хлещут острые песчинки.

Любил я переезжать с острова на остров на пароме, не бежал неприхотливых пивных — кро, где подавали по-простецки только что изловленную рыбу с отварной картошкой, гладкость дорог, любимые Галич, Высоцкий и Окуджава из автомобильного магнитофона — праздник души, и играет в башке, никак не срифмуется «Мы, веселые дети диссента» с речкой «Брентой», с «конвентом», с «резидентом» и с «президентом».

Дания, любовь моя!

- Ничего не могу поделаться, - виновато сказала Алиса. - Я расту.

Льюис Кэрролл

И, наконец, март 1980 года и прощальный бал в посольстве в честь отъезда столь уважаемого и почитаемого, за столиками собрано золото колонии, прочувственные речи с намеками, чтобы в Москве на верхах не забывал о маленькой Дании (слухи о генеральском назначении проникали быстро), в дело пошла Первая Гитара, вместе с которой полились в ошеломленный зал строчки последней баллады.

Шумел-гудел банкетный зал, Когда Любимов уезжал, И каждый тосты выдавал В большом объеме.

Болтали каждый, как умел, Жевали каждый что хотел...

Народ, привыкший к казенщине, был несколько шокирован вольностями, но аппетиту это не повредило, на следующий день меня проводили по протоколу.

Закончился кусок жизни.

В Москве я долго проходил инстанции перед коллегией КГБ, которая только и обладала высочайшим правом назначить начальника отдела, часто сидел и пил кофе у Грушко, однажды нас пригласил Гордиевский, у которого родилась дочка от нового брака, жена его еще лежала в роддоме, стол с азербайджанскими изысками приготовила ее мама, поведавшая нам о заслугах чекиста-мужа; Гордиевский демонстрировал свои картины — он любил и понимал живопись, — как всегда был дистанционно корректен. Мы посидели часа два (внизу ждала служебная машина) и отбыли по домам.

До сих пор не понимаю, как Гордиевский попал в Англию. Игра судьбы, результат безрыбья в отделе и, конечно же, умелых ударов англичан, выбивавших из Англии или не допускавших туда любых конкурентов своему агенту? Гордиевский тогда изучал английский, писал пособие о Дании, иногда заскакивал ко мне поболтать и получить мудрый совет по Англии, я рекомендовал ему прочитать рассказы Сомерсета Моэма о секретной службе, вскоре, одолев «Стирку мистера Харрингтона», он восхитился этим трудом. Какой парадокс! какая комедия! — давать рекомендации по Англии английскому шпиону! Впрочем, я доверчив, никуда от этого не уйдешь, видно, нужно было выбиваться в священники...

Вскоре я приступил к отправлению новых функций. Действительность превзошла даже мои худшие ожидания: отдел был мал, состоял из бывших резидентов и прочих больших людей, самолюбивых и капризных, и, главное, вся деятельность выглядела не просто бесполезной, но унизительно глупой. Оставалось лишь пить кофе, обсуждать кадровые сплетни (любимая тема всех!) и смотреть угасавшим взглядом на разверзшиеся внизу бесконечные леса...

На авансцену из угольных глубин выползают моя личная жизнь и развод с Тамарой, которой сравнительно недавно писал:

Но знай, дружок: страшна бумага,
Черней чумы и горше яда,
И коль любовь впитает в строки,
Уже обратно не воротит.
Но после жизни быстротечной,
Когда-нибудь в метели вечной,
Клянусь, черкну комочком снежным,
что я любил тебя так нежно...

Но тогда дело шло к разрыву. Я влюбился в Таню, мою нынешнюю жену.

Колокол ударил, я пошел к Грушко и заявил о разводе и намерениях жениться на другой, он изумился (впрочем, не меньше, чем другие) и даже чуть расстроился (ведь он рекомендовал меня Крючкову, к тому же уже на подписи был приказ о назначении его на пост замнача разведки), отослал меня докладывать по инстанциям. Тут же этой радостной вестью я огорошил генерала Котова, который философски заметил: «Ничего не понимаю, я тоже влюблялся, но зачем разводиться?» (Котов нравился дамам, он всегда был до умопомрачения элегантен и красив: высокий, худощавый, с большими серыми глазами, аккуратный пробор стрелой пересекал прическу). Затем побежал к другому генералу, который со

свойственной ему тупостью начал уговаривать меня не совершать опрометчивого шага, и даже заметил, что моему сыну будет стыдно за меня (вот уж куда залез, доходяга! вспомнил бы лучше, на какие деньги он покупал шмотки жене, когда приезжал в Данию!). Далее я двинулся к Титову и попросил по дружбе устроить мне аудиенцию у Крючкова, что он по дружбе сделал чересчур оперативно.

Владимир Александрович руки мне не подал, на стул не указал, мрачновато оторвал глаза от бумаг и выслушал мои объяснения. Я извинился, что подвел его, — ведь он утвердил меня, тогда морально чистого, на коллегии, теперь же опять заорут, что в ПГУ царят Содом и Гоморра и идейно-воспитательная работа на низком уровне. Наступила тягостная пауза, затем, с трудом сдерживая гнев, шеф молвил грозно: «Это вам так не пройдет!»⁹⁶

Я чувствовал себя как Витте перед императором и заявил, что готов подать в отставку, — думаю, что он воспринял это как блеф. Не буду кривить душой: я действительно чувствовал свою вину перед Крючковым, незадолго до этого мой коллега, запланированный на высокую должность, перед назначением раскрыл Владимиру Александровичу душу и объявил, что намерен разводиться, — в результате духовник его не только простил, но и назначил, правда, он так и не развелся.

Я начал приводить в порядок служебные бумаги, между делом принимая коллег, выразивших свое сочувствие, я же был радостен и, как истинный истерик, полон оптимизма. Через несколько дней меня вызвали в кабинет шефа по кадрам, где сидел и партайгеноссе внешней разведки — назовем твердокаменных Сталактит и Сталагмит. Сталактит был деловит и сразу же запустил меня в ЦВЭК (врачебная комиссия), дабы уволить с честью по состоянию здоровья и не давать пищу вышестоящим моралистам. Увы, как назло, я оказался до омерзения здоров и даже

⁹⁶ Раз-два, раз-два! Горит трава,

Взы-взы - стрижают меч.

Ува! Ува! И голова Барабардает с плеч!

Льюис Кэрролл

пригоден для несения службы в невыносимых условиях тропических стран. Один приятель предложил лечь в чекистский госпиталь на Пехотном, где знакомый доктор представил бы меня полной развалиной, однако после гимнов моему здоровью такой виртуозный гамбит показался мне рискованным. Партийный Сталагмит оказался гибче (ясно, что не моя судьба волновала их, а что скажет княгиня Мария Алексеевна в виде андроповских замов С. Цвигуна и Г. Цинева, не упускавших случая, чтобы нагадить Крючкову) и предложил замять скандал: то есть не разводиться, за что меня с легким порицанием по партийной линии переведут на престижную (но не генеральскую) должность, где я отлежусь на дне, допустим, в Институт разведки имени великого Андропова... Предложение Сталагмита меня ужаснуло: я представил себя с голым задом посередине разбитых горшков, в полном вакууме, читавшим подрастающим поколениям шпионов некую абракадабру⁹⁷. Все это навевало мысли о несчастных, которые либо вешаются на собственных подтяжках в клозете, либо впадают в многолетний запой с отдыхом на Канатчиковой даче.

Нет! Рука Судьбы и Любви уже безраздельно владели мною.

Своими планами я поделился с сыном, который уже учился в институте международных отношений, и предупредил, что ничего хорошего по окончании института его не ожидает (так оно и вышло: попытались заткнуть его в дыру, а в результате дали свободное распределение, опять Рука Судьбы, вынесшая его на радио, а затем во «Взгляд»). Но он реагировал бодро: «Уходи из этого КГБ! Неужели ты не проживешь на огромную пенсию в двести рублей?!» — не зря я пичкал его Замятиным и Солженицыным!

Стояло лето 1980 года, по полупустой Москве разъезжали олимпийские автобусы, а моя история, словно телега со сломанными

⁹⁷ Были у нас еще Рифы - Древней Греции и Древнего Рима, Грязнописание и Мать-и-мачеха. И еще мимические опыты, мимиком у нас был старый угорь, он приходил раз в неделю. Он же учил нас Тригонометрии, Физиономии...

колесами, застряла где-то на большой дороге между ПГУ и КГБ, я ожидал решения не без трепета: вдруг лишат пенсии? Я предполагал, что на свет вылезут и захороненные до поры до времени «компры». Свои не совсем ортодоксальные взгляды я не скрывал, при особой ненависти меня вполне можно было выбросить без всякой пенсии, впрочем, это не страшило, я уже ощущал себя знаменитым драматургом, принимавшим на сцене цветы от поклонниц.

Наступил сентябрь, но высокое начальство безмолвствовало, а тут подвернулась блестящая возможность провести бархатный сезон в Пицунде. Я начертал рапорт Крючкову с просьбой об отпуске (таков был ритуал для начальников отдела), и уже через два дня меня призвал партийный Сталагмит и поинтересовался, в каком составе я намерен совершить свой южный вояж. Услышав, что я отбываю... с подружкой? с любовницей?! он изобразил на лице такое уныние, словно я принес ему весть о кончине всего парткома КГБ. «Ты делаешь ошибку! — сказал он назидательно. — Ты пожалеешь об этом!». Я в ответ заметил, что английский король Эдуард Восьмой ради любимой женщины пожертвовал даже короной, — эта история вдохновляла меня, разве генеральские погоны хуже короны?

Вернулся я через месяц и с удивлением узнал, что уже уволен по статье о служебном несоответствии (скорость потрясающая! обычно на пенсию отправляют со скоростью черепахи). Отправлен в запас с пенсией, но (о, страшная месть Крюčkова, а скорее, его приближенных!) лишен привилегий при оплате коммунальных услуг, вычищен из резерва КГБ, брошен в рядовой армейский военкомат подальше от славного жандармского корпуса.

Коня, коня, полцарства за коня! (Это я о сгинувших скидках на ЖКХ).

Выстрел, наконец, прогремел, все было кончено, я остался жив и весел.

Кони понесли дальше.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ГРОМОКИПЯЩАЯ ЛЮБОВЬ, РАСПЛАВИВШАЯ ГРЕНЛАНДСКИЕ ЛЬДЫ.

РЕТРО 1979 ГОДА

Кто под звездой счастливою рожден,
Гордится славой, титулом и властью.
А я судьбой скромнее награжден,
И для меня любовь – источник счастья.

Уильям Шекспир

3.09.1979. Я начинаю думать о тебе рано-рано, с самого утра, когда бреюсь, думаю, когда отжимаюсь от пола и прыгаю вверх, и вот сейчас снова думаю, двигаясь со всей оравой на кофе, сервированный нам, талейранам, за час до завтрака. Я всего лишь хочу сказать, что начал думать о тебе ровно в шесть тридцать утра, пожалуй, я единственный в мире человек, который думает о тебе в Гренландии, этой клокочущей мыслью я объят и за завтраком в предвкушении торосов и айсбергов, еще не явившихся глазу. Начиналось с того, что, расставшись с тобой (и думая о тебе), я прибыл на место сборища в аэропорту Каструп, и был принят догоподобным шефом протокола за австралийского посла (не подумай, что я шел под руку с кенгуром). Потом активно знакомились, интересуюсь качеством проливных дождей в обоих полушариях, потом долго летели, чуть злоупотребляя первым классом (две бутылки доброго бордо, моего друга), потом взошли на корабль и выслушивали приветствия капитана, славного парня со щербинкой в зубах, с гордостью демонстрировавшего фотографии своих маленьких дочек.

Итак, кое-что о высокочтимой компании.

Пакистанский посол, лысый трезвенник (что отвратительно), постоянно твердящий, что жизнь его на земле лишь несущественная деталь перед счастьем после смерти. Австралийский посол – нечто розовое,

лоснящееся, круглое, как у макаки, напоминает Мышь-Соню у Кэрролла в исполнении художника Джона Тенниела, списавшего ее с ручного вомбата Данте Габриэля Россетти. Жена его бледна, тускла, как окошко в темнице сырой, и ее унылый длинный нос окружен бугристой кожей, усеянной черными точками. Бельгийский посол, седой, импозантный жизнелюб, участник Сопrotивления, нормальный пьющий человек, орел. Канадский советник, очень утомленный и призрачный, странно, что я вообще его заметил. Немецкий советник с женой – предусмотрительные жмоты, которые боятся остаться без еды и питья, а потому все время тащат что-то со стола в свою нору. И Дог с женой.

А я думаю о тебе.

Информация для размышления: по гренландскому сухому закону полагается 72 единицы в месяц на нос (бутылка вина – 6, виски – 24), жить можно, хотя плохо. Первая встреча с живым гренландцем, у него от эскимосского синдрома бегают глаза, он – муниципальный советник и носит белую водолазку (похож на советского писателя в ресторане ЦДЛ, не хватает лишь кожаной куртки), разговор пуст, как выпитая бутылка.

Корабль наш называется «Диско», и мы пройдем вдоль западного берега материка Гренландия, что честно говоря, полная чепуха по сравнению с твоими плечами, обнятыми моею мужественной рукой. Плываем, за окном холодная, прозрачная, синяя красота. Хочется жениться на гренландке и подохнуть, моя милая. Человечество поразительно едино в своих забавах, и на гренландских скалах, как на Орлиных у Агурских водопадов, начертаны имена жаждущих остаться в памяти навечно.

Не глохнет высоколобая дискуссия: подталкивал ли Запад Гитлера к нападению на Союз или нет? Почему-то все ругают не Чемберлена, виновного за Мюнхен, а невиноватого сэра Уинстона, все орут. Гомо (так назовем пакистанца) замечает, что я — human, то бишь, похож на человека. Комплимент советскому дипломату, всегда застегнутому на все пуговицы, исключая самые нижние.

4.09.79. Черт побери, какая сильная качка, просто пятнадцать человек на сундук мертвеца, и-го-го и бутылка рома! Курю с утра сигары, обвеваю

Гомо, и сожалею вслух, что я не буддист, а правоверный коммунист, за что и гореть мне голубым пламенем в аду, пока Гомо будет наслаждаться собственными превращениями из летучей мыши в сахарный тростник. За бортом плывут обнаженные скалы, за ними горы, покрытые снегом. Порт Холстенборг, на берегу лупоглазят круглыми мордами туземцы, на нас смотрят с вожделенным интересом, словно мы в пробковых шлемах и привезли бочки с виски, весь городок разбросан по скалам. Визит в школу, где девочки выделывают одежду из звериных шкур. О, брюки из шкуры белого медведя, мечта моей жизни, ты любила бы меня в них как сорок тысяч братьев!

Пробежка по магазинам града Холстенборга. Обидно, что даже здесь, у черта на куличках, все забито товарами, а между тем в родных пенатах... почему? Без комментариев. Оказывается, запрещено ввозить собак, и не из антисобачьих соображений, а просто чтобы не подпортить породу знаменитого гренландского шпица. Сколько воды вокруг, какое круглое солнце! Идем на всех парусах. Люблю тебя. В обед отведал кусок сырого дельфина с солью, пища убийц-охотников, очень напоминающая угря. Небольшая сенсация: мадам Дога, превосходная старушка в морщинистых складках, обогнавших даже мои несравненные брыдлы, увидела в море живого моржа, призывно закричала, все мы возликовали и нацелились в зверя (или рыбу?) биноклями. Вдруг начал ревновать тебя (видимо, к моржу). Море вздулось мгновенно, пошли девятые валы, сейчас они обрушатся на корабль и подомнут под себя всю Гренландию. На ужин – креветки и оленьё мясо (кстати, вчера в пику Антону Павловичу на ужин поджарили чаек, солоноватых, но сносных). Продолжал мелкие распри с Гомо, доказывая все преимущества атеистического коммунизма, он отмахивался от меня, как от занудной мухи, настаивая на том, что человек всего лишь пришелец в этом мире и жизнь его – лишь малый этап существования в вечности. А как насчет переустройства мира на нравственно чистых коммунистических принципах? Не желаете? Подобно Льву Толстому, предпочитаете есть рисовые котлетки, творить добро, злу не потакать, но и не противиться? А как же военный режим в Пакистане? За что казнили Бхутто? Почему голоден пакистанский люд? К топору нужно

звать Пакистан, батенька! В дискуссию вошел немецкий советник Курт, обеспокоенный советской военной угрозой (его я быстро утешил), затем встряла австралийская посллица Энн, недовольная правами человека в СССР, а я, как учили, размахивал мечом и срубал им головы.

Думал все время о тебе. Знаешь, красавица моя, что о нас можно сделать чудесную комедию? Герой невидимого фронта с серьезной миной выезжает с водителем из посольство по серьезному делу. Они крутят по городу, удостоверяются, что нет слезки, герой лихо выскакивает почти на ходу и вскоре оказывается в гостинице. Героиня выпархивает из семейной квартиры и вдруг оказывается там же. О, случайная встреча! Потом они долго сидят в роскошной гостиничной сауне, временами выходят в бассейн и обедают тут же в ресторане. Или: героиня-спортсменка мчится на велосипеде в Клампенборг, словно готовится к мировым состязанием. Герой выходит вальяжно с атташе-кейсом в руках, в котором... нет, не автомат Калашникова, а палатка. На полянке в парке он аккуратно ставит палатку, вскоре подъезжает красotka на велосипеде. Большая и отнюдь не тягостная пауза. Счастливая парочка, еще не отдышавшись, выглядывает из палатки. Вокруг стоят любопытные датские детишки...

После ужина в лучах незаходящего солнца (вот уж белые ночи!) появился город Эгедсминне, в порту стояли толпы юношей и девушек в разноцветных куртках, наши дипломаты оживились, думая, что народ высыпал их встречать как посланцев западной цивилизации, но оказалось, увы, что удостоилась встречи гандбольная команда Гренландии, следовавшая вместе с нами. Осмотр города, узнаем с грустью, что традиции рыболова-охотника предоставлять гостю на ночь жену ушли в прошлое. Аккуратно приклеились к скалам, словно игрушечные, цветные домики, дремлют на белых камнях шпицы, то бишь лайки – основной транспорт зимой (катаются, гады, аж в Канаду!). Они раскрывают лениво глаза, протяжно, назойливо воют и снова, устав от солнца, слепляют свои зенки.

5.09.1979. Прозрачное утро. Проснувшись в пять утра (еще не думал о тебе), неожиданно для самого себя высунул взлохмаченную голову в иллюминатор и увидел – о, счастье! – первый в жизни айсберг, явившийся словно с картины прогрессивного и передового Рокуэлла Кента, выскочил

на палубу, едва натянув штаны, и защелкал аппаратом, как будто расставался с айсбергом на всю жизнь. Однако другие айсберги возревновали и выплыли один за другим, высоченные айсберги-ледяные горы, айсберги-ледяные холмы и айсбергята-ледышки, бегущие как утята за мамой.

Торжественно бросили якорь в гавани Годхавна, а к городку добрались на катере. Разноцветье домов на скалах, над ними холодно-голубое небо, под ними темно-зеленое море с дядями-айсбергами, заглядывающими прямо в окна домов. Приказано нам хлебнуть науки и подняться в лабораторию по изучению ионосферы, затем деревянная протестантская церковь, прием у мэра, грустного чукчи, торжественное фотографирование в компании лаек, они озверело лают, что, впрочем, они и обязаны делать, если родились лайками. Мэр раскрыл глаза на страну: индустриализацию гренландцы не жалуют, нефть завозят из Дании, классов нет, промышленность и земля – государственные. Просто Страна Советов. Народ честный, воров нет, но зато встречается сифилис, который, говорят, предотвращает рак, и это неплохо. Правда, от «сухого закона», оказывается, развиваются агрессивные инстинкты, разрываются сосуды и аорты, кровь пробивает сердце и мозги несчастного эскимоса.

Вернувшись на борт, бельгийский посол задумался, выпил лишь стакан вина за обедом и грустно заткнул бутылку пробкой, Гомо вдруг проникся ко мне и подарил книгу о нирване. И тут вошли мы в заросли айсбергов, со всех сторон окружали они нас, Рокуэлл Кент совсем сошел с колес и рассовал свои картины по всему льду.

Фьорд города Якобсхавн (тут, милая, родился великий датско-гренландский полярный исследователь Кнуд Расмуссен, так и тянет рассказать его боевую биографию, но почему-то все сбивается перо на самого себя, почему так?), идем по фьорду, прилипли домики к скалам, прилипли собаки к скалам, и мне хочется прилипнуть к твоему сердцу. Тонкий и протяжный смех лаек, жарящихся на солнце, косоглазая девица вдруг присела пописать прямо на улочке, и не стыдно, а мы смотрим, едим форель, я защищаю однопартийную систему, впрочем, всю жизнь приходится ее, любимую, защищать.

6.09.1979. Достигли крайней точки – города Уманак, плавимся в солнечном зареве и уже привыкли к серебристым айсбергам и скалам, к бирюзово-голубым-серо-буро-малиновым меняющимся тонам моря, и я уже ничем не люблюсь и лишь скучаю по тебе. Лишь растворился я, словно сахарный песок, в этих мыслях, как вынули нас из корабля и покатали к мэру, окруженному нерафинированными гренландцами. Зашла мужская беседа о свинцовых и цинковых рудниках и о том, что если раньше выбивали китов, то теперь изживают моржей. Тут австралийский посол, напоминающий в этот день не мышшь, а скворца, который вот-вот запоет, толкнул прочувственный спич, всех умилил благодарностями за «предоставленные возможности». Мы вернулись на «Диско» и отчалили, а мэр с мэрией махали нам с берега руками, и супруга посла, довольная мужниной речью, распространила среди нас вырезку статьи из газеты под названием «Жена австралийского посла рассказывает, как спасалась от страха», это очень важно – спастись от страха и потом об этом рассказать всему миру.

Но грянул белый, как обычно, вечер, потянулись из камбуза волшебные запахи (что ныне там? тушеные айсберги?), мужчины заспешили по коридорам, дамы залюбовались своими отражениями в стеклянных дверях, и все двинулись на праздник Нептуна. Ритуал включал стояние на одном колене перед священной кадкой со льдом и водой из Северного Ледовитого, потом ее поливали на благородные головы, радость не знала границ, и датчане, взяв за ноги медсестру, аккуратно опустили ее головою вниз и слегка макнули. Мне тоже окропили голову, чтобы я не думал о тебе, Таня.

7.09.1979. Сегодня ты гуляла по моему сну, а я заскучал, когда тебя не оказалось рядом, и снова рухнул в сон, чтобы тебя увидеть, но увидел свой служебный кабинет и чью-то противную рожу. Завтрак протекал вяло, а после вывезли нас снова в Якобсхавн, в долину (холодный труп лежал в долине той, в груди его, дымясь, темнела рана... и все из-за тебя!), она усеяна камнями, из которых великий скульптор Ветер создал шедевры. Тут и потрясные горы, и по соседству фьорд, и уже совершенно пресловутые айсберги, и вьется по горам бархатня трава, бежит вверх по

белым камням, и, если приблизить к ней лицо, как к твоим губам, то можно рассмотреть в глубине ягоды черники. Датчане и гренландцы. Проблема. Вроде и в голову не придет, что одни колонизаторы, а другие бедные индейцы, которые летом ловят рыбу и делают детей, а зимой рыбу не ловят. В раскосых глазах туземцев нет-нет да мелькнут недоверие и опаска, политика тут под датским контролем, но рано или поздно, товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, и воспрянет ото сна великая Гренландия, и подружится с великим и самым добрым соседом – Советским Союзом!

За ужином много шутили, и призрачный канадец, у которого оказались такие рытвины и ухабы на лице, словно по нему прошелся огонь войны, признался, что вчера намешал джина и черного ликера и видел на палубе ночью пьяного бельгийского посла, воющего на луну в компании двух датчан. Интересно, кого видел бельгийский посол? Кто-то рассказал анекдот об арабе, для которого девушка – это по долгу, а мальчик – для удовольствия, а дыня – для экстаза. Немец вспомнил гренландку, присевшую пописать на улочке, а жена Дога, нашедшая вчера останки моржа, показала всем очередной трофеей: два помятых гриба.

Что ты делаешь сейчас?

Проснулся в полночь от стука в дверь (стоянка в Эгедсминне, голоса взшедших на борт пассажиров), закутал свою наготу в пуховое одеяло, открыл и увидел юную гренландку, смутившуюся, словно перед ней стоял не Аполлон в тоге, а голый слон. Она ошиблась дверью, идея избавления от рака с помощью сифилиса провалилась.

8.09.1979. Мы уже в Эгедсминне, на пристани торгуют мясом моржей, а нас везут на уникальную креветочную фабрику. Вокруг высятся горы самых крупных в мире креветок, их хочется всех посолить, поперчить, залить самодельным соусом (горчица+майонез, хаф-хаф) и надраться под песни Высоцкого... Но очень не хочется чистить, а это целая процедура: на креветку с обеих сторон налегают валики (честь изобретения принадлежит гренландскому Ньютону-рыбаку, однажды задумчиво наступившего грубым сапогом на креветку, что привело к ее вылезанию из панциря), панцирь

остаётся, хладный труп следует по конвейеру, где его дочищают хлопотливые женские руки, далее все летит в автоматы, фасовку и заморозку.

В Эгедсминне, моя дорогая, между прочим, расположена штаб-квартира инуитов, требующих объединить эскимосов всего мира, как соединяют пролетариев всех стран. Давай поедим к ним, купим домик на скале, заведем лаек, я буду ловить рыбу и бить нерп, спокойно умру от скуки на 72 единицы в месяц (три бутылки виски, какой мизер!). Ужин на борту, воют и лают лайки, я люблю тебя, и волны стучат: и все бессмысленно, и все бессмысленно, и все бессмысленно без тебя, Танька.

9.09.1979. Сегодня последний день, вчера была прощальная пьянка, и я толкнул спич. Пожаловался, что мне, коммунисту, не давали выступать и лишили одного из важнейших прав человека, похвалил датский МИД за то, что он организовал нам такое жаркое солнце (о, остроумие партшколы!). Отметил, что сегодня, в воскресенье день тускл как акулий суп, но в выходные даже волшебники не работают (общий смех, переходящий в хохот). Далее превознес достижения Гренландии (чтобы и в следующий раз пригласили), порадовался, что никого из нас не избили, не искусали и не съели (beaten, bitten, eaten – куда до таких рифм Хлебникову!), правда, дипломаты – народ несъедобный (громовой хохот). Когда спичевал, каюсь, о тебе не думал, только о себе, любимом.

Потом все напился, и я признался Дугу как представителю социалистического правительства Дании, что вся группа – полное говно, ибо все они несоциалисты, а что представляет собой несоциалист, вечно думающий об обогащении, всем известно. Дог кивал головой. А потом я вышел на палубу и встретил в жопу пьяного бельгийского посла, который еще и не ложился.

– Боже мой! – я даже обнял его, так он качался, – как же так? Вы и не спали?

– Майк, – он тоже обнял меня, чтобы удержаться, – знаешь, что говорила мне покойная мама? «Не торопись спать, сынок, у тебя для этого еще будет масса времени!». Вам ясно, Майк?

Ясно. Я скоро увижу тебя.

А помнишь темный лес и нашу машину после ланча в Багсверде у озера? Как вдруг появился лесник в зеленой куртке с капюшоном и, обнаружив нас, погрозил пальцем, но был деликатен и качать права не стал...

Палатка, сауна, сауна, чужая квартира, холодок опасности, стук сердца.

Ведь всё бессмысленно, ведь всё бессмысленно без тебя.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ СКВОЗЬ ОГНЬ И ВОДУ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

МОСКВА 1980 – 1991.

Один поток сметает их следы,
их колбы – доннер веттер! – мысли, узы...

И дай им Бог успеть спросить «куда?»
и услышать, что вслед им крикнут Музы.

Иосиф Бродский.

Перестройку я встретил радостно, сейчас кажется, что даже слишком радостно, что лишний раз показывает зыбкость моих политических взглядов. Поддерживал я Горбачева, затем пел осанну Ельцину, однако после реформ Гайдара мой пыл поостыл, чему немало способствовало чтение русских философов вроде Розанова и Ильина. Заметим, что с людьми власти я не имел никаких контактов, хотя многим казалось, что пишу я в ежемесячнике «Совершенно секретно» по подсказке сверху. Увы и ах, но КГБ обо мне не забывал и из поля зрения не выпускал, особенно после того, как я поддержал Калугина, лишённого всех регалий.

Летом 1990 года неожиданно позвонил Геннадий Титов. Крючков вытянул его на самый верх, сделав начальником Второго главка, всей нашей всесильной контрразведки. Ну, к чему это пригласение? Явно не желание ласково обнять меня после десятилетней разлуки. Геннадий многозначительно сообщил мне, что обстановка в стране сложная, нужны консолидация и взаимопонимание в этот критический момент, и посему мы срочно должны повстречаться. Несколько ошарашенный, я взглянул на часы: стрелки тянулись к обеду, и халява за счет КГБ подоспела весьма кстати. Опасаясь попасть в занюханную консквартиру, я предложил любезный сердцу «Националь», прекрасный в шестидесятые, когда туда еще входили без взятки или обмеривающего взгляда, получали бульон в чашке с пирожком и кое-что еще. Зачем я нужен старому коллеге? Определить было несложно: я поддерживал перестройку, мой сын работал

во «Взгляде», тогда главной огневой точке демократов. Беседа наша с Титовым не получилась (если не считать обеда), объятиями не закончилась и блудный сын в свое лоно не вернулся.

Перед неприкасаемым КГБ у меня были некоторые прегрешения: в феврале 1989 года, когда я принес в «Московские новости» статью «От войны разведок к сотрудничеству», где провел крамольную мысль о сокращении и КГБ и ЦРУ, мешавших растаять льдам недоверия. Там же я весело позволил себе сравнить спецслужбы с бегущими по кругу зверушками и птичками Льюиса Кэрролла, которые на вопрос «кто победил?» хором отвечали «мы победили!». В редакции меня долго обнюхивали, как возможного провокатора, будущая телезвезда Елена Ханга и еще одна красавица, они очень хотели, чтобы я подписал статью как сотрудник КГБ, но я поосторожничал и предпочел укрыться под «кандидат исторических наук». В начале 1990 года я запустил в журнале «Детектив и политика» шпионский бурлеск о борьбе КГБ и ЦРУ, приспособив его к театру абсурда, бурлеск вскоре поставили в Душанбе (!), бастионе свободной мысли, потом в Астрахани. В июне 1990 года во время круиза с американцами я случайно раскрыл «Красную звезду» и прочитал о лишении генерала Калугина звания и орденов за острую критику КГБ. С ним я ранее общался и на работе, и на квартире Кима Филби. Более того, когда после скандальной отставки я начал пробивать свои пьесы и явился в Ленинград для завоевания местных подмостков, Калугин не уклонился от встреч со мной, как многие тузы. Даже привел на квартиру к Георгию Товстоногову, жившему через стенку с Евгением Лебедевым (жена Лебедева-сестра Товстоногова Натэлла). Товстоногов сразу прощупал меня («Как вам последний рассказ Нагибина об инвалидах на острове Валаам?»), мы попили чайку и чего-то еще, как говорится, в воздухе долго плавали шляпы, на прощание я оставил свою пьесу, по наивности думая, что кто-нибудь ее прочитает. Познакомил меня Калугин и с известным драматургом Дворецким, который восхитился моей пьесой, обещал помочь, но дело закончилось лишь серой пьянкой у нас на московской квартире.

Публичное аутодафе Олега Калугина меня возмутило (никто не имеет права лишать регалий, кроме суда), и тогда в «Московских новостях» я

выступил в его поддержку, а заодно в знак протеста отказался от знака «Почетный сотрудник госбезопасности». Так что «прегрешений» перед службой у меня поднабралось, к тому же мой огоньковский роман «И ад следовал за ним», ныне превращенный Владимиром Бортко в фильм «Душа шпиона», я считаю глубоко патриотическим, хотя и лишенным привычных пафосных придыханий.

На увольнение из почтенной организации из-за любви, переросшей в брак, я не роптал, ибо сам нарушил правила игры, сейчас, когда мы с Таней прожили тридцать с гаком лет, я еще больше уверился в своей правоте. В Системе грешить нельзя, как писал Иосиф Бродский:

«Число твоих любовников, Мари,
 Превысило собою цифру три,
 Четыре, десять, двадцать, двадцать пять.
 Нет для короны большего урона,
 Чем с кем-нибудь случайно переспать...»

Но унижений было предостаточно. Я пришел в военкомат встать на учет (из резерва КГБ меня вычистили, чему я был только рад), там приняли меня настороженно: что за птица? за что его выгнали? неужели такое натворил, что даже в резерв свой не посмели взять?! Когда я простодушно сообщил о своем боевом опыте работы в разведке(!), лицо военкома окаменело, в то время на эти темы говорить не полагалось) и пожелал, чтобы меня использовали в будущем по линии ГРУ. Когда я промолвил «ГРУ», военком торопливо перевел разговор на другую тему, решив, видимо, что я провокатор КГБ, и зачислил меня в состав танковых войск. Через год неожиданно вызвали на сборы (было мне под пятьдесят), в танк, правда, не засунули, но посадили за военный перевод и попытались привить некоторые знания тактики (основное: в танке нельзя пукать). Занятия проходили в новом здании МГИМО под руководством капитана, группа состояла из молодых людей, и появление отставного полковника вызвало любопытство и недоумение. Апогеем учебы явились стрельбы из пистолетов, боевые телодвижения, когда прикладом винтовки требовалось

размозжить скулу противника, прыганье с танка и крутая пьянка после полевых игр, замешанная на портвейне.

Бывшему резиденту и советнику посольства полезно было встряхнуться и понять, что воинская повинность для него не исключение, а в стране все равны. Номенклатура развращает, человек отвыкает от живой жизни, становится беспомощен, как дитя, и даже забывает, каким образом звонить по телефону-автомату. Приблизительно так думал Виссисуалий Лоханкин, приспособляясь к пролетарскому государству.

Кое-кто из коллег (большинство отвернулось) помогли мне делать рефераты на иностранные книжонки в Институте научной информации по общественным наукам, писал я и «тезисы-статьи» для кагэбэвского отдела в АПН, вершившего активные мероприятия, – там упросил поставить меня на партийный учет, не хотелось идти к старикам в ЖЭК.

Да что жаловаться?

Я был счастлив: писал, верил, что рано или поздно пробьюсь, бумаги не жалел, упирал на пьесы, много тогда вышло из-под пера всякой дряни. Но писать в наше время может любой дурак – вот попробуй опубликовать или поставить! Сколько было выдано телефонных звонков, как заискивающе звучал мой голос, сколько было обито ступеней, сколько ждал в коридорах, как негодовал, когда обещали принять, но вдруг убежали на какое-то важное совещание! Не забыть юного дебила из Министерства культуры, он объяснял, хихикая, как следует писать пьесы и что именно. Или писак из «Современной драматургии», которые даже в 1989 году в отзыве на пьесу мычали, что я искажаю жизнь советских дипломатов. Сейчас, небось, все они кроют всю коммунистов и чекистов, поют осанну демократии, а ведь она ничуть не лучше, а гораздо хуже кагэбэвских борцов с диссидентами: те хоть выполняли приказы и не рядились в тоги интеллигентов.

Минкультуры СССР и РСФСР, Управление московских театров – вершители судеб драматургов – туда входил я робко, с дрожанием в коленках, с сувенирами в виде скромных канцтоваров. Сколько стыда испытывал я, когда всучал сувениры, как я мучился и краснел, будто

совсем другой человек когда-то передавал иностранцам тысячи долларов... Почему так легко давать взятки, если работаешь в разведке, и так сложно, если ты писатель, у которого через сердце прошла трещина мира? Давал, что ли, мало?

Впрочем, всегда полезно взглянуть на себя глазами затурканных, низкооплачиваемых чиновников: мог ли вызвать у них симпатии старый разъевшийся воробей, славно поживший за границей? Служил царю-батюшке – КПСС – КГБ верой и правдой и вдруг решил писать пьесы! Ах ты, сукин сын, Тютчевым себя вообразил, тот тоже в Мюнхене сочинял. Да к тому же еще пишет с диссидентским душком, явный провокатор: дай ему ход – и снимут с должности или в заграничную командировку не выпустят.

Мотали меня искусно, кормили щедро обещаниями, отфутболивали, перепасовывали из рук в руки, обнадеживали, подводили, снова обнадеживали, четыре года таранов головой, четыре года утеранных иллюзий, страшная мысль о собственной никчемности, кризис веры в себя. Порой подступало к горлу: к черту! уйти на службу в какой-нибудь отдел кадров, швейцаром, вахтером в Высшую партийную школу (там, правда, предпочитали генералов). Через свои связи в ЦК я вышел на Анатолия Смелянского, тогда еще завлита ЦТСА, эрудированного литератора, он мне честно пытался помочь; я читал свою пьесу за ресторанным столом Хаммеровского центра Григорию Горину, симпатичнейшему человеку, который замирал и боялся сглотнуть почки соте во время особо пафосных моментов.

И тут внезапная удача: политическую пьесу (о, Зубков и Боровик!) «Убийство на экспорт» взял Михаил Веснин, главный режиссер Московского областного драматического театра, пусть не «Комеди Франсез» или МХАТ, но свершилось! С Михаилом меня свела верный друг и бывшая жена Катя. Премьера состоялась в конце 1984 года, и не где-нибудь, а в здании филиала Малого театра на Ордынке, зал был набит прыщавыми пэтэушниками (тогда их таку просвщали), в первые ряды я усадил празднично одетый бомонд из МИДа, разведки и ЦК, они дружно аплодировали, окупая бесплатные билеты. Чуть не падая от смущения, я выходил кланяться, все поздравляли с успехом, которого не было. И все же

я чувствовал себя, словно высунул голову из навозной жижи и увидел солнце. Даже кое-какая пресса откликнулась: «Пьеса московского драматурга (!)... написана, как говорится, по горячим следам... эта история могла произойти и в Азии, и... когда революционное руководство объявляет о национализации собственности транснациональных корпораций... от взрыва подложенной ЦРУ бомбы... в президентское кресло садится американский ставленник... автор хорошо знает фактический материал... Дик Смит, выросший в среде, пропитанной атмосферой насилия».

Смешно и мило, все-таки в веселое время мы жили!

Мой старый друг Игорь Крылов особо не деликатничал:

«...что-то в проруби мелькает, что-то там болтается... И не мог понять я точно, слыша взрывы и пальбу, то ли это был цветочек, то ли иное что-нибудь».

Я ответил хлестко, в духе «Правды»:

«Для агентов ЦРУ, для завистников, копящих злость, эта пьеса – как говном по лицу или в задницу рыба кость!»

За этот выпад был наказан весьма элегантно:

«Ты всех потрясаешь, милый, новаторством и отвагой: раньше писали – чернилами и, в основном, на бумаге».

Попадало и похлеще, – друзья меня любили, – сокурсник-вапповец, обаятельный и добросердечный Женя Клименко, помогавший пробивать пьесу:

«Мир не видал таких кретинов, как суперспай М.П, Любимов! Тебя заела в Ялте скука – лакаешь водочный коктейль, а обещал работать, сука, как драматург и как кобель!»

Но на этом дело не закончилось, «Убийство на экспорт» взяли на радио, причем главные роли исполняли корифеи: М. Державин, Н. Вилькина, Н. Волков, А. Ильин, В. Никулин, слушала вся страна (особенно в парикмахерских), дивная запись. До сих пор, выпив бутылочку, я

заваливаюсь на тахте, вывезенной еще папой из побежденной Германии, и слушаю самозабвенно свою пьесу. Народ откликнулся живо, например, из далекого Свердловска: «Вы подарили в конце года минувшего большую радость. Театру Любимова (наконец!!!) дана дорога в эфир. Это вселяет оптимизм. Любимов – выдающийся художник...». Юрия Петровича от этого не убавилось.

Малый успех породил новый вулкан энергии, и я попер дальше, а тут перестройка, новые надежды... Мой шпионский бурлеск «Легенда о легенде» долго никто не брал из страха (там пахло пародией не только на ЦРУ, но и на органы), не вызывала восторгов мелодрама «Кемпинг». Другой опус – «Дипломатическая история». В финале советский посол хватал бомбу, заложенную западными террористами в посольство, – что там Жанна д'Арк, восходящая на костер! – часовой механизм тикал на весть зал, перекрывая патриотический монолог. Пьесу отбивали во всех театрах, опасаясь согласования с косным МИДом. В отчаянии я инсценировал «Мы» Замятина, соединив его с Оруэллом (их еще не печатали), пьеса разошлась по многим театрам, начались переговоры, а тут, черт побери, стали печатать все подряд, и «Мы» растворилась в целом шквале ранее запретной литературы.

И все же... и все же прекрасно жить надеждой, прекрасно верить в себя и, выпив утром чашку кофе, думать о своем предназначении, и важно садиться за стол, прикидывая, что в будущем, пожалуй, стоит перенять опыт Хемингуэя, работавшего стоя и опустив ноги в таз с водой. Хотя у него неплохо получалось и в уборной, сплошь уставленной книгами.

Так и текла жизнь со своими взлетами, падениями и перепадами. Разменяли квартиру, вступил я уже официально в брак новый, летом выезжал на машине с Таней в Прибалтику. Мы подружились с Галей и Валерой Кисловыми, он служил под моим началом в Дании, катались в Армению и по Прибалтике вместе, они оба оказались людьми симпатичными и порядочными, Валерий был одним из немногих коллег, не страшившихся контактов с отверженным. Иногда брал в поездки сына, крутившегося в институте, и даже его собаку старого Джека, без которого Саша не желал

ехать, показал Джеку прекрасные места, благодарна мне, наверное, за это его собачья душа.

Сын наяривал на гитаре мои вирши:

«Надоели герои и роботы,

Лупит в бубен оглохший шаман.

В голове – словно ухнул мне в голову

Озверевший свинцовый жакан...

Пусть ржавеют шикарные пушки

И снарядов нейтронных запас,

Пускай девушки в юбочках узких

Вечно любят и мучают нас!

Саша на глазах взрослел, учился прилежно, но без энтузиазма, процветал в институте как диск-жокей, иногда попадал в драки, а однажды больно толкнул какого-то майора, который шел не по своей стороне ему навстречу. Больше всего я боялся, что Саша захочет работать в МИДе или в КГБ, понятно, что туда его не призвали. Сын отказался от распределения в какой-то затрапезный институт, получил «свободный выбор», в результате мой старинный друг (и великолепный баритон) Борис Ключников, ветеран ЮНЕСКО, устроил его на радио, там и забрали его во «Взгляд».

Саша ездил по стране и познавал реальность. Работал переводчиком по линии ЦК КПСС, но реальную жизнь тоже попробовал. Вот из его письма: «В городе одно двухэтажное здание, в котором я и живу на койке номер сорок один. Уборная одна на восемнадцать комнат, один телевизор, один чайник и одна газовая плита. Нещадно орут дети. Механизатор с танкистом Витей вечером выпили шесть бутылок водки. Воняло невыносимо, т.к. душа нет и бани тоже».

Почему так грустно жить?⁹⁸

⁹⁸ ...и, пригорюнясь,

Затяжной глоток кородряги.

И крутится в голове какой-то легкомысленный мотивчик на старый стих, посвященный прекрасной и единственной, в тот прекрасный и единственный час, в том прекрасном и единственном городе, что-то вроде «а я себе гуляю и сигареткой балуюсь, смотрю, переживая, на проходящих барышен», тянется мотивчик, словно ничего не изменилось, может, мы просто бежим на месте, как Красная Королева у Кэрролла, и этот толстый дядя с еще не ленинской плешью, скользящий подслеповатыми глазками по мелькающим ножкам, и есть тот самый я, баловавшийся сигареткой.

... В 1985 году медленно, тонкими намеками началась перестройка, возбуждая больше любопытства, нежели веры в будущее, – все так обрыдло, что даже фантазия не фонтанировала. Я еще купался в театральной славе («Убийство на экспорт» показали в обществе слепых, и мы с режиссером там выступали с разъяснениями о терроризме США, срывая аплодисменты). Спектакль бороздил просторы Поволжья и Украины, рассказывая простым советским людям о зловещем ЦРУ, ненавидевшем всех хороших людей. Иногда я позванивал коллегам в родной отдел (говорили со мной, как с назойливой мухой, хотя я ничего не просил), пару раз поздравил Виктора Грушко, уже первого заместителя председателя КГБ, с какими-то юбилеями («Надо бы увидеться», – заметил я. «Надо бы», – отозвался Виктор безрадостно). Английский шпион Гордиевский писал мне ласково из Лондона: «Дорогой Михаил Петрович! Очень рад за Вас в связи с успехами на театральном поприще. С интересом слежу за Вашим прогрессом здесь и буду счастлив вместе с Вами, когда произойдет всероссийская известность (в то же время моя преданность Вам

Глядишь в невидимую точку:

почти что юность.

Как возвышает это дело!

Как в миг печали

все забываешь: юбку, тело,

где, как кончали.

И. Бродский

и признательность сохраняются неизменными, даже если, вопреки ожиданиям, она и не придет)...». А вот из другого: «Моя жизнь здесь, к сожалению⁹⁹, не отвечает Вашим рекомендациям. Борьба за самоутверждение продолжается. Дни, недели и месяцы проходят в тех заботах, которые Вам хорошо известны, причем с изрядной долей утомления и перенапряжения. Я не вижу тех прелестей, о которых говорите Вы, – театра, концертов, выставок, музеев и пр. Моим утешением является лишь 3-я программа радио, которая передает только серьезную музыку, и я ее слушаю постоянно». Бедняга. Мы иногда виделись во время его отпусков, приглашал он меня в бар отеля «Спорт» недалеко от его дома, угощал вылетевшего из седла шефа ужином и баловал сувенирами, попутно кляня своих начальников в Лондоне, не разбиравшихся в политической разведке.

И вот майский вечер 1985-го, телефонный звонок, нервный голос Олега Антоновича: «Я вернулся, кажется, навсегда, меня отозвали», – трубка звучала пришибленно, я в это время стоял в трусах¹⁰⁰ (до странности душный вечер), с огромной хрустальной (!) чашей, наполненной красным вином, чашу, между прочим, я приобрел в монастыре в Орвале во время секретной миссии в Бельгию.

Когда в палящий зной стоишь в трусах и с чашей, очень неплохо получают дружеские советы глобального характера, особенно, когда не знаешь, что собеседник работает на вражескую разведку, – отсюда и моя реакция: «Плюнь на все, старик! Защищай кандидатскую, у тебя ведь отличная голова! (Не ошибся, даже недооценил.) Или подавай в отставку!» Мы договорились встретиться, и через пару дней Гордиевский прибыл в мою милую неприхотливую квартирку, что дышала прохладой в глухой тишине истинно московского двора (выпало это чудо в результате размена с Тamarой роскошных апартаментов на Ленинском). Жемчужину двора

⁹⁹ Сохраняю сокращение - спешил Олег Антонович, спешил жить и экономил время.

¹⁰⁰ С трусами, между прочим, было плохо: датский запас я уже износил, к орехово-зуевским ситцевым, в которых блистал с американками, возвращаться было неудобно, а отечественные белые либо вообще отсутствовали в продаже, либо довольно сильно ударили по пенсии (слезы падают на хвост).

являла собою великолепная помойка в виде четырех железных ящиков, из которых два ящика дворник с женою перевертывали, дабы их не заполняли страждущие, естественно, мусор летал по всему двору. Во дворе всегда что-то рыли, страсть как любили отключать отопление, часто паяли лопнувшие трубы, один работал, остальные толпились у ямы, глазели, курили, отходили к скамейкам и деловито пили портягу. – Друзья-рабочие, дорогие товарищи, когда дадите, голубчики, нам, жильцам, тепло? – Да иди ты на...

Итак, Гордиевский прилетел на randevу, его вид сразил меня наповал, словно явление покойника: бледен как полотно, трясущиеся руки, нервная прерывистая речь – впрочем, сейчас мне все понятно: попробуй походить под слезкой, зная, что вот-вот схватят, скрутят и быстренько, без проволочек, кокнут. История, которую он поведал, хлопая рюмку за рюмкой (весьма новый феномен, ибо я считал его одним из немногих трезвенников в разведке, под стать самому Крючкову), выглядела печально. Недруги якобы обнаружили у него на лондонской квартире книги Солженицына и других диссидентов, взяли в разработку, и вот сейчас, когда его должны утвердить владыкой-резидентом, дали подножку и вызвали на «совещание» (жена с детьми осталась в Лондоне, Центр действовал по всем правилам, боясь спугнуть дичь). Далее он рассказал, что генералы Виктор Грушко и Сергей Голубев устроили на даче в Ясеневе ужин, угощали его водкой, которая вызвала у него смещение мозгов¹⁰¹. Грушко вскоре ушел, а Голубев начал задавать вопросы, словно вел следствие, удержался Гордиевский лишь неслыханным усилием воли. Тут я поднял его на смех: никогда не слыхивал я, чтобы психотропные средства опробовали на кандидатах в резиденты, это уж его мнительность! (Оказалось, что нет.)

Всю историю с диссидентской литературой хитроумный предатель просчитал блестяще: ведь Солженицын, Зиновьев, Оруэлл, Замятин, замаскированные невинными Пушкиным и Лермонтовым, занимали у меня

¹⁰¹ Тут одна из морских свинок громко заплотировала и была подавлена. Служители взяли большой мешок, сунули туда свинку вниз головой, завязали мешок и сели на него.

целые полки. Многие книги мы покупали вместе в Копенгагене. Весь его рассказ о сталинских нравах вонзился в мое сердце как стилет. На следующее утро я погрузил в чемоданы наиболее опасную литературу, повертелся на машине по переулкам и отвез к надежному другу Игорю Крылову. Несколько книг завернул по рецептам подполья в непромокаемые резины и пластики, засунул в портативный датский сейф и закопал на даче рядом с фонарным столбом (ориентир). Разрыл лишь через год и с горечью обнаружил, что капля точит не только камень, но и сейфы: вода подпортила книги и тайные мои дневники, плохой я конспиратор, куда мне до Солженицына, укрывавшего целые собрания своих рукописей. До сих пор скорблю по известной книге Сахарова, которую сжег, считая самым страшным вещественным доказательством моих преступлений.

Боже, а ведь был всего лишь 1985 год! какой путь пройден с тех пор, как тяжело было выползти из трусости и подниматься с колен!

Все же я не выдержал и позвонил Николаю Грибину, тогдашнему начальнику отдела, моему бывшему заму в Дании: «Что там стряслось с Олегом? На нем лица нет! Разве можно доводить человека до такого состояния?!» Начальник был невнятен и сдержан, что-то пробормотал насчет кагэбэшного санатория в Семеновском, где снятый резидент должен излечиться, туда вскоре Гордиевский и отбыл. Стояло лето, я уехал к знакомым в Звенигород и однажды, прибыв в Москву, решил справиться о здоровье коллеги. Случайно он оказался дома и вскоре снова нанес мне визит, объяснив, что мотается между своей квартирой и санаторием. Выглядел он еще хуже, чем в первый раз¹⁰², нервно достал из портфеля уже початую (!) бутылку экспортной «Столичной», налил себе трясущейся рукой. (Какой парадокс! – подумал я. – Не пил, не пил и все-таки спился! Почему именно в Англии, где не так скучно как в Дании?).

¹⁰² О, как скупо мое перо, как серы краски! Сюда бы Эдгара По: «Нет, никогда за столь краткий срок не менялся человек так ужасно, как изменился Родерик Ашер! Мертвенный цвет лица, ужасающая бледность кожи и сверхъестественный блеск в глазах...»

Я печально и с глубокой завистью наблюдал, как он пьет (собирался сесть за руль), говорили мы недолго и сумбурно, договорились пообщаться в Звенигороде, куда я уезжал в дом отдыха. Гордиевский, между прочим, объявил, что собирается уничтожить кое-какие эмигрантские книги, этого я перенести не мог, тогда он предложил мне подъехать к его родственникам на дачу и забрать все что мне надо. Через несколько дней я это и проделал, захватив Замятина, Бориса Филиппова и запас смелых по тем временам датских журналов. Можно только представить реакцию контрразведки на мою поездку, если, конечно, она уже держала на контроле меня или родственников изменника, во всяком случае Гордиевский очень ловко нацелил ее на мой след, англичане называют это «красной селедкой», отвлекающим маневром, – по запаху селедки, из-за которого собаки сбиваются на ложный путь.

Впрочем, думается, и его визиты ко мне не носили сентиментальный характер (делиться своими неприятностями в условиях, когда тебя вот-вот прикончат, – полный абсурд). Ему нужно было показать слежке, что он ведет обычный образ жизни и заезжает к приятелям, кроме того, он вполне мог предполагать, что мне через Грушко и других коллег известны детали его дела, и я ему что-нибудь расскажу, внеся ясность в ситуацию. Вскоре, кажется, во вторник, я позвонил ему из Звенигорода, договорились о его приезде ко мне в следующий понедельник электричкой, которая отбывала в 10.15 утра (как потом выяснилось при обыске, он так и записал в блокноте у телефона: «10.15. Звенигород». – молодец, хороший актер, а ведь знал, что уже будет в Лондоне).

Я прождал его на перроне, пропустил две электрички, посетовал, что пьянство влечет за собой необязательность (обычно он был по-немецки педантичен), и, плюнув, вернулся в дом отдыха. Напрасно я плевал: Гордиевский играл точно в лузу (в книге он потом признался, что делал отвлекающие маневры), дня за три до планируемой встречи со мной в Звенигороде англичане тайно перебросили его в Лондон, – неслыханная дерзость! – КГБ этому не верил и вел поиски.

Как его вывезли англичане? Пока загадка. Вряд ли он переходил границу в ботинках в виде коровьего копыта, – так любили в начале

прошлого века сбить со следа пограничников Карацупы. Есть только два способа: либо его тайно провезли через границу в дипломатической машине, запрятав в багажник или иным образом замаскировав, или он выехал по фальшивому паспорту, изготовленному для него разведкой.

Недели через две меня вынули из Звенигорода экстренным звонком со ссылками на умоляющие просьбы бывших соратников (срочно! срочно!), я примчался домой, ко мне нагрянули от имени Боярова из контрразведки: где он может быть? что могло произойти? Женщина? Забился в избу где-нибудь в Курской области? мания преследования? Моя теория была проста и зиждилась на его внешнем облике: глубокое нервное расстройство, возможно, самоубийство. Через день ко мне домой явился Сергей Голубев, тогда заместитель начальника внешней контрразведки в ПГУ, я в свое время с ним вместе учился в разведшколе. Он выглядел растерянным и вопросы его были банальными.

Вскоре меня вызвали на допрос, именуемый беседой, прямо на Лубянку, снова прошлись по моим взаимоотношениям с Гордиевским, словно во мне таился ключ к разгадке его измены, самое смешное, что после отставки в 1980 году видел я его лишь несколько раз.

А как же те, которые его выдвигали? сидели с ним несколько лет в одной комнате? на одном этаже? Все поспешили заявить, что ничего общего с ним не имели, встречались формально или вообще не общались... Осенью началось следствие, и меня любезно пригласили в Лефортово (между прочим, тех, кто двигал Гордиевского в Англию, туда не вызывали, следователи сами ездили в Ясенево к генералам, представляю, как трепетно они их допрашивали!). Там сняли официальные показания, составив короткий протокол, из которого осторожные следователи вычистили мои слова о неблагоприятных нравах в ПГУ (но Крючкову, конечно же, донесли!). Я и не скрывал своего отношения к Гордиевскому: что греха таить — я ему симпатизировал, делился многим в те два года, что мы трудились в датском королевстве.

Только сейчас я понял, почему английская разведка не могла поверить, что Филби – агент КГБ, хотя улики было предостаточно: люди, окончившие один институт, одну разведшколу, проработавшие вместе

несколько лет в системе, где доверие лежит в основе, несомненно, рассматривают себя, если угодно, как избранную касту. Можно недолго любить и даже ненавидеть коллегу, но трудно представить, что он шпион иностранной державы.

Тогда я не представлял, что КГБ взял меня в крутой оборот уже в 1985-м, сразу же после бегства Гордиевского, я предполагал, что сие счастливое событие произошло где-то в году 1989-м, когда я начал поддерживать горедемократов. Однако руку Лубянки я почувствовал: почти все бывшие коллеги тут же разорвали со мною контакты, по телефону говорили напряженными голосами и уклонялись от встреч. Вскоре меня отвели от работ и сняли с партийного учета в отделе КГБ в АПН, где я подрабатывал, отставили и от рефератов для ИНИОН. Доходили слухи, что в грозных приказах по КГБ упоминалось мое имя, чуть ли не как главного виновника предательства.

Правда, не все разорвали со мной, кое-кто из бывших коллег остался. От меня не укрылся неожиданный аскетизм одного друга, любившего раньше пображничать у меня дома в доброй компании: компании исчезли вместе с его раскованностью, вскоре на лестнице он шепотом сообщил мне, что докладывает обо мне начальству только хорошее, — это было благородно, теперь я точно знал, что находился в активной разработке. Однажды мы случайно встретились с уже упомянутым Виктором Кубекиным, недавно вернувшимся из-за кордона, сели кейфовать у меня на квартире, но наш пострел везде успел, и в час ночи в дверь позвонил молодой человек, попросивший закурить (увидел освещенные, окна и заскочил «на огонек»),— коллегу засекли и миссию выполнили.

Но как же все-таки предателю удалось бежать из страны, где «граница на замке»? По свидетельству генерала Кеворкова, председатель Комитета Чебриков задал этот риторический вопрос конклаву генералов на экстренном совещании. Встал первый замначальника Второго главка Виталий Бояров (потом он возглавил Таможенный Комитет). Его ответ был прост: бардак! Гордиевским должны были заниматься те, кто профессионально этому обучены, а не разведчики. С этим нельзя не

согласиться, естественно, у контрразведки несравненно больше ресурсов для ведения слежки и разработки.

...Меня никогда не покидала ностальгия по доверию друг другу, по крепким дружеским рукопожатиям. Боже, как тяжело сходиться с людьми, когда тебе уже за пятьдесят! А дальше все хуже и хуже, и все чаще звонит телефон и сдавленный голос сообщает: «Ты знаешь, он умер», и все меньше друзей вокруг, и замечаешь в себе совершенно страшное, неосознанное, придирчивое раздражение, которое вызывают те, кто остались. Как он изменился! как поглупел! да он совершенно спился! воображает из себя черт знает что, а карьеры никакой и не сделал, да и вообще всю жизнь приспособливался! И неожиданно понимаешь, что и ты сам, блестящий и неповторимый, стал брюзгливым, мнительным, нетерпимым стариком, которому хочется всех поучать и направлять на правильный, одному тебе известный путь.

Но что делать? Так устроен человек.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
НА НИВЕ ИНОСТРАННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. БАТАЛИИ НА ПАРОХОДАХ.

Холодно бродить по свету,

Холодней лежать в гробу.

Помни это, помни это,

Не кляни свою судьбу...

Георгий Иванов

...Что же ее, милую судьбу, клясть, если существует Общество знаний, которое предлагает читать лекции о нашей стране на иностранном языке для непросвещенных западных туристов? Платят совсем неплохо: по 15 рэ за лекцию, а если это речной круиз, то бесплатно обеспечивают каютой и жратвой. Так что много радостей было во временах застойных, много халвы, и порядок образцовый бывал, и трудились хоть и в меру, но на благо и честно и, главное, уважали идеологических работников даже невеликого калибра. Бывало, прибываешь на туристский пароход, раскланиваешься с иностранцами и прочими и прямехонько к обеду, там уже место за столиком для уважаемого товарища лектора готово. На белоснежной скатерти икра зернистая и кетовая в половинках крутого яйца, ростбиф с кровью, умеренно прохладное, не из морозилки цинандали в окружении боржоми. Правда, столик был не самый эксклюзивный, но все же для особ, приближенных к государю императору, который сидел за соседним столиком в виде директора круиза, его заместителя и иногда капитана, подходившего обсудить дела текущие и заодно пропустить рюмочку. Уж не те ли это лекторы из общества «Знание», что в народном восприятии, запечатленном в киношедеврах, обычно вещали о

достижениях, крепко держась за трибуну, дабы не рухнуть в партер от винно-водочных перегрузок?

Нет, не те это лекторы, а пропагандистские, так сказать, сливки, свободно владевшие иностранными языками, а потому доходчиво и напрямую отливавшие свои мысли в слова, с опытом скрещивания мечей на заграничных ристалищах, беспредельно преданные и морально устойчивые, желательны со степенями, нежелательно с выговорами. Даже такие телевизионные корифеи, как Владимир Познер и Борис Ноткин.

Работал я в основном на круизах и на «круглых столах» с американцами, и они, не отличаясь особой деликатностью, доставляли много хлопот, любили резать правду-матку и прочие глупости. Они не особенно заботились о благопристойности вопросов и не ахали, любясь санаториями-дворцами для трудящихся, статуями борцов за свободу или очень мускулистыми женщинами с серпами, снопами, одиноким веслом и ангелоподобными младенцами. До сих пор волосы встают дыбом, когда вспоминаю, как один американец вылетел из зала прямо к моему столу и стал орать, брызжа слюной, по поводу нарушений прав человека, и при этом еще пару раз довольно больно ткнул меня пальцем в плечо, вызывая нехорошие рефлексy. Вообще подобные вопросы наши лекторы так обсосали, что в секунду ставили америкашек на место.

Отметим, что одним из руководителей Общества знаний являлся бывший председатель КГБ Владимир Семичастный, когда-то ставивший на место поэта Пастернака (я его ни разу в жизни не видел). Видимо, поэтому в Соединенных Штатах деяния нашего иностранного лектория заприметили, восприняли очень по-американски, очень всерьез, как форпост пропаганды, инспирируемый КГБ и опасный для нераспаханных мозгов туристов США. Нет, не КГБ был вдохновителем инолектория, а самая главная и правящая структура в лице отдела пропаганды ЦК КПСС, которому льстило оплодотворять не только отечественные, но и заграничные отары. Война шла не на живот, а на смерть, и американцы решили не оставлять своих соотечественников под артобстрелом нашей пропаганды и начали направлять в круизы своих лекторов, обычно профессиональных

советологов, часто из Стэнфордского, Колумбийского и других университетов.

В круизах была лафа еще и потому, что не приходили туда, как на «столы» в Москве, идеологические ревизоры — тети из «Интуриста», заодно черпавшие там гранд-идеи для так называемой методической работы с переводчиками. Да что там тети! Иногда во время лекции в Политехническом вдруг бесшумно отворялась дверь, и на цыпочках, пригнувшись, словно боясь задеть потолок, в зал входила личность чрезвычайно советского вида, прижимая к животу блокнот. Занимала место за спинами туристов, не извинялась, не представлялась, а просто садилась и начинала что-то зловеще чертить в блокноте. Лектор, словно улитка, на которую напоззал танк, уходил в свою скорлупу, и быстро бросал на осторожно-безрадостную картину советского бытия яркие краски бесплатного образования, низкой квартплаты и прочих благ, обретенных народом, несмотря на разрушительные гражданскую и отечественную войны, колорадского жука и другие происки врагов.

Были и вершины идиотизма — отчеты, которые предписывалось составлять лекторам после «столов», с обязательным перечислением основных вопросов, заданных иностранцами. Вопросы повторялись из беседы в беседу: зачем вступили в Афганистан? Зачем сажаете? Почему поддерживаете сандинистов? Почему такая огромная армия? и т. д. Затем малый начальник лектория сводил все вопросы в единый документ, который летел в державный ЦК. Представляю еще одну наморщенную лысину, и снова рождался трагический вопрос: зачем? Держать руку на пульсе Запада? Но ведь этим занимались и МИД, и КГБ, и АПН, и масса других организаций. Делать выводы и спешить доложить о них генсеку? Скажем, пора вывести войска из Афганистана. Исключено. Сплошная мистика, точнее, абсурд...

Июль 1991 года. Казанский порт и белое судно. Лектор, главный идеолог круиза, ступил на трап и прошел к капитану, у которого уже нет помощника по политработе (часто из КГБ, обслуживающего иностранцев). На корабле американских граждан человек пятьдесят, французов около двадцати и среди всех них масса русских из США, в том числе и

православных. Капитан, понизив голос, сообщает, что ими верховодит епископ американской православной церкви Василий, внук Родзянко, того самого Родзянко, председателя Государственной думы, принявшего отречение у императора Николая. Боже, ну и состав! Случись бы такая беда года три назад, в 1988-м, — и затрепетала бы душонка, и напрягся бы идеолог, представив конфронтацию с «бывшими» со всеми вытекающими отсюда последствиями...

Впереди волжские города, соборы и кремли, колокольни и иконостасы, церкви, церкви. Но грянул оркестр «Славянку» (она и будет ностальгически звучать при каждом отходе), замахали с пристани мальчишки в трусах, старушки-торговки в теплых платках, парочки со скамеек, туристы в ответ радостно замахали с палубы. Суета, дамы устремились сменить туалеты, а за ними джентльмены заспешили облачиться в парадную форму (через полчаса в зале — церемония представления вождей круиза, нечто вроде вручения верительных грамот). Лектор тоже заметался, закопошился, эх, опять забыл галстук, забегал по палубам и вот наконец, добыл его, грустную сельдь, подвешенную к шее за хвост.

Зал уж полон, ложи блещут, туристы уселись на скамейки и раскладные стулья, посматривая на столики, где водка, шампанское и маслины, оркестр-банд сыграл туш, и на подобие сцены вышли и величаво замерли капитан, директор круиза, переводчики, директор ресторана, врач, девица-физкультурник. Приветственные спичи, аплодисменты, удары барабана, девица прошлась от стенки до стенки колесом. И самое пикантное кушанье круиза – лектора представили: я встал, чуть поклонился, как нобелевский лауреат, и внутренне изумился, что жидкие хлопки не перешли в овацию.

За шампанским и маслинами, от коих поотвык, встретились мы взглядами с владыкой Василием и раскланялись. Владыко высок, и отмечен печатью аристократизма, посох в руке, величавость всего облика (в Костроме местные старушки, завидев его, кричали: «Иван Грозный!»). Вывезенный мальчиком из объятой пламенем гражданской войны России, в конце концов оказался в Югославии, где встал на путь служения церкви,

после войны несколько лет отсидел в коммунистических застенках, затем Лондон и двадцать пять лет работы в русской службе Би-би-си. Неслись проповеди отца Василия в родную страну, пробивая заунывный гул глушилок, особую ненависть он снискал во всех небогоугодных организациях. Достигнув сана епископа и преклонных лет, Василий переехал в Вашингтон, где живо участвовал в судьбах своей Родины, переживая всю нашу катавасию, с успехом прочитал серию проповедей по Центральному телевидению.

Вояж предпринят группой православных не только лишь для любования русской стариной, а дабы попасть на захоронение святых мощей Серафима Саровского в Дивееве. Правда, рывок туда пилигримов из Казани на автобусе по загадочным причинам не состоялся, хотя валюту за это и содрали. Владыко развел руками и подивился, увидев в этом Промысел Божий.¹⁰³

На следующий день стоял я среди своих и чужих в ресторане, народу набилось много: тут и французы, и американцы, и русские, и советские, и даже азербайджанцы, их на судне семей пять с детишками оказалось. Часа два служил молебен владыко Василий, три американца пели псалмы, им мальчишка-американец помогал, наши слушали молча и недвижно, одна лишь пожилая женщина, кажется, корабельная уборщица, все крестилась и крестилась, а затем и на колени встала. Зато произошло заметное оживление, когда владыко приступил к раздаче иконок святого Серафима, тут народ вздохнул с облегчением и энергично образовал очередь, не отказали себе и азербайджанцы-мусульмане, все с удовольствием целовали руку епископу, принимая освященный дар. Я тоже хотел иконку, но как некрещеный (тогда) к владыке не подошел, постеснялся.

На другой день мой дебют у американцев: сменил я легкомысленные шорты на интеллектуальные брюки и поспешил в зал за столик с

¹⁰³ «Руководство для агентов Чрезвычайных Комиссий»: «Нужно всегда помнить признаки иезуитов, которые не шумели на всю площадь о своей работе и не выставляли ее напоказ, а были странными людьми, которые обо всем знали и умели действовать».

микрофоном. Народ подходил резво, вскоре все заполнили, в первом ряду владыко Василий и отец Иосиф, краткая интродукция, а дальше пошли уже вопросы. Да и вопросы ли это были? Не вопросы, а сплошное волнение: как бы не разорвали мы друг друга в клочья в борьбе за демократию, не запустили бы по недоразумению ракеты в сторону США или, не дай Бог, не взорвали бы самих себя, отравив заодно полмира!

Тут уж я, конечно, начал успокаивать (больше всего самого себя), что, мол, не до такой степени мы потеряли голову, не надо верить всем нашим болтунам, все, что ни делается, — к лучшему. И перевел поток в русло экономики, отвлек намеренно, ибо любой американец — экономист, и жаждет разобраться в нашей плановой. Перешел я к хвалебным одам в адрес рынка, частной собственности, свободного предпринимательства и прочих ранее запретных плодов, пел я во весь голос, а в душе порой содрогался: приватизация? Да у нас же денег у большинства нет! А возрадуешься ли ты, певец, если в номенклатурном доме поселится кавказский овощной магнат? Намного ли это лучше, чем партайгеноссе? Или хуже? Прислушался я к себе, когда затянул о свободной экономике, без которой не может быть демократии, — душа ныла, демократия такая не радовала, в голову лезли полки с порно, голые зады и черт знает что.

И вдруг мелькнуло: пусть лучше народ в кино на «Освобождении» сидит или «Клятву» смотрит с Геловани-Сталиным, чем тешится всеми этими кинг-конгами. Перешел я к историческим переменам, сулившим, наконец, столь желанный мир, и совсем разбушевался мой внутренний голос: какой тут, к черту, мир, когда режут и убивают по всей стране, когда беженцы и перепуганные меньшинства? *Уж не входим ли мы в эпоху новых войн за передел мира, а точнее, одной шестой нашей планеты?*¹⁰⁴

Чуть подпустив слезу, заговорил я об альянсе Горбачева и американского президента, выразил скромную надежду, что хлынет к нам западный капитал, а душа съежилась от ужаса: ведь скупают все, черти, за понюшку табака, если доллар идет все выше, скупают все, гады!

¹⁰⁴ Боюсь, что не избежать мне славы пророчицы Ванги, правда, денег нет, чтобы выстроить церквушку у своей могилы.

Ох уж эти американцы, и смех, и грех! Одна старушка вопрос задала, почему плохо покрасили какой-то дом в Казани, другой дядя насчет памятников Ильичу, впрочем, к концу круиза американцы привыкли к этим памятникам и даже полюбили их. В Угличе американская бабка в кофте подошла к бюсту вождя, словно к родному, и воскликнула с чувством: «О, да это же тот самый парень, который устроил всю эту хреновину (fuss)!»

Полтора часа отвечал я на вопросы публики, закончил на бравурной ноте, загремели аплодисменты, кое-кто подошел, восхитился, пожал руку, вручил визитную карточку. «Это было великолепно!», «Просто потрясающе, никогда в жизни не слышал ничего подобного!». Раньше принимал я вежливость американцев за искреннее восхищение своей эрудицией и ораторскими талантами, а каждую визитную карточку за приглашение погостить в США. Эти иллюзии уже угасли давно. За завтраком соседка по столу, переводчица американской фирмы из второго поколения русской эмиграции, сообщила ласково, что «все остались очень довольны», ободряюще это прозвучало, но, главное, пожертвовала она мне свою порцию сыра (то ли диету блюла, то ли жалко меня стало) и дарила его весь круиз.

На следующий день снова Волга с церквушками-одиночками по берегам, издали они словно гордые дворцы, и не видно туристам разрушенных и загаженных помещений, снова стоянка и снова церкви, церкви, только ухоженные, для туристов. Тут-то и донесся до меня слух: мол, советские туристы (их тоже допустили на борт) несколько обижены, что их обошли, — чем они хуже американцев? И почему бы не устроить «мост» на манер Познера? Ключнул я на эту удочку, решил превратиться в Познера, заболел тщеславием и выполнил-таки волю народа, рассадив в зале наших и не наших друг против друга, а сам уселся, дубина, за столик посередке, дабы творчески жонглировать страстями аудитории.

Блин пошел комом уже на представлении сторон: что тут за советская публика? Публика заерзала и зашепталась, группа кооператоров на всякий случай отрекомендовалась как «люди с предприятия», путешествующие за счет «социальных фондов», и только один смельчак гордо заявил, что он зарабатывает достаточно бабок и может себе позволить истратить 1300 рэ

на поездку по Волге. Дальше наших потянуло на митинги, и они обрушились со всей страстью на Горбачева и правительство, не умевших управлять государством. Признались в нищенстве и пожелали услышать от иноземцев надежные рецепты выхода из экономического кризиса.

Все эти сумбурные речи, превращенные переводом в тошнотворную тягомотину, сразу выбили штурвал из рук новоявленного Познера, и корабль помчался на рифы: «мост» уже выродился то ли в треск высоковольтных линий, то ли в разговор под водой. Один чикагский бизнесмен неожиданно призвал не увлекаться идеями равенства и братства, не завидовать богатым, а трудиться! да! да! работать, работать и работать! А американка-дантистка ударила, словно обухом по голове: только учение Маркса спасет СССР и весь мир.

Советская публика от такого нокаута глухо застонала, особенно когда оказалось, что дантистка с мужем, профессором музыки катаются, как сыр в масле, в фешенебельном особняке под Нью-Йорком, где, как известно, даже негры пешком не ходят и сколько пожелают пьют коктейли в собственных утепленных бассейнах под банановыми пальмами. Стонали хором: вы у нас поживите с вашим Марксом, у нас! Вы знаете, что значит заработать 1300 рэ. на этот чертов круиз?! (это в то время!). Или вам лектор мозги пудрил? А я не пудрил, я честно объявил, что по статистике наша средняя зарплата чуть больше 200 рублей, причем со свойственным мне остроумием добавил, что существуют три вида лжи: ложь, подлая ложь и статистика, — эту шутку я тоже лет пять обсасывал, — все, как обычно, чуть не рухнули со стульев.

Наши продолжали бубнить: для нас такой круиз— это роскошь, а для вас даже за океан махнуть — все равно что высморкаться, для вас это семечки. Одна тетушка в очках с цепочкой, от волнения она не представилась, все пальцем грозно трясла, словно к позорному столбу пригвождала: «Вы нам скажите, во сколько вам обошелся этот круиз, — тогда и поговорим!»

Неожиданно взорвались от возмущения янки: «Думаете, нам так легко деньги зарабатывать? Думаете, что мы не вкальываем?» Причем стоимости круиза никто не назвал, загорланили разом о высоких налогах, ренте и

ценах, как-то незаметно все перевернули, затемнили и увели в сторону. Но тетушка непоколебимо стояла на своем: сколько?! Выручил отец Иосиф, приближенный Родзянки, кожей почувствовал опытный человековед, что православные не успокоятся, не разойдутся с миром, пока не обрящут истину, встал спокойно отец и, как на отчетно-выборном собрании, объявил просто, что тур стоил по 3200 долларов с носа на две недели (самолет туда и обратно около 2000, неделя в Ленинграде и Москве плюс неделя на пароходе).

Наши возликовали: так это даже по заниженному курсу аж 100 000 рублей! Так кому же на свете жить хорошо, вам в своих Штатах или нам, мужикам, на Руси? Я уже давно понял, что сел в лужу,— «мост» разламывался на куски, кто-то зевал, а кто и просто уходил из зала. И все я ждал момента, чтобы по познеровски всех примирить, все уладить и всем вместе порадоваться, что вот, наконец, мы, туристы, и познакомились. Лишь только лихорадочно поплыл я в эту сторону, как вылез американец, с персональным компьютером, который времени зря не терял и рассчитал, что для покупки тура за 3200 баксов, разумеется, при выплате всех федеральных и прочих налогов, при доходе 20 000 баксов в год американец должен трудиться 58 дней, при доходе 40 000 — 29 дней, при доходе 70 000 — 16 и три четвертых дня, и так эта таблица поднималась все выше и выше. Дальше расчеты вышли за пределы моего понимания и приняли характер космический: зарплата соотносилась с индексом роста цен, развитием международной обстановки, стоимостью доллара на биржах. Компьютер выделял чудеса и проглядывал ситуацию до середины следующего века.

Пару дней никак не мог отдышаться и я наметил еще один «стол» на дату прибытия в град стольный, когда ум туриста сам требует обобщений всего увиденного и услышанного. Тут, на мою беду, снова обиделись, теперь уже французы: к нам, мол, относятся как к второразрядной нации, мы тоже хотим «стол» — болеее удара пролетарскому интернационалисту и не придумать! Поскольку во французском море плавал я как топор, то пришлось подключить переводчика, что дискуссию затягивало и уродовало до омерзения. Французы дружно сопели, но слушали, все время переспрашивали и требовали пояснений. Потом возбужденно

зажестикуютировали, загалдели, а один толстяк в расстегнутой рубашке и с татуировкой на груди заявил, что Горбачев, Ельцин и я лично продали французских пролетариев и поверили Миттерану, который всех нас обвел вокруг пальца, обманул и тоже продал. Я уже приготовился к мягкой отповеди, решил не обострять, ответить легко и с юмором, но тут французы меж собой вдрызг переругались, нахохлились, как боевые петухи, и только слышалось на альтах и дискантах: «Миттеран! Миттеран!»

И вдруг я подумал: «Боже, зачем мне все это?! Тихо встал, вышел в каюту и раскрыл «Русский Нил». Попал на кусок, когда ни Розанов, ни пассажиры на волжском корабле никак понять не могли, почему им из лодки, проплывавшей мимо, грозили кулаками мужики. Лишь потом доперли: голод на Русском Ниле, голод! А те, кто на корабле, жрут!

Я опустил окно, подуло кисловатым воздухом больной реки. Если бы ведал Розанов, во что превратят его Русский Нил – оазис цивилизации, вокруг которого задумывалось зреть и богатеть России...

И чем больше всматривался я в зеленоватую муть с ошметками водорослей, с белыми крошками, которыми, словно манкой, забросал громады глубин какой-то Сумасшедший Рыболов, тем досадливее и мутнее становилось на душе. Больная вода вливалась в меня, «столы» и вся эта мура показались жутким повторением прошлого, нет, ничего не изменилось во мне, и по-прежнему существовал я в двух или трех измерениях, как и в свои коммунистические годы...

Владыко Василий оказался один в каюте и попросил меня присесть.

«Как интересно, что мы с вами в одно время работали в Лондоне, вы в посольстве, а я на Би-би-си». («Да, — подумал я, — очень интересно, весьма интересно, какое счастье, что я уехал из Лондона в шестьдесят пятом и не работал в семьдесят восьмом, когда болгарские коллеги пришили Георгия Маркова, писателя-диссидента, тоже трудившегося на Би-би-си, укололи зонтиком с ядом».) «У меня после смерти Маркова сын погиб в Лондоне в автокатастрофе...» — сказал владыко, уже включились, видимо, меж нами иные коммуникации, на уровне интуиции. «Я в то время работал в Дании, но вряд ли бы наши мстили вам таким образом... логичнее было бы вас

самого...». «Пожалуй, вы правы, я тоже так думаю... что это не вы... и жена моя, покойная мать Мария, так думала...» Наступила пауза, она продолжалась несколько долгих секунд. «Владыко, могу я подарить вам книгу Розанова? Вы, конечно, читали «Русский Нил»? «Очень давно. Большое спасибо. Надпишите, пожалуйста». «Вроде бы неудобно, ведь автор не я». «Надпишите на память, пожалуйста». Я надписал с самыми добрыми словами и спросил вдруг, точнее услышал, что спросил: «Владыко, а как вы относитесь к разведке КГБ, в которой я работал? Аморально было там трудиться или нет?». Он взглянул на меня внимательно. «Человек и его общество несовершенны, еще Иисус Навин посылал, если помните, лазутчиков в чужой стан...» «Значит, работа в секретной службе морально оправдана?» Он посмотрел на меня еще зорче. «Не во всех. Бывают службы, защищающие человека, а бывают...» «Значит, КГБ...» — не унимался я, словно тельняшку рвал на груди, шел на дот. Он улыбнулся мягко, даже слишком мягко. «Я ненавижу и КГБ, и гестапо, и им подобных, думается, вы это понимаете», — улыбнулся владыко. «Значит, мне не стоит надеяться на прощение православной церкви?» Я тоже попытался улыбнуться, нервы, конечно, стали ни к черту. «Святая церковь не прощает ни коммунизм, ни фашизм, но она прощает и Сталина, и Гитлера, если они покаются. Любой человек может быть прощён».

Я искоса взглянул на каютный столик, там лежали бумаги и фотографии, он протянул мне одну: «Это я и покойная Мария». Двое красивых молодых людей в цивильных одеждах шли по английской улице, прижимались друг к другу и улыбались. «Я ведь сначала хотел быть монахом, но встретил Марию и изменил свое решение. Но монахом все же стал...» Он говорил спокойно, уже уйдя в свое далеко, уже устав от меня.

Я встал.

Волга сузилась, вдали пошли добротные шлюзы, построенные заключенными. Я смотрел на зеленую рябь и думал, что и в Лондоне, и в Копенгагене, и в Москве, и при Хрущеве, и при застое, и при Горбачеве, и в посольстве, и в отставке, и на воле, и сейчас, в эти улетающие, как белые бабочки, секунды, жил, суетился и что-то доказывал другим и самому себе один и тот же человек.

Веселый фильмик этот прозрачно накладывался на теряющие жизнь воды, на реку, загубленную теми, кому она предназначалась в дар...

Вскоре я крестился, я хотел продолжить традицию своих предков, всего рода – ведь папа и его брат окончили церковно-приходскую школу, пели в церковном хоре, собирались и пели псалмы на пасху. Ясно, что в ЧК-ОГПУ крещеному отцу с религией пришлось завязать, естественно, если бы папа меня крестил, ему бы не сносить головы. Собственно, в мои времена чекистам ходить в церковь было строго противопоказано, за паствой присматривали, и был риск попасть на крючок. Крестным отцом был Виктор Кубекин, действо проходило в церкви Симонова монастыря, я честно продефилировал в трусах вокруг чана с водой, но батюшка, к счастью, не окунул меня в него с головой, а лишь слегка окропил.

Единственный вопрос священника: вы никого не убивали?

Нет. А что?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

О ТОМ, КАК МЕНЯЮТСЯ МОЗГИ И В ГОЛОВЕ ЗВУЧАТ СОВСЕМ ДРУГИЕ МЕЛОДИИ

О, дон Антонио, Вы совсем не изменились! Сколько мы не виделись? Шесть лет? Нет, я насчитал семь. Неужели вам только шестьдесят два? А эта прекрасная сеньорита, подавшая нам меню, ваша дочь? У вас трое сыновей, ого! Один работает в соседнем баре. Жизнь течет, Антонио, мы медленно, но верно стареем, и что дальше? Помните, как мы напились у вас до чертиков, да еще прихватили с собой три бутылки риохи. Это было белое Парфюм? Неужели я тогда любил белое? А тут на пляже великолепно, и ваш ресторанчик великолепен, и вы сами великолепны, дон Антонио... И тут мелодия:

Наутро в город ворвутся танки

В ночном Мадриде - ни огонька.

И лишь в таверне бушует танго, Щека к щеке, и в руке рука...

Это басовитый баритон вольнолюбивого Анатолия Головкова перекликается с всхлипами чаек и мерной поступью волн.

Это испанская война, это последнее братство народов против зла, это интербригады, наша помощь республиканцам, самоотверженные добровольцы и конечно же, венгерский поэт Матэ Залка, писатель Михаил Кольцов, будущий маршал Родион Малиновский, их целая когорта...

Это моя юная вера в победу коммунизма!

Эта вера началась рано, еще во время страшной войны, в барачном доме, там я утягивал почитать Das Kapital у соседа, ни хрена не понимал, но чувствовал свою

причастность, свою значительность, я писал папе на фронт, что ненавижу фашистов, я читал у Павла Антокольского «Мой сын был коммунистом, твой фашистом, мой сын был человек, а твой палач!». И уже в куйбышевской школе в пятидесятые по утрам прибежал к райисполкому, там висела карта Кореи с флажками, показывавшими границы между «нашими» и американцами во время войны в Корее, ах, как я ждал, что мы скинем проклятых янки в море! Но увы.

В Институте Международных Отношений, куда я поступил в 1952 г., на меня пали монбланы теории и безукоризненной партийной практики, в этих завалах я долго барахтался, к тому же, умер вождь и горели костры яростных споров. Относительное и абсолютное обнищание пролетариата? Абсолютного, пожалуй, нет, а вот относительное... Почему у нас не отмирает государство? Ах, оказывается, оно отмирает путем своего укрепления, да и классовая борьба утихает путем своего обострения. Как только мозги выдерживали эти парадоксальные метаморфозы! Да, да, диалектика, все течет, единство противоположностей, превращение количества в качество.

В разведывательной школе снова на меня снова обрушились горы марксизма-ленинизма (а ведь так жаждал откровений о разведке, где они, черт побери? а

марксизму обучал человек с ласковой фамилией Угрюмов, любивший закусить ливерной), это уже было скучно. Но я постоянно пытался втиснуться в прокрустово ложе теории, заставлял себя поверить в «нового советского человека», в правильность и неизбежность большевистского переворота. Это было ох как мучительно, мозги плавилась от натуги, но юноша изгилялся, но юноша поверил. Зато мировая практика была явно в пользу великой теории: Суэц и героический Насер в Египте, добродушный папаша Нкрума в Гане, менее добродушный Секу Туре в Гвинее, блистательный брат Карно, он же президент Индонезии Сукарно и бесстрашные Че Гевара и Фидель. Мир катился к социализму неясного образца (потом все скурвились, все продались золотому тельцу), везде шли национально-освободительные войны (помнится, сам вручал на это благое дело фунты некоторым африканцам в Лондоне и Москве, обучал конспирации в здании ЦК).

Из всех учений я вышел во всеоружии, с Лениным в башке и с наганом в руке, как писал Маяк. Наступила живая жизнь. Уже в первые дни в разведке меня бросили переводчиком делегации левых лейбористов, визитировавших нашу страну по линии ЦК КПСС. В то время левые еще почитали Маркса, опирались на мощные тред-юнионы и отстаивали «4 пункт» в программе о

непременной национализации при социализме (где вы теперь, кто вам целует пальцы?). Высокие лбы в международном отделе ЦК учили: имей в виду, что и левые, и коммунисты совсем не похожи на наших коммунистов, не поддавайся на их агитацию. Я и не поддавался, но видел, что они свободные люди. Пьянки в Москве проводились на высокой ноте (я, бедняга, страдал от трезвости и идиотизма тостов наших бонз, которые вынужден был переводить), в Сочи блаженства продолжились. Бешено втирали очки дутыми цифрами и шикарными санаториями для шахтеров (такие были), лейбористы впервые в жизни попали на обследования к врачам (на родине такое могли себе позволить лишь за большие деньги, а тут все бесплатно), последний аккорд – Грузия, где делегация утонула в реках водки с шашлычными берегами. Любимый ЦК обманывал себя, лейбористы своих взглядов не поменяли и коммунистов не возлюбили. Тогда (не впервые) я почувствовал гнусный привкус лжи, хотя веры в светлые идеалы не утратил (или не хотел утратить?).

Битвы за Мадрид и Барселону, на Эбро и у Гвадалквивира, бескорыстные добровольцы и в коммунистических интербригадах, и в в протроцкистском ПОУЭМе, и среди анархистов Дурутти, силы добра со всего мира против воинствующего фашизма, против Франко,

Гитлера и Муссолини. Наверное, последний всплеск, последний крик! Великие Джордж Оруэлл, тогда левак, и Сент- Экзюпери (о, «Маленький принц», я упивался тобою!) писатель Андре Мальро, тоже левак, ставший потом министром у Де Голля, американский классик Дос Пассос, сразивший меня своим телеграфно-газетным стилем и тогда коммунист Артур Кестлер, забравшийся в тыл Франко, где был арестован. Оруэлла я прочитал поздно, а вот Кестлер с его «Слепящей мглой» меня перевернул. Боже, как он описал жуткие процессы 30-х годов, как глубоко он копнул эволюцию старых большевиков, которые ради единства партии давали ложные показания... Сейчас я думаю, что тут художественный вымысел: выбивали зубы, выпускали кишки, калечили жен и детей – вот цена этих показаний! Я возненавидел Сталина, но верил в Идею, клюнул на тезис о «попрании ленинских принципов». Ленин политиком был мощным, философом нулевым, менял взгляды на ходу, совершив переворот, тут же в «Государство и революция», превратил его в заветы Маркса, после Кронштадта и Тамбова (о, эти записочки сподвижникам с требованиями «расстрелять!») правда, засомневался и провозгласил НЭП.

В Англии я работал с двумя добровольными участниками гражданской войны, оба занимали солидное

место в английском истеблишменте (хотя и слева), один любил Троцкого и выпить, отличался авантюризмом, со вздохом вспоминал испанскую эпопею и особенно, как однажды повар сварил им на обед кошку. Другой был осторожнее, посматривал на меня, мальчишку, снисходительно, особенно, когда я детализировал с ним связь через тайники, он прошел в Испании через самое жаркое время и еле уцелел. Английских коммунистов оба не любили и презирали (честно говоря, я коммунистов не знал, ведь с ними нам в разведке запрещалось работать, дабы не скомпрометировать, не дай Бог, великую идею), как-то летел я рядом с членом ЦК КП Великобритании, он возвращался из цековского санатория в Сочи, курил кубинскую сигару и говорил о мире во всем мире. Но мои два героя были честными людьми, я преклоняюсь перед ними...

А наши добровольцы? Командующий противовоздушной обороной Мадрида генерал Дуглас, он же Яков Смушкевич, товарищ Пабло, он же генерал Дмитрий Павлов, начальник танковой бригады у республиканцев, оба получившие Героев Советского Союза, оба безжалостно расстрелянные хитроумным тираном. Я буквально дышал Хемингуэем, я бредил его «По ком звонит колокол» с проникновенным эпиграфом из Джона Донна:

«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смочет край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

Разве это не коммунизм? Верю в эти слова и ныне. На квартирке у одного киношника, глотая стаканами портягу, поминали генерала-осетина Хаджи Мамсурова, замначальника ГРУ Генштаба, а в Испании военного советника анархиста Дурутти, «полковника Ксанти» и диверсанта, с ним и Романом Карменом Хем провел пару дней и выписал потом своего грустного подрывника Роберта Джордана.

Испанская трагедия осталась в сердце навсегда, а вот вера в коммунизм пошатнулась, да пожалуй, не столько само учение, сколько печально-гнусная практика любимой партии. Развивалось все медленно, как у Горбачева, который в результате возненавидел свою партию. Сейчас дикими кажутся тогдашние лозунги «Партия наш рулевой», абракадабра «Коммунизм-это советская власть плюс электрификация всей страны», все эти «новое мышление» и «ускорение» --бред сивой кобылы. Но испанская война не

исчезла, и сердце замирало, когда слышал светловскую «Гренаду» про хлопца, который «землю оставил, пошел умирать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».

Написано задолго до войны между республиканцами и франкистами, и ближе мне больше, чем наши рок-группы и пережравшие олигархи, считающие себя «солью земли».

Наше смутное время Горбачева и Ельцина останется в истории, как великое, до сих пор чудом кажется, что удалось свалить такой жестокий и тупой режим как власть советов. Ценой фатальных ошибок и вопиющих глупостей, ценой жульнической приватизации и развала СССР. Это счастье, что не случилось гражданской войны... Я поддерживал реформаторов, хотя и видел их ограниченность, демократическое движение развивалось контрастом к скуке мертвящего режима Брежнева-Андропова, к каменным мордам в президиумах, ко лжи о бесконечных достижениях, а уж коммунистическими идеалами в КПСС и не пахло. После отставки мне удалось прикрепиться к парторганизации в АПН (там над Московскими новостями трудился под этой крышей наш коллектив, строчивший тезисы для активных мероприятий разведки), но после бегства предателя Гордиевского, видимо, я угодил в число неугодных, посему был переведен в парторганизацию по месту жительства. После не слишком

мучительных разводов и разменов мы с Татьяной оказались в уютной квартирке на улице Готвальда (ныне Чайнова), во дворе дома композиторов с живописной помойкой и мужиками, режущимися в домино. Сей дом попадал в партийную орбиту вместе известным домом, где тогда жил Ельцин и многие номенклатурщики. В этой парторганизации меня даже назначили замом по идеологии, там я яростно выступал в защиту перестройки, иногда пугая некоторых старых партийцев. В 1989 году я уже не чувствовал себя коммунистом, хранить билет (то ли на вечную память, то ли на всякий случай) я не стал и честно сдал его и вышел из партии. Но наши победы при коммунистах не исчезли из моего сердца.

Благословенна ты, o la paloma,

Вино в бокале...

2016 год. Мы сидим в уютном ресторанчике на Коста Брава с моим приятелем Мигелем, сыном испанских эмигрантов, ныне солидным журналистом. Он вырос в России, он на себе прочувствовал советский режим, он и сейчас работает в Москве и живет на два дома. Городишко Святого Феликса очарователен, почти прямо у нашего носа, по желтому песку бродит альбатрос, он весьма зажирел и наверное, не читал нашего Буревестника, который гордо реял над

морем. Я бросаю ему крошки и он радостно их поклевывает. На курортах идет к концу летний сезон, большинство ставен в домах и модных кондоминимумх наглухо опущены. Рядом красавец-отель Ла Гавина (Чайка), в котором любил останавливаться диктатор Франко, вдоль моря тянется меж скал, оседланных живописными виллами, извилистая тропа, на ней можно жить и умереть. Альбатрос все бродит и бродит (что он там нашел среди песчинок? что-то драгоценное, невидимое нашему глазу?), добрый, жирный альбатрос... Гражданская война осталась где-то в закоулках истории, народ не бедствует, но и не жирует (кроме богачей), жизнь прекрасна, особенно, когда нежное море и столь же ласковое солнце. Гражданская война... Мигель рассказывает, что оказывается мудрецы Сталин и Ворошилов разбирались в хозрасчете, и аккуратно подсчитывали все советские расходы на Испанию. Как известно, с согласия испанцев, в СССР с помощью разведки НКВД было вывезено в Союз испанское золото. Представляю, как оба вождя мусолили карандаши и вычитали из этого золота командировочные и отпускные нашим добровольцам, не говоря уже о военной технике. Очень разумно, говорят мне, откуда деньги у бедной страны советов? Наверное, разумно, разве американский ленд-лиз обошелся нам бесплатно? Но мне почему-то противно, словно измазали дерьмом, слава Богу, что это не знали

герои-добровольцы! может, их и расстреливали за счет испанского золота?

Хорошо, что кончилась гражданская война, почил Франко, появились прогрессивный король и демократия и, в конце концов, всё образовалось. Но куда делось единение сил добра против сил зла? где великие писатели и ученые, открыто выступающие против войны? Куда ты исчез, прошлогодний снег? Что происходит с моими мозгами? Или в них усталость народа, побывавшего в мясорубке репрессий и огне войны, в постоянной нужде и неодолимом страхе?

Толстяк-буревестник бродит и бродит по песку, выискивая лакомые кусочки.

Гитарой, басом и мандолиной

Поют на сцене три старика,

Спитые лица, кривые спины,

И к черту Франко! и жизнь легка!

Рот фронт, старики! жизнь и танго прекрасны! Прекрасны всегда и везде .

Альбатрос тяжело поднял крылья и неохотно взлетел.

Как писал итальянец Иньяцио Силоне, «В результате в этом мире останутся только коммунисты и бывшие коммунисты».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ
МОСКВА 1980 – 1991

**«Ну вот, со свинками покончено, – подумала Алиса.–
Теперь дело пойдет веселее».**

Льюис Кэрролл

Как трудно вылезал я из когтей КГБ, державших крепко мой мозг, как трепетал я еще в 1987-м (вроде бы перестройка): домашний адрес туристам не давал, тем более телефон, никакой заграничной переписки, в гости не приглашал... И это разведчик, проживший годы среди иностранцев, впрочем, именно поэтому и не давал, что привык к запретам и разрешениям.

Разве мы не чувствовали себя спокойнее и увереннее за рубежами, где хотя враги, но все предсказуемо? и не тряслись, когда вдруг в московском ресторане к столику подсаживались иностранцы? (Вдруг за ними слежка? тогда и соседей по столу попутают.) Как дрожала моя душонка, когда я впервые в жизни просто так, без связи с Делом, дал американцу свой домашний адрес (номер телефона не дал), все это казалось чуть ли не продажей врагу схем коммуникаций Кремля. Но душа постепенно распаивалась, очищалась от накипи, обретала естественную свободу, благо, виляя и крутясь, как хвост героя, все же набирала силу горбачевская гласность.

Даже жена, когда соседи наверху бросили в унитаз калошу, засорили канализацию, и нашу квартиру залило дерьмом, вывесила, как Клара Цеткин, прокламацию в подъезде: «Товарищи жильцы! Не бросайте в унитазы помойку. Убедительная просьба использовать унитазы по их прямому назначению. Ведь вы же москвичи, стыдно так себя вести!» Молодец, Таня, истинный борец за права человека, неудивительно, что мы боролись вместе более тридцати лет! Мы различны по всем параметрам: Таня медлительна, я же суетлив (удержался от «динамичен»), она обидчива,

у меня — свиная кожа, она скромна, я же всегда в эпицентре, она хорошо готовит и обожает лечить, разве не идеал?¹⁰⁵

Однажды я поперхнулся куриной косточкой, она встала где-то в пищеводе, я проглотил с полбуханки хлеба, силясь прогнать ее до желудка, но... Таня с радостью увезла меня в Склиф, где сидело еще человек десять таких же недотеп, оказывается, у нас страна глотателей! Врач тут же аппаратом продвинул мою косточку куда надо и заметил, что все это пустяки по сравнению со вчерашним случаем, когда кто-то проглотил на спор двадцать бритвенных лезвий.

В это время внесли полузадохнувшуюся толстуху (она беседовала по телефону во время обеда и проглотила куриную кость длиной в десять сантиметров), ее тут же спасли, мы мило разговорились и поделились опытом глотания. Кстати, Татьяна, увидев мои шуры-муры со старушкой (это я о толстухе), закатила мне сцену ревности. Ясно?

К женам нынешним и, возможно, последним следует относиться с особой нежностью. Кто же еще после славного откидывания копыт будет возиться с пожелтевшими фото, собирать черновики и терзать власти о превращении квартиры в музей? Слава Тане! Слава Спутнице! не зря она мне однажды бросила: «Такие, как я, на дороге не валяются!» На что и получила:

«Между прочим, тянет многих повалиться на дороге, вставить в задницу перо, ткнуться мордой в дерьмо. Вам, любительнице мыла, Вам, блюстителнице ванной, показаться может странным перемазанное рыло.

Мы не моемся годами, проросли насквозь лишаем и кровавыми зубами ногти яростно сгрызаем. Но зато, когда расколют грязный череп наш дубинкой, там найдут святые стружки, золотых мозгов опилки!»

И опять заслонили Золотые Опилки образ Тани, и забыто, что она безумно женственна и божественно красива, черт побери! Иначе разве она покорила бы Святые Стружки?

¹⁰⁵ «О бойся Бармоглота, сын! Он так свиреп и дик. А в глуше рымит исполин — злопастный Брандашмыг!»
— опять дружище Кэрролл.

Вообще семья у нас пишущая, вот и сын откуда-то из деревни, еще не испорченный славой: «Краткосрочный прогноз: мы будем молчать, как рыбы, на твоё шестидесятилетие я не принесу бутылки вина, деньги верну, когда они появятся¹⁰⁶, от наследства отказываюсь, что могу подтвердить у нотариуса. Тем не менее, люблю и похороню честно, без экономии. На могиле будут расти все породы деревьев», — чёрный юмор, по-видимому, наш семейный удел.

Но уже подкрадывалась слава, незаметно, ненавязчиво и конечно же, случайно. Я много печатался в разных газетах и журналах, даже опубликовал две свои пьесы в журнале "Детектив и политика", но ведь уже был завершён роман, написанный на Таниной даче в Жаворонках, написан от души, с душевным огнём и совсем не по шаблонам КГБ. Я отдал его Артему Боровику (он был редактором газет «Совершенно секретно», где я работал), рассчитывая на журнал "Детектив и политика", но по неведомой мне причине он передал роман в суперпопулярный тогда "Огонек".

И вдруг мне позвонил зам. редактора журнала Владимир Николаев...

Началась счастливейшая в жизни пора, и продолжалась она с сентября по декабрь, когда шел в журнале роман "И ад следовал за ним". Оказалось, на этом свете есть ощущения поострее, чем ночная встреча с агентом в подворотне или объятия начальства за распушенный слух о том, что вирус СПИДа изобретен в лабораториях ЦРУ. Рассматривать с некоторым удивлением собственную фотографию, впитывать в очередной раз неповторимый текст и наблюдать, как в вагоне метро простые советские люди листают журнал (задержится ли их взгляд на романе?).

«Огонек» тогда долетел до пика, тираж превышал четыре миллиона, каждую неделю вырывались на просторы родины чудесные драгоценные мои номера, да еще и любимые фото и картины я подбрасывал для журнальных коллажей.

Старушка КГБ недолго мучилась и уже в конце сентября инспирировала по мне первый залп в «Красной звезде», действовали по

¹⁰⁶ Не вернул, хотя появились, и не вернет. Зато периодически устраивает мне то презентации, то юбилеи, то поездки по всему миру.

знакомым канонам (те, кто не с нами, не просто враги, но и алкаши, распутники, взяточники и т. д. – ненужное зачеркнуть), сообщили, что я «человек не слишком строгих моральных правил» (видимо, автор любил Пушкина, «Мой дядя etc.»), к тому же, благословил побег Гордиевского – тогда я воспринял это как свойственные службе издержки стиля, однако, как оказалось, считали так всерьез. Хорошую кость подарили псу, и ответил я славно в «Комсомолке», до сих пор горжусь, и название придумал с выпендрежем, но прямо в точку: «Признания нерасстрелянного шпиона», наверное, уже тогда Крючков занес меня в «черные списки».

Впрочем, на «Красной звезде» не успокоились, а поддали мне в ежемесячнике КГБ «Совершенно несекретно» («фантазмагорический роман, поражающий воображение читателей «Огонька» несметным количеством пьянок и амурных дел»), тут и заместитель начальника разведки уважаемый мною Вадим Кирпиченко не поленился обозвать роман «туфтой», спасибо, товарищи, за рекламу (потом в частной беседе со мной признался, что романа не читал, впрочем, меня это не удивило).

Но все эти уколы меня, как истинного шиза, только подстегивали. Я вспоминал притчу Андре Мальро. «Тогда Непреклонный Император приказал Художника повесить. Он опирался о землю только большими пальцами ног. Когда он устанет... Он оперся о Землю одним большим пальцем, а другим большим пальцем нарисовал мышей на песке. Мыши были нарисованы так хорошо, что они вскарабкались вверх по нему и перегрызли веревку. И так как Непреклонный Император сказал, что вернется, когда Художник ослабнет и закачается в петле, Художник тихонько ушел восвояси. И увел с собой мышей».

...Год девяносто первый начался ужасно: в феврале рано утром увезли в больницу Катю, вечером у нее был Саша, она шутила, а в ночь внезапно умерла – сердце. Катя умерла, исчезла с этой земли. Остались лишь письма, вещи и память, которая с каждым годом все острее восстанавливает прошлое. «Волосы – искры пожара отбросив, шутя, назад, читала Мартен дю Гара, сонно смотрела в сад. Чертила томно и ленно, губу оттопырив вниз, левой рукой – поэму, правой рукой – эскиз». И вот нет Кати,

смеется она, заливаясь с фотографии, снятой на Трафальгарской площади: голуби одолели ее, бедную, облепили и голову, и плечи...

События в стране не переставали будоражить. Перестройка уже буксовала, фигура Бориса Ельцина становилась все популярней, надоели лозунги о прелестях хозрасчета и социалистической кооперации, о том, что демократия – это социализм, и наоборот. Раздражали водянистые слова о новом мышлении, но, когда на каком-то съезде пикнули о частной собственности, весь зал замер от ужаса. Помнится, мы со старым другом Евгением Силиным¹⁰⁷, вершившим мировые дела в Комитете за европейскую безопасность (ныне что-то связанное с атлантическим единством), прослышав на праздники о том, что якобы с Центрального телеграфа сняли портреты членов политбюро, ринулись туда, дабы убедиться... неужели? неужели? Воистину сняли!

Конечно, сейчас и экономический бардак, и страшные контрасты, и киллеры, и не меньше вранья, но все-таки какое счастье, что мы выбрались из царства одной Извилины, в котором прожили бы, может быть, и спокойнее и зажиточнее, но пошло и унизительно!

О, где вы, первомайские лозунги на первой полосе «Правды», серьезная и увлеченная дискуссия о путях перехода от социализма к коммунизму, покорное созерцание мастодонтов в Политбюро и брызги ядовитой слюны в адрес разных рейганов и тэтчер!

У меня вылезли глаза из орбит, когда я увидел, что Горбачев на парижской пресс-конференции выступает без бумажки! И все-таки окно в Европу прорубил он, все мы вышли из его нелепой, скроенной из странных заплат шинели! И заговорили все, и все без бумажки, да так громко, что затряслись и рухнули стены всей державы.

Эх, коллеги мои дорогие, как же вы не цените того, что вам позволили писать и даже издавать на Западе шпионские мемуары, ругать почем зря и без страха президента, строить баню в саду на собственной даче без

¹⁰⁷ Другу Жене я всегда открывал душу, ругая недостатки системы. Даже участвовал в поисках ему жены, и преуспел. Очень начитанный, сдержанный и порою взрывной был человек! Умер, не дожив несколько месяцев до восьмидесяти.

высочайшего разрешения властей! А помните те совсем недавние времена, когда даже в кагэбэвском дачном поселке метром измеряли дачи и требовали убрать лишние, не положенные пятьдесят сантиметров, грозя применить бульдозер! Забыли, милые? Или просто хочется прежней непререкаемой, хотя и убогой, власти, когда легко можно было «не пущать»? Но теперь-то вы хоть поняли, дураки, что быть секретарем райкома или шефом резидентуры – хлопотно и неплодотворно? Другое дело, когда твоей становится когда-то общая собственность, и пухнут банковские счета здесь и в Швейцарии, и загранпаспорт всегда на руках, и детишки ждут общения с солнцем на Канарских островах...

Но вернемся к нашим баранам (будто мы далеко от них ушли). Летом 1991 года впервые после опалы я дерзнул вместе с Таней совершить вояж за границу – в Венгрию. Пригласила меня газета «Курир» для написания статьей о венгре Теодоре Малли, работавшим с Кимом Филби. Будапешт был пестр и ярк, как поле цветов, над мутноватым Дунаем великолепно нависали мосты, от дворцов и монументов веяло усопшим величием Австро-Венгерской империи. Попахивало и иронией в адрес бывшего старшего брата: майки с изображением солдата со спасенной девочкой на руках, с портретом Карла Маркса и надписью: «Разыскивается – живой или мертвый!»

Мы с Татьяной бродили по городу без устали, а вечерами, накупив французских сыров и сухого вина, сидели у телевизора. Там и прозвучала весть о том, что Крючков выступил на заседании Верховного Совета, где вытащил на свет црувский документ о необходимости вербовки в СССР «агентуры влияния», – председатель КГБ прозрачно намекал на тех, кто группировался тогда вокруг Горбачева и Ельцина.

Вскоре мы вернулись, после шумных политических бурь август просто являл собою буколическую картинку, казалось, что все утомились, разъехались по дачам и занялись сбором грибов. Я уехал на дачу, беззаботно ел там сливы, пока рано утром девятнадцатого не включил случайно радио и не услышал заявление советского руководства и обращение к советскому народу. Весть о болезни Горбачева и о переходе бразд правления в руки Янаева звучала будто из старого-старого,

изрядно затасканного фарса. И так, переворот¹⁰⁸ – о своей судьбе я не задумывался, ведь я не политическая фигура, а заткнуть рот пишущему так просто: закрыть газету или запретить книгу – и точка. Впрочем, к нам, ренегатам, особое отношение, уже утром девятнадцатого арестовали подполковника Уражцева, следователя Гдляна, пошли машины за Калугиным, но он скрылся в «Белом доме». Не было у меня сомнений, что Сашу и остальных ведущих «Взгляда» постараются тут же «нейтрализовать», вообще сознанию, воспитанному на Марксе - Ленине, переворот представлялся четко: захват радио, телеграфа, банков, поэтому удивляла непоследовательность заговорщиков.

Дневной электричкой (машину оставил на всякий случай на даче, с машиной в Москве не превратиться в человека-невидимку, да и под танк в суете немудрено попасть) двинулся в стольный град, на платформе стояло жуткое молчание, пока какой-то пьяненький тип при костюме и атташе-кейсе не запел осанну ГКЧП (наконец наведут порядок!). Тут два мрачноватых парня не выдержали: «Назад захотел? В свой социализм, сука? Зачем он тебе? Да мы не только себе заработаем, но и тебе, дураку, дадим!»

На улице и у нас во дворе было как обычно: на скамейке пили мужики, с деревьев каркали вороны, рядом прогуливались мамы с детишками, наслаждаясь ароматом помойки, в которой возились голуби. Не успел я войти (было уже часа два), как затрезвонил телефон: звонил друг детства, которого в свое время я вытянул в ПГУ – об этом он забыл, зато стукаческие качества развил в себе изрядно: «Что делаешь? Тебя еще не арестовали?» (Последнее в полушутку, чтобы прикрыть неожиданный звонок, вроде бы и забота: если арестуют, не забыть прислать передачу.) Мне было не до шуток и я послал его подальше, он не обиделся и перезвонил: «Что с тобой? Ты только сейчас приехал? Слушай, ты не заметил, есть ли в вашем овощном картошка?» – проблема картошки, конечно, поважнее переворота, особенно для прирожденного стукача.

¹⁰⁸ Мятеж не может кончиться удачей,-

В противном случае его зовут иначе.

Я позвонил Саше, и на сумбурной смеси датского со шведским мы договорились о встрече через два часа – беспомощно-хитроумный расчет: пока найдут переводчиков, пройдет много времени. Моросил дождик, я прошел дворами, сознавая всю примитивность и бесполезность подобной проверки. Глупо крутя головой, соображавшей весьма туго, я сменил пару раз поезда в метро (проверка на дурака, непростительная для резидента, сейчас все выглядит смешно, но тогда...). Встретились мы у ВДНХ, рядом с мухинской скульптурой симпатичнейших рабочего и крестьянки, я подсел в машину к сыну. Дитя выглядело здорово, как всегда уверенно и деловито. Я забыл о перевороте и любовался сыном в профиль (анфас он еще лучше), беседа шла в обычной бойцовой манере двух столкнувшихся грудью петухов, сквозь дым и огонь иногда прорывались и здравые суждения. Жаль, что не записали на пленку разговор – блестящий диалог для пьесы абсурда. Итак, уходим в подполье, аппаратура «Взгляда» запрятана, связь через тайник (остов фонаря на площади, не называю какой, авось пригодится). Нелепые условия связи вроде явки в Таллинне у отеля «Виру» на Новый год, масса телефонов – как мы беспомощны в критические минуты, да нужно было год назад все подготовить!

Вскоре Саша, заткнув мою отеческую глотку, уже солировал в наглой манере ведущего популярной программы (это успокаивало), машина летела на обычной (криминальной) скорости по проспекту Мира, у светофора с нами поравнялся водитель «Жигулей», опознавший известного борца за свободу, и прокричал: «Что будем делать?» Ответ взбодрил даже меня: «Отбиваться руками, ногами и головой!» – особенно успокаивало последнее. Еще раз телефоны, фамилии, адреса – и мы расстались до шампанского в Таллинне на Новый год.

Вечером мы с Таней отправились к «Белому дому», я пытался оценить ситуацию, казалось, что вот-вот – и этот глупый спектакль отменят и найдут компромисс, впрочем, Ельцин объявил гэкачепистов вне закона: это и пугало, и вдохновляло. Народу вокруг «Белого дома» было ох как негусто, баррикады только зачинались, и было ясно, что при желании все это можно смести в несколько минут. Решатся ли заговорщики пролить кровь? В этой нерешительности, над которой презрительно хохотали бы

Владимир Ильич и Феликс Эдмундович, и кроется провал всего переворота. Все было готово к захвату, но дело крутили не фанатики-большевики, а отвыкшие от крови чиновники вроде Крючкова, которым очень хотелось сохранить благопристойный фасад и дома, и за границей, и собственность, и дачи, к тому же давно известно: того, кто отдает приказ стрелять и пускает кровь, умные политики терпят лишь до прихода к власти, а затем спокойно закалывают, как борова, даже не поблагодарив за победу.

Неожиданно я услышал голос Саши, он вещал вместе с Политковским по радио «Белого дома», горячие новости перемежались с оргкомандами. Не сказал, что поедет в парламент, морочил мне голову Таллинном и подпольем, решил не волновать папу. Поздно вечером привычные уху сцены из «Лебединого озера» сменил дурной спектакль ГКЧП на пресс-конференции – меня не покидало ощущение нереальности происходившего.

На следующий день тучи сгустились и запахло порохом, прибавилось танков и патрулей, участились слухи, что вот-вот начнется штурм «Белого дома», мы с женою туда отправились, народу заметно прибавилось, группа священников в рясах пела молитвы недалеко от памятника Павлику Морозову, юноша разносил пирожки на подносах (бесплатно, но брали немногие), и снова лица, какие просветленные лица! – такие никогда не забыть. Сколько чистоты, сколько самопожертвования, я смотрел и любил их, я гордился своим народом. Вечер спускался медленно, мы прошли пешком до Горького – и тут потянулись ряды танков, грохот стоял, как перед парадом, танки промчались к Белорусскому, группки прохожих, прогуливавших собак, глазели на ревущие машины и испуганно между собою перешептывались.

Ночь с 20-го на 21-е августа была страшной: я гнал от себя мысли о штурме и о том, что будет с Сашей, а тут «Эхо Москвы» и «Свобода» (когда первую отключали, мы присасывались к последней): комендантский час, к центру идут танки, намечено блокирование Дома правительства спецназом. Шестнадцать баррикад вокруг «Белого дома», на случай обстрела в здании погашен свет, речники привели к набережной у парламента баржи с оборудованием для тушения пожара, члены российского правительства получили оружие, БТРы двинулись на баррикады. Автоматные очереди в

разных частях города, на штурм «Белого дома» выделены 30 танков, 40 БТР и тысяча человек, горят троллейбусы на Калининском, гибель молодых людей, прорыв первой цепи баррикад, залпы орудий, возможность газовой атаки, снайперы на крышах зданий «Украины» и СЭВа, прибытие Витебской десантной дивизии КГБ... Ужасная ночь! Заснули мы лишь под утро.

Следующий день начался мрачно, я посетил редакцию «Совершенно секретно», где кое-кто уже прикидывал, как по-новому делать газету, прошел на Пушкинскую площадь и вдруг из репродукторов у «Московских новостей» услышал: «Они бегут на аэродром!» «Ур-ра!» – ответствовала толпа. Рядом оказался мой бывший коллега, он искренне радовался, и я подумал: как всем осточертела Система! Мы радостно пожали друг другу руки, словно всю жизнь отдали борьбе с коммунизмом.

Я двинулся в «Огонек», где народ вел себя спокойно и даже беспечно, оказалось, что уже в понедельник появился цензор и наложил вето на мою антикагэбэвскую статью. Но редактор не унывал и пообещал расклеить ее на стенах метро, впрочем, к среде цензор уже слинял, и «Огонек» вышел без купюр. К вечеру все уже стало ясно: путч провалился. Тогда мы еще не понимали, что закончилась целая эпоха, и новые испытания грозят и стране, и народу, закончилась эпоха, аривидерчи, эпоха, гуд бай, прощай!

И жизнь моя в этой эпохе тоже адье!

И все-таки почти все осталось в той ушедшей Эпохе, и сейчас забывается все мерзкое, все позорно рабское, и уже кажется, что не накладывали мы в штаны и не давили в себе самое лучшее, свое, человеческое. Лезут в голову розовые буколические картинки: угол в сочинской переполненной лачуге (воняло мочой), где ночевал с возлюбленной, честные правдолюбцы – простые советские люди на коммунальной кухне. Выпивоны после демонстраций в подъездах и гуляния по улице Горького, гордость за Державу, когда запустили в космос Гагарина, радостные пикники в тогда еще не загаженных лесах, инструктор райкома, который просто так помог с ремонтом (попробуй сейчас!), да и какие были «микояновские» сосиски в сравнение с нынешним дерьмом! Да и как славно у нас было в нашем (!) Крыму и на нашем (!) Кавказе, разве можно сравнить

нашу красоту с переполненными побережьями Испании или Франции? Что имели – не ценили, а сейчас плачем! Да и не только фигней мы занимались на партийных собраниях, помнится, даже исключили из партии грубияна, который бессовестно третировал соседку по коммунальной квартире, – разве не торжество справедливости? Попробуй сделать это сейчас, особенно если это качок или рэкетир!

Конечно, и тогда одни жили лучше, а другие хуже, но чтобы строить такие роскошные виллы... Нет, все-таки у нас было чувство порядочности и коллективизма, многим, кто зарывался (исключая, естественно, самую верхушку, да велика ли она была?) давали по носу. И писатели, и поэты не нищенствовали, а творили и жили счастливо (о том, что писалось большинством, в те дни как-то забылось), ну а если о ценах... тут от ярости повалил дым из ноздрей, заскрипели челюсти, разлетелись по комнате коронки.

Эпоха закончилась.

Сразу после попытки переворота ко мне обратился мой сын, потрясавший своим телевидением внезапно прозревшую страну, и попросил помочь ему впервые в истории снять изнутри штаб-квартиру разведки в Ясенево. Он обожает быть первопроходцем, взять хотя бы его интервью с Сахаровым и Солженицыным. Я связался с Леонидом Зайцевым, моим учителем и другом, заместителем начальника разведки, и попросил провентилировать этот вопрос без надежды на успех. Каково же было мое удивление, когда на следующий день меня попросили напрямую связаться с начальником разведки Леонидом Шебаршиным, что я и сделал. Шебаршина я помнил как жгучего брюнета с аккуратным пробором, иногда мелькавшего в коридоре (наш отдел и его соседствовали), но лично не знал. Он был весьма любезен и выслал за мной машину для поездки в столь дальние края. С огромным волнением я входил в здание, из которого был счастливо изгнан десять лет назад, вроде бы особых перемен не заметил. В приемной бывшего кабинета Крючкова, где сидел Шебаршин, уютно прыгали симпатичные попугаи –это сразу растопило мое сердце. Леонид Владимирович по всем правилам гостеприимства усадил меня рядом за отдельный столик и вдруг прямо спросил: «А что там у вас была за история

с английской разведкой?» Я сразу усек, что в борьбе с демократами, кто-то наклеил на меня ярлык английского агента, и рассказал ему всю правду о подходах ко мне англичан. Другие обстоятельства моей биографии его не интересовали, мы мило поболтали, и он дал отмашку на визит Саши в штаб-квартиру разведку. Уже через несколько лет, уже в отставке, на моем юбилейном ужине в ресторане он заявил, что в тот момент служба разведки была на грани роспуска Ельциным, и выход в эфир позитивной передачи о разведке стал одним из факторов в пользу ее сохранения. За это он и поднял тост!

Мне не довелось работать под крылом Леонида Шебаршина, но оказалось, что мы учились на одном курсе МГИМО, только он - на Восточном, а я - на Западном. В результате мы подружились и встречались домами (он жил почти рядом, в одном номенклатурном доме с Ельциным, часть своей библиотеки он выставил на своем этаже для всеобщего пользования) Человеком он был необычным даже внешне, до сих пор помню его старомодную кепку с торчавшим из под нее до неприличия вызывающим чубом, иногда он бравировал своим происхождением из шпанистой Марьиной Рощи. Тогда он жил в бараке, в бедной семье, отец прошел войну и пил (между прочим, в узком кругу именовал Сталина «армяшкой»). Шебаршин прошел терновый путь от самых низов разведки до самого верха. Отличался ныне утраченным благородством русского офицера: сам подал в отставку с поста начальника разведки, когда новый шеф КГБ В. Бакатин назначил ему в заместители своего протеже без согласования, затем отказался от поста заместителя у шефа Службы Внешней Разведки Евгения Примакова, не пошел служить ни в какие банки, как некоторые ушлые коллеги. Но самым уникальным в Шебаршине я считаю его писательский дар: это не столько откровенные мемуарные книги, сколько тонкие афоризмы, не уступающие Ларошфуко, да и кто в мировой истории из начальников любой разведки написал такую исповедальную «И жизни мелочные сны...», отмеченную литературным блеском? Жизнь и смерть Леонида Шебаршина трагичны: ранняя смерть дочери, а затем жены, пуля в висок из наградного пистолета в предчувствии надвигающегося паралича...

Наступил октябрь 1993-го, и снова танки, но только посерьезнее и с пальбой, и снова неизвестность, и ощущение финала, и снова, и снова... Телевизор. CNN. Обстрел парламента. Зеваки гурьбой переливались с одного края на другой. Обезьянка за рулем рядом с пылающим останкинским зданием. Там же, у пруда, пьяный в трусах, он не слышал грохота, не видел трассирующих пуль. «Что делаешь?»- «Купаюсь! А что?» Действительно, а что? Труп мальчишки в луже крови. Танки лупили по «Белому дому», и я ловил себя на том, что увлечен зрелищем, как будто я в кино. Больно, но не нравились ни те, ни другие. «Мы победили, мы победили! – радостно голосили по телевидению. – Не упустим же победу, господи!»

У Лопеса:

Никто ни слова и не сказал.

А я – что мне за дело? –

Все не берусь за дело,

Все слышу залп расстрела...

Но жизнь продолжалась, хотя горький осадок от расстрела Белого Дома остался до сих пор. Я продолжал сочинять, но и о светской жизни не забывал, дружил с журналистом Юрой Щекочихиным, честным, очень наивным и необыкновенно смелым. У него на даче в Переделкино часто гудела тусовка: редактор Новой Газеты Дмитрий Муратов, бывший посол в США Владимир Лукин, блестящий писатель Юрий Давыдов, острый критик режима Юрий Карякин, звонкий бард Александр Городницкий, выдвиженец Примакова, генерал Юрий Кобаладзе. Пили под жареные сардельки, тут же приготовленный плов, просто пили... Вскоре Юрий Щекочихин внезапно заболел, я посещал его в больнице и не узнавал Юру в высохшем и чудовищно изменившемся человеке, он умер в мучениях, явно под воздействием таинственного яда, враги у него были беспощадные, все в духе бандитских 90-х годов.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ЗАРИСОВКИ ИЗ ДРУГОЙ ЖИЗНИ. С ЛЕ КАРРЕ И БЕЗ

"Кто ищет – вынужден блуждать".

Иоганн Вольфганг фон Гете

Другая жизнь – это до или после? Имею в виду службу в разведке. А может, это нынешняя жизнь в области русской – три ха-ха - словесности?

После разлуки с органами, вцепившись в гриву несущихся событий и вкусив немного от литературного успеха, я все же весьма смутно представлял, что проживаю вторую жизнь. Парадокс, но я не помер внезапно, не погрузился в инвалидное кресло, не сошел с ума, а напротив – продолжал возделывать на литературном огороде. Избранная публика меня знала, телевидение меня привечало, но где ты, звон мировых колоколов?

В 1989 году, движимый самыми добрыми чувствами, я написал фарс-пародию на шпионаж «Легенда о легенде» ("Джеймс Бонд в Москве"). Пьеса мне безумно нравилась, и я хохотал, когда Бонда обводила вокруг пальца московская проститутка, и он, бедный, путался в условиях связи и постоянно натыкался на разных прощелыг. Уверенный в шумном успехе, я размножил свой труд и начал бомбардировать им московские театры. Каждую ночь я ожидал телефонного звонка и взволнованный голос знаменитого режиссера: "Я прочитал Вашу пьесу и не могу заснуть. Ничего подобного я в жизни не читал!!!". Далее потрясенная текстом труппа, в которой масса эффектных молодых актрис, объятия и поцелуи, щедро сыпавшиеся на автора. Упоительные репетиции, аншлаг на премьере, горы роз на сцене и ваш покорный слуга, отмахивающий поклоны под ручку с режиссером. Увы, режиссеры глухо молчали и меня это удивляло. Я тогда еще был убежден, что все люди этой благородной профессии, как и большинство жрецов искусства, чрезвычайно вежливы и отзывчивы. Вскоре меня осенило: наша публика не приучена ни к шпионской тематике и

тем более, к пародиям на шпионаж — ведь страну давно приучили к очень серьезному, ох какому положительному Штрилицу и другим чекистам, распутывавшим все заговоры против Советской власти. Конечно, место моей пьесы на Бродвее или в Уэст-энде, там она заиграет всеми своими неповторимыми блестящими и потрясет мир. Но как проникнуть на западные театральные подмостки?

А что если привлечь к своей потенциальной славе уже великого Джона Ле Карре? Сильный ход, как сказал бы Чубайс. Третий роман второго секретаря английского посольства в Бонне, в действительности, сотрудника разведки Джона Ле Карре "Шпион, который пришел из холода", принесший ему мировую славу, я прочитал еще в Лондоне в 1964 году. Это был роман о цинизме и жестокости в разведке, о вездесущем предательстве, но больше всего меня поразили не художественные достоинства романа, а личность автора — английского разведчика, писавшего раскованно и легко о запретных вещах.

О, как я завидовал его судьбе!

Как я мечтал создать нечто подобное и встать на пьедестал первооткрывателей в русской словесности.

Но разве это было возможно? Тогда вообще писали лишь о нашей разведке во время войны, обычно в победном стиле "Подвига разведчика", а на современность было наложено строжайшее табу, удивительно, что проскочил неординарный фильм «Мертвый сезон». В одном из интервью в счастливом для себя 1964-м году Ле Карре заявил: "Для меня необыкновенная распространенность шпионажа превратилась в кошмар, в котором люди инстинктивно предают друг друга, и где шпионы — это скучные существа со средненькими мозгами, склонные к предательству точно так же, как они могли склоняться к кражам в магазинах. В этом мире, по-моему, те, кто разлагает, сами разложены; в сфере предательства существует полная анархия. Например, зная цену другому человеку, не прикидывает ли тайно шпион и цену себе? Не в этом ли причина цепи предательств, прокатившихся по разведывательным службам еще задолго до начала холодной войны? Не следует ли шпион масонскому принципу:

если шпион, то это навсегда? Не превращаются ли шпионские методы в самоцель? Подобно футболисту, возможно, его больше не волнует команда, за которую он играет. Если это так – а недавние разоблачения двойных агентов в Германии и Англии являются этому свидетельством – то офицерам разведки следует доверять секреты в последнюю очередь... Возможно, думал я, не стоит удивляться феномену перехода с одной стороны на другую, в сущности это очень короткое путешествие".

С тех пор я не пропускал ни одного романа Джона Ле Карре, в миру Дэвида Корнуэлла, выпускника Оксфорда, преподавателя в Итоне, на спортивных площадках которого, согласно афоризму, и было выиграно сражение при Ватерлоо. В 1959г. поступил в Форин Офис, точнее, в английскую разведку, с 1961 по 1964 гг. служил в британском посольстве в Бонне в качестве второго секретаря, некоторое время в консульстве в Гамбурге. Ушел в отставку в 1964 году, после успеха «Шпиона». Женился в 1954-м году и произвел на свет трех сыновей, не избежал развода в 1971-м, вновь женился в 1972-м, и счастливо живет в этом браке по сей день, произведя на свет еще одного сына. Отметим, что отец писателя Ронни всю жизнь оставался мошенником, несколько раз сидел в тюрьме, давал сыну весьма скользкие поручения, а потом пытался и шантажировать преуспевающего писателя, и вымогать у него деньги. Свою жизнь с разведкой юный Корнуэлл связал еще в студенческие годы, когда учился в университете в Берне, как мне кажется, после жизни с папашей-мошенником работа в службах Ее Величества показалась ему семечками. Так он стал агентом английской разведки со скромной задачей давать характеристики на студентов университета, особенно, на «красных», потенциальных Филби и Берджесов. Делал он это с удовольствием и до сих пор не раскаивается, что только делает ему честь: слишком часто мы переписываем свои биографии и рисуем себя ангелами. После романа "Шпион, который пришел из холода" популярность Ле Карре шла по восходящей, он ритуально выпускал одну книгу в два года...

И тут гениальная идея осенила меня: этот англичанин протянет мне руку! Не смейтесь, именно он! именно еще не знакомый, но уже любимый Джон может мне помочь! Но как его заинтересовать? Бредовые идеи скопом

бродили в голове (между прочим, чем наивнее, а точнее, чем глупее идея, тем одержимей автор), я быстренько и неряшливо перевел пьесу на английский язык, отдал на перепечатку классной машинистке и отправил пакет по адресу лондонского литературного агентства, указанного в книге Ле Карре. К пьесе приложил письмецо, в котором скромно сообщил, что я, как бывший сотрудник разведки, обращаюсь к нему как к коллеге по другую сторону баррикад. Ныне вроде бы не заклятому врагу, а другу, с деловым предложением: стать соавтором моей пьесы, естественно, пройдясь опытной рукой по моему несовершенному переводу и наполнив текст тонкой английской спецификой, сленгом и идиомами, что, несомненно, сделает пьесу ломовым хитом на Уэст-энде и Бродвее. Пьесу отправил с оказией: в то время мне казалось рискованным посылать фарс о разведке обыкновенной почтой. Вдруг на перлюстрации окажутся сотрудники без чувства юмора?

Все лето ожидал ответа, потом решил, что любимый Джон ничуть не лучше наших главных режиссеров, которые любят с экрана вещать о любви к ближнему, а на деле – фарисеи и самовлюбленные бездари. И вдруг месяца через два пришло письмо от 10 сентября 1989 года из Лондона. Указан обратный адрес литературного агента, автор, видимо, опасался давать свой личный адрес, вдруг я завалю его мешками со своими рукописями? Написано от руки, как-то слишком запросто для маститого писателя, Правда, по сей день уважаемые джентльмены, даже если все напечатано машинисткой, своей рукой обязательно пишут ласковое обращение к адресату ("Дорогой сэра Майкл") и рутинное "Искренне Ваш" с подписью в конце. Это признак хорошего тона и легкого презрения к техническим достижениям цивилизации от станка Гуттенберга до компьютера, может быть, даже утверждение того человеческого, что в нас еще осталось.

Текст гласил: «Дорогой мистер Любимов! Ваше письмо, датированное двадцатым июля, достигло меня только вчера! Послушайте, я не могу реализовать ваш проект, ибо у меня на тарелке слишком много своего, и идей в голове хватит на несколько лет, моя проблема не в том, что писать, а где найти время. Поэтому я послал вашу пьесу своему литературному

агенту со слабой надеждой, что он кого-нибудь найдет, подойдут ли Алан Беннетт или Майкл Фрейн? Очень сожалею, но больше ничем не могу помочь и желаю вам успеха". Тут же я накатал своей рукой (не из высокого джентльментства, а просто на печатание по-английски потребовался бы целый день) благодарственное письмо с уверениями в совершеннейшем почтении и надеждами воссоединить наши несоизмеримые таланты в будущем. Вскоре мне ответил Фрейн: похвалил перевод (английская вежливость!), но заметил, что на пробивку популярной у нас пьесы Арбузова он потратил десять лет... Все понятно.

Пьесу в конце концов поставили, но не в Лондоне, а в Душанбе, что все равно прекрасно, какая разница, кто восхищается тобой— англичане или таджики? Потом поставили в Астрахани, тоже неплохо...

Но судьбе угодно было нас познакомить. Меня пригласил в Лондон английский приятель, писатель Крис Роббинс¹⁰⁹, сосед Ле Карре по холмистому Хемстеду, он нас и свел, пригласив на ленч в знаменитый Симпсон-на-Стрэнде, где с утра до ночи джентльмены жуют недожаренные бифштексы с кровью. Сначала мы заехали на такси домой к Ле Карре, там были встречены его очень вежливой и элегантной женой Джейн, угостившей нас превосходным французским шампанским (кажется, «Мумм»). Там мы впервые и пожали друг другу руки (о, исторический момент!), естественно, в голове Ле Карре я уже занял свою нишу: ведь не каждый же день ему присылают пьесы спятившие от графомании полковники! На такси доехали до Симпсона, Ле Карре сунул таксисту крупные чаевые – небезынтересная деталь, подсмотренная моим шпионским глазом.

Сам маститый автор вполне вписывался в Образ: высокий, породистый англичанин, очень деликатный и предупредительный, в меру остроумный, довольно сдержанный, даже скрытный. Наверное, разбил не

¹⁰⁹ Крис был любознательным и добрым человеком. Пригласил меня в Лондон, надеясь сделать обо мне фильм, были мы с сыном и своими женами на его 50-летию в Лондоне, плавал я с ним по Волге, и даже на раскладушке в нашей квартирке он ночевал. Но жестока судьба: Крису уже нет. Он присутствовал на моем 70-летию в ресторане, я представил его бывшему шефу рзведки Шебаршину и бывшему шефу контрразведки, а потом Таможенной службы Виталию Боярову, как английского шпиона. Все радостно хохотали.

одно дамское сердце, думал я, от таких седовласых ребят прекрасный пол балдеет как от наркотика. Я сразу почувствовал его нежелание распространяться на темы своего прошлого в контрразведке и разведке, впрочем, не так долго он там работал и, наверное, не так много натворил. Да и мало ли кто где работал до того, как стать знаменитостью!

Правда, Ле Карре припомнил, как в свое время в Вене он с коллегой-разведчиком зашел в гастхаус, дабы слившись с толпой, поиграть в бильярд. Все прошло бы отлично, если бы у приятеля из плаща вдруг не выпал огромный "кольт". Деликатные австрийцы, поняв, кто проник в их святое заведение, быстренько покинули гастхаус от греха подальше.

Обед прошел мило, легко и, как всё прекрасное, бессмысленно: Ле Карре расспрашивал меня о вечных загадках России, о политической ситуации в стране, пили «Папского замка вино», колдовали над истинно английским стейком. Два часа светской беседы под звуки жующих челюстей, затем мы забросили его на такси к литературному агенту. Наутро во время променада с собакой по Хемстед-Хит он бросил в почтовый ящик экземпляр "Ночного менеджера" с автографом, мы с приятелем еще почивали, полагаю, что он совершил этот замечательный акт часов в шесть утра на прогулке со своим псом.

Вскоре он прибыл в Москву собирать фактуру для своего очередного романа "Наша игра", остановился в шикарном "Савое" вместе с сыном-студентом, там я его и разыскал, предложив пообедать в Доме литераторов, еще доступном для медленно беднеющих московских писателей. Тогда в ЦДЛ еще не было величественных швейцаров в одеяниях с норковыми воротниками, официантов во фраках, и не шпарил там искусный тапер, и не разжигал камин некто в специальном комбинезоне, словно в замке у графа Солсбери. В киоске рядом с входом я по дурной привычке жмота, купил и запрятал в карман бутылку "Тичерс", стоимость шесть(!) 6 долларов.

Пожинали вкусные цэдээловские деликатесы, мой гость охотно воспринял бутылку, принесенную в ресторан в кармане, словно мы с ним уже не раз по-совковому выжирали "на троих" в подъезде, закусывая селедкой с газеты "Правда", положенной на подоконник.

Потом он поделился в печати своими наблюдениями: наш варварский капитализм привел его в ужас, потом он написал, побывав во многих значных и не значных местах: "Москва оказалась подороже Нью Йорка. Гостиница обошлась 600 долларов за ночь. Пара порций скотча в баре стоила официальной месячной зарплаты московского врача. Мы попивали виски, прислушиваясь к разговору молодых, похожих на убийц англичан с изрытыми оспой лицами, пивными животами и костюмами от Гуччи."

Ему удалось встретиться с бандитом – мультимиллиардером, ему он неосторожно сказал: – О кей, в стране бардак, и ты этим пользуешься. Ну, а когда же вы начнете приводить страну в порядок для ваших же детей и внуков? Ты барон – грабитель, Григорий. Так у нас называли Карнеги, Моргана, Рокфеллера. Но они все же закончили строительством больниц и картинных галерей. Когда ты начнешь что-то возвращать обществу?

Ле Карре повезло, его не избили и не убили, а просто послали к одной матери.

Наши политики тоже не порадовали писателя: Бакатин ахал и в ужасе хватался руками за голову, клеймя разложение общества и рассуждая о будущем России, как будто он и не стоял рядом с Горбачевым и не возглавлял КГБ после августа 1991 г. Калугин слишком радостно рассказывал о своем соучастии в убийстве Маркова ("Я ведь был, черт возьми, главным по этой части, ни одна операция не обходила меня стороной!"), показал какой-то сувенир от убитого Амина. Ле Карре не понравилось его слишком стремительное превращение из врага западной демократии в ее ярого неопита.

"На Красной площади прекрасное старое здание ГУМа захвачено "Галери Лафайет", "Эсте Лаудер" и другими знаменитыми фирмами. Вереница "Мерседесов" и "Роллс-ройсов" ждала у входа, а внутри жены русских миллионеров болтали и делали покупки. Их шоферы расплачивались сотенными долларовыми банкнотами, пятидесятидолларовые не принимались. Я ощутил в себе озлобленного коммуниста, а вовсе не западника". Все это написал не Анпилов, а сторонник западной демократии, бескомпромиссный враг коммунизма и всех видов тоталитаризма, один из самых богатых писателей в мире.

В сентябре 1996 года появилась убийственная сатира на английскую разведку, роман "Портной из Панамы", в стиле «Наш человек в Гаване» Грэма Грина и ему посвященная.

После депортации Норвегии в Панаме идет игра вокруг канала. Уходить ли оттуда или не уходить? Какой режим может одержать победу после ухода и что это сулит Западу? Английская разведка посылает в свое посольство молодого сотрудника Оснарда, наглого, корыстного, неразборчивого в средствах, он вербует английского гражданина, портного Гарри Пендела, уже много лет обшивающего панамский бомонд. Заинтересованный в денежных вспрыскиваниях Пендел быстро приспособливается к запросам Оснарда (а тому нужны алармистские сведения, оправдывающие присутствие в этой точке разведки) и начинает поставлять ему чистую "липу", со ссылкой на разговоры с высокопоставленными клиентами. В Лондон течет информация о заговоре "левых" и антизападных настроениях. Вроде бы фарс, однако к финалу события принимают драматический характер: американцы вводят войска, погибают совершенно невинные люди. Игры портного, вытягивающего деньги из разведки, нацеленность его бездарного куратора кончаются трагедией... Представляю, если бы у нас кто-нибудь создал нечто подобное о российской разведке! Но СИС пришлось проглотить эту пилюлю, Ле Карре уже давно слыл там отщепенцем.

Но все это было потом, а тогда мы пили скотч в ЦДЛ и делали это совсем не по-английски, что, по-видимому, и вылилось в приглашение погостить у писателя на берегах сурового моря близ Панзанса. Признаться, тогда я подумал, что это пресловутая английская вежливость, нечто вроде "вы удивительно хорошо выглядите" (на самом деле напоминаете заезженную клячу), и когда я на следующий год очутился в Лондоне и позвонил ему домой, то совсем не ожидал услышать подтверждения приглашения. Ехал я на электричке целых четыре часа и вот конечная точка – Панзанс, милый курортный городок на западном побережье Альбиона, в Корнуолле. Уже на перроне я увидел высокую фигуру маститого автора, который радушно меня приветствовал, посадил в "Лендрровер", рассчитанный на пересеченную местность, и повез в свое имение,

состоявшее из двух двухэтажных домов, один – хозяйский, другой – для гостей. Огромный неухоженный участок, небольшой сад, все предельно просто, уютно, без излишеств, которые выводят из себя бедных российских интеллигентов, созерцающих подмосковные дачи наших внезапных банкиров, неподкупных чиновников, директоров овощных баз и прочих выдающихся личностей. Дома высились на каменистом холме, внизу хмурилось серо-зеленое море, видимо, недовольное визитом бывшего чекиста, из окна гостевого дома виднелась ограждение из колючей проволоки (?), рядом с которой сидел огромный рыжий кот, словно убежавший с моей московской помойки. (Вопрос о назначении проволоки гложет меня до сих пор, я так и не рискнул спросить об этом у хозяина. Защита от местных жителей, ворующих картошку? Или от тигров, покушающихся на кота?). Внезапно по улочке проехала на велосипеде смазливая девица, писатель неожиданно занервничал, прошептал: «Сейчас будет просить автограф!» и спрятался за моей спиной. Тогда я еще не знал, как он ненавидит вторжение в его личную жизнь и излишнее паблисити.

Дэвид отдал мне на откуп весь гостевой дом, я тут же начал все осматривать и обнюхивать, прежде всего, холодильник, который оказался по горло набитым продуктами (о, как мы любим халяву!) и – *nota bene!* – бутылками *Puilly fumé*, ставшим моим любимым белым вином. В тот же вечер имел быть семейный ужин, приготовленный очень английской Джейн, супругой и голубой мечтой любого писателя, закрывающей его грудью от любых посягательств на его драгоценное время, не говоря уже о секретарской и другой технической работе. Постепенно я понял, что оказался гостем трудоголика, который после утренней прогулки с собакой садится за письменный стол и пишет от руки *!!* до самого ленча, а то и позже, жена тем временем, вместе с секретаршей перепечатывают на компьютере плоды предыдущего дня и дают ему на доработку. Больше всего хозяин боялся, что я оторву его от трудов праведных и попрошу бегать со мной по Корнуоллу и показывать достопримечательности, вроде домика Дэвида Лоуренса, жившего во время войны на берегу вместе с женой, немкой Фридой. Соседи считали их немецкими шпионами и подозревали, что, развешивая белье у дома, она дает сигнал вражеским

субмаринам. Но джентльмен всегда джентльмен: писатель извинился и честно признался, что раньше трех часов от трудов он оторваться не в состоянии, режим суров, впрочем, по утрам роль экскурсовода может взять на себя Джейн. Я рассыпался в благодарностях и на полном серьезе заметил, что люблю опустошить рано утром бутылку водки и поговорить по душам. Лицо писателя на миг застыло, видимо, он представил пьяного полковника (возможно, даже в шелковых офицерских кальсонах), который на заре ломится к нему в кабинет, разрушая хрупкое творческое вдохновение. Впрочем, знаменитое чувство англо-саксонского юмора тут же одержало верх над секундной растерянностью. Трапезу мы завершили к одиннадцати часам (а ведь так хотелось покейфовать часиков до четырех!), хозяин любезно довел меня до дома и оставил наедине с пуи, в компании которого я медленно забыл о содержании наших философских бесед. И правильно сделал: писателя надо читать, а не вылавливать мысли, оброненные за ужином или за рулем.

Однажды, прибыв в Лондон, мы договорились о встрече с Дэвидом и Джейн в ресторане. Я тщательно изучил карту и увидел, что предложенное место встречи расположено намного севернее Хемстеда (там, у Ле Карре дом), так далеко в Лондоне предпочитают встречаться только шпионы и уголовники. Мы с Таней добрались до района на поезде, взяли такси, однако, ресторана на указанной улице не обнаружили. Я лихорадочно пролистал атлас и нашел улицу с таким же названием недалеко от Хемстеда. Помчались на такси, мешали заторы, опаздывали почти на сорок минут, к счастью, ресторан оказался там вместе с четой, не высказавшей нам никакого недовольствия (вежливость необыкновенная!).

Мы сохранили дружескую переписку до настоящего времени.

«Не желаете ли, сэръ, принять участие в ремонте крыши старой церкви в деревушке Сарратт?» Вопрос меня удивил: жена постоянно пилит, что я и гвоздя не могу забить, а тут... и я представил себя, ползающим по нечто вроде храма Василия Блаженного в некогда враждебной стране, выславшей меня за шпионаж.

Оказалось, что рядом с Сарраттом, в районе Уотфорда в качестве продавца мебельного магазина трудился Джон Ле Карре, Сарратт он и избрал местом разведывательной школы Ми-5 в своем романе. Ремонт крыши предстояло сделать за счет скромных средств, собранных от продажи книги рассказов, один из которых мне предлагалось написать. Я тут же накатал рассказик о похождениях некоего полковника Карлы в Сарратте (Ле Карре уже тиснул в сборник свои воспоминания о работе в магазине), и стал ожидать случая посетить эти чудные места. Оный подвернулся: один английский киножурналист предложил мне принять участие в фильме о «медовой ловушке» в КГБ, я согласился на условии простого товарного обмена: он приютит меня на неделю в Виндзоре, его месте жительства и работы. В Виндзоре мы чувствовали себя, как королевская чета, каждый день выезжали в Лондон, и наконец, инициатор ремонта крыши Деннис повез нас в живописнейший Сарратт. Деревня с двумя пабами, нетронутой природой и церквушкой, которую мы посетили, попили чай с прихожанами и были на службе с причащением. Книгу издали тиражом в 10 000 по 10 фунтов за экземпляр, итого 100 000 фунтов, совсем неплохо (для крыши). Так что я совершил очередное преступление, посодействовав англиканской церкви, будучи православным!

К тому времени я уже несколько раз побывал в Англии. Возили меня туда после написания мною целого шпионского сериала для встречи с актерами в задуманном фильме, потом сняли документальный ТВ-фильм «Шпионы, которые нас любили», со мной, коллегой Кубекиным, известным антисоветским журналистом Чэпманом Пинчером и Денисом Хили в главных ролях. Мы чуть не породнились с Чэмпаном Пинчером, оказавшимся веселым мужиком, хотя мы никогда не встречались (при его имени все в резидентуре вздрагивали, считая его мерзким провокатором), разыграли для телевидения встречу закадычных друзей в духе новых отношений с Западом. Денис Хили вел себя, как обычно, ровно, мудро и осмотрительно.

Кроме того, газета «Дейли эспресс» организовала мою встречу в любимом Симпсоне на Стрэнде со старым приятелем, депутатом парламента Ником Скоттом. Мы с ностальгией вспоминали прошлое, словно вместе играли в крикет во время учебы в Оксфорде, естественно,

взывали к дружбе между нашими народами. Ника через год подобрали где-то в канаве, клянусь, что это не я влил в него бочки виски.

В первый раз визу мне дали нелегко, с консультациями между сильными мира сего, включая Ле Карре. Но вот совсем недавно, когда знаменитый режиссер Владимир Бортко вывез в Лондон всю труппу для съемок фильма «Душа шпиона», визу мне во время не выдали, затанули на два месяца, и я вынужден был забрать паспорта. А ведь так хочется попить водицы из речки Спей, на которой стоят лучшие заводы – производители скотч-виски!

Писать мемуары о второй, писательской части моей жизни исключительно мучительно: что интересного в жизни труженика пера? где захватывающие приключения? содрогания души? фатальные провалы? Только зевоту вызывают рассказы о литературных склоках, откликах критиков, якобы давления со стороны властей (на самом деле дивно жили в своих Переделкино под крылом партии и правительства, некоторые оказались гениями, но большинство – бездарными паразитами, воинствующие диссиденты не в счет).

Мы с женой стараемся найти утешение в путешествиях – лучшее средство отвлечься от мыслей о неизбежности смерти, но не ожидай, о читатель, очередного туристского справочника с указанием значных мест. Однако, пройдушь через мир пунктиром, преломив фрагменты в собственных очах.

Мой первый Париж – это топанье и топотание с женой от отельчика «Алезия», что близ проспекта генерала Леклерка, взявшего почти бескровно Париж (это не Берлин брать!), топанье на север по всем важным стратегическим точкам от Латинского квартала, Сен-Жермен-де-Пре, через мост и к площади Этуаль. Протирали подошвы с Танькой целый день, метро почти не пользовали, вечером, изможденные, выпивали по бутылке бордо и закусывали устрицами в корзиночке, что щедро продавали в уличных киосках.

Египта было много, даже слишком много, и он меня покорило. Хургада, Шарм эль Шейх, Каир, толпы женщин с детьми, перебегающих улицы перед

носом мчавшихся автомобилей, Неопалимая Купина у церкви Святой Кaterины, бесконечные дома без крыш, презерватив Тутанхамона в Египетском музее, продавец, прошедший за нами пару километров в надежде продать пузырьки с ароматическим маслом.

Израиль начинался феерически: в 1992 году я неожиданно получил приглашение на книжную ярмарку в Иерусалиме и тихо возликовал: неужели мой роман «И ад следовал за ним» привлек внимание мирового писательского сообщества? Приглашен был с женой, разумеется, за счет организаторов ярмарки, поселены мы были в шикарнейший отель Мишкенот, в котором останавливались мой великий тезка Юрий Любимов и многие светила того времени. Номер состоял из двух этажей и выходил в сад с видом на стену Старого города. Запасшись израильским вином и виски, мы буйно отметили прибытие на Святую Землю. Ночью, еще купаясь в дреме, я почти наощупь побрел в туалет (заметим нескромно, что в обнаженном виде), но запутался в дверях, попал в коридор и оттуда стал ломиться в соседний номер, решив, что это мой собственный. “Who is it?” – панически проорал оттуда чей-то бас. Кто же это с моей Татьяной?! – и я уже приготовился к штурму, как из другой двери выскочила перепуганная Татьяна и утатила меня в наш номер. Мораль: вот что делает с нами зеленый змей!

Аналогичный случай произошел со мной (без всякого пьянства) в гостинице Ангел к югу от Лондона, где мы однажды остановились с сыном на ночлег. Ночью я традиционно направился в туалет (естественно, обнаженный, ибо перед сим действием не склонен надевать фрачную пару), но по странной причине открыл дверь в коридор, которая была на пружине, и тут же захлопнулась за мной. О, Боже! В этом форс-мажоре я не растерялся и справил нужду прямо из окна в цветущий гостиничный двор, затем прикрыл руками срам и двинулся вниз по лестнице в ресепшн. Но внезапно щелкнуло в голове: ведь этажом ниже жил мой сын... На его долю и пришлось ночные переговоры с администратором, пока я отсиживался в его номере. Статус кво был восстановлен.

Много времени мы провели в Испании на Коста-Браво, до сих пор я страстно влюблен в Барселону, люблю прогуляться по Рамбле и побродить

в районе Барри Аттик, однако стал брюзглив и не плачу от восторга, сожрав жареного поросенка в разрекламированном ресторане «Четыре кота», а наоборот, с раздражением смотрю на фотографирующих японских туристов.

Воскрешение прошлого – это попытка вернуть себя и прежние обстоятельства, это захватывает не меньше, чем первооткрытие. Наверное, поэтому мы и летим в Копенгаген, откуда на пароходе-отеле со слишком звучным название «Музыка» устремляемся в путь по норвежским фьордам. Сначала чужой Копен, перестроенный Амагер, никак не можем за строениями увидеть отель Скандинавия, где с нынешней, но не тогдашней, женой Татьяной витийствовали в жаркой до безумия сауне. Жутко крутится счетчик (почти 70 баксов!), пароход наш стоит в ранее неведомых и незастроенных местах за Лангалиней и упирается в небо всеми своими четырнадцатью палубами, он похож на затонувшую в Греции Конкордию, но выглядит победно, – это внушает оптимизм.

Копаясь в памяти как на погосте, но разгребаю с трудом. Рожден я с ослабленной зрительной памятью, не случайно недавно на слете старцев – выпускников МГИМО принимал Иванова за Петрова, глупо хлопал глазами, тяжело соображая, с кем же я говорю. Пешеходку Строгет в Копене истоптал за шесть лет, и что-то смутно припоминаю, но тут уже другие бутики (исчез обувной магазин Андерсен, шикарный английский Austin Reed, режут глаз новые ресторанные вывески). Правда, герой невидимого фронта, слепец сраный, все же узнал Королевский оперный театр, разве это не победа? Наша победа! Vivat!

Плывем во фьорды, с гор свисают водопады, все пассажиры самозабвенно жрут, на палубе – шведский стол, зато в часы ужина в шикарном ресторане «Максим» сплошная изысканность, предупредительные официанты, улыбчивые метрдотели, крем де мент и фуа гра. Наш корабль-отель (напрягитесь, любители цифр!) обслуживают: 120 человек ремонтно-эксплуатационной компании, 110 водопроводчиков, 80 электриков, 54 плотника, 100 пожарных и 50 медработников. В случае чего, они, расталкивая локтями стариков и детей, первыми ринутся к спасательным шлюпкам. А нас, стариков и детей, если даже легко толкнуть, – и мы уже летим мимо шлюпки, смешно дрыгая ногами и визжа по-

пороссячи. Между прочим, средняя глубина — 100 метров, максимальная — 700 метров, сразу представляю, как пивной живот свинцовым грузом тянет меня туда, где веселые акулы оттачивают свои челюсти.

Интересно, почему человек постепенно забывает прекрасное, вроде видов на норвежские фьорды со спадающими с гор водопадами, зато надолго (если не навсегда) запоминает идиотские пикантные случаи?

Почему, например. меня постоянно грабят?

Представим на миг самодовольную морду в мятой панаме, принадлежащую упитанному мужику в бежевых шортах и с сумкой на плече. Он шагает неторопливо по Пуэрта-дель-Соль, центральной площади Мадрида, приближается к гордости столицы — неуклюжему медведю у земляничного дерева, рядом с мордой - верная (и очаровательная) жена, уже несколько десятилетий испытывающая муки совместной жизни. Старикан сыт, даже пресыщен, карманы шорт загадочно оттопыриваются, и сумка тоже притягивает как магнит. Что первым делом хочется сделать любому честному испанцу? Конечно же, ограбить эту иностранную суку, живое воплощение угнетения труда капиталом. А толстомордый типчик ковыляет себе, выпятив пузо с кардиальной грыжей, и плевать ему и на угнетенный труд, и на истинных создателей жизни. Вдруг я ощущаю некоторую влажность ноги ниже бедра, так бывало в детстве ночью, если я выпивал перед сном кастрюлю компота или съедал целый арбуз. — Боже, что это? — жена с ужасом смотрит на мои шорты. Я скашиваю глаз и через пузо вижу нечто кровавое (нет, не мальчиков!), стекающее вниз по шортам и по ноге. Неужели я ранен? Шорты намокли от крови, не пробито ли пулей бедро? Жена близка к обмороку, мы оба судорожно ощупываем красное пятно, боли не чувствую, видимо, она придет позже, пробую на вкус красную жидкость, пожалуй, не кровь, так что же это? Поднимаю очи и вижу приятного идалго в соломенной канотье с красной лентой, он ласково улыбается и задает вопрос, который редко услышишь в нашей испорченной мерзким климатом стране: «Вам помочь?».

Мы с женой словно столпились над красным пятном и не понимаем, в чем дело, но он уже ведет меня, словно слепого, за собою и вводит в

элегантную уборную, украшение Пуэрто-дель-Соль. Тут я понимаю, что мне нужно отмыть пятно, я киваю покорно головою, отдаю жене сумку, снимаю с себя шорты (иду, как агнец, на заклание) и отдаю их великодушному канотье. Бегло прощупав карманы (?), испанец подставляет шорты под кран, ему помогает еще один доброволец, щедро дарящий мне желтозубую улыбку. Смотрюсь в зеркало и ошеломлен своим несчастным видом, о, господин полковник... беспомощная, почему-то грязноватая фигура (видно, отсветы от замызганного кафеля). Неожиданно понимаю, что меня грабят (отметим, что с собою ни одного пенса), клозет блокирует еще один доброволец, я машу рукой жене, головка которой мелькает в человеческом море (это очередь), она передает мне сумку, ее мгновенно прощупывает желтозубый. Разбой! Испанцы дружелюбно улыбаются, шорты мгновенно отмылись (интересно, что это за жидкость?), я бодро натягиваю их. Непроизвольно и даже супротив велению души благодарю жуликов за помощь, развожу руками, показывая, что ничем не могу их наградить (будто они этого не знают!). Клозет уже наполнился нетерпеливыми мужиками, поразительно, но Татьяна чувствует себя среди них вполне в своей тарелке. Мы торжественно выходим на площадь, сейчас бравурно зальются трубы, и сам король Испании вместе со своей Изабеллой выйдет нам навстречу...

Но, положа руку на сердце, я мысленно снимаю шляпу перед мадридскими виртуозами. Это ведь не просто приставить к горлу нож или бухнуть кирпичом по голове, тут своя тонкая режиссура, юмор (голый полковник в клозете!), человечность, наконец, — ведь обрызгивали не несмываемым вином, а особой жидкостью, не наносящей вред шортам!

Величайшая загадка моей жизни: почему я, бывший похититель секретов (хоть для державы, но все равно вор!), в своей новой ипостаси невинного пенсионера вдруг превратился в объект вождения всех карманников и грабителей мира? Надутая самодовольная морда богача? Некая попытка высших сил уравновесить на весах справедливости мою прежнюю деятельность? Если бы в первый раз, а то ведь грабеж, словно призрак, преследует меня по Европе всю пенсионную жизнь, не дает вздохнуть, расслабиться, отрешиться от привычного бдения!

Беда сия впервые обрушилась в вечном городе, куда мы с супружницей скромно прибыли и поселились в трехзвездном отельчике недалеко от вокзала Термини. Как-то по легкомыслию выпустив из виду, что привокзальные районы всегда наводнены жуликами, проститутками и карманниками, мы двинулись поланчевать прямо в центр разбоя – вокзал Термини. Вместо того, чтобы застегнуться на все пуговицы, предварительно спрятав в промежности запасы золота и серебра, я элегантно сбросил пиджак на стул и простодушно приступил к поглощению спагетти, фоккачо и прочих макаронных изделий, которые я не переносил с детства, а тут, покоренный дыханием Рима, неожиданно возлюбил до крайности. И тут вошел мальчик.... Не такой, как у Висконти в «Смерти в Венеции», не изысканный красавчик, доводящий до экстаза пидарасов, а бедный, несчастный, голодный и больной. Он ничего не кланчил, лишь печально водил своими просящими черными глазками по ресторану, и даже сердобольная официантка отдала ему булочку со своего подноса. Мальчик бегал между столиками, я носом зарылся в спагетти, жена тоже блаженствовала до той поры, когда пришло время расплачиваться.

Потянувшись за кредиткой, я обнаружил, что мой бумажник в боковом кармане пиджака волшебным образом исчез. Боже, что делать?! Рушится все, неужели тут же возвращаться на родину? Не вкусив Рима, не потолкавшись на площади Святого Петра, не посетив роскошных залов Ватикана?! А Сикстинская Капелла с непревзойденным Микеланджело? Хорошо, что жена по советской привычке запрятала в бюстгальтере на черный день стодолларовую купюру, иначе и не расплатиться за скромный обед, не говоря уж о самом позорном зрелище! Благо в Риме оказался мой старый друг и коллега, генерал Игорь Никифоров, легко ссудивший нужную сумму. Тут уж мы с Танькой умчались в Неаполь, остановились у Санта Лючии, чуть не утонули в кьянти и супе из бычьих хвостов, пели русские народные песни...

Воровской призрак бродил за мной по всей Европе: в Каталонии, на прибрежной вилле, где я создавал свой очередной шедевр, злоумышленники забрались на второй этаж и утянули компьютер. Если бы не мои традиционные ночные походы в туалет, наверное, вынесли бы

полдома, а вызванная полиция лишь мысленно облизывала мою невестку и жену и только имитировала приткось.

А в Праге просто грубо выкрали из сумки, оставленной в гардеробе музея, случайно забытые там водительские права. Я уже давным-давно не ношу с собою ни миллионы, ни даже тысячи, не прячу валюту в носки, но мировые воровские шайки, увы, не осведомлены об этом, и постоянно держат меня в эпицентре своей злодейской деятельности.

Мудрец писал, что вкусные блюда притупляют аппетит, попутный ветер часто губит корабли, именно по этой причине мужья не могут любить своих жен. Сливаются в единообразное пятно Версаль и дворец дождей, соборы Святого Петра и Святого Павла, памятники маршалу Нею и Песталоцци... Стыдно признаться, что в моей памяти надежно оседают всяческие гадости (вроде ограблений), экстравагантные пьянки и покупки различного барахла (сразу вспоминаю полдюжины носков за 10 долларов, приобретенных в Бордо и послуживших верой и правдой более 20 лет!—и это со стиркой.). Но что делать?

Разрыв между поколениями и советскую буржуазную революцию я впервые почувствовал в аэропорту Амстердама, где мы с сыном и его приятелями пересаживались на самолет на Кубу. Молодежь вдруг пожелала пойти принять сауну в аэропорту, что вроде бы освежало и звало на подвиги. Я обомлел от такого проявления тяги к роскоши и пошел по-советски коротать время в буфет. Нам, крестьянам, не понять, зачем все это, если существует один банный день в неделю...

В Мехико, куда меня командировал туристский журнал Владимира Снегирева («Вояж и отдых»), летел в самолете, переполненном одинокими дамами. Я думал о репортаже, посвященном традиционному дню усопших, планировал провести траурные ночи на кладбищах, а дам принимал по наивности за бизнесвумен. Задыхался, поднимаясь на пирамиды, любовался любимыми художниками Риверой, Тамайо и Сикейросом, всматривался в пули, оставшиеся в стенах виллы Троцкого в Койоакане с красным флагом у его могилы, столица великолепна, но душновато, хотя все танцуют и поют. Потом поехали в Канкун, по пути осмотрели земли

майо (там я даже проплыл по уникальной речушке). Сам город — это нагромождение огромных угнетающих торговых центров (malls) с одними и теми же товарами, большей частью, сувенирами. Мои бизнесвумен были замечены в игривых нарядах на улицах — я не мог поверить, что это прожженные проститутки — и явно подавляли неприглядных конкуренток. Канкун неподалеку от южноамериканских штатов, где мужья мучаются в семьях, и на уикенды порой сбегают от своих верных жен в свободные края Мексики. И платят за радости секса жуткие деньги.

В день усопших — фото покойных родственников в каждом доме и на каждом углу, зажженные свечи в витринах, балы смерти, где подкатывается дамочка в маске черепа и угощает вином, нежно коснувшись ледяными суставами. И конечно же, архивеселые пьянки в честь любимых покойников на кладбищах — в России это принято, увы, иногда и по одному-двум стаканчикам. И как радостно у могил!

«О, Америка, это страна, где гуляют и пьют без закуски!» — так писали Ильф и Петров, но в меня эта страна входила по-разному. Во время войны радостно жрал американскую тушенку и находил жвачку вкуснее жмыха. После войны носил взятые у папы теплые летные (роскошные!) сапоги, читал Бориса Горбатова о «Гарри Трумене, маленьком человеке в коротких штанах», в 1950 году в Куйбышеве болел за нашу победу в Корее, бегал каждый день к горсовету, там на вывешенной карте боевых действий постоянно переставляли флажки, — кусал локти, когда воины генерала Маккартура высадились на юге и поперли на север. Восхищался «Серенадой Солнечной долины» с чемпионкой мира по конькам Соней Хени и, конечно же, впился в Хемингуэя, Стейнбека и Фолкнера, Колдуэлл трогал меня меньше, а великолепных Чивера, Сэлинджера и Хеллера, автора «Уловки-22», я тогда еще не знал. За газетами следил напряженно, осуждал Запад за холодную войну, а в МГИМО занялся изучением США. Как честный советский мальчик, в институте в каком-то сочинении на зачете по литературе зарубежных стран я по-идиотски высмеял идиота Беню в фолкнеровском шедевре «Звук и ярость», потом я этой книгой восхищался. От курсовой работы о крестьянских волнениях в России в 1910-1913 гг.

двинулся к курсовым о милитаризации Калифорнии, фашизации американской демократии и т.д. и т.п. Хороший мальчик, ничего не скажешь!

После перестройки косяками црушники хлынули в Россию, рылись в архивах, писали на наших материалах книги, а заодно и тщательно изучали методы работы нашей разведки. Евгений Примаков улучшил образ нашей разведки, разрешал некоторую гласность, я тогда по наивности думал, что постепенно мы подружимся с американцами, наладим взаимодействие разведок хотя бы против терроризма. Не только я ошибался, но и зубр разведки, генерал Борис Соломатин, прославленный вербовщик и резидент в США, видимо, мы страдали «русской доверчивостью», на самом деле США об этом и не помышляли.

Однажды позвонил мне црушник по фамилии Бакстер, его я поверхностно знал по Копену, предложил отланчевать, объяснил, что ныне он живет в Венгрии, торгует оружием(!), и вот ныне ему нужна помощь Коржакова, шефа охраны президента Ельцина. Нет ли у меня выхода на всеильного босса? Коржакова я в глаза не видел, связи в службах растерял, но поразился наглости бывшего «дипломата». Но это были только цветочки, далее за ланчем он предложил мне работать на его фирме советником. Ха-ха! Очередная вербовка! Но ланч в Рэдиссон-отеле я откушал с аппетитом.

В 1989 году ехал я лектором в американском поезде от Москвы до Иркутска (они проследовали в КНР), везли свои продукты, естественно, виски и даже свой вагон для фитнеса. Там один американский бизнесмен предложил мне гениальный бизнес: производить презервативы (тогда в России в ходу были лишь ненадежные баковские). Условия: он присылает мне станки, я обеспечиваю помещение, рабочую силу и сырье, прибыль делим хаф-хаф. Проект и без подсчетов выглядел миллионным, и я даже за него взялся, однако, натолкнулся на большие сложности, да и литературные амбиции придушили презервативное начинание, времени требовалось немало, и все дело ушло в песок.

Увы, не вышло из меня главы фабрики презервативов! А ведь мог бы войти в народную историю, как Король Русских Гондонов!

Маршрут по Соединенным Штатам был фундаментален, приглашали меня библиотекарь университета Джорджтаун Николас Шиитс и добряк из Калифорнии Билл, с которым я сошелся на волжском круизе.

Жуткий аэропорт Кеннеди, где в суеде никто не мог толком объяснить, как пересесть на вашингтонский рейс. Помнится, депутат Галина Старовойтова, прилетевшая с нашей парламентской делегацией, в ужасе смотрела, как я кружил с чемоданом вокруг нее, думала, вероятно, что я веду за ней слежку, а не мучаюсь из-за местной неразберихи. В последний момент воткнулся в вашингтонский рейс, через час приземлился в объятия приглашающей стороны.

В университете Джорджтаун, этом заповеднике шпионажа, я толкнул лекцию о событиях в России спецам по нашей стране, в основном, еврейским эмигрантам. Критикой Советов я не занимался, волос от ужаса перед ушедшими в Лету зверствами КГБ не рвал (от меня явно этого ожидали). Слушали меня с равнодушными, скучными и даже гнусными физиономиями, которые оживились лишь на банкетике (виски и орешки), данном в мою честь. Заскочил и генерал Калугин, еще только начавший втягиваться в работу американских спецслужб, любопытствующие црувцы заполонили зал. Калугин пригласил меня к себе домой: хлипкий домик, но в ухоженном лесу, там я бурно танцевал с его женой Людой, ныне покойной. Следующий день я провел на малюсенькой дачке Калугина около океана, он делил ее с каким-то американским охранником (мне уже тогда не нравилась его любовь к американским спецслужбам), там мы яростно жрали купленных в лавке свежих лобстеров, дешевых и невкусных. Олега Калугина я поддержал во время перестройки, однако, я видел, что он жаждал получить грин кард в США, что меня лично не радовало. Американцы за эту пресловутую карту выкрутили ему руки и вынудили стать свидетелем в суде над нашим агентом, американским полковником Трофимовым, старику в итоге впяли неслыханный срок, и он умер в тюрьме. Такое предательство – позор для любого офицера разведки, и мне неприятно развивать эту тему.

Затем Нью-Йорк, Колумбийский университет, там мне помог профессор Марк ван Хаген, с которым я контактил на волжском круизе. Там

я тоже вещал, и опять среди серого, узколобого контингента, они, естественно, уже имели свою просвещенную зрениа на советскую историю и не собирались ее менять на ближайшие сто лет. Жил я в комфортабельном университетском общежитии, а затем в жутком отеле на Бродвее (одна ванная с сортиром на два номера), вокруг толстые негритянки с хитрыми мордами (между прочим, 120 баксов за ночь). Посетил вместе с Людой Денисовой, исполнительницей главной роли в моей пьесе «Убийство на экспорт», знаменитый русский ресторан, там душещипательно пели «Сиреневый туман». После смерти мужа Миши Веснина, Люда с сыном махнула в Штаты, но счастья, по - моему, там не обрела.

Осмотрев Город Желтого Дьявола, я двинулся в Бостон, где в Гарвардском университете повторилось абсолютно то же самое, что и в предыдущих славных вузах (словно экспертов рожала одна мама, а затем поставляла в университеты). Далее я вылетел к славному Биллу в Лос-Анджелес, там он меня приютил в своем пригородном доме, любезно организовал несколько лекций для местных жителей и для калифорнийского университета. Народ пёр, как на концерт факира, еще бы! О КГБ представление было как о своре убийц, и потому помятый, похожий на эстрадника русский шпион вызывал жгучее любопытство.

На одном из банкетиков после лекции ко мне подкатился мужичок из ФБР и попросил аудиенции. По договоренности с Биллом я пригласил его к нему в дом, там он поинтересовался, кто я, собственно, такой и почему обо мне ничего ему не сообщили. Я объяснил, что, по-видимому, нахожусь в компетенции ЦРУ, а отношения ЦРУ и ФБР оставляют желать лучшего. Билл заснял нас на мою видеокамеру (все для истории!), под ее прицелом эфбээровец чувствовал себя не совсем уютно, но испытание мужественно выдержал. Попутно он поинтересовался, почему русские из консульства, как докладывает слежка, отправляют свою нужду прямо у дороги. Эту военную тайну я не выдал. И не выдам даже под пытками.

Попутно я побывал с лекцией в Сан -Диего по приглашению университетской дамы, жаждавшей подписать со мной договор без аванса. Ха-ха! Конечно, мы, советские, не шибко разбирались в рыночном капитализме, но что такое бабки все-таки соображали. Лекцию отметили в

ресторане, пожирали огромные стейки, и я впервые увидел, как американцы просят завернуть остатки пищи и кости для любимой собаки дома. Ночевал я на яхте в порту, там, в холодильнике оставили мне виски, и потому ночь была нежна как у Скотта Фитцджеральда.

Пару раз мы жили в живописном швейцарском Церматте, любовались, как с огромных гор на лыжах спускается Саша вместе со всей семьей, по дороге заехали в Монтре, там не преминули посетить отель Монтре Палас, где жил великий Владимир Набоков, в его апартаменты, правда, не попали зато были потрясены отельным сортиром: полная автоматизация, на сидение тут же надевались чехольчики, наверное, сейчас уже роботы вынимают экскременты щипцами из пышущих задниц.

Не только на речных судах и в Штатах читал я лекции, выступал я в Париже и в Санкт-Морице (Швейцария), каждый раз перед бизнесменами, желавшими знать тайны промышленного шпионажа. Об этих тайнах я ничего не знал или знал в общей форме, но с радостью получил от каждой приглашающей стороны приличные гонорары.

На редкость симпатичным человеком оказался Константин Константинович Мельник, внук знаменитого доктора Боткина, с ним мы познакомились на рауте в Москве, потом в Париже. В молодые годы он витийствовал в радикальной партии, был близок к генералу де Голлю и даже курировал все спецслужбы Франции (представим француза во главе КГБ). Часто перезванивались, в Париже он посетил меня в гостинице. Было ему 83 года, он ходил в изящном берете и ездил в метро. Говорил по-русски старорежимно, грассировал, очень любил Россию.

Но я уже начинаю превращаться в гид по городам мира, но главное – уходят друзья, а это означает, что медленно ухожу и я.

Совсем молодым умер близкий друг Игорь Крылов, яростный сторонник Сахарова, сам доктор геологических наук и большая умница.

Умер на трибуне старый друг, поэт Юрий Левитанский, человек непосредственный и чуть наивный, израненный во время войны, с ним мы всегда ругались и спорили, что не мешало дружить, частенько пировали в ЦДЛ. Поэт на все времена.

Умер Володя Васильев, много лет проработавший в МИДе, в венгерском посольстве, энтузиаст политики Кадара, человек чистый, хотя и дон Жуан. Летом 1992 года сидели у меня на Готвальда, пили виски, закусывали колбасой и вспоминали разных девочек. Часов в семнадцать он ушел, ночью звонила жена, искала. Нашли мертвым на трамвайной остановке, до этого жаловался на аритмию.

Неожиданно ушел актер театра им. Моссовета Володя Шурупов, за ним последовали и его сын, и жена. Володя всегда разрывался между театром и литературой, писал прекрасные стихи..

Умер наш философ и литератор Вадим Кожинов, в известном смысле он стал моим духовным учителем, толкнув на изучение истории под русским углом. Мне очень льстит автограф Вадима Валерьяновича на его книге «История Руси и русского Слова. Современный взгляд»: «Михаилу Петровичу Любимову — истинно широкому человеку (которого ни в коем случае не следует суживать!) — который всем разумом любит Запад и безумно (кто сильнее!) любит Россию». Понимаю, что оценка комплиментарна, но доля истины в этом есть: я же — жизнелюбивый Близнец, я фатально раздвоен, я постоянно меняюсь, и никуда от себя не деться — хорошо это или плохо. Вот и мемуары пишу и переписываю, ибо не могу удержаться на одной мысли, соскальзываю с нее, словно с крутой скалы. А вот Вадим Кожинов был предельно постоянен в своих взглядах. Поэтому и любим беспредельно.

Крепко мы дружили с Всеволодом Софинским, боевым фронтовиком, служившем вместе с близнецом-братом в одной батарее, позже послом и зав. отделом печати МИДа. В Лондоне ухаживали за двумя Натальями — Фатеевой и Меньшиковой, прибывшими в Англию в составе киноделегации. Заехали в модный ночной клуб, там советник посольства по культуре Сева заказал бутылку(!) виски (официант окаменел), выложили в результате целую зарплату. С Софинским мы бывали в гостях у писателей лорда Сноу и его жены Памелы Джонсон, у драматурга Арнольда Уэскера, у баронессы Будберг (Муры), «железной женщины», любовницы Брюса Локкарта (заговор послов), Горького и Уэллса, агентессы ЧК и английской разведки (тогда я о ней ничего не слышал, и потому воспринял как обыкновенную

старушенцию-белогвардейку). Софинский в перестройку неожиданно стал кадетом, старался бодриться, но железной косы не избежал.

Внезапно умер Виталий Шлыков, многолетний нелегал ГРУ, посидевший, как байроновский персонаж, в Шильонском замке (его сдал предатель). Мой близкий друг с институтских времен, вместе ходили по девочкам, искали даже на химкинском пляже. В последние годы был начальником управления информации ГРУ, помощником министра обороны, преподавал в Высшей школе экономики, писал острые, полемические статьи. Неординарная личность, мужественный человек, несравненный эрудит в военном деле, с безупречным американским языком. Держал на связи ценных агентов – юаровцев-ракетчиков Гертнеров. Настоящий герой.

В муках почил журналист и ученый Коля Капченко, многие годы зам редактора "Международной жизни", на пенсии успел написать внушительный трехтомник о Сталине.

Страшно было наблюдать, как медленно и тяжело угасал мой друг, посол в Дублине, в Ватикане и других столицах, звезда нашего курса, умнейший Геннадий Уранов...

Я не в силах больше продолжать этот мартиролог.

Что же это такое?!

Разве затем создал нас Господь, чтобы мы дохли, как мухи?!

Набравшись ума, знаний, опыта, мудрости?!

Разве это справедливо?

Разве это разумно?

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ТОНЧАЙШИЙ ПИСАТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ПОПОВ ВГРЫЗАЕТСЯ В ДУШУ
НЕСЧАСТНОГО ПОЛКОВНИКА

"ТОВАРИЩ ВИСКИ"

ЦИТАТНИК

Вероломство и коварство я воспринимаю как вполне естественный профессионализм любой спецслужбы и отнюдь не намерен по этому поводу ханжить.

Шотландское виски требует терпеливого освоения, как Рихард Штраус или Андрей Платонов, но зато, погрузившись в скотч и продержавшись в нем несколько лет, открываешь новый мир.

Виски – «он»? «оно»? «они»? В любом варианте напиток волшебен, если понимать в нем толк. А если не понимать, то следует учиться понимать, учиться, учиться и учиться.

Что есть виски? – это вопрос поважнее, чем «быть или не быть».

Я все же любил тогда свою пиратскую профессию, я гордился своей причастностью к касте избранных, наверное, не меньше масонов ложи розенкрейцеров.

Я разочаровался в разведке как в форме человеческой деятельности, я не уверен в своей правоте, но я прошел в разведке через все круги, я вербовал, работал с агентурой, следил, соблазнял, меня самого вербовали.

...все-таки в разведке мы не чувствовали себя жандармами, а на пенсии... там всех стригут под одну гребенку, и не объяснить звероподобной волчице в ЖЭКе, что ты не выдирали ногти у ее бабушки.

В конце концов, каждый из нас немного шпион.

Занятие шпионством необыкновенно расширяет знание человеческой души, но губит нас, превращая в циников.

МИХАИЛ ЛЮБИМОВ

Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других.

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

Свобода и скотч шагают рядом.

РОБЕРТ БЕРНС

Работа агента секретной службы, в сущности, скучна. Большая часть того, чем он занимается, совершенно не нужна ни ему, ни людям.

СОМЕРСЕТ МОЭМ

Тихая квартирка в писательском доме, что в районе бывшего Безбожного, а ныне Протопоповского переулка города Москвы...

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ: - Вы мне намекнули по телефону, Михаил Петрович, что интервьюеры ДОСТАЛИ ВАС всеми этими вопросами о том, КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ГБ. Поэтому я предлагаю вам поговорить на нейтральную тему. О ВЫПИВКЕ, которая не чужда ни бывшему гэбэшнику, ни бывшему, извините за выражение, «инакомыслящему», ни всему бывшему советскому

народу, включая зеленую молодежь, распустившуюся после «перестройки». Тем более, что я, как писатель, обыватель и гуманист, полагаю – одно дело ШПИОНИТЬ за бугром, рискуя угодить на ИХНЮЮ ЗОНУ лет эдак на двадцать, а другое - мирных овечек стричь, как это делали некоторые ваши непотребные коллеги, что шмонали так называемых диссидентов, храбро изымая у них из под подушек так называемую АНТИСОВЕТЧИНУ. Хотя, признаться, функционер из Союза писателей для меня был хуже всякого гэбэшника. Тот хоть по службе старался, а этот – по велению сердца, принадлежащего коммунистической партии, как остроумно сформулировал лауреат Нобелевской премии Шолохов.

МИХАИЛ ЛЮБИМОВ: - Генерал КГБ Ильин, «заведовавший» писателями, был другом нашей семьи, работал еще с моим отцом. Он и сам сидел. Отец, я помню, уже был на пенсии когда Ильин пришел к нам в дом, возвратившись из лагерей. Без зубов совершенно, работал каким-то прорабом. Потом его – старые связи - устроили секретарем Союза писателей. Мы с ним много беседовали. Он одних писателей любил, про других говорил «Сволочь». Войновича не любил, Солженицына тоже. Но ведь они фрондировали очень жестко, другие – более умеренно, с ними РАБОТАЛИ. Почему, вы думаете, фрондирующих писателей выпускали за границу, дачи им давали, роскошные квартиры?

Е.П.: - Да я об этом как-то не думаю, поздно об этом думать...

М.Л.: - Отделяли козлиц от агнцев, и формы подкупа были весьма разнообразные...Да писатели и сами хороши! Стучали друг на друга – ого-го! Практически в любом рабском государстве писатели вынуждены играть постыдную роль. А что, Солженицын не хотел альянса с Хрущевым после успеха «Одного дня Ивана Денисовича»?

Е.П.: - История не терпит сослагательного наклонения, но мне всегда было любопытно, что было бы, если Солженицын получил Ленинскую премию, которую у него тогда оттяпал Олесь Гончар.

М.Л.: - И вообще – кто из писателей наиболее известен? Тот, у кого был скандал. Пастернак - «Живаго», Евтушенко – «Автобиография». Да и сейчас – то же самое...

Е.П.: -А это – общая психология. Гораздо интереснее прочитать в газете, как кому-то башку отрезали, чем о том, как человек весь день работал, потом пришел домой, посмотрел телевизор и лег спать, чтобы утром встать и пойти на работу...

М.Л.: - То же самое и на Западе. Жан Поль Сартр – маоист, левак, скандалист 60-ых. Впрочем, у нас – своя цивилизация, своя литература. С этой литературой иностранец может соприкоснуться, но ему будет трудно. Вспомните, как Набоков крыл английских переводчиков. Эту Гарнетт, которая перевела «Войну и мир»... Считал их полными бездарями. В какой-то степени так оно и есть. Я тут недавно открыл Андрея Платонова в английском переводе, прочитал несколько страничек и ужаснулся. Чистенький такой, чрезвычайно легкий для восприятия текст, ничего общего с Платоновым не имеющий. Вообще ничего! Так популярно все изложено, вроде синопсиса. И скука, скука...

Е.П.: - Ладно, литература вещь хорошая, но выпивка еще лучше. Что, кстати, явствует из ваших книг. Там персонаж просто осанну виски поет, а как к этому относитесь вы, прототип, полковник в отставке М. П. Любимов?

М.Л.: - Вы знаете, у меня сейчас сахар в крови высокий... А так, что значит как «отношусь»? Положительно. Я и к водке хорошо отношусь. Но вот взлетает к чертовой матери сахар!

Е.П.: - Из-за виски?

М.Л.: - Из-за всего. Начнем с того, что виски мне нужно минимум грамм четыреста, если не пол литра, тогда более или менее нормально. А так, по рюмочке тянуть – это издевательство.

Е.П.: - Я почему про виски спрашиваю, потому что всю жизнь пил водку, а теперь перешел на красное вино по выслуге лет. Вот скажите, пожалуйста, вы виски пили, как мы в книжках « про американцев» читали, как Хемингуэй велел? Со льдом, содовой?

М.Л.: - Я когда жил в Лондоне, то виски разбавлял водой. Из-под крана, тогда обычной воды в бутылках не было. Но не газировкой. Это все американское варварство – газировка, лед... Хотя со льдом можно пить, со льдом это в общем-то неплохо... Но только не молт, тогда я не знал, что такое молт...

Е.П.: - А я и сейчас не знаю... Для меня все... всё виски на одно лицо, как белый человек для азиата...

М.Л.: - Молт – это солодовый виски... И туда лед нельзя класть ни в коем случае. Их много, «молтов», в основном это «глены»...

Е.П.: - ?

М.Л.: - Глен – это вид молта. Сделаны на чистой родниковой воде. Все эти «гленливеты», «гленфидики», «гленморанджи» сварены из ячменного солода, высушенного над горящим торфом и антрацитом. Отсюда – этот дымный вкус, этот самый привкус неповторимый...

Е.П.: - А-а, это те, которые – дорогие...

М.Л.: - Конечно дорогие. Все хорошее стоит дорого...

Е.П.: -То-то я смотрю в Шереметьевском аэропорту во «фри-шопе» – продукт вроде бы один, а цены – полярные. А что вы думаете об американских штуках?

М.Л.: - «Бурбон» американский я терпеть не могу. Ни американский, ни канадский, ни ирландский... Фу! Гадость! Все эти «Джеки Дэниелсы» и так далее...

Е.П.: - Чем же они плохи?

М.Л.: - Они не плохи, там вкус другой. «Бурбон» делается, по-моему из ячменя... «Канадиан клаб» - ну, я не знаю из чего. По-моему, тоже мерзость. Ирландский виски еще можно с кофе пить, но тогда надерешься жутко и будет стенокардия. А «скотч» конечно же хорошо пьется... Я, честно говоря, стал его с возрастом разбавлять очень сильно...

Е.П.: - А зачем вообще виски разбавлять? Почему русскому человеку до перестройки не приходило в голову водку портить всякими соками? «Кровавая Мэри» – единственное исключение, подтверждающее правило.

М.Л.: - Вы знаете, это просто английская культура. При том, что англичане - алкаши жуткие...

Е.П.: -Да уж слышан. И имел личную возможность в этом убедиться...

М.Л.: -Пьют много, но надираются медленно, понемножку. Доктор Сэмюэль Джонсон (18-ый

век), сильно любил, например, портвейн. Выпьет две бутылки портвейна, и - хорош. Но конечно так, как русские, они, наверное, не пили. Меня вообще удивляет, как на Западе пьют... По пятьдесят, сто грамм, но каждый день. У меня, если я выпью всего сто грамм, тут же начинает болеть голова.

Е.П.: - А вино?

М.Л.: - Вино я вообще обожаю. Красное. Все время пил вино и сейчас пью. Но вино для моего сахара еще хуже, чем виски...

Е.П.: - Самое время нам сейчас с вами сделать рекламную паузу и сказать «Минздрав предупреждал»...

М.Л.: - ... потому что там виноград.

Е.П.: -А всякие там суперсухие, «брют», например?

М.Л.: -"Брют" это шампанские вина, а я их не выношу. Я сухонькое люблю, разумеется «сес» пью. Беда в том, что у нас в стране сплошные подделки. И виски подделывают. Я однажды купил бутылку в киоске, открыл и повеяло «Шипром».

Е.П.: - Поясим для юных читателей, что так назывался знаменитый советский одеколон.

М.Л.: -Вы же не знаете, где делают этот виски, никто же не занимается этим, у нас ведь нет таких органов, которые пробуют –настоящий это скотч или поддельный. Может, его в Мытищах делают. Наклейки, бутылка – это все вопрос техники. А вина, они тем более фальшак. Вот у нас внизу, слава Богу, в магазине большой выбор. Но ведь хорошее вино в Москве стоит не менее, чем триста- триста пятьдесят рублей, а то и пятьсот. Вот обычная испанская «Риоха». Я ее очень люблю, и на Западе ее можно купить где-то за сто пятьдесят рублей в переводе на наши деньги. А у нас цены взвинчивают жутко. Я, например, не могу себе позволить пить по три бутылки вина в день, как парижский клошар. То есть, наверное, мог бы, если продавался иностранной разведке, но мне уже нечего продавать, правда? (Смеется). И платят плохо.

Е.П.: - Они или мы?

М.Л.: - Все. Шефу русского отдела ЦРУ, нашему агенту Эймсу, который передавал черт знает какие секреты, заплатили всего-навсего миллион за семь лет. Это что, много что ли?

Е.П.: - Рублей?

М.Л.: - Долларов. А он сдал двенадцать агентов КГБ. Это же смешно! Расскажите об этом «новому русскому», и он будет хохотать.

Е.П.: - Пока что старый русский хохочет (Хохочет, потом лихорадочно считает) Миллион за семь лет. В год – 120 штук, в месяц – десять штук. Неплохо, если, вдобавок, налогов не платить...

М.Л.: - А мы вообще держались на идейной агентуре всегда. Ким Филби вообще от денег отказывался, как и его коллеги, вся знаменитая на весь мир английская «пятерка шпионов» из высшего общества. Бывший сотрудник английской разведки Блейк живет теперь в доме напротив меня, он тоже денег никогда не брал. Они все идейные были, марксисты, считали ниже своего достоинства получать за свой энтузиазм деньги. Вот если на оперативные расходы, ну, в смысле с кем-то надо встретиться и потратиться для дела, тогда - можно. Сталин приказал сразу после войны каждому из «пятерки» пенсию назначить «за выдающиеся заслуги», так они все отказались. «Не надо нам никакой пенсии. Мы служим великому делу социализма против проклятой капиталистической Англии». И я их понимаю, потому что если бы и я жил в эпоху, когда зарождался фашизм, когда правительство Чемберлена шло на смычку с Гитлером, делило Чехословакию, я бы тоже ненавидел это правительство, если бы имел такие убеждения, как они. Они были левые, полулевые – зачем им нужна была такая капиталистическая Англия? Другое дело, что у них чересчур много иллюзий имелось на наш счет – они ведь никогда не были в Советском Союзе. До поры до времени идеализировали Сталина. А потом уже, когда «коготок увяз», трудно было восставать.

Е.П.: -Мне один австриец-славист рассказывал, как мальчонкой состоял в австрийском комсомоле, бредил эсэсэсэрией, за свои комсомольские успехи был премирован поездкой в Москву, откуда вернулся законченным антисоветчиком, насмотревшись на нашу развеселую жизнь тех лет, когда, как вы пишете в одной из своих книг, дорогущее виски «Шивас Ригал» стоило 15 брежневских рублей, а маэстро из вашей Конторы Глубокого Бурения «не оставляли стараний» и всю прессовали «шибко умных» советских граждан вроде Сахарова.

М.Л.: - А вообще-то все приличные люди прошли через социализм и коммунизм. Вот писатели. Назовите мне хотя бы одного нашего нынешнего классика, который этим не соблазнился. Ну, может быть, Булгаков исключение. А Платонов? И «Котлован» и «Чевенгур» - не антисоветские книги. А возьмите моего любимого Замятина, которого выслали из СССР. Я долго думал, как и все, что «Мы» – это пасквиль на Советский Союз. Да ничего подобного! Это – пародия на Англию. Страну, которая постепенно, в результате прогресса, превращается в механизированную и тоталитарную, где все расписано вплоть до того, когда трахнуть жену.

Е.П.: - Интересная мысль! Но написано-то это все было в Совдепии... Хотя, с другой стороны, тогдашняя советская жизнь скорее располагала к сочинению рассказа «Пещера» об одичавшем питерском интеллигенте.

М.Л.: -А что, Бернард Шоу очень любил консервативное правительство? Или Герберт Уэллс был неискренним, когда писал, что ему приятны кремлевские звезды? Единицы ПОНИМАЛИ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ У НАС ТВОРИТСЯ. Например, философ Бертран Рассел, как его не ублажали в Москве, вернулся и заявил, что большевиков терпеть не может. И на всю жизнь остался «врагом». А в основном-то все ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любили Страну Советов. Андре Жид – как поздно разочаровался. Я уж не говорю о Ромене Роллане, Анри Барбюсе. А Камю, что ли, не переболел коммунизмом?

Е.П.: - Тут дело не в писателях, а в том, что весь мир участвовал в пиршестве коммунизма. Только они все быстро-быстро из-за стола выскочили, а России пришлось за всех платить. Впрочем, вы МГИМО закончили, белый свет повидали и в этих вопросах конечно гораздо более информированы, чем я...

М.Л.: -Да ладно уж...

Е.П.: - Нет, я серьезно. Меня все эти штуки вроде политики никогда особо не интересовали, у меня другая сфера интересов. Но я должен признать, что все это действительно существовало. Рабочие там, Сакко и Ванцетти, которых в Штатах подвели под вышку в начале двадцатых. Или ИРМ (а не МОПР? Впрочем, это я просто вспомнил)– Индустриальные Рабочие Мира. Когда читаешь книги или смотришь кинохронику тех лет, видишь, какая у

них действительно тогда была классовая напряженка. И как они тогда бедно жили, почти как мы. Вон Хемингуэй описывает, что у него в Париже сортир чуть ли не на улице был, прямо, как у нас... А безработица! А экономическая депрессия! Они на самом деле были на грани революции. У нас временное (с ударением на «о») отставание ровно на те самые 70 большевистских лет.

М.Л.: - Я в Лондоне служил в 60-е годы, а вот сейчас приехал, когда работал над книгой «Гуляния с Чеширским котом» и увидел – Боже мой, как изменился город! Там действительно были жуткие доки! Да и сейчас такие еще трущобы остались, что наш самый худший спальный район – это цветущая окраина. Серые мерзкие дома, где живут, конечно, бедные люди. Восточная и южная части, не везде, конечно. Или если войти в глубину знаменитого Ноттинг Хилла. Вот бы вот Льва туда пустить (фотографа Шерстенникова) он бы снял что-нибудь на тему «Руины капитализма».

ЛЕВ ШЕРСТЕННИКОВ (отложив фотоаппарат). Меня от помоек воротит!

М.Л.: - Но это ведь была бы ПРАВДА! А доки убрали, всех, кто обитал в этих районах, куда-то переселили. Так и у нас нужно сделать – вы посмотрите на берег Москва-реки, что напротив Хаммеровского центра, пройдите дальше. Ведь это то же самое, что Темза раньше. Ужас! Какие-то склады, гаражи, грязь. Отвратительно! А теперь представьте, что найдется хозяин, который все это снесет к чертовой матери и выстроит там богатые дома. А ведь это – набережная, самая красивая часть.

Е.П.: - Так там и собираются строить Москву-Сити.

М.Л.: - Пока все это выглядит очень пошло. Планируется какой-то очередной вариант нью-йоркских небоскребов... Но это всем свойственно - вот она цивилизация! А как англичане свой Лондон изуродовали? Настроили стеклянных коробок. В лондонском Сити – пятнадцатизэтажные дома, искусственное озеро. Кому-то в голову пришло поставить это чертово колесо обозрения перед Вестминстерским аббатством напротив Биг Бена...

Е.П.: - Не знаю, зато весь Лондон, извините за штамп, «как на ладони»... (Спохватившись), Давайте лучше снова про виски. Виски – для России мистическое слово. У одного моего знакомого писателя есть замечательный рассказ под названием «Товарищ виски». Там простые люди узнают, что

есть такое понятие «виски» и очаровываются этим волшебным словом. Товарищ Виски – это полет, романтика, фантазия, иные горизонты. Ведь у простых людей в России всегда было только два напитка. «Белое вино» – то есть водка, и «красное» - все остальное за исключением естественно - пива, коньяка, который по народному мнению «пах клопами» и шампанского, которое разложившийся шпион Пеньковский, продавший американцам наши космические секреты, «пил с туфля», - я сам слышал как один мужик в пивной именно так выразился, когда гремел процесс Пеньковского, в конце которого он получил «вышку». Виски – это откуда-то оттуда, где «буги-вуги лабает джаз», «идет автобус на Сан-Луи» и «жил был в Лондоне стилига». Как коктейль «драй мартини» - это Джеймс Бонд. Короче, ШПИОНЫ ПЬЮТ ВИСКИ. Вам, кстати, какое слово больше нравится – разведчик или шпион?

.Л.: - I am a spy! В английском языке нет слова «разведчик». А виски я впервые попробовал, когда в 58-м меня направили за границу. Мелким клерком советского посольства в Финляндии. Мне виски был не очень по карману. Я и в Англии сначала не мог вволю напиться виски, поскольку бутылка настоящего скотча стоила в три-четыре раза дороже, чем канадское пойло в нашем беспошлинном посольском кооперативе. А скотча в кооперативе не было. Я с тех пор Канадиан Клуб и возненавидел. А что по этому поводу считает народ – не знаю. Виски удобно пить, именно потому, что можно разбавлять. Вы правы, водку никогда не смешивали. Хотя - стоп! Во времена моей юности в Самаре водку пили «с прицепом», то есть с пивом, везде такие симпатичные киоски стояли...

Е.П.: -... с «Жигулевским» пивом, по всей стране море разлитое было дрянного разбавленного бочкового «Жигулевского»... Был термин такой ГОРЬКУЮ ПИВОМ ОТЛАКИРОВАТЬ. А сейчас, это я в порядке ЛАКИРОВКИ нынешней горькой действительности, сам лично видел, бомжи заходят в магазин и один другого тихо спрашивает «Балтику» будем брать или «Хамовники». И продавщице говорят: «Ты уж из холодильничка нам дай»...

М.Л. (неожиданно): Кстати, когда вы материал будете готовить к печати, не забудьте где-нибудь написать, что моим крестным отцом в новой жизни, писательской был журнал «Огонек». Именно «Огонек», тираж которого был тогда 5 миллионов, печатал мой первый роман с сентября 90-го года по до

декабря 90-года. Я думаю никого больше из российских прозаиков «Огонек» не печатал подряд так долго, целых три месяца. Тогда ведь еще КГБ существовал во главе с будущим путчистом Крючковым, и там все это читали, точнее, вычитывали, и конечно же им не нравилось, что герой романа, советский разведчик, пьет, трахается и так далее. К тому же с начальством все было НЕ СОГЛАСОВАНО. Вот они меня и атаковали рецензиями – в разных газетах.

Е.П.: - Чего ж согласовывать, если вы к тому времени уже добрых два десятка лет были на пенсии?

М.Л.: - По-моему, до сих пор согласовывают даже беллетристику.

Е.П.: - Так значит правильно гласит молва, что разведчик бывшим не бывает?

М.Л. Да нет, это так, на всякий случай...

Е.П.: Какой случай?

М.Л.- Ну... неприятностей всяких... К тому же вспомните, это был ДЕВЯНОСТЫЙ год, а не год 002. И вдруг роман о советской разведчике, резко отличающемся от Штирлица. Алкаш, бабник... Атака на меня была очень сильная, меня обвиняли в аморальности, во всех смертных грехах. ГЕРОЙ С ПРЕЗЕРВАТИВОМ И ПИСТОЛЕТОМ, так писали о моем главном герое. Я, кстати, все эти нападки использовал для рекламы. Экономика должны быть экономной, как говорил Брежнев.

Е.П.: - Если бы в 91-м «мятеж закончился удачей» вам бы кисло пришлось?

М.Л.: -Да , мне говорили, что ОНИ меня внесли в какой-то там список , «наружка» за мной ходила... Это список даже был опубликован, но я не знаю, насколько все это было серьезно... Там был я, генерал КГБ Олег Калугин, священник Глеб Якунин, люди, чьи имена теперь вряд ли что скажут новому поколению. Я не знаю, как попал в эту обойму и сильно удивился.

Е.П.: -Скорее удивительно, почему Глеб Якунин оказался между двумя...э-э-э... ПРОФЕССИОНАЛАМИ.

М.Л.: -Нет, там многие тогдашние *демократы* были – Собчак, Яковлев...

А вообще-то я недавно перечитал и вижу - эта книга сугубо патриотическая. С тех пор столько понаписали на эту тему говна, что я – просто наивный романтик на нынешнем фоне. Возьмите этого пещерного, как его.... Доценко, что ли? Там какие-то боевики, конечно, они были в КГБ, в "Альфе" или "Вымпеле". Но это же спецназ, а не разведка.

Е.П.: - А кто ж тогда Троцкого альпенштоком по голове до смерти угостил?

М.Л.: - Спецагент Меркадер, это не спецназ. Ну, был конечно спецназ. Но он что, последние годы «застоя» работал что ли очень сильно? Возьмите этот знаменитый штурм дворца Амина в Афганистане. Это же вообще был абсурд, штурмовать дворец и убивать Амина, когда по приглашению того же Амина советские войска УЖЕ вошли в Кабул.

Е.П.: - А что надо было делать?

М.Л.: - Да надо было его спокойно и тихо кокнуть. Или арестовать на приеме или еще где. Нет, нужно было всей этой «Альфе» лететь...

Е.П.: - Ну, почему? Почему даже ваша контора так плохо работала?

М.Л.: - А почему «даже»? Это у вас – типичное интеллигентское. Что там Т-А-А-КИЕ ЛЮДИ! Что такое вообще тайная полиция? Это очень средний тип человека, между прочим. Были, конечно, выдающиеся персоны, бесспорно. Но я думаю, что давным-давно и на Западе, и у нас разведка стала самой настоящей бюрократической организацией. Для того, чтобы принять решение, туда-сюда гоняют бумаги, на согласование и так далее. А сейчас, скорей всего, еще более бюрократическая. Я не сталинист, но помню поколение своего отца. Оно дрожало. Каждый из них мог моментально застрелиться, если бы ему сказали «застрелись». Они жили в страхе, привыкли к внутреннему страху, к тому, что их убивают все время. Я помню разговор отца с сослуживцем за рюмкой. «КОЛЯ, ты помнишь Васю?» – «Ну, а как же?» – «Его когда, в 37-м расстреляли или в 38-м?» – «Вроде в 38-м. Я, помню, зашел в кабинет, а он сидит привязанный, и ему руки ломают». Вот такие разговоры. Это были сильные люди, которые прошли Отечественную войну, некоторые – Гражданскую, нелегалами работали... А потом – бюрократизация... Почему никто не пикнул, когда Дзержинского с постамента стаскивали и на глазах разваливали огромную страну? Где они были, все эти убежденные? Я таких взглядов не разделяю, я просто констатирую РАЗЛОЖЕНИЕ. «Перестройку» проморгали. А ведь даже диссидент Амальрик их предупреждал, написав «Доживет ли Советский Союз до 1984 года», но только ему никто не верил.

Е.П.: - Моего приятеля, покойного писателя Володю Кормера, автора «Крота истории» как-то в очередной раз дернули на Лубянку для промывания мозгов, зачем, де, он на Западе печатается, и ему КУРАТОР говорит: “Если вас кто спросит, скажите, что мы с вами до шести вечера *работали*, а то мне сегодня пораньше надо уйти, тещу встретить на Казанском вокзале”. Кормер удивился : «Кто это меня может спросить?» - «Да я это так, на всякий случай», - отвечает ему гэбэшный чиновник. Правильно вы говорите, Михаил Петрович, без души ваши люди служили!

М.Л.: - А я, когда был студентом, очень переживал, что мной совершенно не интересуется КГБ, хотя я очень хотел работать в органах ПРОТИВ ВРАГОВ, потому что я был коммунист, большевик и так далее. В конце концов на фестивале молодежи в 57-м, где я работал переводчиком, я сам вычислил ЭТОГО МУЖИКА, подошел к нему и говорю: «Владимир Ефимович, я бы хотел, чтобы вы мне какие-нибудь задания дали». Он и его коллеги стали меня использовать для работы ПО БАБАМ против шведского посольства, знаете, как это интересно? Так вот мы встречались время от времени, напивались жутко в ресторане, и они мне подсовывали счет, а я писал расписку, что якобы эти деньги получил, которые мы только что прокутили... Потом они оба спились, один умер прямо на Пушкинской площади, на скамейке... Дивный был кстати человек!

Е.П.: - Потрясающие совпадения! Подпольный писатель Евгений Харитонов, которого ваши тоже *таскали*, тоже умер от разрыва сердца на Пушкинской площади, тоже был дивный человек. Ему принадлежит великая, но загадочная фраза: «ЧТОБЫ ПИСАТЕЛЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ КГБ, ОН ДОЛЖЕН ХОРОШО ЗНАТЬ РАССТАНОВКУ СИЛ В ГОРОДЕ». КГБ, получается, как виски. «Он»? «Она»? «Оно»? И все-таки, как спрашивал один из героев Мольера: «Кой черт вас понес на эту галеру?»

М.Л.: - Извините, но боюсь, что вам этого не понять. Встречный вопрос: зачем вы писали и публиковали на Западе «идейно-ущербные, близкие к клеветническим произведения с элементами цинизма и порнографии»?

Е.П.: - Я так хотел.

М.Л.: - Ну, а я – ТАК.

Е.П.(спохватившись): -Да, а как насчет спиртного?

М.Л.: - В смысле налить?

Е.П.: - В смысле, что все-таки лучше? Водка или виски? Восток или Запад?

М.Л.: - Для меня сейчас этой проблемы нет. Для меня главный вопрос, чтобы все у нас, в том числе и напитки, было ПОДЛИННЫМ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛГОФА», АПОКРИФ, ПОТЯСШИЙ РОССИЮ

"Не дай мне Бог сойти с ума..."

Александр Пушкин

В тот мрачноватый февральский вечер 1983 года я смотрел телевизор. Время тогда было спокойное, хотя и проникнутое сдержанными ожиданиями: в ноябре 1982 года умер Леонид Ильич и Юрий Владимирович Андропов был избран Генеральным секретарем ЦК.

Раздался телефонный звонок - за день их хватало, - но когда я взял трубку и услышал голос собеседника, то почувствовал смутное волнение.

- Добрый вечер, Михаил Петрович, не узнаете? - раздалось в трубке.

- Извините, не узнаю, - ответил я сухо (не люблю, когда не представляются).

- Неужели вы не помните свои аналитические записки с прогнозами? Собеседник выдержал паузу, дав мне возможность оправиться от шока.

- Юрий Владимирович?! Вы?!

...Еще бы мне не помнить эти злосчастные аналитические записки, с них все и началось! В 1980 году я возглавлял отдел прогнозирования в Первом Главном управлении КГБ (ныне переименованном в Службу внешней разведки). Именно по указанию самого Андропова в моем отделе был начат аналитический прогноз всех возможных вариантов развития Советского Союза на самых современных западных ЭВМ. Задействованы были не только информационные системы КГБ, Министерства обороны особенно Главного разведывательного управления), Госплана и Совета Министров, но даже АСУ святая святых в нашей стране - ЦК КПСС. В работе использовались самые современные американские и отечественные методики, в программах предусматривалось воздействие многотысячных внешних и внутренних факторов, определявших развитие СССР. В результате после некоторого отсева мне на стол легли десять вариантов, все они заканчивались полной экономической и политической катастрофой

нашей страны - ни одного благополучного исхода, признаться, этого я не ожидал. Не без некоторых сомнений я передал документы на прочтение начальнику Управления Владимиру Александровичу Крючкову, человеку требовательному, но справедливому. Владимир Александрович держал документы две недели, что случалось крайне редко, и, наконец, со вздохом вернул их мне.

- Будете лично докладывать Председателю, - распорядился он холодно.

Было совершенно очевидно, что и Крючков не хочет "подставляться", известно, что на Руси гонцам с дурной вестью всегда рубят головы. Уже на следующий день я выехал из нашей штаб-квартиры в Ясенево в приемную Председателя на Лубянке. Принял он меня нормально и выслушал чрезвычайно внимательно, хотя, признаться, я ожидал острой дискуссии и даже разноса за плохие прогнозы. Он был молчалив, однако дружелюбно со мной попрощался. То-то было мое удивление, когда через две недели меня вызвали в Управление кадров и сообщили об увольнении по выслуге лет, при этом по приказу, подписанному Андроповым, я был вычищен из резерва КГБ и даже лишен ведомственной поликлиники - жесткость необычайная...

- Михаил Петрович, сейчас время позднее, но не могли бы вы ко мне заехать?

- Конечно, Юрий Владимирович! - ответил я сразу. Сердце мое забило от волнения: как еще мог чувствовать себя пенсионер, выброшенный на мусорную свалку и вдруг теперь... - Прямо на Лубянку?

- Нет. В Колпачный. Машину за вами в целях конспирации я посылать не буду. Проверьтесь, нет ли за вами "хвоста". Хорошо?

- Так точно, Юрий Владимирович!

Долгая служба в разведке отучила меня от лишних вопросов, особенно по телефону.

В представительском особняке в Колпачном переулке, где жил когда-то шеф "СМЕРШ"а Виктор Семенович Абакумов, расстрелянный после

смерти Сталина, я бывал неоднократно на различных переговорах с руководителями разведок социалистических стран. Через час я уже нажимал кнопку у входа в особняк. К моему великому удивлению, дверь мне открыл сам Юрий Владимирович.

- Не замерзли? - Он ласково улыбался. Мы сразу же прошли на второй этаж, в кабинет орехового дерева, уставленный стеллажами с книгами, и расположились в креслах. Юрий Владимирович включил самовар и вынул из буфета печенье и сушки. - Ну, как вам на пенсии?

- Как вам сказать... Вот из поликлиники выперли...

- Я сознательно постарался вас изолировать от чекистской среды, улыбнулся Андропов. - Вы не очень на меня обиделись?

Я промолчал.

- Ну, тогда извините меня! Вы поняли, почему вас уволили?

- Думаю, из-за моих прогнозов, - прямо сказал я, ожидая бури.

- Ваших великолепных прогнозов, - поправил Андропов, повергнув меня в изумление. - Ничего ужаснее я не читал, честно говоря, после этого я не спал несколько ночей. Однако они положили конец моим сомнениям. Выхода нет. Вы готовы выполнить мое задание особой важности?

- Несомненно, - ответил я совершенно искренне, ибо, скажу честно, всегда боготворил Юрия Владимировича.

- Я задал этот вопрос для формы, - улыбнулся Юрий Владимирович. Слава Богу, я знаю все о вашей жизни и ваших настроениях, даже, наверное, больше, чем знаете вы сами...

В последнем сомнений у меня не было: после пенсии я явственно почувствовал, что нахожусь в активной разработке, квартира прослушивалась, и всю мою жизнь контролировало наружное наблюдение.

- Все, что вы предсказали, - ужасная правда, - продолжал Андропов. - Этот процесс необратим, еще Лев Давидович Троцкий предвидел разложение партии и термидор. Наша с вами стратегическая задача -

восстановить истинный социализм, избавившись ото всех наслоений прошлого.

- А вы уверены, что он нужен нашему народу, Юрий Владимирович? – позволил я себе некоторую идеологическую дерзость.

- Я убежден в том, что эта страна создана для коллективного общежития. Большинство народа может жить не иначе как за счет энергичного и талантливое меньшинства. Эту массу невозможно заставить работать, более того, она сразу начинает бунтовать. Какой выход? Уничтожить почти весь народ? Но это сталинщина! Остается единственное: создать новое общество.

- Извините меня за откровенность, Юрий Владимирович, но ваши первые шаги на ниве генсека, на мой взгляд, не ведут ни в малейшей степени к этому. Неужели вы думаете, что, ловя на улице бездельников и строго учитывая время прихода на работу, мы подвигнем людей на строительство социализма? А ваше решение о снижении цены на водку, завоевавшее популярность в народе...

- Цинично? - спросил Андропов, улыбаясь.

- Да! - воспалился я.

- Вы уяснили нашу стратегическую задачу, но пока не поняли пути ее достижения. Система умерла, и восстановить ее невозможно, да и не надо, зачем нам нужен живой труп? Задача состоит в том, чтобы окончательно уничтожить ее и построить на ее месте истинный социализм, который поддерживал бы весь народ! Весь народ, причем на свободных выборах!

- Признаться, Юрий Владимирович, я не совсем вас понимаю. Не будет ли это опасной маниловщиной - поверить в социалистический энтузиазм народа?

- Вот тут мы и переходим к сути операции. Любовь к социализму вырастет у нас из ненависти к капитализму. Поэтому вам поручается составить план внедрения капитализма в СССР, причем не мягкого, шведского социал-демократического типа. Мы должны ввергнуть страну в дикий, необузданный капитализм, где царит закон джунглей.

Председатель внимательно посмотрел на меня.

- Я все понял, Юрий Владимирович. Но не слишком ли это будет большим испытанием для нашего народа?

- Конечно, невероятно большим, но иного пути нет! Неужели вы считаете, что наша жалкая пропаганда может пробудить ненависть к капитализму? Только собственная практика. Для того чтобы прочувствовать пирог, его нужно съесть - это еще папаша Фридрих (он имел в виду Энгельса. Авт.) писал. В ваше распоряжение я передаю все свои личные шифры и право полностью использовать и наше наружное наблюдение, и подслушивание, и необходимую агентуру. Естественно, счета и здесь, и в западных банках. Вы так и останетесь в тени, прикрытия будете выбирать себе сами в зависимости от обстоятельств... Вам не нравятся мои любимые сушки, Михаил Петрович? Что-то вы ничего не едите... - Юрий Владимирович пристально смотрел на меня сквозь очки.

- Да мои мозги уже закрутились, как все это лучше организовать...

Для приличия я взял сушку и немного погрыз ее.

- Пусть они покрутятся, а через месяц ровно в девять вечера я буду ожидать вас здесь с первыми наметками по операции.

Юрий Владимирович обнял меня за плечи (такого не бывало никогда) и повел вниз по лестнице.

- Что интересного у нас в культуре? - спросил он по ходу движения, видимо, желая избавить нашу беседу от некоторой профессиональной заикленности.

- Только что смотрел "Фронт в тылу врага", - заметил я. - По роману Семена Кузьмича (Цвигун, зампред КГБ. Авт.). Тихонов там очень хорош.

- За "Фронт..." Вячеслав получил специальную премию на 15-м Всесоюзном кинофестивале в Таллинне. Мы там дали призы и Габриловичу с Юткевичем за воплощение на экране ленинской темы. Как парадоксально устроен мир: и Штирлиц, и Ленин на экране - полная фикция! Ничего подобного в жизни не было! Вот и цена всей системы!

Юрий Владимирович открыл дверь и выпустил меня на улицу.

Да простит меня читатель, но по соображениям этического порядка я вынужден воздержаться от упоминания истинных имен некоторой агентуры и уж, естественно, не распространяться о некоторых сугубо профессиональных технологиях работы. Секретные встречи с Юрием Владимировичем я имел до его кончины, воистину самого печального дня в моей жизни, операция детально прорабатывалась, план был подписан им незадолго до смерти. План операции под кодовым названием "Голгофа" распадался на четыре части: 1) системный развал существующего политико-экономического устройства страны; 2) переворот и форсированное внедрение капиталистической системы "дикого типа"; 3) направленная пролонгация хаоса и неразберихи как средства мобилизации озверевших масс на борьбу с властью под социалистическими лозунгами; 4) социалистическая революция, поддержанная всем народом, радикальная аннигиляция компрадорской буржуазии и связанных с нею политико-экономических структур.

- Конечно, я мог бы уже сейчас раскидать всех уважаемых динозавров: и Черненко, и Гришина, и Соломенцева, и Щербицкого с Кунаевым, однако наш план должен иметь некоторый налет идиотизма. В любом случае на первом этапе следует сохранить в руководстве этих милых старичков, это разожжет в народе страсть к реформам, мы его словно подержим в туалете, где кто-то уже порядком постарался. Вообще, первый этап в каком-то смысле является самым ответственным, ибо мы должны пробудить к жизни силы, которые сейчас загнаны в глубокое подполье. По сути дела, чем отличается социализм от капитализма? Капитализм, провозглашая свободу и демократию, дает волю всем самым темным человеческим инстинктам, а гомо сапиенс, уважаемый Михаил Петрович, к нашему общему несчастью, корыстен, эгоистичен, подл и совершенно не способен к коллективному общежитию. В нынешней системе мы жестко и крайне неумело зажали мерзкую душонку гомо сапиенс в тисках социализма - поэтому, поверьте мне, стоит нам лишь немного открыть шлюзы, как все дерьмо тут же вырвется на самый верх!

- Но кто же все-таки возглавит первый этап? - спросил я Юрия Владимировича, хотя уже, тщательно просмотрев строго секретные

"персоналии" из АСУ ЦК, примерно представлял тех лошадок, на которых он будет ставить.

- Какое счастье, что в нашей системе практически нет образованных политиков и экономистов, преподавание во всех вузах политэкономии социализма, которого, как вам хорошо известно, у нас нет, полностью деформировало мозги даже наших выдающихся академиков вроде Аганбегяна или Шаталина - потребуются целое поколение, чтобы понять смысл экономики вообще и рынка в частности. Политики в нашей стране тоже нет, политикой считаются некие аппаратные закулисные игры. Итак, во главе первого этапа встанет Горбачев, которого я уже давно готовлю на эту роль, человек сравнительно молодой и честолюбивый (заметьте, что я вообще терпеть не могу солдат, которые не мечтают стать генералами, таким не место в политике!), с очень привлекательными идеями типа "социализма с человеческим лицом" Дубчека. Кстати, помните, как мы с вами славно придушили эту "пражскую весну"? У Горбачева много критиков, которые утверждают, что он многословен и нерешителен. По поводу первого возражу: а разве Цицерон не был многоречив? разве это мешало его политической популярности? Да что Цицерон, возьмите нашего Ильича! За свои сравнительно недолгие годы он наговорил и написал с три короба! Наоборот, вся история показывает, что народ обожает говорунов, обещающих молочные реки и кисельные берега. Что касается нерешительности, то это тоже поклеп: просто Михаил Сергеевич смотрит на политику как на бесконечное лавирование между различными группировками, вполне естественно для политика советской закалки.

- Согласен, Юрий Владимирович. Кроме того, Горбачев - это единственный человек в нашей колоде козырей, которого может принять Запад. У него прекрасные манеры, он всегда по-европейски одет, пожалуй, единственный недостаток - бесконечное "тыканье" всем подчиненным...

- Весьма тонкое замечание, Михаил Петрович. А насчет тыканья не беспокойтесь: в английском языке "ты" не существует, и эта бесспорная слабость никак не скажется на наших отношениях с главным партнером - США. Кстати, вы забыли о Раисе Максимовне. Признаться, из всех жен наших молодых лидеров она больше всех импонирует мне своей

элегантностью и вкусом - это и погубит Горбачева, ведь наш народ терпеть не может красиво одетых жен руководителей.

- И все же, Юрий Владимирович, у меня есть некоторые колебания... С чего же лучше всего начать реформы первого этапа? - спросил я.

- Не притворяйтесь невнимательным, Михаил Петрович, я уже в целом обозначил это начало сам. Причем настолько серьезно, что даже Володя (так Андропов называл своего верного помощника Крючкова. Авт.) поверил в спасительность трудовой дисциплины... - Юрий Владимирович весело засмеялся, и я невольно залюбовался его чуть порозовевшим лицом. - Горбачев и весь его костяк должны сразу скомпрометировать партию самым идиотским для России начинанием: борьбой с алкоголизмом! Отрадно, что Михаил Сергеевич этим не злоупотребляет, а вот Лигачев хотя и за трезвый образ жизни, но иногда срывается, - однако человек он честнейший - на его плечи и ляжет пропаганда антиалкогольной кампании и, следовательно, полная дискредитация партии. Запомните, Михаил Петрович, борьба с пьянством не должна быть бумажной, как принято у нас в партии! Надо вырубать виноградники, закрывать и демонтировать вино-водочные заводы, исключать из партии, выгонять с работы, возможно, судить и сажать за появление на улице в пьяном виде. Начало "Голгофы" должно быть отмечено крайним идиотизмом - это очень важно. На этом мы распрощались.

ИЗ ДНЕВНИКА АВТОРА

Кончина Юрия Владимировича в феврале 1984 года до сих пор гложет мое сердце. Чтобы создать хорошие предпосылки для реализации "Голгофы" (чем темнее ночь, тем ярче звезды), у власти был поставлен Черненко, который вскоре скончался. Апрельский Пленум 1985 года мы провели в полном соответствии с планом "Голгофа", генсеком был избран Горбачев. Еще при Черненко в декабре 1984 года Горбачев представлял СССР в Англии на встрече с Маргарет Тэтчер. Для создания ему международной репутации под чужой фамилией я предварительно выезжал туда на встречи с агентурой влияния КГБ в английском правительстве, при королевском дворе. Англию мы обычно использовали для дискредитации

советских лидеров: например, туда в свое время был командирован бывший шеф КГБ Александр Шелепин, соперник Брежнева, которого с нашей помощью встретили мощные антисоветские демонстрации, что, естественно, настолько подорвало его позиции, что вскоре он был вычищен из Политбюро. Поскольку наша метода стала известна английским спецслужбам, пришлось пойти на прямо противоположное действие: мадам Тэтчер внушили, что ее добрые слова в адрес Горбачева окончательно развалит Политбюро и подорвут советскую власть, чему она была несказанно рада, и потому дала Горбачеву самую блестящую рекламу. Сам апрельский Пленум 1985 года прошел без всяких неожиданностей. Конечно, весьма шебуршилась группа стариков, ставивших на Гришина, однако смерть трех лидеров подряд не располагала к его поддержке даже со стороны самых дебильных членов ЦК. Большую роль сыграл на пленуме Громыко: перед этим через нашу агентуру до него постоянно доводили информацию о том, что Горбачев с огромным вниманием относится к его опыту не только во внешней, но и во внутренней политике (страну Громыко совершенно не знал и часто удивлялся на Политбюро, что в некоторых городах нет мяса) и рассчитывает на него опираться.

Итак, во главе страны встал Горбачев, его прекрасно подпирают Лигачев и Рыжков, к счастью, считающий себя хорошим экономистом, как и все наши директора, умеющие только просить деньги и отдавать направо и налево приказы. Пока неясно, куда двигать Шеварднадзе, эмоционального, как все грузины. По-видимому, на его плечи придется взвалить отношения с Западом, можно представить, какое впечатление произведет порывистый грузин на западных холодных прагматиков.

...Ю.В. (так мы называли Андропова между собой), как обычно, сам открыл дверь особняка в Колпачном и молча прошел со мной в кабинет. Выглядел он бледным и усталым после трудового дня. Чуть-чуть ссутулившись - привычка многих людей высокого роста, - он подошел к книжным полкам, достал оттуда "Вопросы ленинизма" И. Сталина и медленно перелистал книгу.

- Тут есть пометки Абакумова, - сказал он, улыбаясь. - Серьезно работал над собой, штудировал вождя. М-да, Сталин - это еще один

парадокс истории: сын алкоголика-сапожника, недоучившийся семинарист, а потом политик высочайшего класса, диктатор и интриган, перед которым и Макиавелли, и Черчилль, боявшийся его как огня, и тем более дилетант Рузвельт - просто обыкновенные дети, несмотря на их оксфорды и гарварды. Человек с огромным геополитическим чутьем. Единственная его ошибка в том, что он не создал социалистическую монархию, опираясь на органы. А почему, собственно, грузинам не быть на русском троне, если после Петра I не было ни одного императора с чисто русской кровью - все немцы, гольштинцы, датчане, черт их возьми! А ведь о восстановлении русской монархии, Михаил Петрович, завоюют уже на первом этапе "Голгофы". Будто весь царский режим был сплошной радостью для народа, и помещики не драли шкуру с крестьян, а купцы не жульничали, а ПРЕУМНОЖАЛИ, и фабрикантов-кровососов не было... Неужели Льва Толстого или Успенского сковала такая слепота, что не разглядели они истинной России?! Прогнивший был режим, потому и рухнул! Уже на первом этапе "Голгофы", - продолжал Ю.В., - у нас выплывет масса дряни, среди которой будут и жемчужные зерна, которые нужно пестовать. Появится разная шелуха: неудачливые лаборанты, младшие научные сотрудники и кандидаты наук, дворники, писавшие "в стол" белиберду и возомнившие себя великими, мелкие фарцовщики и спекулянты в таких темпах начнут накапливать капитал, что перед ними побледнеют рокфеллеры и ротшильды. Торгаши станут отцами нации, особенно мясники, - кажется, у Наполеона маршал Мюрат был из мясников? Это совершенно естественный процесс в любой переломной ситуации. Вся эта публика активно ринется в политику и начнет теснить нашу партийную номенклатуру, пока та не перестроится, не подладится и не примет новых условий игры. Нужно сразу собирать на них компру для последнего этапа, в то же время сохраняя их как опору в ходе реформ.

- Понятно, Юрий Владимирович. На прошлой встрече я передал вам материалы с идеологическим оформлением каждого этапа. Можем ли мы взять их за основу?

- Бесспорно. Первый этап должен быть особенно мутен, и Горбачев здесь совершенно незаменим. Потребуются новые лозунги. К счастью, наш

народ привык ко всему! Аплодируем же все мы таким перлам, как "Миру мир" или "Партия - наш рулевой". А "экономика должна быть экономной"? А тезис о том, что "учение Маркса всесильно потому, что оно верно"?

Вдумайтесь во все это, и вы мигом сойдете с ума! Лозунги первого этапа должны максимально запутать партию и весь народ. Больше обтекаемости, больше каучука! Неплохо, скажем, назвать весь процесс ПЕРЕСТРОЙКОЙ - я уже намекал на это Михаилу Сергеевичу. В нашей стране этот лозунг тут же подхватят, хотя никто не знает, что и зачем перестраивать. Лозунги первого этапа должны интриговать новизной и неизвестностью, например, **НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ**. На тему **НОВОГО** напишут тысячи диссертаций. Очень греют сердце **ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ** - можно подумать, что человечество едино. Побольше красноречивых эпитетов, от которых веет торжественностью, скажем, **СУДЬБОНОСНЫЙ**. Или **ПЛЮРАЛИЗМ**. Только не надо перебарщивать: не так давно в личной беседе с Михаилом Сергеевичем я употребил слово "коитус", но он не расслышал и воспроизвел его на заседании Политбюро как "консенсус". Лозунги второго этапа должны быть конкретнее и злее: **ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**, опять же **СВОБОДА**, **ДЕМОКРАТИЯ**, **СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ**, **СУВЕРЕНИТЕТ**, **ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ по АКЦИЯМ** (тут жизнь родила **ПРИВАТИЗАЦИЮ** и **ВАУЧЕР**, и мы не стали настаивать на терминологии Ю.В., ибо он сам всегда выступал против догматизма. - Авт.).

- А как быть с третьим этапом? - спросил я.

- Третий этап - самый страшный и странный, тут пойдут в ход любые лозунги, ибо народ уже разуверится во всем. Ваше дело только довести это состояние до точки кипения. Пойдут в ход и **СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЙНА**, и **ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ**, и **ПРАВИТЕЛЬСТВО - НА ВИСЕЛИЦУ!** Это этап неуправляемых эмоций, надеюсь, что к этому времени вы уже подготовите новый эшелон истинно социалистических политиков, которые устроят от власти все это дерьмо... Извините, я что-то устал...

Андропов отошел к окну и взглянул на здание на противоположной стороне улицы, где когда-то жил гетман Мазепа. Я попрощался и тихо вышел из особняка.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО**ИСХ. N 90/441****ИЗ АГЕНТУРНОЙ СВОДКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ****ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТА "А" (псевдоним Горбачева и его окружения. Авт.).**

Докладываем, что 6 марта 1986 года завершился XXVII съезд КПСС, организованный нами в соответствии с планом "Голгофа". Как и задумывалось, с помощью активных акций съезду был придан откровенно демагогический характер. В докладе Горбачева преобладали призывы к УСКОРЕНИЮ, поднятию экономики на уровень новых требований (?!), дальнейшей (?) ДЕМОКРАТИЗАЦИИ и т.д. Особенно взрывной характер на фоне откровенно дегенеративной антиалкогольной компании, когда уже в массовом порядке стали производить самогон, пить одеколон, политуру и разбавленный водой гуталин, носили подготовленные нами в соответствии с контрастной пропагандой тезисы о "борьбе за чистый и честный облик партийца, за принципиальную кадровую политику"...

Основным достижением январского пленума 1987 года считаем внедрение в широкий партийный оборот тезисов о ЗАСТОЕ (термин и вся разработка подготовлены в Институте кино при личном участии А. Нуйкина), что, как мы планируем, является началом широкой дискредитации прошлого, особенно Великой Отечественной войны, что оттолкнет от объекта "А" элитные партийные круги старшего поколения и сделает их важным дестабилизирующим фактором на последующих этапах...

Агентурой влияния проделана огромная работа, увенчавшаяся принятием на июньском Пленуме 1987 года положений о ХОЗРАСЧЕТЕ, КООПЕРАЦИИ и особенно ВЫБОРАХ ДИРЕКТОРОВ, что в целом должно послужить началом форсированного развала социалистической экономики. Удивительно, что партийно-административная верхушка с большим недоверием относится к идеям рынка. Даже такой опытный хозяйственник, как Ю. Лужков, на прямой вопрос на телевидении, не считает ли он новые экономические меры вариантом ленинского НЭПа, уклонился от ответа, опасаясь попасть в "рыночники".

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО**ИСХ. N 10/285****ИЗ АГЕНТУРНОЙ СВОДКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ****ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТА "Б" (псевдоним Ельцина и его окружения).**

"...Главное внимание уделяется обострению отношений между Горбачевым и Ельциным и созданию Ельцину образа пострадавшего за правду, столь любимого в народе. На подготовку пленума МГК в ноябре 1987 года не пришлось затратить почти никаких усилий: все и без того готовы были растерзать Ельцина, как требовали партийные традиции, и даже инкриминировали ему самоубийства некоторых райкомовских секретарей. Таким образом, сделан первый реальный шаг в закреплении в народном сознании имиджа Ельцина, как противовеса Горбачеву и политика, выступающего против руководства партии".

... Ю. В. задумчиво пил чай и пребывал в отличном расположении духа, словно и не был неизлечимо болен. Читал свои стихи, очень хвалил Володю (иначе он не называл Крючкова) за интересные рассказы о прошедших театральных премьерах.

- Хотя Филипп Денисович (Бобков - начальник идеологической "пятерки", ныне руководитель нашей группы в "Мосте", лично контролирующей деятельность московского правительства. Авт.) фигура незаурядная, которой и в подметки не годятся ни Бенкендорф, ни Дубельт, но он скучновато докладывает о новинках литературы и искусства, а Володя (Крючков. - Авт.) даже кое-что показывает и делает это с большим талантом! Впрочем, не будем отвлекаться: вот уже почти три месяца я буквально фильтрую досье наших партийных руководителей, чтобы найти фигуру для второго этапа "Голгофы". Есть блестящие умы в международном отделе, скажем, Фалин, Загладин, Черняев, даже Бурлацкий, но все они обинтеллигентились и не годятся на роль народного лидера - от них так и пахнет Академией наук и ученостью, а наш народ этого не выносит. Нам нужен истинно русский характер, с его разухабистостью и широтой, выпивоха и балагур, который может и сплясать под гармошку, и сигануть на спор в речку, и дать в нос, если ему так захочется.

- А просмотрели ли вы нашу провинцию? - спросил я. - Все-таки и Ленина, и Бунина, и Сталина, и Солженицына нам дали не Москва и не Ленинград...

- Естественно, просмотрел, но мало живых, интересных людей,- вздохнул он- кроме...

- Ельцина? - осторожно вставил я, не совсем уверенный, что попал в точку.

- Правильно! Не зря вы со своими оперативными группами прочесали всю страну! В общем, Ельцин ничем не отличается от Горбачева в идеологическом плане: та же партучеба, та же карьера, та же партийная зашоренность. Но как личность он гораздо колоритнее и тверже. Если Горбачев обожает долго и искусно плести сети, то Борис Николаевич склонен рубить с плеча. При этом у него есть великолепное качество для лидера второго этапа "Голгофы": он твердо верит в правильность каждого своего шага. К тому же впоследствии, как учил Маркс, он подвергает свои действия сомнению. Но с Ельциным у вас предстоит большая работа: во-первых, ему нужно создать имидж и здесь и за рубежом, во-вторых, воспитать из него демократа и приверженца капиталистического рынка, именно дико-капиталистического, а не с разными социал-демократическими штучками-дрючками. ИНТЕРЕСЫ НАРОДА, ЕГО БЛАГОПОЛУЧИЕ, БОРЬБА ПРОТИВ ПРИВИЛЕГИЙ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ - вот лозунги для Бориса Николаевича. Его бесспорно поддержит громадная часть нашей интеллигенции. Помните, вы приносили мне обобщенный анализ разговоров на кухнях наших ученых, писателей и других интеллектуалов? Кстати, больше всего меня поразил не сам анализ - я и так прекрасно знал, что все они держат фигу в кармане, - а то, что они включают воду, исходя из нелепой предпосылки, что КГБ не в состоянии фильтровать шумы. Им бы у большевиков поучиться конспирации! Публика эта ненадежная, каждый будет дуть в свою дуду, потом все передерутся, но по невежеству, конечно же, грудью встанут на защиту рыночных реформ. Филипп Денисович (Бобков. Авт.) их бесплатно выпускает за границу, и у всех впечатление о Западе складывается на основе витрин, заваленных товарами. Никто толком и не знает, как там живут и, главное, как зарабатывают деньги. Ведь

вопросы денег нашу интеллектуальную элиту не интересуют: у них и масса санаториев, и писательские дачи в Переделкине, и дикие тиражи книг, которые никто не читает, и государственные премии, и множество других подачек, их они вовсе не ценят. Где еще в мире государство содержит 10 тысяч писателей, из которых сносно писать могут лишь человек пять-шесть? Где еще есть рестораны ВТО, дома ученых, архитекторов и журналистов? Попробуйте отыскать в Нью-Йорке Центральный дом американских литераторов! Но рынок они поддержат, ибо каждый считает себя гением, на которого будет спрос, а потом почти все пойдут по миру с голой задницей! Извините за это выражение, Михаил Петрович (я действительно был поражен, ибо за все время слышал от Ю.В. только слова "дерьмо" или "дермук", и то в отношении американского президента Картера, докучавшего нам всем своими воплями о нарушении в СССР прав человека. Авт.). Как раз перед нашим рандеву меня весьма расстроил Филипп Денисович: говорит, что вся наша интеллигенция так и рвется в агенты КГБ, добивается этого высокого звания! Я, конечно, приказал дать им от ворот поворот, ибо мы лишимся надежной опоры в тот момент, когда начнем разгром КГБ, - они же будут бояться разоблачений! Что ж, сегодня мы хорошо поработали, пора и отдохнуть! Кстати, я собираюсь лечь в больницу...

- Как же мы будем держать связь? - испугался я. - Навещать вас в больнице?

- Ни в коем случае! Туда хлынет все Политбюро, вы же знаете наших подхалимов! Вас могут засечь. Придется мне конспиративно приезжать сюда,- улыбнулся Андропов. - Для вашего личного сведения, Михаил Петрович, состояние моего здоровья весьма плачевно...

По-видимому, в тот момент лицо мое выражало сострадание и растерянность, ибо Юрий Владимирович улыбнулся, похлопал меня по плечу, стараясь ободрить, и довел до лестницы. Спускаться со мной он не стал, даже это было для него уже не просто.

ИЗ ДНЕВНИКА АВТОРА

После XIX Всесоюзной партийной конференции 1988 года, черт бы ее побрал, я слег в больницу из-за перегрузок. Увы, но Ю.В. многое не рассчитал, и мы сорвали сроки, установленные "Голгофой", уже на первом этапе. Партийная номенклатура, да и вся партия оказались намного тупее, чем мы предполагали. Никто не мог понять, куда ведет Горбачев, каждый держался за свой стул и больше всего боялся любых перемен. Но не мог же Михаил Сергеевич с высокой трибуны заявить на всю страну: товарищи, давайте строить капитализм, рвите на части народную собственность, превращайтесь в предпринимателей! А они, дураки, ничего не понимали, особенно в обкомах, им все казалось, что предел человеческих мечтаний - это госдача, спецпак, машина, спецмедицина и поездка с санкцией ЦК раз в год за границу на съезд какой-нибудь вшивой коммунистической партии племени мумбо-юмбо! Не призывать же тогда Михаилу Сергеевичу: товарищи, вы будете иметь счета в швейцарских банках, постройте себе шикарные собственные(!) виллы на Николиной Горе и в Калифорнии, будете направлять своих детей в Оксфорд и покупать им квартиры в Париже и Нью-Йорке! Ваши жены будут бродить по Цюриху с кредитными карточками, покупать все, что заблагорассудится. А отдыхать вы будете целыми семьями, с внуками и правнуками, и не в комфортабельных, но безвкусных цэковских и совминовских санаториях, где из-за вездесущего глаза "девятки" и с незнакомой девицей даже поговорить опасно - выгонят за аморалку! А на Канарских островах в люксах лучших отелей мира, где кого угодно можно иметь на всю ночь за какую-то жалкую тысячу долларов! Не мог этого заявить Михаил Сергеевич по естественным политическим причинам. Впрочем, в нашем раскладе этого и не предусматривалось, но мы-то рассчитывали, что партийная публика уловит намеки и подтексты! Отдадим должное только комсомольцам из ЦК - они-то сразу усекли, где собака зарыта, и тут же начали плодить кооперативы, совместные предприятия, инвестировать куда надо партийные денежки. Неразбериху, шум, гвалт, выкрики на XIX партийной конференции мы, естественно, инспирировали неплохо, тут были задействованы все оперативные группы. С одной стороны, тупость, а с другой - боязливость: так, по нашему заданию Попов, Бунич, Старовойтова уже разработали проект возрождения в СССР частной собственности, однако в последний момент сдрейфили, боясь

исключения из партии. Юрий Бондарев вещал, что неизвестно, где приземлится самолет перестройки, кто-то утверждал на полном серьезе, что американский капитализм - это и есть истинный социализм, запутались в шведском и швейцарском социализме... И опять никто не понимал, куда клонит Горбачев. А мы-то рассчитывали, что именно 1988 год станет концом первого этапа!

Создать Борису Николаевичу имидж народного героя в соответствии с заветами Ю.В. оказалось делом непростым, тем более что он ошибся: пил Ельцин вполне умеренно, как и все мы, чекисты и партийцы, по поллитра на нос, что под хорошую закуску вообще незаметно у нормального мужика, пил, как это ни смешно, по праздникам, хотя, конечно, бывали и отклонения, когда к нему заходил Михаил Никифорович Полторанин. Репутацию пьющего ему создал у Ю.В. Михаил Сергеевич, для которого и две рюмки - это выпивка. Таким образом, Агентурная группа "Б", дабы сделать Бориса Николаевича популярным в народе, вынуждена была разработать серию мер по созданию ему соответствующей репутации. И мы провозились бы с этим года два, если бы не Михаил Сергеевич, не знавший русского национального характера и считавший, что пьянство - это пятно для политика. Когда Ельцин выехал в США с лекциями, я сопровождал его, реализуя задачу "Голгофы": укрепить репутацию Ельцина за границей. До сих пор, прокручивая пленку с известным выступлением Ельцина в университете, я восторгаюсь его обаянием и остроумием - американцы впервые увидели непосредственного русского человека, отличавшегося от излишне цивилизованного Горбачева и прямотой, и порою грубоватостью. Однако ни я, ни вся оперативная группа "Б" понятия не имели, что Горбачев заполучил эту пленку и решил, варьируя ее на разных скоростях, скомпрометировать Ельцина. Показ пленки по телевидению и перепечатка в "Правде" инспирированной статьи из газеты "Республика" о том, как он пил и гулял в США, вопреки расчетам Михаила Сергеевича, резко подняли рейтинг Ельцина и значительно облегчили нашу задачу. Оставалось только закрепить успех, и в этих целях была разработана оперативная комбинация, в которой довелось участвовать и мне лично.

Дело было на подмосковной даче, нас было трое: Борис Николаевич, я и Сажи Умалатова, которую я считал и считаю самой красивой женщиной в СССР. Борис Николаевич, как обычно, не пил, мы же с Сажи выпили пару бутылочек и предложили Ельцину выкупаться в Москва-реке. Как известно, Ельцин не может спокойно пройти мимо речки, и это вполне объяснимо: вся Россия с древних времен располагалась на берегах рек, у нас, славян, желание искупаться носит генетический и, я даже сказал бы, исторический характер. Группа "Б" уже контролировала и берег, и ГАИ на Успенском шоссе. Борис Николаевич взял полотенце, мы с Сажи обнялись, затаили "Подмосковные вечера" и все вместе отправились на берег. Тут я разделся донага, поскольку было темно, мигнул незаметно фонариком своим ребятам и сиганул с моста в речку. Все было организовано очень тактично, ребята появились вовремя, однако весь инцидент был передан в печать как скандал, в центре внимания, естественно, оказался Борис Николаевич, причем с дамой. Горбачев торжествовал, но совестливый, черт его побери, Бакатин, тогда министр внутренних дел, не разматал это дело и не отправил, как предполагалось, Ельцина (вместе с Сажи) в вытрезвитель, своим чистоплутьством подорвав всю комбинацию. Но успех все же был налицо. В сознании народном Ельцин стал истинным Ильей Муромцем. Еще Юрий Владимирович считал большим достоинством Ельцина его игру в волейбол, ведь спортивность ценится в нашем народе, редко отходящим от телевизора. Агентура пыталась убедить Бориса Николаевича, что любимец народа должен играть в городки или, по крайней мере, купаться в проруби, правительством. Однако упрямство Ельцина хорошо известно (в досье этому качеству уделено несколько страниц), и он упорно отбивался от всех попыток втянуть его в народный спорт. Более того, вопреки нашему плану, он увлекся теннисом, будто он не русский человек, а какой-то английский лорд, и пару раз даже ударил клюшкой на площадке для гольфа, что сразу же пошатнуло его имидж. Ох, и нелегко было лепить из Ельцина лидера второго и третьего этапов "Голгофы"! Особенно мешал нам Бурбулис своей внешностью коварного иезуита и голосом кастрата Сикстинской капеллы. Хотя человек он милейший и видит Россию на век-другой вперед, он слишком много вертелся вокруг Ельцина, не ведая того, что отпугивает от него почитателей. Зато помогал Михаил Никифорович (Полторанин) своими

мягкими манерами, любовью к прессе и ненавязчивым антисемитизмом, который при любых обстоятельствах всегда поднимает рейтинг.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ИСХ. N 3487

ИЗ ОБЗОРА АГЕНТУРНЫХ СВОДОК ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТОВ "А" и "Б"

...Неудача на XIX партконференции и затяжка "Голгофы" показали, что даже элита нашего общества поразительно труслива и нерешительна. История с Ниной Андреевной (она прислала письмо с критикой перестройки Лигачеву, в которого влюбилась на партконференции, и рассчитывала завязать с ним роман), когда Лигачев чуть было в одночасье не ликвидировал гласность, до смерти напугав главных редакторов газет демократической ориентации, и не отбросил нас назад уже на первом этапе "Голгофы", показывает, что интеллигенция - опора перестройки - также гораздо трусливее, чем мы предполагали, и дорожит своим фактически жалким существованием. Все это вынуждает нас принять серию мер по созданию более активного демократического блока, объединяющего интеллигенцию, уже с 60-х годов зараженную идеями "оттепели", прежде всего свободой передвижения по миру (предполагается, за государственный счет), и подготовленные нами в школах КГБ уголовные круги, уже развернувшие бурную деятельность в кооперативах и СП. Проведены также важные вербовки в СМИ, необходимые для идейной обработки населения, на телевидении созданы деструктивные программы "Взгляд", "До и после полуночи" и другие, подготовлены ведущие - Миткова, Гурнов, Ростов, своим раскрепощенным видом развивающие в зрителях чувство безответственности и расхлябанности. Инспирирован закон о наказании тех, кто не дает информацию для СМИ, что, вследствие уже указанной трусости элиты, обеспечивает проникновение даже в секретные учреждения. Вся компания проходит под лозунгом ГЛАСНОСТИ (отметим, что это - наше изобретение, Ю.В. предпочитал лозунг СВОБОДЫ, однако он недооценил любовь народа к более мутным терминам.) Акцент сделан на борьбу с привилегиями. До сведения Бориса Николаевича через Чазова

доведена информация, что в кремлевской больнице его собираются отравить, вследствие чего он перешел в районную поликлинику, изменена его линия на езду в общественном транспорте, как уже отработанный вариант, Ельцину выделены деньги на покупку "Волги". Организована автомобильная авария при нахождении в салоне машины Бориса Николаевича, на этой основе распущены слухи о покушении, которое подготовил Горбачев. Противоречия в коммунистической партии доведены до предела, практически она полностью деморализована и существует только из-за нерешительности и трусости демократов. Для большего обострения политической ситуации и прессинга на Горбачева активизированы группа "Союз" в Верховном Совете, "Память", различные националистические организации и ЛДПР. (Кстати, Жириновский никогда не был нашим агентом, таких, как он, мы и близко не подпускали, охраняя чистоту знамени. По нашим данным, он является агентом "Моссада", задача которого запугать всех евреев не только у нас, но в Европе и США и заставить их выехать в Израиль.)

ИЗ ДНЕВНИКА АВТОРА

ГКЧП был предусмотрен в плане "Голгофа" и одобрен лично Андроповым как мера по переходу ко второму этапу. Реализация этой острой акции возлагалась на Крючкова, который должен был предложить место председателя ГКЧП Борису Николаевичу. "Володя - прекрасный организатор, - говорил Ю.В, однако у него есть только опыт подавления революций (имеется в виду Венгрия 1956 года, где Крючков работал с послом Андроповым) и нет опыта переворотов. Поэтому прошу держать его под контролем, иначе он завалит все дело". Так оно и получилось, сказала аппаратная школа. Вместо того чтобы сразу же предложить место председателя Ельцину, Крючков под нажимом впавших в панику остальных членов ГКЧП начал все утрясать и согласовывать с Горбачевым. Тут мы столкнулись с совершенно новым феноменом: несмотря на острейшие противоречия между Белым домом и Кремлем, никто не хотел идти на конфликт и портить друг с другом отношения. Ельцин сам писал: "Мне кажется, если бы у Горбачева не было бы Ельцина, ему пришлось бы его

выдумать... Я буду драться за Горбачева". Однако, согласно "Голгофе", Горбачев уже был не нужен. В августовские дни никто из моих подчиненных не спал, мы металась между Кремлем и Белым домом, всеми силами стремясь обострить их отношения. Без ложной скромности хочу признать, что я лично организовал главный толчок в операции: посадил Бориса Николаевича на танк (он плохо двигался) и напомнил ему, как решительно действовал Ильич. Тогда Ельцин и объявил ГКЧП вне закона, чем дико всех напугал, и стал хозяином положения. Оказался удачным и второй мой ход: я поспорил с Борисом Николаевичем на ящик жигулевского пива (западные марки, кстати, он терпеть не может - там много химии), что Горбачев не распустит коммунистическую партию. Отсюда и прессинг Ельцина на Горбачева на сессии Верховного Совета после провала ГКЧП и, наконец, его указ о запрещении коммунистической партии (он рассчитывал, естественно, получить свое пиво, однако я ему справедливо указал на нарушение условий пари).

...Ю.В. приехал в Колпачный уже в очень тяжелом состоянии, отказался от чая, извинился и прилег на тахту.

- Что-то я чувствую себя неважно. Слава Богу, план "Голгофы" я уже подписал, однако давайте будем реалистами: как любой человек, я могу ошибаться и неверно прогнозировать. Более того, я считаю глупым догматическое выполнение каждого пункта "Голгофы", особенно на втором и третьем этапах, отмеченных хаосом и непредсказуемостью. Однако, мне совершенно ясно, что проведение "диких" реформ при Ельцине следует возложить на интеллигента, желательно на лицо еврейской национальности (все-таки Ю.В., несмотря на свою мудрость и дальновидность, был воспитанником старой школы, там слово "еврей" считалось не отвечающим духу пролетарского интернационализма) или хотя бы на человека с разъевшейся мордой и с дурной фамилией. Сейчас мне трудно назвать имя, но у нас, к счастью, расплодилось масса НИИ, там и разыщите теоретика, их там пруд пруди, все лопаются от амбиций. Он должен и начать реформы, и подобрать такую же команду умников, не имеющих никакой практики. Для чего это нужно? Любой практик, естественно, начнет размышлять исходя из своего опыта, а теоретика - море по колено, он схватит томик Хайека или

даже Джона Стюарта Милля и тут же воплотит его в жизнь. Реформы должны быть жестокими в отношении народа и радикальными. Советую вам перечитать Джека Лондона или О'Генри - там очень славно перегрызают друг другу горло золотоискатели. Интеллигент нам нужен для того, чтобы потом было легче обратить против него гнев народа, который до сих пор не выносит людей в шляпах и очках. Все это потребуется на третьем и четвертом этапах, прошу вас уберечь этих товарищей от смертной казни, но срок давать не меньше десяти лет. Необходимо также разбавить теоретиков прагматиками-хозяйственниками, чтобы... Помните у Крылова? "Однажды лебедь, рак да щука..." Ох уж они такой рыночек построят, что все взвоют от ужаса!

СОВ. СЕКРЕТНО

ИСХ. N 490

**ИЗ ДОНЕСЕНИЙ АГЕНТУРНОЙ ГРУППЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА**

В результате принятых нами мер на истории Советского Союза поставлен крест и все развитие страны признано "отклонением". Началось активное переименование улиц в Москве и Ленинграде (возвращение отмененных названий предусмотрено на четвертом этапе), однако, этот процесс, несмотря на наши усилия, не получил поддержки в провинции. Это объясняется тем, что народ там недостаточно образован, многие считают, что до сих пор у власти стоит Ленин, и не понимают, зачем нужно сносить памятники вождю. Нам не удалось организовать публичное сожжение книг Горького, Маяковского и других соцреалистов, мы также решили не выносить из мавзолея прах Ленина для захоронения на Волковом кладбище, а разработали серию мер, включая взрыв бомбы в мавзолее, различные надругательства над прахом, которые привели бы массы в более революционное состояние. Большого успеха мы добились на телевидении благодаря широкому показу презентаций и американской рекламы, что действует на обнищавший народ, как красный цвет на быка. По разработанной нами методике резко участилось употребление и постоянное повторение таких слов, как СВОБОДА И ДЕМОКРАТИЯ, - в результате

большинство населения уже считает эти слова ругательствами, "демократ ху@в" стало самым ходовым выражением. Скомпрометировано также понятие патриотизма, которое теперь отождествляют с косностью и даже с хулиганством, благодаря шумным выступлениям Анпилова. Регулярный показ по телевидению крупных и мелких жуликов как честных благодетелей оказывает необходимое разрушительное воздействие на духовные ценности, которые пока еще остались у населения. Продолжается поощрение оккультных наук, выступления Кашпировского и Чумака, из Индии нами ввезены кришнаиты, приглашены также и американские проповедники, приняты и другие меры по конфессиональному развалу общества. В СМИ регулярно проводится компания по внушению публике, что единственной ценностью в жизни являются деньги, большую помощь нам оказывают валютные проститутки, рассказывающие молодому поколению, как нужно жить. Однако следует признать, что нам не удалось в полной мере пробить на телевидении хлесткую порнографию, в частности детский секс, скотоложство, некрофилию.

ИЗ ДНЕВНИКА АВТОРА

После августовских событий наша задача прежде всего заключалась в доведении населения до полного обнищания. Юрий Владимирович недооценил разрушительные таланты наших экономистов-теоретиков, практически за два года были выполнены все пункты второго этапа "Голгофы" и отпала необходимость в третьем этапе, который органически начался уже после подписания Беловежских соглашений. Следует отметить, что они не предусматривались "Голгофой", поскольку Ю.В. мыслил новое общество в рамках Советского Союза. Несколько раз в наших частных беседах с Андроповым я проводил мысль о возможном распаде СССР, войнах в Средней Азии и на Кавказе, войны России с Украиной из-за Крыма и Донбасса, наконец, третьей мировой войны на территории СССР из-за перекройки границ.

- Все может произойти, Михаил Петрович, - говорил Ю.В. - Мы даем в "Голгофе" магистральные направления и не можем всего предусмотреть, однако, я не могу представить, что новые лидеры окажутся настолько глупыми, что подойдут к последнему этапу самыми кровавыми методами.

Если мы не будем верить в людей, мы не сможем построить новое общество!

Все-таки Ю.В. был чистым человеком и идеалистом! Но даже я, при всей искушенности в грязных делах шпионажа, не мог себе представить всей стремительности нашего приближения к завершающей фазе. Свободные цены, ограбление населения и государством и частными компаниями, инфляция, повальная коррупция, обогащение и воровство под лозунгами борьбы с привилегиями, полная криминализация страны - все это, согласно "Голгофе", должно было быть реализовано в течение двадцати лет, мы же перевыполнили план и добились успехов уже к 1993 году. Особенно блестяще проводилась кампания по борьбе с привилегиями - в результате их стало во много раз больше, что обозлило народ до крайности. В "Голгофе" большое значение уделялось росту преступности, наша беда заключалась в том, что в России почти не осталось крупных аферистов, их всех пересадили, зато в избытке существовали хулиганы и мелкие воришки. В связи с этим еще при жизни Андропова мы создали в КГБ специальные школы, в которых тщательно готовили квалифицированную мафию, даже учили их иностранным языкам, дабы их будущие дела охватывали весь мир. Мы установили тесный боевой контакт с ЦРУ, которое по нашей просьбе быстро подчинило себе все страны Восточной Европы, вообще все внешние события, после того, как Горбачеву удалось развеять страхи у запуганного ранее Запада, развивались очень легко и сводились к простейшей формуле: "Запад давит, а мы уступаем" и временами к более эффективной формуле: "Мы уступаем, а Запад не понимает, зачем, и теряется". Идеальной фигурой для такой внешней политики являлся Андрей Козырев, правда, он настолько был подвержен различным взаимоисключающим веяниям, что мы не всегда были уверены в успехе, однако Козырев обладал превосходным качеством: он служил верно, и смотрел в рот президенту, поэтому влияние на него проводилось через агентуру из президентского окружения. В то же время мы очень опасались, что новые руководители вообще забудут о государственности и приучат к этому народ (а как же последний этап?), и потому ввели "тактику взбрыкивания", т.е. внезапного и неоправданного выступления против

Запада, в частности, наша продажная пресса много писала о скандале в ирландском аэропорту в Шенноне, когда президент не вышел из самолета для встречи с ирландским премьером. Газетчики объясняли это известной слабостью президента (я уже писал, что это фикция!), а на самом деле это была глубоко продуманная нами "активка": с какой это стати президент великой державы будет спускаться вниз для встречи с каким-то вонючим ирландцем?! В конце концов, тот может сам подняться по трапу в самолет, невелика шишка! В дальнем стратегическом плане наша внешняя политика сводилась к тому, чтобы с помощью широкой инфильтрации за границу наших мафии, жулья и просто страждущих граждан заставить Запад воздвигнуть новый "железный занавес", возможно, даже стену наподобие берлинской, но по длине китайскую. Таким образом, Запад расписался бы в полном фиаско всех своих демократических достижений и отдал бы в наши руки серьезную политическую победу, обеспечивающую триумф нового социализма.

Однако, если быть самокритичным, были и просчеты. Мероприятие типа октябрьских событий, с баррикадами, танками и расстрелом Белого дома (по "Голгофе" предусматривался Кремль), мы предполагали провести перед самым переходом к четвертой фазе, т.е. использовать и спровоцированное нами нарушение конституции президентом, и разбойные выступления оппозиции как повод для разгрома обеих сторон и захвата власти. Октябрьские события застали нас врасплох, ибо к этому времени нами еще не была подготовлена агентура для нового правительства. Естественно, наши люди регулярно информировали нас об окружении Руцкого, Хасбулатова, Анпилова, Баркашова и других, упирая на их хулиганские и даже бандитские наклонности, большая часть оппозиции тоже нами субсидировалась, газета "День" превосходно выполняла свою функцию по разжиганию гражданской войны. Впрочем, приходилось оплачивать и крайности в другом лагере, в частности, газеты "Известия" и "Сегодня". В то же время мы пришли к выводу, что "непримиримая оппозиция", несмотря на свою неосознанную склонность к социализму, вряд ли сможет стать нашей опорой на завершающем этапе. Большинство ее лидеров были склонны к истерии и кликушеству, большую популярность

имело ношение непонятно какой формы, что весьма напоминало карнавал, все движение было охвачено неестественным религиозным экстазом, который на последнем этапе, несомненно, вошел бы в конфликт с нашими целями. Особо тягостное впечатление произвела неспособность Руцкого реализовать чемоданы с компроматами, которые мы для него специально насобирали и в стране, и за кордоном, впрочем, и демократическая сторона, несмотря на внедрение в ее среду под крышей генерала талантливого организатора, бывшего секретаря Союза адвокатов Якубовского, также оказалась бессильной в работе с компроматами. Хотя октябрьские события 1993 года и были неожиданными для нас, подключились мы к ним сразу. Первый же прогноз развития политической ситуации в случае прихода к власти Руцкого ясно показал, что мы можем получить вариант горбачевского периода, т.е. операция "Голгофа" откатится со второго на первый этап, что было не в наших интересах. Поскольку высшие чины Министерства обороны испытывали колебания и не хотели вмешиваться в конфликт, пришлось через надежных агентов пообещать главным армейским фигурам по даче и по три танка для последующей реализации за границей в твердой валюте. Собственно, к знаменитой встрече Ельцина с военными все уже было готово, однако в целях конспирации военные немного подискутировали этот вопрос с президентом, проявляя якобы неуступчивость.

На втором этапе мы столкнулись с феноменом, который не фигурировал ни в одном из наших прогнозов. В мировой практике любое правительство делает все ради того, чтобы понравиться народу, включая, естественно, и демагогические обещания. Однако, и правительство Гайдара, и правительство Черномырдина постоянно рубили сук, на котором сидели, и делали все, чтобы отвратить от себя народ. Нелепые попытки стоять на церковных службах со скорбно-плаксивыми лицами и свечами в руках, что транслировалось по телевидению, не вызывали у населения ничего, кроме дикого хохота. С одной стороны, это облегчало наши мероприятия по компрометации режима, с другой излишне форсировало второй этап и неоправданно приближало нас к развязке.

... Ю.В. в нашу последнюю встречу в тихом особнячке в Колпачном переулке выглядел ужасно, и я не мог смотреть на него без внутренней боли.

- Я не хочу давать четкие определения нового общества, однако мне совершенно ясно, что решающую роль в нем будет играть чиновничество. Ленин в свое время совершил кардинальную ошибку, придумав "слово государственной машины", он просто не понимал природы бюрократии, которая готова служить кому угодно. Поверьте мне, как только мы провозгласим лозунги СОКРАЩЕНИЯ АППАРАТА и начнем рыночные реформы, все бюджетные организации, включая армию и КГБ, страшно перепугаются и окажут им активное сопротивление. Не будем впадать в заблуждение, объясняя это сопротивлением идейными причинами, - просто каждый будет бояться потерять свое кресло. Впрочем, очень скоро аппарат станет самым верным сторонником дико-капиталистического режима, вырастет в несколько раз, почувствует вкус взяточничества и вообще встанет над политическими партиями... - Андропов задумался.

- У меня есть некоторые сомнения, Юрий Владимирович: а нужны ли нам в новом государстве политические партии? Мы так удачно отучили население СССР от политики, что стоит ли возрождать этот говорливый и беспомощный институт? Да и парламент... помните, еще Маркс писал, что это "собрание старых баб"?

- Некоторую видимость политики следует сохранить, - заметил Ю.В. - Хотя бы для того, чтобы прилично выглядеть перед Западом. Однако в целом я с вами согласен: управлять должен умный и квалифицированный аппарат, а не говоруны с улицы... Боже, как я ненавижу этих болтунов-политиков! Поверьте мне, наш парламент даст себе какое-нибудь идиотское название вроде "вече" (тут он не угадал)... извините, я сегодня плохо себя чувствую. До свиданья...

Это была наша последняя встреча.

Дальнейшее развитие событий вы прекрасно знаете: Борис Властолюбивый благополучно передал бразды правления нашему человеку, подполковнику Владимиру Владимировичу Путину. «Голгофа»

завершилась триумфально. «Героя России» я ожидаю с нетерпением уже много лет, разве я не круче великой прорирательницы Ванги? (последний абзац я дописал сейчас, в 2017, а «Голгофа» гремела аж в 1995).

Далее началась феерия.

В редакцию газеты "Совершенно секретно" от Г. Старовойтовой.

Уважаемые коллеги! Являясь читателем (а как-то была и автором) газеты "СС" с удивлением обнаружила в N 2 за 1995 год хлестаковскую болтовню М. Любимова, который нагло врет, что давал мне (а также Попову и Буничу) "задание разработать проект возрождения в СССР частной собственности" (!?) Однако мы "в последний момент сдрейфили, боясь исключения из партии". Сообщаю редакции, что никакого М. Любимова я знать не знаю; в его партии (КПСС+КГБ) никогда не состояла - а поскольку судиться мне некогда, то лучше опубликуйте это мое опровержение в ближайшем номере по-хорошему. В соответствии с законом об СМИ.

Г. Старовойтова 22 февраля 95 г.

Письмо вроде бы без ругательств, но с угрозой. Вполне по-демократически. Отклики сыпались проливным дождем. Не могла не откликнуться знаменитая ленинградская партийка Нина Андреева, она оскорбилась обвинением во влюбленности в Лигачева. Опровергли под хохот публики. Сажи Умалатова неожиданно вспыхнула через десять лет на телешоу с Еленой Хангой, где я тоже присутствовал. Сажи совершенно неожиданно обвинила меня во лживости по поводу пьянки с Ельциным, и мы вдвоем почти дословно воспроизвели вышеприведенный отрывок. Зал покатывался от смеха. Но Умалатовой этого показалось мало, и она подала на меня в суд, видимо, рассчитывая на пиар. Я честно приходил в Краснопресненский суд, познакомился с Сажи, весьма приятной в обращении, но до разбирательства дело не дошло (а так хотелось!) из-за неявок Умалатовой на заседания.

Долго гремел скандал вокруг «Голгофы», даже мудро думающая Дума подключилась... Мы в газете только радовались шумихе, подскочил тираж, я подбросил масла в огонь, опубликовав заявление.

К ВОПРОСУ О МОЗГАХ

"Судя по письму в редакцию, Галина Старовойтова читала Гоголя, и это отрадно: значит, она знает, что наш великий сатирик любил посмеяться и справедливо полагал, что смех очищает душу человека и помогает ему жить. Умение же посмеяться над самим собой - одна из отличительных особенностей русского национального характера, что, наверное, тоже известно бывшему советнику президента по национальным вопросам, в частности и по Чечне. А что касается суда, которым в грубом тоне грозит "мать" российской демократии, то это все равно, что Пушкину подавать в суд на Гоголя - ведь Хлестаков сказал, что он с Пушкиным на дружеской ноге. Впрочем, общественность уже соскучилась по процессам над художественными произведениями, новые поколения, возвращенные в нашей солнечной демократии, и не помнят судилище над Даниэлем и Синявским, когда им припаивали мысли их литературных персонажей, не говоря уже о травле Зощенко под лицемерные причитания, что "Гоголи и Щедрины нам нужны". В одной лодке с Галиной Старовойтовой по иронии судьбы оказались и многие видные чекисты, возмущенные тем, что я возвел поклеп на "органы", не имел, мол, КГБ таких планов, хотя честно сигнализировал о грядущей смуте. При этом подчеркивалось, что в КГБ были другие, не менее важные планы, но я к ним не имел никакого отношения. Бывший сотрудник секретариата Ю. Андропова прямо признался, что через него план "Голгофа" не проходил. Некоторые думцы, редакторы газет тоже начали мучительно думать, правда это или вымысел, но официально свой протест на всякий случай решили не выражать. Перепугались даже опытные предприниматели, тут же решившие отказаться от покупки в России собственных домов и вывезти капиталы на Запад до экспроприации на последнем этапе "Голгофы". Обозначились и общественные деятели, судорожно начавшие искать "руку", подвигнувшую автора на эту злую сатиру-предупреждение, а одна знаменитая и очень милая актриса назвала меня Карабасом-Барабасом, дергающим куклы за нитки.

Что стряслось с вашими мозгами, господа-товарищи? Можно ли с головой такого сомнительного качества заниматься политикой и безопасностью страны? Что на это сказать? Уместны, наверное, слова принца Гамлета: "Уходи в монастырь, Офелия!" Честно говоря, зная об еще одной черте

нашего национального характера - доверчивости, особенно к печатному слову, я умышленно внес в текст предельно абсурдные пассажи, кроме того, художник сознательно выполнил свою работу так, чтобы был виден фотомонтаж. Но и этого мало. Была использована фотография из Музея восковых фигур, на которой в средние века пытаются еретика водой из чайника, с подписью: "Подготовка агентов влияния в КГБ". Куда уж дальше? По старой советской привычке для перестраховки решили все же обозначить жанр - мемуар-роман, слово загадочное, но все же указывающее на беллетристику. Казалось бы, чего же еще? И все равно многие в редакции уверяли меня, что я не знаю свой родной народ, недооцениваю я тщеславия и надутости многих партийных деятелей и отдельных личностей, смотрящих на себя словно на богов, невдомек мне обидчивость даже целых организаций, не говоря уже о легковёрности отдельных граждан. Так оно и получилось! Даже официальный представитель ФСК С. Богданов в радиоинтервью заметил, что автору необходим психиатр (видимо, подразумевалась "психушка"). Не надо было вышибать из поликлиники, товарищи! Кстати, психиатр нужен всем нам, и в этом нет ничего дурного, а если наши правоохранительные органы не защитят страну от преступного произвола, то и психиатр уже не поможет. Самое невероятное, что на "Голгофу" клюнули и прожженные журналисты: программа российского канала "Не вырубить" прокомментировала статью на полном серьезе (о Боже!), а "Московская правда" вроде бы и не раскусила все дело, даже дойдя до пассажа о самой красивой женщине России Сажи Умалатовой. Благодарю раскрепощенное "Времечко" за предоставление трибуны для обсуждения "Голгофы" и надеюсь, что отныне все страждущие граждане будут валить свои беды - от неисправности канализации до обнищания и геморроя - на автора, с которого и спрос: ведь это он является главным исполнителем "Голгофы". Наконец, нашелся ответственный за все наши несчастья! Вдохновители нынешней российской внешней и внутренней политики могут спокойно почивать на лаврах - на Лобное место поведут не их, а меня! О времена! О нравы! "Со всех сторон его клянут, и только труп его увидя, как много сделал он, поймут, и как любил он, ненавидя".

Так неужели я писал все это для того, чтобы позабавить и читателей, и себя? Конечно, нет! Попробую объяснить. Я совершенно искренне поддерживал и перестройку, и Горбачева, и Ельцина, я считал, что август 1991 года и полный крах тоталитаризма станут счастливой точкой отсчета для новой, свободной России. Я и сейчас считаю, что без свободы и демократии жизнь нашего государства невысказана. Но только какой демократии? Какой свободы? Увы, после августовских событий мои иллюзии полностью развеялись: я поражен царскими произволом и несправедливостью, меня угнетает обнищание большинства соотечественников, у меня вызывает ненависть свора мафиози и жуликов, ставших хозяевами жизни. Вся политическая жизнь в стране представляется мне огромным цирком, где нет места для народа и где каждый занят только собой. Кто-то "укрепляет" свое политическое положение, кто-то в мифических опросах и рейтингах перемещается с пятого места на десятое и наоборот, и кого, интересно, все это волнует, кроме их самих? Из политики исчезло нравственное начало, которое в свое время играло важную роль и у Горбачева, и у Ельцина, все превратилось в балаган, в борьбу пауков в банке, не знающих компромисса. Я почти не вижу честных политиков, я редко вижу порядочных людей - одни лишь жаждущие рыла у корыта, рвущие зарплаты, квартиры, дачи. Все это как страшный сон, как бред сумасшедшего!! Об этом я и написал и придал этому форму "руки КГБ" и плана "Голгофа" по той причине, что органически не выношу теории "рук" - будь то руки КГБ, Моссада или ЦРУ. Я проработал в разведке более двадцати лет, я знаю силу и слабость и нашей, и других разведок, и я убежден в одном: мы не остров Фиджи, а крупнейшая страна мира, и ни одна шпионская спецслужба, в том числе и своя собственная, не в состоянии направить ход истории нашей страны. Откуда в России эта чертова слепая вера в заговоры и "руки"? Почему мы жаждем все упростить? Почему мы забываем о том, что наша жизнь - в наших руках, что мы сами, прежде всего, несем ответственность за самих себя? Так почему же все пошло в нашей стране, по уже классическому выражению В. Черномырдина, "не так, как хотелось, а так, как всегда"? Что это? Божий промысел? Неизбежная расплата за былое могущество, построенное во многом на насилии? Расплата за оккупацию Прибалтики и Восточной Европы? За то, что

молчали, когда Сталин уничтожал крестьянство и устраивал процессы? Или просто у любого народа рано или поздно наступает час заката? Если бы я мог дать ответы на эти вопросы! Если бы... Я лишь смотрю на наш политический цирк, я ищу на арене сынов Отечества, жаждущих власти не ради денег или ради самой власти, готовых хоть чем-то пожертвовать ради народа. Я смотрю на этот цирк, я смотрю, как мечутся по арене и что-то выкрикивают клоуны, и, словно веселые хлопушки, звучат выстрелы. И вдруг оседает на грязный лестничный пол, обливаясь кровью, Влад Листьев, вдруг я вижу разодранных осколками молодых ребят в Чечне - нет, это не игра, это не клюквенный сок, а самая настоящая человеческая кровь!

Я благодарю подавляющее большинство наших читателей, воспринявших мою сатиру с гомерическим хохотом. Спасибо, что вы сохраняете чувство юмора! Я прошу прощения у тех честных людей, которых ввела в заблуждение моя антиутопия, я прошу вас: будьте бдительны! Не будьте доверчивы! Не за горами выборы - научитесь отличать демагогов от нравственных людей! Гоните тех, кто вешает вам лапшу на уши! Пусть победит в политике честность! А цирк все гогочет, и пляшут клоуны, и льется кровь, и не видно этому конца..."

Так я пламенно писал в те лихие девяностые.

«Голгофу» перепечатали без моего ведома отдельной брошюрой, мигом распространили в Интернете, и до сих пор я нахожу самые разные комментарии. Иногда злюсь: вот какая-то нервная дама возмущается, что все написано по заказу западных спецслужб и интересуется, сколько я за все получил. А затем попрекает меня, что сын богат, и грозит: внуки за все заплатят!

М-да, за все комиссары заплатят до дна!

В свое время даже Государственная Дума запрашивала органы по поводу этой статьи, собирались проводить расследование...

До сих пор с благоговением перечитываю статью о «Голгофе», помещенную умнейшим Вадимом Валерьяновичем Кожиновым в книге «Судьба России: вчера, сегодня, завтра»:

"В "Правде России" от 5 мая 1995 года на первой полосе - как особо важный материал! – опубликовано по-своему весьма замечательное сообщение. Оказывается, группа читателей из города Петрозаводска, знакомясь с главами "мемуар-романа" видного советского разведчика полковника Михаила Любимова "Операция "Голгофа" (ежемесячник "Совершенно секретно". № 2 за 1995 г.), обнаружила, что одна из фотографий, иллюстрирующих это сочинение, представляет собой фотомонтаж. На подлинном снимке, информируют читатели, был запечатлен "первый секретарь Карельского обкома КПСС И.И. Сенькин. Но... увы, на его плечах на газетном снимке оказалась голова М. Любимова!".

Читатели называют этот казус "подлостью", между тем в теории сатиры такой довольно типичный прием (присоединение к телу не принадлежащей ему головы) с давних времен носит название "гротеск". Впрочем, было бы заведомо несправедливо предъявлять какие-либо упреки петрозаводцам, ибо сочинение М. Любимова вызвало, увы, возмущение или хотя бы глубокое недоумение у очень и очень большого количества людей. И в этом следует разобраться.

В "Операции 'Голгофа'" повествуется о действиях известнейших политических и идеологических фигур 1980 — 1990 годов – от Андропова до Ельцина, от Аганбегяна до Митковой. И повествование это представляет собой именно сатиру, подчас откровенно гротескную. В конце концов, своего рода ключ к сочинению дает само уже обозначение его жанра — "мемуар-роман"; оно звучит заведомо иронически и означает, в частности, что мемуары – вымышленные (роман). Смущенный бурной реакцией читателей, М. Любимов так оправдывался в следующем выпуске "Совершенно секретно": "...я умышленно внес в текст предельно абсурдные пассажи, кроме того, художник сознательно выполнил свою работу так, чтобы был виден фотомонтаж". И автор говорит правду. Ну в самом деле, разве уместно принимать за чистую монету такое, скажем, объяснение причины того, что в провинции не убирают памятников Ленину: "... народ там недостаточно образован, многие считают, что до сих пор у власти стоит Ленин"?! Или другой пассаж: "... еще при жизни Андропова (и по его повелению. В.К.) мы создали специальные школы, в которых тщательно

готовили квалифицированную мафию, даже учили их иностранным языкам". Или же: "Как известно, Ельцин не может спокойно пройти мимо реки... желание искупаться носит генетический характер". И т.д. и т.п.

И, тем не менее, сочинение М. Любимова чуть ли не большинство читателей воспринимало, как говорится, на полном серьезе. Чем это обусловлено? Думаю, прежде всего, тем, что российские читатели не привыкли к такой сатире, где "руководящие" деятели предстают под своими собственными именами. В 1970 — 1980 годах в наших газетах, правда, часто публиковали сочинения Арта Бухвальда, в коих сатирически и даже гротескно изображались под своими именами деятели США, начиная с президентов, однако отечественные произведения такого рода указать трудновато.

...Говоря о сочинении М. Любимова, нельзя было обойти вопрос о его читательском восприятии. Но суть дела не в этом. На мой взгляд, сей сатирический "мемуар-роман" – явление яркое и примечательное.

Преподнесенное в романе как реализация замысла Андропова беспощадное внедрение в Россию капитализма ради того, чтобы затем народ уже окончательно избрал социализм, – это, разумеется, чисто сатирическое, во многом гротескное изображение того, что происходило в стране за последнее десятилетие. Но с полным основанием можно утверждать, что именно такова – в основе своей – воля самой истории. Ведь именно так шло дело и после великих революций в Англии и Франции: самый решительный ход назад, восстановление монархии и феодальных привилегий, безоговорочные проклятия по адресу революции и всех ее последствий, а затем все же – окончательное утверждение нового экономического и политического строя, основы которого заложила революция. И те, кто сегодня особенно активно и "радикально" пытаются "строить" в стране капитализм, в будущем так или иначе будут вынуждены признать, что на деле-то они "поработали" на окончательное торжество социализма, то есть являлись деятелями, вполне подобными героям сочинения Михаила Любимова. Да, герои "освобождения цен", "приватизации" и прочего в конечном счете поймут, что – несмотря на весь драматизм или прямую трагичность нашего времени – они-то были – подобно английским и французским "реставраторам" – прежде всего комическими фигурами,

полностью готовыми стать прототипами героев самой язвительной сатиры. А "Операция "Голгофа" изобразила их таковыми уже сегодня".

Но идея разыгрывать легковверное население не могла пройти мимо нашего телевидения. И вот известный видовец Андрей Разбаш пригласил меня в маске в студию и, играя перепуганной мордой лица, взял интервью по поводу возглавляемого мною заговора (вариант "Голгофы"). Выступая как некий Игорь Львович, я бойко рассказывал о деталях операции, изрядно напугав некоторых слушателей, решивших, что произошел переворот. Были даже звонки из Киева, от ждущих, когда же в город войдут наши танки...

Поскольку ко мне пришла слава Нострадамуса, позволю себе напроочить время, когда начнется истерия борьбы со всеми бывшими чекистами, разведчиками, контрразведчиками и даже охранниками. Представляю собственную эксгумацию с закладыванием праха в пушку и залпом в синие небеса. И всего лишь за то, что я имел счастье касаться стопами коридора, по которому после моей отставки проходил еще молодой оперативник Владимир Путин. Действительно, наш англо-скандинавский отдел находился на одном этаже с германским – вот как нам несказанно повезло!

И все-таки мы живем в прекрасной стране.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КРЕЩЕНДО

"У меня много долгов и никакого имущества. Все
остальное раздайте нищим".

Франсуа Рабле

...Хрипловатый голос сообщает по радио, что двери закрываются, и двери действительно закрываются, и электричка, словно мировая история, движется вперед, набирая скорость, вперед и вперед – к лучшему.

Я люблю электрички, там люди выключаются из бурного бытия, с лиц спадает пелена суеты, они смягчаются, кто погружается в думы или, не мигая, разглядывает привычные пейзажи за окном.

Входит нищий инвалид и заводит тюремную песню, оживают сердобольные старушки, пьяные поднимают головы и вслушиваются в тягучие слова, а нищий с протянутой кепкой бредет меж скамеек, благодарит и желает всех земных и неземных благ. Старый пенсионер вздыхает громко по поводу нравов, женщина прижимает бледного ребенка к груди, две тетки в один голос сетуют на цены, у хмыря в кепке шумно бурчит живот.

Воробей-путешественник спросил у полузамерзшего волка, зачем он живет в таком скверном климате. «Свобода, – ответил волк, – заставляет забыть климат». Я тоже волк. Мне холодно, но я не хочу в прежний климат. Я одинок, но в электричке вдруг ощущаю сопричастность своему народу (особенно нелепо это звучит, если представить, как жмут бока и плюются от злости), поразительное чувство одной судьбы. Патриот я или либерал? Ха-ха! Солж говорил, что настоящий патриот не только любит свою Родину, но и испытывает стыд за нее. Мне это ближе, но я никогда не задумывался над сим вопросом. Я – часть своей Родины. Хочется быть Александром Сергеевичем: «отечество свое я ненавидел, но я Голицыну увидел... и я пленен отечеством своим». Шутил старик.

Одна, другая, десятая остановка, люди сходят, как в жизни, появляются на свет новые пассажиры – поезд идет дальше.

Вспыхивает пламя прошлого за окном, и из дымки машет рукой мама, я совсем забыл ее, бедную, она умерла давно, еще в 1946 году, а она так любила меня.

И отец появляется в гимнастерке и портупее и показывает записку, оставленную 24 июня 1941-го: «Мои дорогие! Сегодня уезжаю. Родной

Мишунька! Еду бить фашистов. Помни, что твой папка был всегда в первых рядах в борьбе с врагами нашей родины. Мы отстоим право на свободную, трудовую жизнь народа. Целую тебя, мой родной мальчик, целую вас всех. Родная Милуша! Тебе все понятно. Расти и воспитывай сына, сделай его достойным своего отца, будь сама стойкой... До свидания. Обнимаю и целую вас всех. Петр». Он читает записку и хмурит лоб, и я чувствую его руку, сжимающую мою в предсмертной тоске в августе 1978 года, уже без сознания, уже, наверное, на пути к небу.

Вспыхивают, восходят лики, и я вижу Катю, она умерла внезапно, она удивилась этому, и до сих пор на лице у нее ироническая улыбка: «Неужели ты поверил, что я умерла?» Конечно, не поверил, это невозможно, потому что невозможно никогда, слышишь, Катя?

А вот Игорь Крылов, у которого прятал чемоданы с запретными книгами. Всю жизнь спорили и мечтали о свободе, но лишь блеснул ее луч, и он умер, словно дождался и не захотел смотреть дальше. Эх, старик, сейчас самое время доспорить, что лучше: просвещенный абсолютизм или парламентская демократия?

И тут врывается балаган, моя ушедшая, еще не понятая самим жизнь, конспирация, глухие явки, служение Делу, тайники в кирпичках, шутовской хоровод агентов, суровых дипломатов, улыбчивых парламентариев и занудных ученых мужей. Они бредут, распевая революционные песни, легкомысленные шлягеры, размахивая денежными купюрами, красными флагами и цветными клоунскими колпаками, они шагают караваном медленно, словно по Великому шелковому пути. Они любят и ненавидят меня, они хохочут и закатывают истерики, полыхает солнце, жмурятся дамы-агенты и просто дамы, и Ким Филби вдруг говорит, что был и умрет коммунистом. И рядом друзья, бывшие и настоящие, заложившие и равнодушные, разорвавшие и восстановившие, мой караван, огни мерцают сквозь туман, мой караван, шагай, звеня, моя любовь зовет меня...

Всю жизнь мечтал стать писателем, а сделался солдатом невидимого фронта! Но писателем все же стал. Начался второй акт затянувшегося

спектакля: пробивание головой литературной стены. Кошмар посложнее разведки. Несколько книг вроде бы выпорхнуло из-под пера.

Ну и что? Надеешься, что после очередного Всемирного Потопа именно твоя книжонка уцелеет?

Но ведь прикасался, еще как прикасался к ходу мировой истории! И отсвет великих дрожит на туманном лике!

Жена Танечка, папа которой служил в охране Отца Народов на его даче в Сочи, гулял с дочкой по пляжу, когда вдруг там показался Сам в любимых белых одеждах. О Боже! Сталин ласково поздоровался с папой за руку и тот пролепетал: "А это моя дочка!" Вождь потрепал девочку по голове, сорвал с кустика цветок шиповника, вручил ошалевшей Танечке и молвил: "Красавицей будешь!" И с тех пор Танечка ходит красавицей и радуется, хотя чаще вспоминает купание на том же пляже совершенно голого маршала Семена Михайловича Буденного, поразившего маленькую девочку гигантскими размерами своих причиндалов.

...Бывший коллега, волоча ногу после инсульта, вдруг возникает на улице и, не успев еще нарадоваться счастью встречи, скривив рот, шепчет: «Старик, ведь мы с тобою всю жизнь проиграли в бирюльки! Разве разведка – это работа?» – «Да брось, – отвечаю я, – любая жизнь абсурд. Разве не глупо, что мы случайно рождаемся и случайно умираем?» – «Нет, я не об этом, я давно знаю, что человек – это дерьмо, я не об этом, я о разведке...» – «Ты работаешь?» – «Не могу я работать, и не хочу! Зачем? Чтобы пить?» – «А что же ты делаешь?» – «Трахаю, старик, и знаешь, это, пожалуй, самое лучшее занятие».

Тургенев писал: «Нужно принимать немногие дары жизни, а когда подкосятся ноги, сесть близ дороги и глядеть на проходящих без зависти и досады: и они далеко не уйдут».

Добрая душа Иван Сергеевич!

Электричка тормозит, тупо пыхтят и открываются двери, голые фонари на голой остановке, над замершим лесом всходит золотой купол церкви, сосны, придавленные снегом, тропинка меж кустов, я бегу по ней,

глядя на ходу деревья и вглядываясь в птичьи следы на снегу, я бегу – вот и луковка с крестом, устремленным в голубое небо.

Не поздно ли спохватился, мальчик, не ставший кардиналом, но выбившийся в полковники? Думаешь, это спасет тебя? Рассчитываешь проскочить в рай, чичероне, как проскочил из коммунистов в свободолобца?

Отец отвернул лицо, лики безмолвны.

Шуршит стопка фотографий. Круглолицее дитя в пеленках на руках у счастливой мамы. Ухоженный мальчик в бриджах. Юноша в отцовских сапогах и бекеше. Покоритель Лондона во фланелевом костюме у статуи принца Гамлета. Пенсия, скрип пера, презентации, интеллигентные хари вокруг, балы, интервью, европейские столицы, пуи и аи...

Will-o'-the-wisp – блуждающий огонек. По-латыни: Ignis Fatuus – глупый огонь.

Глупые, блуждающие огоньки вспыхивают ночью над болотами от внезапного сгорания метана. Они неуловимы и опасны, они увлекают в топи заблудившихся путников, обрекая их на смерть. А еще говорят, что это проклятые души, которые мечутся и мучаются и несут свой адский огонь.

Так и ты пролетел сквозь жизнь, глупый огонек...

Стакан кородряги.

Все мы – блуждающие огоньки, внезапно возникаем из пламени, смешанного с водопадами стихий, и так же незаметно тухнем и исчезаем один за другим в необозримой пропасти Вселенной.

Поезд проносится мимо, и нет святой обители, она осталась за лесом, сын говорит, что я ничего не понимаю, да и все мое поколение – дураки. И жена говорит, что ничего не понимаю. А я твержу, что они не понимают, потому что дураки.

Поезд несется дальше, все остается позади, и совсем один, абсолютно один, невозможно один.

**Обречен на счастье или на несчастье, и неясно дрожит моя звездочка
в водовороте капризном, в мерцанье морозного мира.**

МИХАИЛ ЛЮБИМОВ